

ИСО ВЪЛЪИ
МЪИ Р

ИСО ВЪЛЪИ
МЪИ Р

1961

8

1961

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 8

Август, 1961 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман	3
АЛЕКСИС ПАРНИС — Крылья Икара, драматическая легенда в трех частях. Перевели с греческого Д. Самойлов и А. Столтидис	63
ВЛАДИМИР ФОМЕНКО — Память земли, роман. Окончание	102
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Два стихотворения	159
И. ИСАКОВ — Пари Летучего голландца (Из невыдуманных рассказов)	160
ГЕВОРК ЭМИН — В этом возрасте, 2×2 = 4, стихи. Перевели с армянского Юрий Левитанский и Евг. Евтушенко	184
НА ПУТЯХ СЕМИЛЕТКИ	
М. ПАНФИЛОВ — Сталь	186
ПУБЛИЦИСТИКА	
МАРК ПОПОВСКИЙ — Селекционеры	197
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. ГЛАДКОВ — Мейерхольд говорит	213
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Б. РУНИН — Логика спора и логика искусства (Необходимые реплики)	236
А. МЕНЬШУТИН, А. СИНЯВСКИЙ — Давайте говорить профессионально	248
ОТ РЕДАКЦИИ	253
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Шитова. О вещественном и необходимом.— В. Лакшин. Робкие мужчины.— Л. Аннинский. Все глубже, все сложнее.— А. Асаркан. Мир Винни-Пуха.	258
<i>Политика и наука</i>	
М. Слуцкий, кандидат философских наук. Наука и производство.— Л. Барон, профессор, доктор технических наук. Книга о курском железе.— Д. Заславский. За кулисами английской прессы.— А. Бельская. Всевластные монополии США.	271
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

КОНСТ. ФЕДИН

★

КОСТЕР

Роман

Ветер задувает свечу и раздувает костер.
Старое изречение.

Глава первая

1

Чем дольше не был в доме, где вырос и оставил свои ранние годы, тем беспокойнее стучит сердце, когда опять приближаешься к родному порогу.

Кажется, давно уже все позабылось, поросло мхом и грибами, да вдруг выглянет на повороте дороги какая-нибудь дряхлолетняя сосна, по которой карабкался мальчишкой, висел где-то на суку, под небесами, насвистывая Соловьем-разбойником, — и сами собой остановятся ноги.

Глядишь, глядишь на разлапую вершину и дивишься: да неужели ты все еще прежняя, какой была тогда? А я-то думал — уже больше ничего не повстречаешь былого, все переменялось или ушло. Но забвение — только дымка: дунет ветром — ее нет.

Так чувствовал себя Матвей Веригин, когда приехал на побывку к отцу, в Смоленщину.

Ему повезло: у самой станции Белорусской дороги, на рассвете, его прихватил порожний грузовик с попутчицей-старушкой, успевшей занять местечко в кабине шофера, и баюкал в кузове скрипом, лязгом, хрустом своих разношенных мослов и суставов, пока не отмахал километров двадцать пять по жесткому уже грунту проселка с лужами в низинах после майского первого дождя.

Когда пришло время слезать, Матвей описал ногой, словно циркулем, полкруга через борт машины, упрочил ступню на заднем колесе, выбрал другую ногу и, балансируя ею, достал из кузова пиджак, сложенный подкладкой кверху. Спрыгнув наземь, он отошел от дороги, пощупал траву, глянул на ладонь — не сырая ли? — положил пиджак, вернулся, опять стал на колесо, выжал бицепсом в воздух, как гирию за ушко, веский чемоданчик, отнес его тоже на траву. Мгновение он постоял над вещами, потом нагнулся, переложил пиджак с травы на чемодан и пошел к шоферу, следившему за ним из своей деревянной кабины.

О цене Матвей сговорился на станции, но тут решил вместо условленной трешницы предложить два рубля, и так как свинство это было ему вполне понятно, то он попробовал обосновать предложение тем, что сам — московский шофер и потому может ожидать сочувствия.

— Та-ак. С добрым утром,— сказал шофер, косясь на своего пассажира.

Матвей улыбнулся. Улыбка его была во весь рот, сияющая зубами, похожими на образцы у зубного техника,— душевная и веселая.

— Чего оскалится? Ты, может, в Москве попутчиков задаром возишь?

— Я в Москве на должности.

— Мы тоже не единоличники.

— У нас в Москве за работу налево милиция права отбирает,— сказал Матвей, будто между прочим, и начал полегоньку отряхивать брюки от соломинок.

Шофер толкнул дверцу своей будки, свесил ноги в бурых сапогах наружу, внимательно посмотрел на Матвеевы туфли с резиновыми подошвами в палец толщиной.

— Тут пока милицию сыщешь, шины-то свои до пяток стопчешь,— сказал он не то с угрозой, не то с презрением к модным туфлям.

— Нет в тебе, друг, профессионального товарищества,— упрекнул Матвей.

— В тебе, вижу, есть: обманывать...

— Нехорошо говоришь,— сказал Матвей прискорбно.

— Кончай бобы разводить. Плати, как поладили. Мне ехать.

— Я у тебя со всего кузова грязь собрал. А костюм до сих пор не надетый.

Матвей шагнул в сторону, чтоб увидеть за шофером лицо попутчицы и вызвать ее сочувствие. Но старушка, довольная нечаянной остановкой, дремала.

— На подушках привык! На «эмке»!..— насмешливо сказал шофер.

— Нет, брат, я на «кадиллаке». У меня хозяин выше вон этой елки,— опять улыбнулся Матвей. Он тряхнул головой в сторону лесной опушки, над зубчиком вершин которой вымахивала одинокая черная макуша ели,— глянешь — сломишь шапку.

Тогда шофер, будто озаренный солнечными искрами, приснувшими от зубов Матвея, вдруг тоже улыбнулся.

— Ты, выходит, жук порядочный...— проговорил он с мягким одобрением.

— Ладно,— ответил Матвей,— получай сполна свое счастье.

Он вынул из жилетного кармана тонко спрессованную пачку бумажек, отсчитал три рубля, сравнял их по краям, протянул шоферу.

— Спасибо, что подвез, хороший человек.

Засовывая деньги на самое донышко нагрудного кармана гимнастерки, шофер спросил:

— Так ты, говоришь, из Коржиков?

— Коржицкий,— довольно сказал Матвей.— И отец коржицкий, и дед. Кузнецы были. Я и сам кузнецом был, до армии.

— Постой,— сказал шофер и спрыгнул на дорогу.— Это не твой отец в само работает?

— Во Входах? А то чей же? Илья Антоныч,— уважительно отвеличал отца Матвей.— Я у него старший из троих сынов.

— Так я ж его знаю. Он хворый, что ли?

— Больной.

— Ага, правильно, знаю.

— Вот видишь. А ты с меня деньги взял, как таксист,— еще раз сверкнул зубами Матвей.

Шофер засмеялся, влез к себе в будку, грохнул дверцей, выкрутил влево баранку, включил мотор, крикнул через окошко, быстро оглядывая Матвея с головы до ног:

— С такого не грех взять! В Москве наркома возишь?

— Видал иль нет, кого вожу? — опять кивнул Матвей на елку.

— Ну, топай в свои Коржики. Счастливо!

Шум удалявшегося грузовика угасал постепенно, но как будто не угас совсем, а незаметно перешел в иное, слитное движение звуков. Это подул утренний ветер. Новый шум был не жесткий: листья берез и осин еще не выросли вполне и чуть шелестели, нежно касаясь друг друга липкой поверхностью.

В рябизне лоснившихся зайчиков прочерчивались полунагие розовые стебли, раскачиваемые ветром, и казалось — слышно было, как стебли ласково хлещут и прищелкивают по молодой листве. Весь этот шелест несся поверх леса, а по самой чаще, низом, глухо пробирался шорох еловых лап, окропленных острями почек, пестревших своей оранжевой чешуей.

За говором деревьев Матвеем неожиданно почудился кипучий лесной шум, который, бывало (загуляя только над землей большой ветер), манил бродить и бродить без конца, и воспоминание было так ошутиморезко, что у Матвея скользнул по спине холодок и он, поеживаясь, вздохнул во всю полноту легких и надел пиджак.

Запахи, которыми он дышал, едучи в грузовике, — пережженного масла, бензина, аммиачной горечи суперфосфата и еще каких-то удобрений, перебивавших за весну в кузове, — все это развеялось без следа. Благоухание почвы с ее травами, смолистой хвои, пряной бересты ожило, как после речного купания, все его тело.

— Ах, мать честная! — выговорил он, сладко расправляя плечи и руки.

От развилки дорог, на которой он стоял, до Коржииков считали десять верст — это Матвей хорошо знал. В окрестных местах он прежде с отцом, потом в одиночку гонял зайцев, а изредка ходил и по перу. Тут были обширные лесные участки и вперемежку с ними привольные поляны, закустившиеся вырубки со старыми ягодниками — и стол и дом для дичи.

Пройдя недалеко, Матвей увидел широкий склон, наполовину под мелколесьем осинника с березняком, наполовину под свежими пнями. Матвей тотчас признал это пространство, но представилось оно ему таким, каким было, когда он только начал, со слезами, увязываясь за отцом на охоту, еще без ружья.

Там, где теперь вперегонки рвались вверх зелеными конусами молодые деревца, тогда кудрявились кусты по колено человеку, а на просторе нынешних пней стеною высился бор, отступивший сейчас вдаль от оголенного склона.

Вот на самом краю былых кустов, на выходе из бора, Илья Антоныч когда-то и показал сыну одним примерным выстрелом сноровку настоящего охотника, и выстрел этот словно заново прогремел над ухом Матвея, едва открылось ему знакомое место...

Тот день был неудачным. Уже темнело, а Матвейка (отец звал его так в детстве) все таскал за спиной сетчатую сумку с дюжиной подбренных от скуки боровиков, не думая больше ни о какой добыче. Выводки давно разбились. Молодая и старая птица одинаково была напугана бродившими весь август охотниками и так крепко держалась в гуще подлеска, что не сразу взлетала даже из-под носа собаки. Илье Антонычу наскучило носить ружье наперевес, ложем под мышкой, и он перекинул его за плечо. Когда Матвейка с отцом вышли на открытое, довольно светлое пространство лесной вырубки, сумрак позади слил весь бор в сплошную массу, и только стволы крайних деревьев чуть теплились косым закатным светом.

Вдруг из-под самых ног Матвейки, за спиной его, со страшным шумом бьющих крыл вырвалась поднявшаяся птица и, раздувая кусты тяжестью полета, мелькнув черной тенью, исчезла в лесу. Но в миг, когда, испугавшись, Матвейка обернулся на шум, когда он схватил глазом шевеление кустов и быструю тень, метнувшуюся в сумрак бора, когда он увидел, как у отца, будто само собой, скользнуло с плеча ружье и вскинулось ложем к щеке, в этот миг, вместивший в себя множество неожиданных движений,— в этот миг ахнул выстрел.

Тяжкий гул начал охватывать окрестность, уплывая к небу над вырубкой и ступенчато перекатываясь лесом.

Матвейка и отец замерли оба в том неудобном повороте всего тела, в каком их застал выстрел, и с вытянутыми шеями вслушивались, раздается ли сквозь гул бление крыльев улетающей птицы или его нет.

— Готов? — тихо спросил Матвейка.

Отец продолжал слушать.

— Косач? — немного потерпев, еще спросил Матвейка.

— Иди подбирай, — ответил Илья Антоныч и медленно наклонил к земле ствол ружья, и повернулся лицом к сыну.

Тогда, прежде чем кинуться в лес, Матвейка взглянул в отцовские маленькие светлые глаза и увидел в них два совсем белых огонька, крошечных, как точки, которые будто дрожали. Всей костоватой некрупной статью своей отец казался в эту секунду чем-то не похожим на самого себя.

Найти добычу было хитро. Матвейка кружил и кружил между елей, а темнота все больше густела, и он не раз подумал, что отец промазал, и его подмывало высказать свое сомнение, пока Илья Антоныч не подозвал его:

— Глянь сюда!

Почти у самой опушки, между двух березок, как между свеч, лежал тетерев, примяв траву простертыми крыльями. Голова его подвернулась под зоб, и по черному перу, точно от влаги, струился сажистый блеск. Матвейка схватил и поднял птицу за горячую, клейкую от крови шею. Только что ничего не рассмотреть было в темноте, а тут словно рассвело, и Матвейка побожился бы, что различит на тетереве каждое перышко отдельно.

Он долго — непослушными пальцами — втискивал его в раздвинутую отцом сетку.

Они пошли вырубкой к дороге. Добыча, грузно повисшая за спиной, подталкивала Матвейку на ходу в бедро и была ему легка и удивительно приятна.

— Папаня, как же ты целил? Ведь темно! — спросил он, не чувствуя больше усталости, без труда поспевая за отцом.

Илья Антоныч был уже опять совсем таким, каким привык его видеть сын, — бойко, нешироко шагал по лесной дороге, муслил на ощупь скрученную из газеты сигарку, слегка прикашливал. Чиркнув спичкой, по грудь осветив себя золотым, как заря, огнем, он сказал:

— Зоркий не увидит, чуткий услышит.

Остановился, раскурил, дал догореть спичке, притоптал ее искорку в колее, пошел дальше.

— Тут прицел не поможет. Тут надо, чтобы не усомниться, — сказал он и немного погодил. — Говорят про кузнеца — глухой. Он глух-глух, а на точность без промашки. Что стукнул, то гривна... Станешь работать — поймешь.

И так же по-отцовски, немного погодя, Матвейка сказал с большой похвалой:

— Здорово ты его саданул!..

Было это почти двадцать лет назад, но Матвей припомнил разговор от слова к слову.

С тех пор, еще не окончив сельской школы, он начал помогать отцу в кузнице, проработал с ним до призыва в Красную Армию, сам стал отменным кузнецом, недурным охотником, давно научился стрелять со вскидки, хоть и не превзошел в этом умении Илью Антоныча.

В армию он ушел в тот год, когда в деревне проводилась коллективизация, и после этого в Коржиках не был двенадцать лет. Он служил водителем в моторизованном полку, а отбыв срок, попал в Москву, женился, стал работать на грузовике, ездил несколько лет на такси, принимался было учиться на механика, но подвернулось хорошее место у того хозяина, который теперь, уехав с женою отдохнуть на юг, дал Матвею отпуск до середины июня...

И вот он мерил родные холмы и леса, рассчитав, что до Коржиков солдатским шагом оставалось часа полтора. Он жадно узнавал памятные извивы дороги, бывшие клинья хуторских выделов, затерянные в перелесках, с улыбкой слушал гремучие вскрики соек, которых с малолетства звал карёзми, или переливчатое бульканье иволги, и эти голоса словно выше и выше поднимали над ним небесный свод.

Он шел довольный, со своим московским чемоданчиком, в своей московской кепке одного коричневого цвета с костюмом. Он весь казался себе выразительным, как этот костюм, чем-то даже с лица похожим на прямоугольные плечи и стрелками торчащие лацканы пиджака, и ему ясно виделось, как он войдет в избу, поставит у косяка чемоданчик, положит на него кепку, вынет из кармашка гребешок, причешется, поклонится, скажет: «Здравствуйте, папаня!» — и обнимется с отцом, а мачеха и братишка Антоша будут только окамененно смотреть, как у него это все щегольски получается.

И чем ближе он подходил к Коржикам, тем ярче предчувствовал свое появление перед семьей, тем больше думал об отце.

2

У кузнеца Антона Веригина — дедушки Матвея — было два сына, близнецы Илья и Степан. Илью отец оставил работать у себя в кузнице: он выдался хоть и слабее, но сноровистее брата, которого отправили искать городских заработков. В деревне толком не знали, сколько городов перевидал Степан, много ли переменял хозяев и велики ли его заработки — от него долго не было ни вести, ни повести, но со временем стало известно, что ушел он не очень далеко и поднялся не бог весть на какую гору: осел он в Тульской губернии, неподалеку от Черни, на станции Выползово, путевым обходчиком.

Илья появился на свет вторым из двойни, записан был в метрике младшим и как младший должен был служить. Его призвали в цареву армию в начале русско-японской войны, и он попал в Маньчжурию. По тылам Мукденского фронта полк его перебрасывался с участка на участок, с одного берега Хуньхэ на другой, пока не начался стремительный отход на Телин, и тут война предстала Илье такой, какой предстоит она солдату в расстроенной беспорядком отступления войсковой массе, среди стычек, кажущихся бесцельными, в погоне за ускользающими обозами снабжения, вперемешку с полевыми госпиталями, без привалов и с пустым животом. Ему удалось выбраться из Маньчжурии невредимым.

В Забайкалье Илья пережил всю горечь и возмущение армии, испытавшей разгром, измученной жертвами, униженной ненавистными штабами, обворованной интендантами, озлобленной офицерством. В Чите его взвод отказался выступить против бастовавших рабочих железной

дороги. Солдат судили военным судом, и тем закончилось участие Ильи в событиях первой революции. Дисциплинарное наказание, полученное им, удлинило его службу — он возвратился в деревню, уже достигши двадцати шести лет, и сразу женился.

Вскоре умер Антон Веригин. Наследство, оставленное им, состояло из семейного надела, избы и кузницы. Илья отписал брату в Выползово, что батюшка волею божией скончался от неизвестной болезни живота, и брат приехал на раздел. Илья только еще ожидал первого ребенка, Степан жил с женой сам-друг — дети умирали грудными, — так что раздел не вызвал споров: все добро пополам. Но Степан не собирался возвращаться в деревню. — работать на земле было невыгодно, кузнечеству он не обучился, да и кормила кузница тоже впроголодь, — и братья поладили на том, что долю Степана Илья выкупит.

К первой мировой войне Илья все еще состоял должником брата. У него росли сыновья — Матвей и Николай, два года кряду были недороды, даже в горячую пору, веснами, кузница давала скудный прибиток, долг брату почти не уменьшался. Дошло до того, что Степан пригрозил оттягать свою долю обратно. Но Илья ушел на войну. Жена его послала Степану слезницу, написанную за пятак под ее диктовку и с фигурами, без которых у писаря не ходило перо:

«Свет ты наш надежда, деверь наш уважаемый Степан Антоныч, не пускай ты меня, горькую солдатку, по миру, чего я буду с малыши ребятами делать, куда пойду с Матвейкой да с Миколкой, с племянниками твоими родными, заставь за себя вечно богу молить, как за отца родимого, не истребуй ты, пожалуйста, с меня деньги, какие у меня, горемычной, деньги, нынешний год опять сколько посеяли, столько сняли, а я одна-одинешенька с ног сбилась, ночей не сплю, из головы не идет прокормиться бы чем, а придет с войны, дай бог, братец твой, муженек наш ясный Илья Антоныч, обо всем как есть с тобой обговорит и деньги платить будет хоть по гроб доски, до копеечки, все с себя снимет, тебе отдаст, только пожалей деток его, не успели ложку держать научиться, зубки у Миколки никак не прорежутся, а я, как перед истинным, не забуду до самой смерти благодетеля нашего, пошли тебе заступница, царица небесная, с супругой твоей, невестке нашей Лидии Харитоновне, деток на утешение, кормильцами под старость, чего обоим вам желаю за малолеток твоих племянников, а братец твой сам будет тебя благодарить за снисхождение, прийти бы ему целым домой, с ногами-руками, а то все слава тебе, господи, не обездоль солдатку с детишками, какая у них судьба без отца, прошу христом богом, окажи сочувствие, и ожидаю скорого ответа на мое крайнее положение».

Степан ничего не ответил, но домогаться прекратил на продолжительное время, потому что с войной все начало быстро меняться, и мало таких людей осталось, что сами не переменились бы к тому дню, когда жизнью завладела уже не война, а революция.

Илья вернулся в Коржики к исходу первого военного года, демобилизованный по ранению в ногу. Пришел он большим той самой, как он был убежден, неизвестной болезнью живота, от которой скончался батюшка. Жену он нашел тоже больной. Ее письмо к деверю было не столько материнским ухищрением, сколько чистой правдой: бедованье без мужа напирямало ее, и пожила она с ним после его возвращения недолго.

Хоть и вдовец с двумя ребятишками, Илья считался бы неплохим женихом — в руках его было доброе ремесло. Но он хворал. Долго ли, коротко ль маяться с болящим, да вдруг овдоветь с чужими ребятами на горбу — на такую долю не польстится даже труженица без ропота и расчета.

Илье, однако, посчастливилось. Только было заговорили по избам, что он совсем разгоревался и пропадает без жены, как за него вышла двадцатилетняя Мавра Ивановна — с безустальными руками девушка соседней деревни, конечно, из бедной, многодетной семьи.

С мачехой этой и выросли Матвейка и Николка.

Ко дню свадьбы отца первенцу было годков шесть, младшему — четыре. Никакой особой любви к пасынкам Мавра не испытывала. Но она обладала благодатной чертой: неумением ссориться. Разногласия и неполадки словно бы веселили ее, она отшучивалась от них с таким простодушием, что на ее язык никто не обижался — был он не очень остер, а только весел.

Трудная жизнь чаще вырабатывает такие ладные характеры, чем жизнь без забот. У своего отца Мавра ходила за семерыми ребятишками, а тут их было двое. Отец платил за ее работу острасткой, а Илья Антоныч всякое выполненное дело одобрял. В тепле ее стараний семья Веригина ожила, и сам хозяин, исподволь поправляясь, встал на ноги.

К Февральской революции Илья снова раздул в кузнице давно остывший горн. Опять поплыл по Коржикам знакомый звон ударов, и когда весной поспела земля и мужики потянулись в поле, и Веригин увидел их — на лошаденках, с боронами зубьями кверху, — на душе его стало так хорошо, будто это он звончатой своей наковальней выманил деревню скородить озимь.

3

Недалеко от Коржиков обреталось поместье, владельцы которого мало что заслужили, кроме худой о себе славы по округе. Перед Октябрем крестьяне сошлись в имении, чтобы сходом этим придать силу решенному между ними делу — отобрать землю в собственность ближних деревень.

Может, так все и произошло бы, как было задумано, — собрались, поспорили, составили приговор, какому обществу сколько прирезать господских угодий, и приступили бы к размежевке. Но в разгар спора выскочила из дома ополоумевшая старая дева, родственница помещиков, оставленная в усадьбе за хозяйку, и принялась грозить мужикам на все лады и тюрьмой, и сумой, и страшным на том свете судилищем. Ее пробовали унять, она еще отчаяннее ярилась. Ее заперли в старый каретник.

Разговор об угодьях сразу отодвинулся на задний план, а на передний выплыла усадьба. Дележ ее оказался проще. Кто поозорнее — уже выносили из дома зеркала и стулья, кто похозяйственнее — заторопились на скотный двор и в сараи, кто поголоднее — в амбар и в погреб. Заскрипели пробои в косяках, звякнули оконные стекла. Охранительница барского богатства подняла в крестьянах подспудную ненависть, а следом пробудилось и озлобление и ревность друг к другу — кому что достанется, и молодечество — кто кого больше горазд на дерзость.

Так складывалось исстари, что в таких случаях один огонь вдосталь утишал бушевание общего гнева, и без красного петуха не обошлось бы даже в этом тихом лесном углу. Молодежь уже принялась таскать солому и обкладывать ею каретник, как вдруг на усадьбу подоспел, прихрамывая, Илья Веригин.

На плечах его была старая походная шинель, и она словно мешала выветриться в нем решительности солдатского духа. Схватив вилы, он наскоро отвалил солому от каретника, остановился один против всех, спросил:

— Добро палить? Кому польза, если спалите?

Был он так смел, действуя вилами, и так хорошо разгадали белую

его точечку в глазах, когда встретились с его взглядом, что в первый момент кругом стихло и у всех будто приостыли руки. В тишине этой расслышались не унимавшийся женский вопль в каретнике..

— Кого заперли?

Тут в несколько голосов стали кричать на Илью: «Кого надо, того заперли», «Стерву на свалку стащили!», «Хайло заткнуть приживалке, чтоб не лаялась!»

— Стойте, граждане, дайте сказать! — перекричал Илья. — Вы, видать, разума решились, что задумали живьем бабу жечь! А ну, кто там такая, дайте взглянуть.

Он подошел к воротам каретника, открыл один створ.

На него выскочила раскосмаченная старуха с янтарным гребнем, залутовавшимся в длинной седой пряди. Лево́й рукой подтягивая лопнувший пояс юбки, а правой замахиваясь и трясая над головой, она двинулась на народ, продолжая в голос выкрикивать свои поношения.

— Эка ты, чудище! — воскликнул Илья и попятился перед ней с приторным испугом.

Тогда раздался смех, сначала негромкий, потом шумнее, пока внезапно кто-то не свистнул в пальцы. Точно придя в себя от этого неожиданного свиста, старая дева умолкла, осмотрелась и, что-то уразумев, рванулась в сторону, пошла к воротам усадьбы, подбирая юбку, все больше пугаясь в ней и торопясь.

К Веригину приблизился со скрещенными на груди руками узколицый бородач, спросил неодобрительно:

— Что ж, Илья Антоныч, так ее и пустить?

Он выговорил это негромко, будто не желая обращать на себя внимания людей, хохотом провожавших барыню. Но как раз то, что не слышно было, о чем он сказал с таким неприязненным видом, привлекло к нему взгляды, и кто был ближе стали прислушиваться.

— А на кой она тебе черт? — ответил Илья.

— Мне-то она ни к чему... — сказал бородач и не договорил, а только нахмурился.

— Пускай шагает на все стороны, — сказал Илья.

— Вон как, значит, мужики, а? Один Веригин за всех за нас желает распорядиться.

Многие уже сообразили, о чем разговор, и ждали, как ответит Илья.

— Распорядиться я не собираюсь, а есть у меня два предложения, — с расстановочкой проговорил Илья. Улыбка показалась на его лице и сразу опять исчезла. — Одно предложение — оставить эту самую дворянку на семена...

Обернулись на распахнутые ворота. Дворянка уже вышла из усадьбы и, не озираясь, тем же спутанным шагом удалялась по дороге напрямиком в поле.

— И верно, чего с такой юродки спросишь? — отозвался чей-то голос. — Не замай! Кому охота, отведет под нее на задах грядку.

Еще не всех покинула веселость, и молодежь опять рассмеялась.

— Теперь чего скажешь, слушаем, — помедлив, обратился к Илье бородач.

Веригин словно бы покрупнел, выпрямляясь, быстрой оглядкой отыскивая, на чью поддержку можно положиться. Часть людей продолжала в одиночку шнырять по службам усадьбы, выбегать на двор и снова исчезать. Часть толпилась вокруг спорщиков, поставив на землю вытасченные из дсма и амбара вещи, держа под мышками кто пилу, кто хомут, кто пуховик или набитый всякой всячиной мешок.

— Теперь, граждане, второе предложение, — сказал Илья. — Усадьбу господскую отобрать на пользу крестьянского народа.

В ответ живо заговорили, что, мол, правильно, так и надо, пришла пора делить барские богатства, а помещиков — гнать с земли, чтобы и духу их больше никогда не было. Но Илья еще не кончил.

— Произведем конфискацию скота, орудий в полном порядке, через волость, граждане, чтобы на каждое общество пришлось, сколько требуется, каких машин или чего еще.

Пока он это объяснял, слушатели поприкусили языки, и одна за другой стали клониться головы ниже и ниже. У бородача откуда вдруг взялся и тонко зазвенел рассерженный голосок:

— Это через которую волость, Илья Антоныч, раздел предлагаешь? Это в которую тебя от Коржиков посылают?

— Ну и что, что посылают? Не меня одного. Какой быть волости, решит съезд крестьянских и батрацких депутатов

— То-то и есть — депутатов! Чего захотелось! — торжествуя, перебил бородач. — То тебе волость, то депутаты! Опять же есть такие — волостное земство желают оставить. Ну оставят. Тогда ты — в земство, так, что ли? А волостное земство скажет, что, мол, пускай уездное утверждает. А в уездном земстве господ сидят. Так, мужики, говорю, справедливо?

— Ты не путай, — сказал Илья сурово. — Одно дело волостной съезд, другое — земство.

— Сам, брат, не путай. Нас не запутаешь! Он, мужики, господской линии подсобляет. Для того и дворянку выпустил из каретника. Жалко стало. На семена! Ему, видать, любо барское семя! Она теперь, судье отродье, без передышки — в уезд, с доносом: мужики, мол, со света сжили. А мы, дураки, ждать будем, пока Веригин депутатов соберет вместе с помещиками решать, в которую нас каталажку вернее запрягать...

— Да я тебя... — крикнул Илья, заводя кулак за спину и хромоног шагнул.

— А тронь! — еще звонче залился его противник. — За меня народиль за тебя?

Но уже никто больше не хотел слушать Илью с бородачом — их оставили разбираться один на один. Каталажка, донос, господская линия — слова эти порхнули раз-другой в гуле голосов, а потом и стар и млад разбежались по двору, опасаясь упустить добро, еще не прибранное к рукам теми, кто не зевал. Да и сам бородач откостерил Илью напоследок и был таков.

4

Оборота, который произошел, Илья не мог ожидать. Для него раздел земли, конфискация усадьбы, как для всех, было тоже дело решенное. Он думал, что если переход помещичьих владений крестьянам будет совершен с одобрения волости, то такой передел сразу станет законным. Но само слово «закон» в умах крестьян еще означало неприкосновенность помещиков, ту самую господскую линию, в поддержке которой Илью обвинил бородач. Илья был поражен, что хитрым поворотом выставили его перед всеми как барского пособника. Но еще больше поразило его, что, несмотря на привычное уважение к нему крестьян, они послушали не его, а человека, которого никто никогда не уважал.

Бородача Тимофея Ныркова знал каждый, кто слушал его нападки на Веригина. Нырков любил водить дружбу с богатыми, сам всеми жилами тянулся к богатству и то впрягал себя в работу, как вол, то пропадавал на станции, в городе, по ярмаркам — продавал, перекупал, выменивал что придется. За эту его страсть житья и рваться к любой выгоде богатые над ним посмеивались, а за то, что он к ним льнул,

бедные его чурались. Но Ныркoв умел угодить всякому человеку, и никто, пожалуй, не отстранился от него до вражды. С Веригиным у него не было никаких счетов. Ныркoв однажды и кузнецу порадел, задешево продал раздобытый на станции железный лом. Что же его толкнуло к стычке с Ильей?

Оставшись в одиночестве среди мечущихся по усадьбе людей и немного остудив свой пыл, Илья Антоныч понял, о ком хлопотал Ныркoв.

Растаскивая усадьбу, каждый про себя побаивался ответа, и пуще всех остерегался тот, кто рассчитывал больше других поживиться. Главным соблазном для всех был скот. Но увести корову бедняк — дома у иного нет не только кормов, но и места, куда поставить скотину. Да мало — поставить. Скотину на первых порах надо укрыть так, чтобы — случись что — можно было ее умеючи сбыть и выйти чистым. С этим под силу справиться только хозяйству прочному, и кондовые хозяева обмозговали дело заранее: коней и крупный скот ставят у себя, а беднякам сподручнее будет забрать что помельче — свиней, овец: прирежут — и концы в воду. Но только каждый должен был получить хоть по курице ради полноты справедливости раздела и круговой поруки.

Об этой поруке Тимофей Ныркoв и хлопотал, чтобы предупредить несогласие, которым угрожало вмешательство Ильи, твердо уповая вместе с богатыми тоже увести к себе во двор подходящую скотинку.

Веригин, не сходя с места, раздумывал, и горько у него было на сердце. Каретник давно был отворен настезь, из него унесли сбрую, всякий ручной инструмент, выволокли и, зачем-то осматривая подреза, повалили набок легкие санки.

Эти подреза прошедшей зимой ставил Илья, и, явившись за расчетом перед грозные очи гой самой дворянки, которую теперь освободил, выслушал от нее наизидание насчет мужиков, будто только и норовящих сорвать поболе, дать помене. Веригин тогда ухмыльнулся, вспомнив это известное ему с детских лет поучение тех, кто умел сорвать ловчее прочих.

Случилась тут у Ильи минута искушения, когда подвернулись ему на глаза кем-то оброненные у каретника клещи. Он поднял, попробовал, каковы они в руке — приемисты ли, осмотрел цевки. С такими цевками клещей у него не было. Он подумал — все равно ничего на усадьбе не оставят, а инструмент нигде так не сгодится, как на кузнице. В тот момент крики нарушили его колебания: у скотного двора завязалась ссора. Он злобно швырнул клещи в каретник.

Скот был уже выведен из стойл, народ окружал его стеною. Веригин тоже не устоял перед тягой к этому главному месту действия и пошел, стараясь не слишком давать ногам волю.

Его трусцой обогнал мужичок, которого он не мог узнать, потому что лицо того закрывала объемистая кладь через плечо.

— Что, Илья Антоныч, — спросил мужичок счастливым голосом, — дележ, сказывают, тебе не по нутру?

— Дележ по нутру, да грабеж не по вкусу.

— Нос воротись! — нараспев сказал мужичок, подправляя плечом свою кладь...

Долго потом помнил Илья, что за лютая тоска взяла его, когда он, поглядев, как набавил трусцы мужичок, плюнул ему вслед и вдруг повернул к себе, восвояси. Помнил тоску, помнил одиночество, и сколько раз спросил себя, не глуп ли он, что не пошел заодно с другими, и сколько раз совесть ответила ему: хорошо, брат, что ты не поскользнулся.

Но и ему тоже попомнили его словцо — грабеж.

После происшествия в имени долго по деревням разносили слух, что Илья Веригин — за господ. Убеждение это разогрето было сильными хозяевами, укрепившимися в волости. Но когда спустя год создались комитеты бедноты и Веригин начал держать их сторону, его уже не называли иначе, как комбедчик. Богатых из волости выгнали и тогда же заговорили, что, мол, Веригин для одного отвода глаз толковал, будто против грабежа, а на поверку, дескать, сам грабитель, коли подголосничает комбедам.

Однако до ссор с Ильей у односельцев не доходило — позлословят, да и ладно. Кузнец — человек, деревне нужный, какой расчет с ним ссориться, особенно если памятуешь, что умудряет бог слепца, а черт кузнеца, — не повернул бы так, что станет шеям еще мылче.

Сам Веригин вел себя тоже не безоглядно. Мавра Ивановна однажды его остерегла:

— Смотри, Илья, перестанут мужики в кузню ходить, лихо будет. Комбед нам небось в закром гречи не засыплет.

Илья думал об этом не меньше жены. Мужики, которые злобились на комбеды, и в эти скудные времена давали кузнецу хоть изредка заработать. Не поладишь с ними — насыдишься голодом. А неимущему чего не скуешь — все в долг.

Пока длилась гражданская война и больше всего деревню заботила хлебная разверстка, Илья говорил напрямик, что, мол, с богатых надо брать по-богатому. Потом наступила новая пора, пришло в Коржики слово «нэп», и слово это убавило смелости одним, понабавило другим.

Тимофей Ныркв как-то посмеялся над Ильей:

— Ты на что рассчитывал? Святцы переписут? Нищих в отцы церкви посажают? Нет, брат, народ на твою булгахтерию не пойдет.

— А на твою пойдет? Землю господам назад отдать? — спросил Илья.

— Куда опять ворочаешь? Про господ вспомнил!

— Видать, сам ворочаешь. Я назад не тяну.

— Зачем назад? Мужики свое полное право уберегут.

— А Советы смотреть будут?

— А тебя кто кормит? Советы?

Илья усмехнулся: кому бог ума не дал, тому не прикуешь!..

Но отмахнуться от раздумок, одолевавших Илью, было не так просто, как от Тимофея Ныркова. Прикуешь ли в самом деле ум тому, у кого его нет? И годеи ли для этого молот, которым ковал когда-то отец Ильи, кует нынче он сам и хочет, чтобы в будущем ковали его сыновья?

5

В те годы известной в Смоленщине тяги на хутора в Коржиках тоже, что ни весна, разбиралась какая-нибудь изба и до распутицы — бревнышко за бревнышком — переползала на лесные вырубki, подалее от деревни. Корчевали пни на новых выделах, жгли кусты. Старые лесные дороги новоселы перерывали канавами, заваливали сучьями, чтобы народ не заезжал куда не след: от лишнего глаза добра во двор не жди. Стали жить по-заветному — всякий Демид себе норовит.

Поначалу у Ильи дела двинулись бойко. Чего только не сковал кузнец и кто не перебивал у его горна, пока починяли мельницы, крупорушки, плотины на старых прудах, пока хutorяне обзаводились постройками, ладили инвентарь, телеги, перековывали своих сивок и каурок, пригоняли к амбарам новые засовы. Била кувалда, приговаривал ей меткий ручник, распевала наковальня. Про Илью начали говорить: пошел в

гору! Он держал молотобойца, подраставший Матвей с каждым годом помогал ретивее, уже и младший сын, Николай, становился не только едоком, но и работником, и отец скоро позабыл, как на первых шагах Мавра Ивановна дула горн, а приходилось — бивала и молотом.

Понемногу Илья расплатился с братом Степаном. Была у него задняя мысль: авось, помирившись, брат иногда поможет раздобыть на своем путейском хозяйстве железного лома, который после разрухи уже везде успели прибрать к рукам. Но мысль эта позабылась вместе с другими расчетами Ильи.

Когда свили свои теплые гаюшки хуторяне, стало меньше появляться народу в кузнице. Деревенская жизнь, на глаз Ильи, будто приостановилась, и чаще начал он опять вмешиваться в споры об этой жизни, такой беспокойной в своих излучинах и поворотах.

Было над чем поразмыслить. Мельники вперевалочку похаживали под ветлами своих плотин, выстраивая в очередь подъезжающих помольщиков. Осевшие на хуторах хозяева укромно пасли в лесу скот, гулявший «в дезертерах» от налоговых властей. Деньги вошли в силу, и казалось, как прежде, — куда деньга пошла, там и копится: богатые пузатели, бедные тощали.

Раньше Илья надеялся — вырастут сыны, все пойдет легко и складно. Но вот они, молодцы, не ступят в хату, не нагнув под притолокой голову, а жизнь все ковыляет от одной нехватки к другой.

— Ой, Илья, — сказала раз Мавра, — видно, наше с тобой счастье — вода в бредне.

— Какого тебе счастья захотелось?

— Мне что! А наемни парни за стол сели, спрашивают — что это, маманя, в горшке одни луковки плавают?

— Велела бы круче посолить, — отозвался Илья.

Он было занес ногу через порог, но остановился.

— Кто тебе про луковки-то? Матвей?

— А не помню.

— Поболе бы еще с ним зубоскалила.

— А с чего слезы-то лить?

Илья грохнул дверью. С Маврой всегда так — сама начнет, сама отговорится. Да и правда, лишнего стала она с Матвеем лясничать. Плохо, плохо, а не слышать, чтобы кузнецы пустые щи хлебали. Молодым парням только бы потешиться. До того ли им, что иная потеха отцу в досаду? Мало Илья слышался попреков — не хватало от своих слушать! То его корили на деревне, будто он заодно с господами, то — заодно с комбедчиками, то теперь — с хуторскими. Каждому угождать — собьют с толку.

«Сам по себе был, — думал Илья, — сам по себе останусь».

Но не хитро было подумать, да мудрено самобытничать. Все больше ходило в округе толков про колхозы, все сумрачнее хмурились хозяева на хуторах. И нет-нет, Илья Антоныч, словно мимоходом, накажет сыновьям при случае добыть газетку, вычитать, что нового, а то задорно спросит младшего:

— Ну, про что нынче калякает твоя гвардия? (У Николая водились на селе приятели из комсомольцев.)

Мавра Ивановна оставалась, какой была всегда, но мужу чудилось — она все веселее с пасынками, скучнее с ним. Жалоб он от нее не слышал, а иной нечаянный ее вздох с неохотой встречал поговоркой:

— Не одни наши сени подламываются.

Другой раз и добавит в сердцах:

— Повесила нос! Придет Матвей — рассмешит...

Она как-то не вытерпела:

— Грех перед богом, Илья! Присорбмить меня хочешь — Матвей да Матвей... Скорей бы, что ль, его в армию забрали — может, опомнишься.

Илья иногда сам себе дивился — что это ему втемяшилось примечать за женой и сыном всякий шаг? Матвей был парень общительный, веселый, но не потешник, не ветрогон. В работе не меньше отца был затяжным, на людях — степенен и неболтлив. Илья знал это лучше, чем кто другой, держался с сыном уважительно-строго и прямо не высказывал недовольства так, как Мавре. Но пересмешки их между собою сердили его.

«Завидки, что ли, берут?» — останавливал он себя, когда странная тоска начинала теревить больнее. Завистливым он не был, но тут взглянет на Матвея — как он, молодцуясь, одергивает свою чистую рубаху, огребает кудри округ белого лба и статно умещается за стол как раз против Мавры, — взглянет Илья и увидит себя рядом с ним чуть что не хилым, и опять защежит горечь. Что скоро Матвею призываться в армию, он думал частенько, но мысль эта не столько тешила, сколько бередила сердце. Как обернется дело, когда Матвей уйдет? В кузне он успел сделаться силой, младшему сыну вряд ли его заменить, а самому Илье давно нажитая болезнь снова потихоньку подсказывает: памятьуй, дружок, я тут, под ложечкой!

Пока Илья Веригин ожидал перемен, ему и не терпелось — скорее бы они наступили, — он и побаивался, как бы на переменах не обжечься. Но вот пришла пора, которая все за него решила, — не понадобилось ударить и пальцем о палец. Сколько он ни заглядывал в газетки, сколько ни слушал споров о землеустройстве, о мелком и крупном хозяйстве, все-таки ему показалось, что, как в свое время вдруг явилось слово *н э п*, точно так теперь вдруг прозвенел грозовой зов: сбивай замки с амбаров! Был этот зов не кличем вольницы, и не толпа призывалась им к буйствам, а был он законом самой революции: приспели сроки на деревне взыскать с кулаков, как раньше взыскано было с помещиков.

Никогда прежде не повторялось издавнее словцо *к у л а к* так часто, как в эту минуту, и сама она навечно запечатлелась в памяти своим именем — *р а с к у л а ч и в а н и е*. Илья Веригину иной раз чудилось, будто попал он под холодный дождь в чистом поле: куда ни повернись — все мокро и не видать, где укрыться. Выбор был небогат — либо оставаться с артелью, которая помаленьку начала сколачиваться в Коржиках, либо бежать. Крепясь и помалкивая, думал Илья перетерпеть непогоду, а жодь все хлестал его по бокам и в загорбок.

Хуторские мужики примером своим двоили мысли Веригина. Кое-кто из хуторян неохоткой поговаривал, как бы воротиться в деревню. Кое-кто, заколотив избу и опустелый двор, подался с узлами, ребятишками на железную дорогу и дальше, невесть в какие города.

Раньше всех тихой, невеселой ночью исчез Тимофей Нырков, и о нем первом долетел со станции в Коржики слух, что видали, как он силком пропихнул мешок-пятерик в тамбур вагона и вскочил на подножку. Передавали, что его нельзя признать: обрился начисто, и только по узким скулам да по губам догадались, что это он, — губы у него багровые и нижняя грибной шляпкой, а верхняя тонкой веревочкой. С ним будто бы удалось перемолвиться, и он сказал:

— Нырков своего счастья выждет!

Его спросили насчет жены. Он ответил:

— Коли жалеет меня — найдется.

С тем и отъехал.

Много ли в слухе было правды — неизвестно. Но Коржики в рассказ поверили, особенно потому, что Тимофей незадолго показывал ребятиш-

кам бритву-безопаску и похвалялся, что вот, мол, грабельками разок гребну — бороды с усами не бывало, и опять девки за мной гуськом. След его простыл, а жена в ответ на расспросы только выла.

Илью Веригина приключение это сперва озадачило. Не взять было в толк, как мог решиться сквалыга Нырков бросить дом со всем добром и женой вдобавок? Но потом Илья Антоныч рассудил, что на свой аршин мерить маклака нельзя — у него свои маклачьи соображения. Что же теперь Веригину, посмеялся Илья, наклеить, выходит, бороду и — наутек?

«Мое дело особое!» — говорил он себе, поглаживая короткий пеньковый ус и чистый подбородок (бриться он не переставал с царской солдатчины).

Может быть, мысли его еще долго бы качались маятником, если бы жизнь не распорядилась без него одним махом за другим.

Тем годом Матвей ушел в армию. Проводы были без гулянья — отец отказал в деньгах, но выставил накануне четверть самогона, велел Мавре испечь пирогов и сгибней, позвал Матвеева крестного — кроткого мужичка, незадолго овдовевшего и на каждом шагу со слезой поминавшего покойницу. Пили стаканами, здравничали, чокались. Крестный поплакал — кто, мол, за здоровье, а я за упокой! — начал целовать кума, обоих парней, жалостно заголосил, вдруг оборвал себя, принялся, не вылезая из-за стола, топтать лаптями о половицы, неотвязно припевать на подходящий лад вывернутую песню:

Вси быяри яны пьють и ядуть,
Один хрестник ён ни пьеть и ни есть.

Илья больше молчал, покашивался на Мавру. Она была невесела, хмель ее не брал. Он спросил:

— Что не поешь?

— Тебя жду. Запоешь — подхватим с ребятами, — ответила она, не мешкая, но, смолкнув и посидев немного, рывком поднялась, вышла из горницы и долго не возвращалась.

Илья выпил стакан залпом, опьянел, стал несогласно махать на всех рукой, стуча размякшими пальцами о столешницу. Мавра повела его на постель, он дал себя разуть, продолжая отмахиваться и бормотать под нос.

Матвей с Николаем проводили домой крестного, еле двигавшего ноги, и пошли деревней назад в обнимку. Стояла ночная тишь, осень выдалась сухой, и, когда спросонья тьякала собачонка, лай стеклом откликнулся высоко в воздухе. Ни в одном окне не светился огонь. Коржики спали. Покачиваясь, братья дошли до двора, взобрались на крыльцо, глянули в небо.

— Помнишь, ты мне маленькому велел слушать, как звезды звенят? — спросил Николай.

— А что, не слышишь?

— Это свет дрожит.

— Ученый будешь, — засмеялся Матвей.

Ударив брата ладонью в плечо, он повернул его к двери.

— Раньше деревня новобранцев уважать умела, — сказал он тихо. — Нынче не то... Свет дрожит, — вырвалось у него словно нечаянно, и он опять засмеялся. — Айда спать.

Утром, после сна, Мавра собрала Матвею подорожной еды. Все отправились с ним. Отец поджимался, вздыхал, похмелье только начиналось.

— Болит, что ли? — спросила Мавра.

Он ничего не сказал.

Почти из каждого двора кто-нибудь выходил или выбегал и шел с Веригиными от своей избы до соседней, останавливался, прощался с Матвеем. Старшие напутствовали его добрым словом, молодежь обнимала, приятели с девушками дошагали до околицы, и отсюда Веригины двинулись одни, скорым шагом.

Они миновали ближний выгон и пажить, где старый, не по годам легкий пастух Прокоп шустро перекрестил Матвея, повторяя ласково: «Дай бог, когда что, ворочайся здоровый, дай бог...», — и Веригины вошли в лесное угодье.

Тут желтый свет берез бесшумно играл и осыпался наземь листвою, и грустно и сладко было молча шагать по золоченому коврику дороги, прощаясь с родным лесом. На выходе из березняка и кончились проводы. Илья первым остановился, первым обнял и, обдавая Матвея перегаром, трижды накрест поцеловал его в щеки. Потом Матвей простился с братом. Они поцеловались долгим, сильным поцелуем, так что стукнулись, встретившись, зубы. Матвей взгляделся в намокшие глаза брата, сказал:

— Когда теперь свидимся, Николка?

— Может... в армии? — будто робея, выговорил Николай.

— Я, чай, отслужу, как тебе идти.

И вдруг Мавра пошатнулась и бросилась на грудь Матвею. Она прижалась к нему, вскрикнула, на один миг стихла, потом неожиданно чужим голосом завопила, давась обрывистыми всхлипываниями и еле договаривая одно только слово:

— Сыно... сыно... очек!

Вопль ее колыхался в лесу перекатами. Она вздрагивала, билась лицом о плечо Матвея. Он силился отстранить ее, бормотал напуганно:

— Маманя... Мамань!..

Илья шагнул к ней, схватил под руки, оторвал, оттащил ее от сына.

— Ступай! — прикрикнул на Матвея с белым своим колючим взглядом.

Матвей отдал всем неторопливый поклон, крупно зашагал подымавшейся отсюда дорогой на село.

Ежели подвести счет, думал он, то вышло по-положенному: было вино были песни, были пьяные слезы, пролились и горячие. И вот идет он с мешком за спиной на сборный пункт в сельсовет, тоже как положено. Прощай, Коржики! Вспоили, вскормили молодца, обучили его славному ремеслу. Чего лучше? Шагай — ать, два! Унывать не к лицу. Не таким его растил батюшка, чтобы вешать голову, не таким — мачеха. Эх, мачеха, маманя Мавра Ивановна! Спасибо тебе, что была ты пасынку не меньше родимой матушки!..

6

С уходом сына Илья Веригин слег. Поначалу утешал он себя, что перепил, занедужилось от вина и болезнь скоро пройдет. Но время убежало, а он не вставал. Был позван фельдшер. Он легонько ошупал Илью Антоныча, долго, шевеля губами, составлял рецепт, сказал, чего нельзя есть, и под конец спросил, как думает больной насчет колхозов. Лекарство его не помогло. Тогда звана была известная по округе знахарка-баушка, говорившая, что лечить надо не болести, а слабость тела. Она охулила фельдшерскую кухню, присоветовала свою, пожирнее, и наказала, пока Илья не выхворался, чтобы и в думках не было поступиться чем колхозу, особенно (избави бог!) животной, потому-де без молочной сыты один конец всем — что хворым, что здоровым.

От баушкина лечения Илье тоже не сделалось легче. Кто к нему ни заходил — давал свои советы, и, хоть он был несговорчив, боль нудила пробовать что ни скажут, пока он не начал свыкаться с нею: чему быть, того не миновать.

Навещали его всю осень и зиму — не столько чтобы проведать о здоровье, сколько потолковать о заботах, и одни отговаривали идти в артель, другие наумливали записаться. Он всем отвечал:

— Встану, тогда решусь.

Но наедине с собою Илья в прятки не играл. Хозяйство легло на одну Мавру, кузница — на Николая. Парень хотя и сноровился ковать домашнее подручье — рогаши, кочерги, сковородники, — да ведь надолго его у наковальни не удержишь. Дружки частенько сживали с ним у кузницы, раскуривая самосадный табачок, калякая о том, кто куда подастся работать, учиться, пытаться счастье. Уйди Николай в город за своим счастьем — что делать? Если и поднимется Илья, все равно в полную силу ему уже не потрудиться, а взять работника — не то время. Вот и гадай. Жена к тому же не советчица — знай себе отшучивается:

— Аль мы хуже людей? У всех ничего, и у нас столько ж!

Раз зимней ночью, когда Илья маялся приступами боли, Мавра подогрела на щепочках заваренный с утра липовый чай и, подавая испить, наклонила к мужу раскосмаченную голову, зашептала:

— Ты смерти не зови. Зови житья некороткого. Вот рожу тебе сына, будет помога.

Он оторвался от кружки. Догоравшие щепки чуть вспыхивали на шестке. В полутьме ему плохо видны были Маврины глаза. Он тихонько отвел от лица ее густые, по-ночному черные волосы, всмотрелся. Она глядела ласково.

— Иль не в своем уме? — сказал он.

— Ума тут много не надо, — улыбнулась она, но без своей обычной шутовности, а словно задумываясь.

— Правда, стало быть?

— Правда.

Он смолкнул и все смотрел ей в глаза.

— Попей, покудова не остыло, попей, — сказала она, поднося питье к его губам.

Он вынул из ее рук кружку, стал медленно допивать. Остановившись, проговорил:

— Дождаться еще надо... помогу-то твою...

— Нашу, нашу с тобой помогу, — опять шепотом сказала Мавра.

— Все жданки съешь...

— Жить ради чего будет! — как в горячке, добавила она.

Он выпил чай, она отнесла посудину на стол, вернулась, поправила мужнину подушку, взбила свою, тихо легла рядом.

— Отпустило тебя маненько?

Он молчал. Ему хотелось спросить, когда жена ждет родов, но что-то не допускало до вопроса, и он знал, что не пускает, и дожидался, когда она скажет сама.

Не то чтобы он нарочно загадал, но получалось, как в загадке: ежели Мавра не испугается, скажет — стало быть, все как есть правда истинная, а ежели заботится, промолчит — тогда какая ей вера? Он прикидывал понятные ему сроки и высчитывал, сойдутся они по тайным его приметам или нет.

Этими расчетами и загадыванием Илью будто кто-то дразнил — они забежали вперед всех рассуждений, над которыми работала голова. Не позабылось, как на другой год после свадьбы Мавра родила недоноска.

Сколько они потом ни надеялись, детей не было. А жили без нужды. Самая бы пора. Стареть Илья тогда еще не собирался.

— Девку не послал бы бог,— со вздохом подумал он вслух.

— Клясться не стану, а сердцем чую — парень,— сразу отозвалась Мавра.

Они лежали по-прежнему тихо, и он спросил:

— А коль одна останешься?

— А не покидай, тогда и не останусь,— сказала она и, придвигаясь, обняла его.— Выздоровливай. К началу капусток крестины справим.

— Не раньше? — сорвалось у Ильи.

— Вроде бы не ране как к здвиженью.

Он слегка похлопал ее по круглому плечу и оставил лежать на нем руку. Получалось, что говорила Мавра правду истинную — счет его сходился. Но чтобы не выдать себя, он сказал прямо:

— Растить тяжело будет.

— Привыкать, что ль? Твоих вырастила, свово, чай, не тяжельше.

— Время трудное.

— Сам ты трудный! — бойко сказала Мавра.— Ах да ох не пособят... Вечер сустрела я председателя. Спрашивает, не пора ль, мол, веригинскому двору в артель идти. Я говорю, хозяин, мол, лежит хворый. А он мне — ступай, мол, сама. В артель-то. Нынче, мол, права одинакие. Что у мужиков, что у баб. В колхозе хозяйки тоже записанные. Ну, я ему свое: где муж, мол, там и жена.

Она переждала, не ответит ли Илья, но он смолчал. Тогда она повторила:

— Где муж, там и жена, говорю. А про себя соображаю: может, тебе с кузней выгода какая аль еще чего произойдет, коли меня запишут?..

Илья отнял руку с ее плеча.

Председателя артели он давно знал. Это был его сверстник, по прозвищу Рудня, крестьянин соседнего села. Они вместе призваны были из запасных и ушли на войну. Но земляк попал в австрийский плен, вернулся домой много позже Веригина, уже когда на деревне установились комитеты бедноты, и — грамотный, натерпевшийся в неволе, к тому же из маломощного двора — пошел работать в комбед. Слух о коржицком кузнеце, который прослыл комбедчиком, свел его с Ильей, но столкнуться им не удалось, дороги разминулись. Рудня ушел в город, на текстильную фабрику, и только десять лет спустя вернулся в село коммунистом, в самый разгар коллективизации. Тут он снова начал заглядывать к Илье на кузницу, втолковывал ему колхозный порядок, затевал споры с хуторянами — если кто из них случался к разговору, — убеждая, что кромешной их жизни пришел конец, пожили, дескать, особняками, опричь общества, и хватит — поворота назад не дождетесь. С Ильей он говорил мягко, дельно, и расставались они всегда по-хорошему, со смешком.

— Силком я тебя брать не собираюсь, ты мужик головастый, сам до нас придешь,— уходя, прощался Рудня.

— Где мне, колдыке, до вас догнаться! — отсмеивался Веригин.

— Доскачешь не хуже кого. Хромота тебе не помеха...

Ночной разговор с Маврой не выходил у Ильи из головы. Все было неожиданно, и он не знал, чему удивиться — тому ли, как жена подвела дело к записи в артель, или тому, с каким нетерпением ждет она ребенка. А что, если правда — можно и с колхозом поладить и кузницу оставить за собой? Родится сынок — одной ботвой с огорода его не поднимешь. С кузней двоих вон каких молодцов вырастил. И третий подойдет за ними. Глядишь, Николай не скоро сбежит в город, поработает до призыва на службу, а там и Матвей вернется, станет опять у горна. Славно

все может обойтись с легкой руки Мавры Ивановны, право. Нет, давненько не говоривалось Илье Антонычу с женой так душевно, как в ту тихую, темную ночь. И как ведь хорошо она под конец спросила: «Полегчало тебе от чайку-то?» А он и забыл, что попил чайку! Той ночью боли будто смилостивились над ним, отстранились, и он заснул.

Спустя недолго председатель явился к Веригиным самолично — забежал на минутку по привычке постоянно спешить. Не хитро было Илье смекнуть, что его прихода Мавра поджидала: все у ней оказалось под рукой, хоть она и причитала что-то о госте неожиданном, засуетилась, заахала, приглашая его садиться на кут. Рудня прошел в красный угол, пошутил:

— Не опоганю тебе святых-то?

— Святим-то что! Тебе б от них чего не попритчилось,— в лад ему смеялась Мавра.

Она встряхнула чистой скатеркой, покрыла стол, но Рудня сказал:

— Ты не хлопочи. Мне некогда. Да и праздновать рано. Ударим по рукам с Ильей Антонычем насчет артели, общее собрание тебя примет, тогда отпразднуем.

— Ты что, вроде разводиться со женой собрался? — угрюмо спросил Ильа.

— С женой кто тебя разведет? А самая бы пора тебе с кузней, Ильа Антоныч, тоже в артель податься.

— Отходную, стало быть, читать пришел,— сказал Ильа и, спустив с кровати ноги, тяжело поднялся.— Собирай, Мавра, собирай на стол. Кутью по рабу божию ставить рано, не одубел еще, ну а кузнецов Веригиных помянем, чем богаты.

— Бог с тобой,— испуганно втянула в себя шепотом Мавра, опускаясь на лавку.— Беду на беду наклїкаешь!

Ильа тоже сел прямо против гостя.

— Полно, Ильа Антоныч, плести вздор,— негромким голосом, но жестко сказал Рудня.— Послушай, что хочу тебе предложить. А там ругай иль жалуй.

То, о чем он сначала заговорил, было Илье не внове. Приближалась весна. Собранный по раскулаченным хозяйствам инвентарь ждал починки. Колхозу нужна бы заправская ремонтная мастерская, но, пока она будет, придется обойтись тем, что есть. Веригинская кузница слабосильна, но сельсовет обещает помочь инструментом, людьми. Не одна пара рук понадобится. Нужны и мастера и подручные. Коня в стан завести подковать — тоже надо суметь. Николай, конечно, как работал, так останется. Парень толковый. Был бы Ильа Антоныч в полном здравии — чего лучше?

«Ага,— наострился Ильа,— ну-ка, ну, чем теперь подаришь, говорун?»

— Рука в своем деле у тебя набитая,— не останавливаясь, продолжал Рудня.— Поправишься — не откажешь, чай, когда советом удружить, показать, что как надо. Народ тебя уважает, завсегда послушает. Мужик работающий, не чета кромешникам.

— Ладно петь. О себе я сам знаю,— прервал Ильа.— Ковать кулакам деньги я чертей в кузню не зазывал.

— В карман себе, видать, тоже много не наковал,— усмехнулся Рудня,— а хворобу нажил. По твоему здоровью кузнечное дело, пожалуй, уж непосильно. Попробуешь опять взяться — хуже не стало бы. Прикинь теперь: ты лежишь хворый, а налог на кузню набегаёт, платить надо.

Ильа слегка приподнятой рукой остановил Рудню, спросил без вызова, незлобно:

— Отбирать решил кузницу, а?

Он грустно поглядел на Мавру и отвел глаза. Она молчала, ни жива ни мертва.

— Решать будет правление,— ответил Рудня.

— Знамо, правление. Ну, а власть его полная?

— Это как?

— А так, что его власть отобрать. А чья, чтоб за кузнецом Веригиным кузню оставить? Чтоб ковать ему на общество, как прежде отец Веригина и дед ковали, и он с сынами.

— Такого ты, Илья Антоныч, от колхоза не дожидайся.

— Я к тому, что ежели над своим двором моя власть, то хочу — так решаю о нем, хочу — этак. К примеру, хочу — схороню двор-то, хочу — спалю.

Мавра ахнула, зажала лицо ладонями. Рудня пристукнул по столу кулаком, отчеканил негромко на низкой нотке:

— С примерами своими ты полегче. Другому кому сболтнешь — наплачешься. Скажут — грозишься петуха пустить по деревне.

Он подождал, испытывая суровым взглядом печальное лицо Веригина.

— Худа тебе в правлении никто не хочет.

— Худа не хотят. А на свалку стащат.

— Опять свое! — с досадой сказал Рудня. — Ты не противничай. Другую работу делать надо, вот что! Должность предлагается тебе, Илья Антоныч. На ставку. Понимающий в железном товаре человек требуется.

— Это где ж потребовалось?

— В сельпо. Наладить надо с мелочью скобяной. Мы на твой счет мыслишками намедни перекинулись.

— В торговца, значит, хочешь меня произвести.

— Торговцев мы скоро вовсе не оставим. Что в городе, что в деревне. Торговали — веселились... — Рудня, сам повеселев, начал выбираться из-за стола.

Он охватил бока ладонями, подтянул пояс. Мягко привскакивая на носках валенок — с нередкой у низкорослых, плотных людей живостью, — юркнул в свой овчинный тулупчик, схватил с лавки шапку-ушанку, не прекращая говорить.

— Посчитай, что выходит. Твоя ставка, прибавь Николай сколько выработает, да скинь налог, да Мавре Ивановне своя пойдет плата... Решай. Время не терпит. С меня тоже спрашивают. Забегу днями за ответом.

Он взмахнул шапкой, потряс ее сердито, держа за одно ухо.

— Смотри, кончать надо с хворобой-то!.. Не провожай, не провожай, — еще сердитее тряхнул он шапкой на поднявшуюся Мавру и уже за дверь, из сеней, докричал: — Прощевайте! До скорого!..

Было долго тихо в избе после его ухода. Мавра, стараясь не всхлипать, укромно вытирала щеки. На мужа страшно было взглянуть: знала — покамест сам не заговорит, мешать ему нельзя.

Он смотрел в обледенелое стекло. Уже сумеречнело. За окном февраль, подметая дорогу, натягивал поземкой снежок к веригинским воротам. Чего Илья ждал, все сбылось. Но почему же теперь нужно убеждать себя, что он вправду этого сбывшегося ждал? Почему чудится оно негаданным, неожиданным? Февраль — кривые дороги. Скривилась дорога Ильи Антоныча. Метет поземка. Завалит снегом ворота — не отворишь. Не конец ли наступил веригинскому двору? Доконала бы уж скорее немочь, чтоб не видать Илье разорища своими глазами.

Вдруг Мавра осмелилась тихонько подать голос:

— Принести поттить капустки, а? Может, поешь?

И так же вдруг Илья ответил ей спокойно:

— Вина стакан налей.

— Ой! — вскрикнула она.

— Чего забоялась? Припасла, чай, зелья председателю?

— Кабы ты не повредил себе пуще!

— Клин клином... Да взгляни — может, Николай где за воротами.

— Сейчас покличу.— Мавра кинулась к сеним, на ходу сдергивая с колка платок и повязывая голову.

Так кончился этот день у Веригиных — втроем, всей наличной семьей, выпили они без долгих здравниц и поужинали. Кончился день, и каждый думал свое, но своим-то было у всех одно — за что поднят стакан лютой сивухи? Что увиделось на его мутном доньшке — кручина или упование? Оплакивать ли прошлую жизнь или играть встречу новой?

Назойливо занимал мысли Илья Антоныча нечаянный случай, о котором узнал он вскоре после свидания с председателем. От брата Степана, редко дававшего о себе знать, пришло письмо с просьбой о согласии Илья записать его крестным отцом родившейся у Степана девочки. Лидия Харитоновна, писал брат, не нарадуется на дочку свою, целую жизнь протосковавши по ребеночку, и теперь торопится с крестинами, велит сказать, что нарекают новорожденную Антониной и ждет от девера проздравления.

— Гляди-ка,— смеясь, сообщил Илья новость жене.— Лидия поздняка родила! Обогнал меня брат!.. Ну, Мавра, смотри, чтобы наш с тобой поздняк был Антоном,— уже всерьез добавил он.— Степан, поди, тоже сына чайл. В почтение к нашему батюшке назвать собирався. А вышла Антонина.

— Как вышло, так получилось,— обиженно сказала Мавра.— Чай, Лидия куда меня старее. С чего это мне поздняка ждать? Самый раз первенцу быть!

— Ну, старайся,— будто уступая, смягчился Илья.

Он понимал, что шутить не надо бы, но невольно прикрыл шуткой свою тревогу — принесет ли ребенок утешение, которого он с Маврой ждал. Не раз заводил он ту же речь на новую погудку, хоть видел, как жена все больше пугается таких разговоров. Незадолго до родов она совсем заробела и часто стала плакать. В непрестанном беспокойстве остались позади весна, лето, и, верно, не бывало никогда Веригиным тяжелее, чем в этот год.

Илья, немного поправившись, начал ходить на новую свою работу, в лавку сельпо. Сама работа была нетрудной, ни в какое сравнение с кузнецкой, но ходьба поутру и вечерами отнимала много сил. В непогожую осеннюю пору заночевал он однажды в лавке, чтобы не тащиться по мокряди домой, а на другой день приехавший из Коржиков колхозник привез ему поклон от Мавры Ивановны, наказ приходить домой с подарком повитухе и поздравление с сыном.

«Наша взяла!» — подумалось Веригину, и он хлопнул по протянутой ему руке, благодаря вестника за радость, хоть и екнуло сердце: не пришлось бы застыдиться своей радости, если вокруг начнут перемигиваться — старшие сыны, дескать, в женихах ходят, а тут снег на голову: сосунок! Но Илья сразу же приободрил себя: не старик же он в самом деле, да и не наздравствуешься на всякий чох!

С этого дня в веригинском доме наступила новая пора. Бывает, что свет проколет иглой тучную толщу неба, зажжет какой-нибудь одинокий пригорок — и сразу далеко по земле откликнутся этому лучу разноцвет-

ные краски, где не было их, и сами тучи сменяют свою плоскую хмурь на игривые мелкие волны.

Забот прибавилось с появлением ребенка, но тягостное полегчало, мрачно посветлело. Все материнское, что томилось и просило выхода, как по взмаху руки, высвободилось и ожило в Мавре. И хороша она стала, и нежна, и будто сильнее самой себя, и не случалось больше дела, которое было бы ей не по нраву. Отец смастерил и повесил в избе на матицу колыбель, мать окружила ее цветастым положком.

— Здравствуй, Антон Ильич, живи долго,— сказал Илья, отодвинув полг и проверив, каково в люльке краснолицему, морщинистому и сварливому, точно старичок, младенцу.

Счет годам велся теперь у Веригина по меньшому сыну. Старшие только изредка отметят письмецом один-другой праздничный день, да и не тревожат больше отцовскую память. Пока Николай служил в армии и учился в летной школе, он даже приезжал на побывки. От Матвея же подолгу не бывало и слуху. Но время вывернуло все наоборот. Николай, женившись, перестал баловать отца вестями, а Матвей начал словно бы тосковать по деревне, писать чаще, собираясь приехать.

Сперва, однако, довелось приехать к нему в Москву Илье Антонычу, и причиной была все та же старая веригинская болезнь. Она то отпускала, то наваливалась. За здоровьем Илья ездил не раз в Дорогобуж, в Смоленск, наконец дошел до столицы. Лечили везде по-разному, а болело одинаково. Все же Москвой он остался доволен. Тут, правда, не ладилось с ночевками, зато закупил он по магазинам такого добра, что потом к Мавре целый месяц ходила деревня смотреть и щупать мужнины подарки.

Но главное, что Илья привез домой, было заново потеплевшее чувство к сыну. Матвей показался ему больше прежнего дельным, степенным, а уж молодцом таким, которым всякому родителю только бы славиться. Вспомнилось Илье ненароком, как вбил себе в голову мысль о негожем у сына с Маврой, но он засовестился, обругал себя старым чертом и дурнем. На расставании он взял с Матвея слово, что тот по весне непременно побывает в Коржиках.

Одна за другой проходили весны, но ждал Илья напрасно. Нелегко ему было переиначивать свою думу к невыгоде сына, да хочешь не хочешь выходило, что слово Матвея некрепко. Горько было, когда он не ответил на отцовскую жалобу по случаю одной беды, посетившей веригинский двор.

Если всему старому впрямь наступил конец, какие могут быть расчеты на старших сынов? Ходит же Илья Антоныч мимо былой своей кузницы и не поведет на нее даже глазом. Никому она не нужна, и стежка к ней затянулась травой. Шумит вдалеке машинно-тракторная станция, шумят вокруг нее новые люди. И забыл говорить Веригин, что он кузнец, а шагает что ни день к себе в сельпо, на службу, да думает об одном — как бы вывести в новые люди меньшого сына, ненаглядного Антошу.

Глава вторая

1

Уже пригревало, но Матвей по-прежнему шел в пиджаке. До Коржиков оставалось лесное урочище с деревней, прозванной Дегтярями. В местах этих исстари гнали деготь, с угольных куч в лесу далеко разносило дым и сажу, вся деревня чернела закопченными кровлями неприятных изб,

Пройдя околицу, Матвей взглянул на Дегтяри, узнавая отвоеванную у леса под огороды и дворы протяженную полосу земли с одной улицей из конца в конец.

Новый дом лучился на ближнем краю порядка, обшитый свежим тесом, очень казистый, а рядом с ним низко ушла в грунт стародавняя избенка, такая темная, словно ее только что окунули в деготь.

Тут Матвей развел руками: перед избенкой стоял неподвижно человек, и в человеке этом нельзя было не признать дегтяря Евдокима. Он смотрел навстречу пришельцу из-под козырька старого огромного картуза, плоское тело его было вставлено, будто в короб, в засмоленный драповый пиджак без единой складки, с отвислыми ниже колен полами. Черные оборы обтягивали его худые икры, и только лапти светились новизной лыка, как янтарь. Совсем таким же видел его Матвей в последний раз на завалинке этой самой избы много лет назад.

— Здорово, дядя Евдоким,— почтительно сказал Матвей, подходя, и снял кепку.

Евдоким тоже снял свой картуз. Еще не сплошь седую гриву его слегка перебрал ветер, он взял в щепотку клочок бороды, прихватил волоски губами.

— Это кто ты будешь? Веригин, что ли?

— Он самый, дядя Евдоким. Здравствуй.

— А... Ну, здравствуй, малый.

Он взгляделся в лицо Матвея, потом взыскательно обследовал на нем всю одежду.

— Ишь, как оформился,— сказал он и протянул руку с таким видом, будто не произошло ничего примечательного, а увидел он знакомого, которого видит изо дня в день.— К отцу, значит?

— К отцу.

Евдоким шагнул к завалинке.

— Прямаялся, поди. Отдохни.

Они сели рядом. Матвей молчал, ожидая расспросов, сам думая, о чем спросить.

Из новых соседских ворот выскочили вперегонки двое мальчуганов, лет по семи, добежали до середины дороги, заметили Матвея, остановились, пошли тихоньким шагом, оглябая Евдокимову избу дальше и дальше.

— Вот я вас! — вдруг сильно хлопнул картузом по коленям Евдокима.

Мальчики по-заячьи дали стрекача назад к воротам. Матвей засмеялся, Евдоким чуть приметно усмехнулся, сказал:

— Ты как подошел, я тебя враз угадал. Не иначе, думаю, веригинские кусанцы... зубы-то... В родимые, значит, края пожаловал. Гостем.

— Отпуск вышел.

— Понимаю. Посмотреть, как сеем, косим, харчей просим... С отцом-то давно не видались?

— Четыре года, как он в Москву приезжал, к доктору.

— Слыхали. Куда, сказывал, супротив нашего Дорогобужа Москва-то...

— Попространней,— улыбнулся Матвей.

— Я и говорю... У хозяина работаешь?

— У хозяина. Машину вожу.

— Сам-то не ходит? Хозяин-то.

— Не хуже нас с тобой.

— Важность, значит, не допускает. Понимаю... Слышать, ты и Ныркова Тимофея к месту определил, где сам?

Матвей насупил брови.

— Тоже отец рассказал?

— Народ знает. Нынче Москва песни играет, а Дегтяри притопы-
вают.

Евдоким постучал лаптями о землю, тонко улыбнулся Матвею.

— Во как у нас. Видал, шесты на избах? Как чуть чего — нам из-
вестно.

— Нырков против прежнего совсем другой, — сказал Матвей. — И бо-
роду сбрил.

— У меня вон она, борода-то, — чего в ней укроешь? Какой есть. Злобу не сброишь... Обидели Тимофея коржицкие. Куда податься? В го-
род. Город всех подберет.

— Нырков не в городе, он дачу сторожит.

— Все то же. Жалованье схватил — сейчас в булочную. Иль за
шиблетами, как у тебя...

Евдоким подвинулся к Матвею. Матвей близко увидел его лицо, исчерченное крестами морщин, красноватые веки, подернутые слабой слезой.

— Объясни мне, малый. Чего это народ все в город да в город? Одни города, что ль, останутся теперь, а?.. У кума моего девчонка. Отвез ее учиться. Выучилась. Он — за ней, хотел ее домой. Она ему: что, говорит, дура я далась, семилетку кончила — в колхоз ехать! С моим, говорит, средним образованием, где хочу, меня примут. Во как! И, поди-ка, вышло по ее: в Дорогобуже на почте через окошко командует... Не ради деревни народ учится.

— У тебя ведь сын был, ровесник мне, он где? — спросил Матвей.

Евдоким показал на ворота, откуда опять жадно зарились во все глаза мальчонки.

— Внучата мои, — ласково сказал он, — погодки Васильевы.

— А сам Василий?

— Техником в Смоленске, дома строит. Вот и себе какую хоромину срубил. Васильева изба-то. Прошедшим летом поставил. Сноха на нас со старухой глядеть не желает. По пятистенке знай похаживает, слушает, про что радива играет.

— Что же он тебе-то избу не поставит?

— Может, ты своему отцу приехал ставить? — сердито спросил Евдоким. — Тулуп сосновый он мне сколотит, как на погост провождать... Прислал на святки письмецо — с Новым годом, пишет. Ему — новый, а кому — старый... Смотри, в чем хожу!

Он опять, но уже невесело топнул ногами по тугой земле.

— Лапотки завидные, весеннего лыка, — с улыбкой одобрил Матвей.

Евдоким отвернулся, вздохнул.

— Вот и видать — деревней учен, городом переучен. Осенние лыки супротив весенних в три раза носче... Да и не бывал я с осени в лесу. Внучат водил в орехи. По-стариковски.

Он поднял голову, взгляд его ярче блеснул слезой. Вздернутая кверху борода, совсем белая над кадыком, перисто зашевелилась, когда он пожевал губами, и стало видно, что у него почти нет зубов.

— А разве больше не гонишь дегтя? — спросил Матвей.

— Дался мне деготь! Сколько живу — чертом хожу. Пора, чай, от-
мыться.

Евдоким обернулся лицом к Матвею. Щеки, виски, переносье сморщились у него от неожиданной задорной усмешки.

— На кой леший тебе деготь? Небось свою машину маслом смазываеть?.. И мы не плоше людей. Слышишь, за лесом трактор фукает? А телеги колхозные о трех колесах. Мазать-то нечего...

Подумав, он вымолвил самому себе: «Деготь!» — потом толкнул Матвея плечом и вдруг оживился.

— Дочь у меня в Калуге за слесарем. Хороший мужик. Бойкий до заработка — страсть! Домишко у него за Окой. Знаешь Калугу? Сейчас как через мост — выселки. Ну, при домишке огород. Корову держат... Так дочка обещает забрать меня с матерью к себе. От мужа, говорит, есть полное согласие. Хороший мужик, зять-то мой...

Матвей засмеялся.

— Выходит, тебе тоже неохота век вековать у себя в Дегтярях?

Евдоким глянул на него недоверчиво, но тотчас лицо его опять сморщилось, он рассмеялся частым, едва слышным кхеканьем, разинув пустой рот.

— Ты что же, малый, думал, хитрей молодых никого нету? Кхе-хе!

Они со смехом всматривались друг другу в глаза, довольные, что вполне высказались.

Помолчав и покашляв, Евдоким слегка привалился к Матвею, навел на свое лицо строгость, доверительно снизил голос:

— Чай, поди, Сталина тоже видал? В Москве-то.

— Видал. Когда еще на грузовом транспорте работал. С демонстрацией по Красной площади ехал, на трехтонке шар земной вез. С флагом. Ну, и близко вот так вот его видел.

— Как до Васильевых ворот? — показал Евдоким и, когда Матвей подтвердил, дважды покосился на ворота, прикидывая расстояние. — Ну как он?

— Что — как? — переспросил Матвей. — Помахал нам рукой, мы и поехали.

— Сами не помахали? Ему-то.

— Еще как!.. Я, конечно, дистанцию держал, за рулем сидел. В шару.

— В самом шару?

— Ага.

— А каким манером ты его из шара видал?

— Окошечко было. Не то я весь бы народ передавил.

Разговор был серьезный, и Евдоким не торопился с вопросами, обдумывая, все ли сходится.

— Ну, а чтобы потолковать?.. Не приходилось?

— С кем это? — спросил Матвей, заглянув ему в пытливо сощуренные глаза.

— Ну, про кого говорим! — вдруг нетерпеливо ответил Евдоким.

— Ишь, чего захотел! — рассмеялся Матвей.

Отворилась калитка, и оба они посмотрели назад.

Со двора, держась большой бородавчатой рукой за черную вереву ворот, выглядывала старая женщина. Тяжелый подбородок, обросший пухом, оттягивал книзу ее челюсть, приоткрывая рот, и лицо ее казалось недоуменным.

— Вот, мать, — сказал Евдоким, — смотри, кто пожаловал. Не признаешь? Веригинский старшой.

— Поди-ка, — сказала женщина ровным басистым голосом, но не изменяя недоуменного выражения лица.

Так же, как Евдоким, она изучила медленным взором одежду Матвея, посмотрела на чемоданчик, покачала головой и, отняв руку от вереи, сложила накрест под грудями крупные свои кисти.

— В сам деле ведь никак Матвей? — без всякого участия спросила она.

Веригин поднялся и, смутившись безразличием хозяйки, приветил ее:

— Здравсте, тетенька... как зовут — запомятовал.

— Москва память отшибет! — весело сказал Евдоким. — Ненилой зовут, по отчеству — как тебя.

— Извиняюсь, — поклонился ей Матвей.

Она ответила ему поклоном.

— Из Москвы приехал сынок-от, — сказал Евдоким с оттенком гордости то ли за гостя, то ли за себя.

— Поди-ка, — повторила хозяйка.

— Чем будешь угощать-то, мать?

— Спасибо, я теперь пойду. Вот только попить бы... — сказал Матвей и, подождав немного, добавил: — Водицы разрешите.

Ненила молча повернулась, ушла, калитка хлопнула за ней по столбу.

— Вот она какая... положение наше, — раздумчиво выговорил Евдоким и снова прихватил губами кончик бороды.

Матвей не понял его, но, находя, что промолчать неудобно, а сказать нечего, согласился:

— Это конечно...

Ненила вынесла большой ковш воды. Принимая его из ее морщинистой, усыпанной бородавками руки, Матвей увидел свою руку с гладко натянутой по пястке кожей. Он перевел глаза на воду. Она была прозрачной. Ковш, наверно, заново вылудили совсем недавно, его дно серебристо светилось, и когда Матвей начал пить, ему, как из зеркала, засмеялись из воды яркие глаза, и отражение лица его слегка качалось в ковше из стороны в сторону, пока вода, убывая, не успокоилась.

Внуки Евдокима решились наконец подойти ближе. Тараша глазенки, они наблюдали, как Матвей пьет, и Евдоким с Ненилой тоже внимательно смотрели, ничего не говоря.

Он чувствовал холод колодезной воды, покусывающей горло и начинавшей словно играть с кровью во всем теле, и с каждым глотком удовольствия его становилось больше. Он выпил весь ковш и с улыбкой плеснул последней каплей воды в мальчуганов, которые уже ничуть не испугались шутки, а только отозвались застенчивым смешком.

— Спасибо, Ненила Ильинишна. Все нутро вздохнуло! — сказал он, продолжая улыбаться.

— Значит, понравилось... — разъясняюще проговорил Евдоким. — На здоровье.

Женщина пристально следила, как Матвей взялся за чемоданчик, поднял его с земли, обтер снизу ладонью. Вдруг она спросила:

— Ларец, поди, гостинцами набил?

— Деньгами, деньгами, мать! — вскрикнул Евдоким, рассмеялся и размазал пальцем быстро выступившие слезы. — Была бы догадка, а в Москве денег кадка!

— Иль бы чего продавать привез? — невозмутимо спросила Ненила.

— Монисты бабам! — внезапно переходя со смеха на укоризну, оборвал ее Евдоким. — Монисты в Москве тоже лопатами гребут...

Он поднялся, протянул Матвею руку. Точно заглаживая необходимость жены, он сказал с почтением:

— Илье Антонычу, придешь домой, кланяйся.

Матвей попрощался с ним и шутливым голосом еще раз поблагодарил хозяйку за воду.

Она поклонилась ему почти в пояс и ответила с прежним недоуменным выражением лица:

— Не взыщи, когда чего не так... Нету у нас квасу-то.

Матвей напоследок кивнул старикам и зашагал вдоль широкой, длинной улицы Дегтярей.

Шел он со странным ощущением, которого не было до встречи с Евдокимом и Ненилой. То ли его забеспокоила мысль о том, как же теперь живется в Коржиках отцу с семьей, то ли показалось, что напрасно он на прощание опять сказал Нениле насчет воды.

«Ну, да ведь и дура она», — подумал он, вспомнив вопрос ее, не привез ли он чего продавать. Но низкий поклон, с которым она попросила не взыскать за угощение, все повторялся его памятью.

Оба внука Евдокима перегнали Матвея и бежали впереди, смело оглядываясь на него, словно хотели похвастать: а вот и не боимся!

Он только было вздумал заговорить с ними, но они встретили других мальчиков, остановились с ними, пропустили Матвея и все вместе долго провожали его изумленными глазами.

На выходе дороги из деревни торчал длинный журавль без бабьи, наискось лежала упавшая одним торцом на землю водопойная колода. Коза, сладко зажмурившись, терлась о колоду раздутым белым боком. Давно, видно, никто не подходил к колодцу — вокруг плотно стлалась кудрявая мурава.

Прохлада недавно выпитой воды еще не совсем исчезла в теле Матвея, ему хотелось перестроить мысли на тот приятный лад, в каком они вертелись прежде, но все не получалось.

«Хорошо еще, что напился, — размышлял он. — Ненила, может, и добрая баба. Да все они, в Дегтярях, нескладные. Темный лес!..»

Все кругом казалось ему скучнее, чем было ранним утром, когда он выпрыгнул из грузовика и почуял щедрые запахи земли. И смотрел он на все ленивее. Ничего, правда, не было привлекательного в топкой равнинке с болотной зеленью, в участке мелколесья, куда змеилась дорога, ни в самой дороге с промятинами сырых колеи, ни в редких отдельных кустах ольхи по сторонам, ни даже в двух каких-то путниках, нечаянно замелькавших вдали между этих кустов.

Но в однообразии природы глаз, заметив живое существо, всегда следит за ним, и Матвей невольно всматривался в пешеходов, которые меняли свое движение то вправо, то влево по змейке дороги.

Оба они сначала почудились ему одинаковыми и ростом и всей своей статью. Потом он заметил, что один был будто потяжелее другого. Дорога все петляла, и то какой-нибудь ближний к Матвею куст, то дальний заслонит от него идущих, и он все не может разглядеть, кто они, как бывает во сне. Затем путь спрямился, и Матвей увидел, что встречаемые близко и что один из них строен и легок, как мальчик, а другой точно бы старше и припадает на одну ногу.

Матвей никогда бы не ответил, почему само собой так вышло, что он убавил, а потом сразу прибавил шагу и что в ту же секунду тот, старший, который прихрамывал, сильнее заковылял ему навстречу, взмахнул руками, и он ясно услышал тонкий отцовский голос:

— Матвейка-а!

Он бросился к отцу беглым шагом, но, увидав, что тот тоже побежал, крикнул: «Не беги!» — и сам утишил бег свой, одернулся, хотел еще что-то сделать, чтобы все было достойно, но ничего не поспел.

Отец обнял Матвея, задев и сбросив наземь с головы его кепку, и Матвей, прижимая к себе его узковатую, часто дышащую грудь, услышал, как быстрым глубоким вздохом оборвалось у отца едва начатое неразборчивое слово.

Разняв руки и успокаиваясь, они степенно трижды поцеловались и отступили на шаг друг от друга. Илья Антоныч смотрел на сына маленькими, светлыми, счастливыми глазами родителя, любящегося пер-

венцем, и Матвей, чувствуя, что в такую минуту положено быть во всей красе, достал из кармана расческу.

— Неужели Антоша? — спросил он, переводя взгляд на мальчика.

— А кто ж еще?.. — сказал довольный отец и тоже посмотрел на младшего. — Чего стоишь, Антон? Здравойся. Да не видишь — поднять надо кепочку братнину!

Мальчик поднял и бережно, чуть издали, подал кепку. Матвей протянул его к себе, поцловал в щеку.

— Повыше вас, пожалуй, выйдет ростом, папаня, — сказал он, впервые в жизни приглядываясь к брату.

— Да уж догнал! — ответил Илья с удовольствием и, как всегда при долгожданных встречах, заговорил как будто о другом, но в самом деле все о той же радости свидания: — А я поутру прихожу во Выходы, шофер к селю подъезжает — валяй, говорит, домой, к тебе сын приехал! Бреши, говорю. Чего ж, говорит, брехать, я его со станции до старых вырубков подбросил. А тут как раз нашу машину в Коржики отправляют. Я — в нее! Прибег домой — где Матвей, спрашиваю. Мавра, у печки стоит, на меня глаза таращит. Наврал, говорит, шофер. И я вроде опять думаю — не наврал ли? Да только тут соображаю — не мог, думаю, ты так скоро дойти. И говорю Антону: собирайся, пойдем встречать — Матвею, говорю, со старых вырубков не иначе идти, как Дегтярями.

Илья передохнул, и тогда Антоша решил вставить первые свои торопливые, в тон отцу, слова:

— Мама говорит — надень сапоги, а я говорю — босиком скорее. Рубашку стираную надел и — айда!

Он провел ладонями по пестрому выглаженному ситцу рубахи от груди к поясу и покосился на брата. Тот глядел на него с любопытством.

— Я первый, только мы с папаней вышли из леса, увидал... — начал было Антоша, но запнулся, все еще нетвердо чувствуя себя в обращении с Матвеем.

— Мавра-то обрадовалась, как я объявил, что ты приехал. Наврал, говорит, шофер, а сама, вижу, радуется. Ждали мы очень тебя, вот-вот, мол, должен быть, — сказал Илья любовно.

— Как мама поживает? — спросил Матвей.

— Здорова, ей что?

— А твое-то здоровье?

— Дать боли волю — плохо. А пока на ногах — то подступит, то и отпустит.

— Лекарства я тебе привез.

— Вот спасибо... А Мавра уж очень обрадовалась. Угадал, говорит, Матвей, когда приехать: корову как раз вчера пригнали.

— Купили? — живо спросил Матвей.

— Вчерашний день Лидия из Черни пригнала. Нынче уж в стадо пошла.

— Из Черни? Что ж так далеко?

— В тамошнем районе цена посхоже оказалась. Я брата Степана письмом спрашивал, какие у них цены, а он и пишет: приезжай — обходчик, сосед Степанов по участку, в город переезжает, хозяйство свое ликвидировать. У него корова ярославка, первотелка. Я поехал. Заявился к обходчику, а ему в городе еще квартира не вышла, отложил продажу. Я думал, зря издержался на билет, знаешь сам, как ездить. Вернулся, а мне вдогонку Степан опять письмо: приезжай, квартира вышла обходчику, продает корову. Тыфу, думаю, черт, — дался я вам ездить вперед! А корова хорошая, спина только вроде припадливая. Ну уж а мастью нарядная. Наша прежняя — куда!

— Сама черная, а ноги в белых чулках, — с восхищением и проворно сказал Антоша. — И голова вся как есть белая, а на глазах черные очки!

— Мавре как рассказал, — продолжал Илья, — так она не дает мне покою: отпиши да отпиши Степану — может, Лидия согласится пригнать. Ну, пошла ходить почта туда-сюда. Согласилась Лидия пригнать. Подаришь, пишет, два поросеночка за хлопоты — пригоню. Да Степан, мол, тебе во льготу, исхлопочет на железной дороге, чтобы доставили корову с порожняком задарма до самых Сухиничей. У них это, у железных дорожников, вольготно — катать, куда хошь...

— Сколько дал-то? — спросил Матвей.

— Дорого дал. Две тыщи без сотни.

Матвей прикрыл горстью губы, потихоньку оттянул их, сказал:

— Переплатил вроде...

Илья ответил, помешкав и словно робковато:

— У нас к двум-то сотни четыре прибавишь. Да поди-ка поищи.

Он опять немного помолчал, ожидая, не скажет ли чего Матвей. Потом с пытливой и неуверенной улыбкой, слегка отворачивая в сторону лицо, спросил:

— Ты, чай, привез деньжонок, как обещал? Поддержать меня.

— Привез, сколько мог, — сказал Матвей.

Тогда улыбка отца из неуверенной сделалась доверчивее, но в голосе его появилось что-то просительное.

— Задолжал с покупкой этой, право, ей-богу. Отдать бы скорей, не подвести. Без скотины куда денешься?.. Пришлось занять.

Матвей сделал вид, что пропустил рассуждения отца мимо ушей.

Они уже вошли в перелесок.

Антоша держался справа от брата, неслышно перескакивая через наполненные водой выбоины босыми ногами, а отец шел по другую руку, так что гостю приходилась неразъезженная середина дороги и он выступал ровным шагом, точно хозяин. Он сам заметил, что отец, вроде Антоши, перескакивает через лужицы, и сказал:

— Что ж тебе, папаня, пристяжной прыгать? Иди на середину.

— Ничего, — бойко отозвался Илья, — мы народ нетяжелый, нам что пеньки, что кочки. А у тебя подошвы привыкли, поди, к асфальту.

Матвей увидел, как оба они повели глазами на сго туфли, и взгляд отца напомнил ему Евдокима, а взгляд Антоши — Евдокимовых внучат.

— В Дегтярях Евдокима видел. Вселел тебе кланяться, — сказал он.

Илья махнул рукой, как на несостоящее дело.

— Не говорил тебе — в колхоз не собирается? — спросил он, посмеиваясь.

— Разве он не в колхозе?

— Какое! На всь сельсовет один такой остался — Евдоким. Как осень — записываться, как весна — раздумал.

— Да ведь он беден? — удивился Матвей.

— Мышей в избе не осталось. Ну а все одно: упрется — не переломится. Характер!

Илья приостановился, обдумывая, не молвить бы лишнего.

— Дал бы чемодан Антону, устал, чай, нести, — сказал он заботливо и вдруг решил кончить свою мысль так, как она пришла в голову: — Евдоким на детей рассчитывает — будет, мол, сыновьями в покое жить. Да не всякий сын на старость печальник. Не больно детки ждут к себе...

Матвей только глянул вбок, ноймал выжидательный, прицеленный на него глаз отца и громко спросил забежавшего вперед братишку:

— Как пойдём, Антоша?

— Сейчас за мной по стежке, прямо на новый выгон, — показал мальчик, сворачивая в мелкий, частый осинник.

Двинулись гуськом по просеке, устланной с осени глянцем черных пятак листьев. Ноги с чавканьем отжимали из-под мягкого настила воду, которая зеркальцами держалась в следах, претря отражениями солнечных пятен и бледно-зеленых стволиков осин.

Тут что есть мочи насвистывало и верещало множество разных пичужек, то перепархивая внутри жидких крон, то пулями простреливая узкую синюю полоску неба над головами. Весна обратила жизнь скудного клина мелкоколосья в звонкий, цветистый праздник, и незаметно Матвей опять стало хорошо на сердце, и недовольное чувство, что отец с первых слов начал клонить разговор к деньгам, прошло.

Они выбрались из леса на чистую низину, поросшую высокой уже травой. Поперек их пути тянулась глубокая канава с темной водой на дне и буграми вынутой торфяной земли. Матвей не узнал этого места, хотя отсюда уже начинались коржицкие угодья.

— Колхоз наш осушает,— сказал Илья.— Второй год как стадо сюда гонять начали, а то ведь, помнишь, трясина была, не пролезть...

— Ну, давай, папаня, руку,— с веселой улыбкой сказал Матвей, когда все трое взошли на бугор и надо было прыгать через канаву.

— Не-ет,— так же весело отмахнулся отец,— я пока еще резвый!

Антоша первым легко перескочил до самого гребня противоположной насыпи и побежал книзу по тропке.

За ним прыгнул Илья Антоныч. Но до бугра насыпи он не допрыгнул, сдвинул подошвой землю к краю, она посыпалась в канаву, он пополз, припал на колени и схватился руками за бугор.

Матвей перепрыгнул следом за ним, бросив чемодан далеко вперед, и крепко подхватил отца под локти.

— Маленько просчитался,— тихо и как будто виновато говорил отец, стараясь улыбаться и отряхиваясь.— Ничего! Не зачерпнул — и ладно!

— Ступай вперед, папаня, тут узко,— сказал Матвей и пропустил отца вперед по тропке, непонятно для себя испытывая перед ним неловкость.

Когда он увидел отца со спины — его лопатки, как у мальчика, углами выпирающие на полинялом пиджаке, его тоненькие шейные мышцы с запавшей под затылок ямкой между ними,— у него зашипало в горле, и он быстро повторил, чтобы отец вдруг не обернулся:

— Иди, иди! Я за тобой...

Только тут он понял, что отец состарился, что, наверно, он уже неправимо болен и что вряд ли долго будет болеть. Первый раз в жизни Матвей почувствовал к нему острую жалость и впервые сказал про себя, что ведь папаня-то у него один на всем свете.

Пройдя несколько шагов в этих нечаянных раздумьях и поборов совсем новое для него волнение, он спросил:

— Много ль ты, папаня, задолжал, с коровой-то?

— А четыре сотни аккурат! — мигом выкрикнул Илья тонким своим голосом и повернул к сыну дрожавшую голову.

— Иди, иди,— повторил Матвей,— мокро тут по сторонам.

Он видел, как забеспокоил отца его вопрос,— Илья даже прихрамывать стал больше, и плечи передергивались у него, словно надо было расправить тесную одежду, пока наконец ему стало невтерпеж и он спросил вполборота:

— А сколько ты мне, Матвей, привез?

Матвей долго шел молча, прикидывая, что же ответить.

— Полторы сотни, папаня,— проговорил он неторопливо.

Отец с такой быстротой повернулся назад, что Матвей чуть не наступил ему на ноги.

Они стояли плотно друг против друга, и перед Матвеем зажглись на один миг знакомые с детства белые точки в глазах отца, но тотчас и погасли. Все лицо Ильи Антоныча неожиданно зарябилось жидкими морщинами, как у просливой старушки, и он выдохнул с болью:

— Ну хоть две сотни с половиной, сынок, а?..

3

Антон первым взбежал на крыльцо с криком:

— Пришли!

Перепрыгнув через порог горницы, остановился, восхищенно вытарашил глаза на мать, сказал вдруг тихо:

— Идет... — И замер с открытым ртом, не решившись назвать брата просто Матвеем, а по-другому не выходило.

Мать второпях отставила кочергу, прикрыла печь заслонкой, сдернула с плеча измятый рушник, наскоро вытерла руки. Лидия, сидевшая у стола, привскочила, сунулась лицом к зеркалу на стенке, стала быстро подбирать седоватые волосы с висков на затылок, под тяжелый, еще сплошь вороной узел.

Матвей с отцом помедлили перед избой. Она казалась Матвею низенькой, дряхлой рядом с той, которая жила в памяти. И ворота и двор — все точно сжалось. Не потому ли, что Матвей давно уж москвич и глаз привык к большим меркам?

Отец угадал, о чем он думает, проговорил с сожалением:

— Выпрело бревно. Изба выстывать стала.

— Век, что ли, стоять? Дед еще рубил, — успел сказать Матвей, снимая почтительно кепку навстречу Мавре.

Потопывая по ступенькам каблуками новых башмаков, она сразу залила звонким своим голосом все вокруг:

— Только я в печи уголья загребла, а гость во двор!

Она с бега выпрямилась перед Матвеем, откинула стан назад, ответила на его поклон. Малость подождав и глядя будто с вопросом в радостной своей улыбке, сказала:

— Здравствуй, сынок. С приездом. Милости просим.

Тогда у Матвея начали открываться губы, пока не расцветился огнями весь рот и по щекам не поднялись до скул румянцы.

— Здравствуй, маманя.

Они поцеловались по обычаю, и Мавра повела рукой на крыльцо. Опять зазвенел ее голос, и хотя все, что она торопилась выложить, Матвей знал, ему было приятно еще раз послушать, как мачеха сперва усомнилась, что он приехал, как потом поверила и ожидала — вот-вот придет — и что уж смерть как ему рада.

В горнице, опять с поклоном, она показала на гостью.

— Лида Харитоновна, невестка наша, сродственница твоя по дяде по Степану.

Лидия подала Матвею пальцы, сложенные желобком, и когда он легонько дотронулся до них, потрясла кистью.

— Супруга дяденьки вашего, Степана Антоныча, вам тетенька, — сказала она чванно и кончиком пальца утерла сухой рот.

Раселись не спеша. В избе было прибрано. Передний угол красовался новенькими цветными картинками, и только под самым потолком темнела единственная из дедовских икон — под стеклом и со свечным огарком, прилепленным к фольговому окладу. По сторону от картинок висела полка с книгами — она пришлась как раз над головой Антона, когда он, как видно по привычке, занял место. Печное тепло пахло салом и чем-то паленым. Среднее окошко отворили, чтобы продувало, но

воздух стоял неподвижно, солнце грело через занавеску не меньше, чем сквозь оба крайних затворенных окна. И жаркий свет, и печные запахи, и духота похожи были на праздничный день, каким всегда бывал он в родном Матвеев доме.

Разговор пошел с расстановками — о том, как Матвей доехал да как дошел. Лидия сказала, что ее багаж, с которым она прибыла, потяжелее весит Матвеева чемоданчика, на что Илья посмеялся:

— Твой багаж не нести было. Сам на своих четырех дошел.

— Дошел-дошел, а поди, доведи-ка! — отвечала Лидия. — Я с твоей Чернавкой-то еще в вагоне намаялась. А уж столько маянья в жизни не видала, как гнамши ее со станции. Все ноженьки сбила, все подошвы стоптала. Плечо и нынешний день зудит — намахалась хворостиной-то!

Она обиженно подобрала губы. Илья, застеснявшись, сказал в сторону:

— Нешто взыщешь? Скотина. Сперва дай ей, коли ждешь от нее.

Все стали покашиваться на чемоданчик, едва Лидия заговорила о багаже, и Матвей решил — пора одарить. Подвинув чемодан к столу, он принялся медленно выкладывать подношенья. Тут были платки голубые — шелковый и набивной, кепка и шапка, мыло душистое, портсигар никелированный с папиросами, сода в пакетиках, а в пузырьках снадобья, и пенал ученический, и книжка с раскрашенным кораблем в парусах, и колбасы два круга, и две бутылки портвейна, и две печатки пряников, перед соблазном которых — по дороге, в Вязьме, — Матвей не устоял. Пока он все вынимал и разворачивал, мерещилось — богатствам не будет конца. А разобрали по рукам, кому что, расщупали да разглядели — каждому вроде чего-то не хватило. Но все благодарили, кланялись, душевно утешенные, что гость обо всех подумал. Только отец, разругой шелкнув замочком портсигара, улыбнулся Матвею:

— Я ведь, сынок, давно уж не балуюсь.

Матвей опешил, хотел было оправдаться тем, что помнит, как гостем у него в Москве, отец любил подымить, но заглядить промашку ему не дала Лидия.

Она помалкивала, когда раскладывались по столу подарки, и не дотронулась ни до чего, словно ждала, что ее тоже не обойдут подношеньем, а тут вздохнула сочувственно:

— Угодить думали батюшке, ан невпопад!

— Ничего, — сказал Илья, — будет чем угостить табакуров.

— Что ж угощать? Все одно что передаривать дареное. Матвей Ильич не про то, чай, думали, купимши папиросницу.

— А что худого передарить? — сказала Мавра, быстро глянув на Матвея. — Вот позволит сынок, я и поделюсь с тобой. невестушка дорогая.

Она легким взмахом разостлала перед Лидией бумажный платок.

— Прими, не погнушайся, Лида Харитоновна, на споминанье о родине. Спасибо тебе, что потрудились, пригнала нашу Черनावушку!

Лидия потрогала платок, не торопясь сложила его по сгибам, отодвинула от себя.

— Спасибо, голубушка, только принять мне обнови никак нельзя. — Она опустила глазки. — Сынок тебе всего-то что два платочка привез. Не рассчитал, видать, что попадет домой в самый Маврин день, на именины.

Она сощурилась на Матвея с хитрецою и тотчас снова потупила взгляд.

Матвей встал. Всегда рдеющее его широкое лицо стало потухать, и голос немножко дрогнул, когда он с укором посмотрел на отца.

— Что ж мне ничего не сказал? И Антон ни гугу. За столько лет, как я дома не был...

— За столько лет и вспоминать забудешь, — не утерпела вставить Лидия.

Матвей шагнул к мачехе с поклоном.

— Извините, маманя. Не учел...

Но Лидия снова вмешалась:

— Уж зараз еще с праздником с одним проздравьте. Мамаше с бабюшкой вашим нынче двадцать пять годиков супружества, серебряная свадьба!

— Брось ты, сделай милость, — махнул на нее Илья.

— А что брось? Не я выдумала, от молодухи твоей знаю. Такое ваше счастье, что за два праздника одним пирогом гостей отпотчиваете. У нас в городе каждую серебряную свадьбу справляют, а уж кто до золотой доживет, так гульба на целую неделю.

— Ну, мы деревенские. У нас как выйдет, так и ладно, — со смешком отговорился Илья.

Матвей все стоял против мачехи, будто дожидаясь, чем кончится у отца с невесткой препирательство и надо ли поздравлять со свадьбой либо только по случаю именин. Глядя на Мавру, он начал считать в уме, сколько же ей лет, и выходило то сорок три, то под сорок, а с виду словно бы куда меньше — чуть не тридцать! Так искрились из-под бровей ее глаза, обегавшие Матвея с ног до головы, такой задор играл у нее по смуглому лицу. И вдруг она отвесила на всю избу:

— А ты, сынок, постарел!

Он нерешительно провел пятерней по своим кудрям, но сейчас же осанился, проговорил:

— Одна только ты и молодеешь.

Хотел добавить — «маманя», но не добавил, а сказав: «С ангелом тебя», — круто повернулся назад, к отцу, и поздравил его с именинницей. Потом взглянул опять на Мавру, еще раз поклонился.

— С исполнением серебряной свадьбы. Много ль тебе, маманя, годков было, когда с нашим батюшкой венчалась?

— Да уж не знай. Двадцать-то было.

«Ага, — весело подумал Матвей, — вот они все сорок пять и набегали!»

Но Мавра не заметила лукавства. Живо и просто говорила она, и стены точно подпевали ее голосу.

— Про меня давно калякали, что, мол, в девках засиделась. И правда. Сватов-то к одним богатым засылают. А какой богач родитель мой был, с нами, с восьмерыми детьми, народ знал по всей волости. Одних девок в дому, со мной считая, пятеро было. Сватов я не дождалась, а пришел сам жених. Большой, после ранения-то. Ну, была корочка сказки — посватался ко мне Илья Антоныч. Тут как раз апрель месяц кончается. Я его торопить: гляди, смеюсь, Илья, в мае жениться — век маяться. А он мне: не страшай, говорит, с пустым горшком не останемся. Сама, мол, знаешь: Мавры — зеленые ши. Смотри, говорит, кругом щавель пошел в рост. Вот мы с тобой, говорит, в Маврин день и обвенчаемся. Так оно и вышло.

Муж охотно слушал ее рассказ и поддакивал, исподволь качая наклоненной головой. Она засмеялась.

— Вправду ведь, похлебали мы зеленых шей на первых порах. Победовали. А потом — ничего. Ты, сынок, забыл, чай, как я тебя кисличку шипать посылала? — спросила она Матвея.

Отозвались оба сына. Матвей — смехом, меньшей — довольным голоском:

— Я вчера нащипал маме полную кошелку!

Тонкий голосок этот перечеркнул разговор, хотя Лидия поспела

вернуть словечко о шавельной похлебке, которой-де, хочешь не хочешь, придется гостям нынче отвеждать.

Зачин отрадной встречи был выполнен, хозяйка заглянула в печь, потом взялась убирать подарки. Каждый вспомнил свои обязанности — поднялся и вышел в сени отец, начал пристраивать на полочку новую книгу Антон, выравнивая по корешкам старых.

— Антоша матери во всем помощник, — говорила Мавра, с уверенной легкостью двигаясь по горнице. — И уж такой порядливый! Покажи, Антоша, какие у тебя книжки чистые.

— В книжках я не чиркаю, — сказал он, смело глядя на брата, — я все в мозгах запоминаю.

Матвей подошел к полке. Лидия ревниво присматривала, как он залистал страницы.

— Что это вы, Матвей Ильич, ничего про свою двоюродную сестрицу не спросите? — вздохнула она. — Тонечка, дочка моя, чуть только постарше Антона, а уж какая тоже отличница! Всегда у ней прибрано-убрано и уж так все устроичиво! Посмотришь на нее — награда божия! Мы со Степан Антонычем все думаем свозить бы Тонечку в Москву за ее успешности. Как вы своим мнением думаете?

— Привозите. Познакомимся... Только вот с квартиркой у меня плоховато, — широко улыбнулся Матвей и начал разглядывать на стене фотографии.

В рамочке из крашеной соломки висел снимок с Николая в новой форме младшего лейтенанта авиации. Лицо его было круглым, и взгляд полон неизмеримого достоинства. Вокруг веером размещались новые и старые карточки. Знакомый Матвею с детства царский солдат, стоявший во фрунт, выцвел, и хорошо виднелись одни острые колючки глаз, кокарда на бескозырке и черный кушак — это был портрет папани времен японской войны. Побледнел и другой отцовский портрет, снятый в госпитале, но тут ясны были все отметки мировой войны — жеваная шинель нараспашку, заломленная на затылок папаха, пара костылей под мышками и длинное лицо со впалыми щеками.

— Вот она, моя Тонечка, — пальцем указала Лидия, вплотную становясь к Матвею. — Худенькая тут очень. Прошедший год, как корью переболела, на фотокарточку снимали. А нынче прямо все удивляются — красавица стала. На четыре кила поправилась.

Мавра, хлопотавшая у шестка, вдруг оторвалась, протянула Антону лепешку, строго сказала:

— На-ка, съешь горячий калабушек. Да сбегай поди в стадо, узнай у дяди Прокопа, пришлась, мол, Чернавка ай нет. Стадо должно на водопой приттить. Скажи, мама, мол, спрашивает.

Она чуточку дотронулась до плеча Антона, когда он бросился к двери, отрывая зубами кусок лепешки.

— А это дяденька ваш, — показывала Лидия. — Его у нас по отчеству зовут. Как вот в точности такую фотокарточку в газетке пропечатали, так и пошло — Антоныч. Тридцать годиков отслужил на железной дороге. Вся Тула про него услышала. А в Черни и меня по нему уважать стали. Кого ни встрену, здоровкаются.

Вошел отец — спросить о чем-то хозяйку. Лидия сразу оборотилась и к нему и к Матвею.

— Папаня ваш, как гостил у нас по коровьему делу, своими глазами газетку видал. Расскажи, Илья, расскажи сынку.

— Да вижу, ты сама все сказала.

— Одно — сама, другое — кто со стороны. Мы с Матвейем Ильичем впервижды разговариваем. Еще подумают — я хвастаюсь.

— Ну, разве кому придет на ум! — взмахнул рукою Илья.

Матвей с улыбкой постукал ногтем по соседней со Степаном фотографии.

— А это вы сами будете?

— Узнали? — вздохнула Лидия и слегка отвела голову вбок. — Голько очень я получилась задумавшись.

— Полное с вами сходство, — шире раздвинул улыбку Матвей и потом, уже серьезно взглянув на отца, постучал по братниной рамочке. — Осанистый вышел из Николки командир.

Отец сказал уважительно:

— А как же!.. Налетал, в письме пишет, километров... Никак, право, не упомяну, сколько тыщ налетал он километров?

— Мельоны! — поправила Мавра.

Илья даже притопнул с досады — болтай, мол.

— Одним словом, отец — рядовая пехота, а сыны — соколы, — договаривал он с лаской. — Ты ведь у меня не плоше летчика удался... Приди-ка минутой ко мне — кой-что плотничаю на дворе. Посоветуемся.

Как только он ушел, Лидия с умилением посмотрела на фотографию Николая.

— До чего братец ваш, Матвей Ильич, на дядю похож, на Степана Антоныча, страсть!

— Ты ж его в глаза не видала, Николая нашего, а говоришь, — попрекнула Мавра.

— Сличи-ка сама. Ну прямо вылитый!

— Отца-матери, что ль, у него не было?

— Дяденька ему тоже родной. Ну а сложеньем крепче твоего Ильи будет, Степан-то мой.

— А ты что, мерила?

— Я не в обиду, невестушка, я к слову, — податливо ответила Лидия, одергивая на себе шипками кофточку. — Душно очень в избе. Пойти посидеть на воле, вздохнуть немножечко.

Мавра прислушалась к ее шагам по крыльцу, натуго захлопнула дверь, ударила ладонями по бедрам.

— Силушек моих нету!

Грузно опустилась на лавку.

— Сутки, как она у нас, а словно бы я с ней неделю в темной яме просидела. Не смотрели бы глазыньки! Вчерась день целый охала да врала. и нынче с самого утра врет. Вгрызется в чего — и грызет, и грызет. Куды, говорит, ихние железные дорожки чище живут, чем в деревне. И все одно: у нас в городе, у нас в городе! А сама со Степаном в будке живет. Илья-то повидал жите ихнее, хуже, говорит, конуры, будка-то. Тоньку-то, пигалицу свою, держат у сродственников, в Черни. Из будки, вишь, больно далеко ей до школы. Барышней, говорит, будет. Это Тонька-то, слышал?! И выхваляется, выхваляется, стыда нет! Ведь старуха, а зенками так и дергает, кверху вниз, кверху вниз! Вздохнет и сейчас дернет. Про нас чего ни скажем, так она нос в сторону и опять про себя да про Тоньку. Ох, не знай!

— Плюнь ты на нее, маманя, — участливо сказал Матвей.

— Ой, плюнула бы, сыночек, да ведь она, чай, гостьюшка!

— Ну потерпи. Небожь долго не загостится.

— Терплю, милый, через силу терплю, сам видишь. Да хошь бы она зенкам своим покой дала! А то как ты ступил в горницу, так она и на тебя — дерг!

— Щура! — усмехнулся Матвей.

— Вот уж что правда, то правда! Щура и есть. Все нутро у меня кипит. А как спомнится, Чернавку-то кто пригнал, тут самый страх и возьмет. Чую, сынок, дойдет с ней до расчета — добром бы кончить...

— Я пойду, маманя, может, чем помочь отцу, — сказал Матвей, снимая пиджак и отыскивая, куда повесить.

— Давай, давай, я за по́логом место найду. И кепочку давай, и чемоданчик приберу куда, чтобы ты знал.

Она взяла пиджак, готовая вновь с легкостью приняться за свои хлопоты, но остановилась, и руки накрест опустились у нее сами собой. Матвей, нагнув голову, затягивал поясную пряжку на глубоко подобранном животе и все никак не попадал шпилькой в прокол ремня. Нависшие кудри тряслись над его лбом.

— Лопнешь, смотри, — пошутила Мавра и тут же воскликнула с любованием: — Эка я пригожего вынянчила мужичугу, право!

Но удовольствие не удержалось на ее лице, озабоченно-быстро она заговорила:

— Дай бог, Антоша пошел бы в тебя. Сколько годов еще прождешь? Покуда с отцом с матерью, все ничего. И корова, не сглазить, опять есть. А то намучились мы без молочного, только и знай — проси да плати. Отца за службу его уважают. Позволение дадено в стадо гонять коровуто. И с кормами, глядишь, помощь какая будет.

Она неожиданно толкнула Матвея распрямленными пальцами в грудь и, точно увещая не таить правду, тихо и жалобно спросила:

— Плох стал папаня-то, а?

— Ничего. Скрипит да едет, — не посмотрев на Мавру, ответил он.

— Ступай пособи ему. А я обед соберу. Проголодался, чай? В стадо уж не пойду. Пристала больно Чернавка с дороги. В ранишний удой почти что не доилась. Пускай нагуливается...

Матвей не дослушал. Пройдя сенями в клеть, он огляделся. Уже полетнему постлана была старая железная кровать. Давнишние связки кудели свисали со стен. По темным углам грудились кадки, ведра, корчаги. Из двери тянуло прохладными сладкими токами хлевов. Во дворе слабо визжала пила, и нет-нет мерный ее визг перекрывало залихватское, едва не грозное кукареку.

По крыльцу прошлепали босые ноги Антона. Высокий голосок долетел из горницы:

— Дядя Прокоп велел сказать — Чернавка к стаду пришлась! Очень много пила, велел сказать.

И громко откликнулась Мавра:

— Слава богу! Это она с устали... На-ка, съешь еще калабушек до обеда-го.

4

Когда Матвей выглянул из-под повети на двор, отец сидел на чурбаке, опираясь локтями на раздвинутые торчащие колени. Тяжелые кисти рук опущены были низко, спина округлилась дугой, но голову держал он вскинутой и нацеленно рассматривал что-то в небе. Матвей шагнул и тоже поглядел из-под застрехи кровли вверх.

В синеве расписывал широкие круги ястреб, изредка исчезая в блеске света и потом вновь появляясь, внезапно зачернев и будто остановив полет в одной точке.

Илья заметил сына, дал ему немного полюбоваться подоблачным охотником, разогнулся.

— Пожалуй, больше Николая налетал километров, — сказал он. — Кружит и кружит.

— И без бензину, — улыбнулся Матвей.

— Бензин его в перьях ходит, — качнул отец головой на кур, копавшихся в мураве.

Но, видно, ему было не до шуток. Он обтер рукавом потный лоб, поднял с земли ножовку, позвал Матвея взглянуть, какую делает работу.

Против прежней коровы Чернавка оказалась куда крупнее — ей было трудноато повернуться в хлеву, да и для дойки он стал тесен, приходилось его раздвинуть. Илья мудрил, как бы поменьше израсходовать досок — переставить одну стенку, нарастить другую. Но тронул земляную обвалку, и под нею заклубилась пылью груха. Давно запасенных и береженных досок на замену гнилых было в обрез. Илья жался, заставляя сына мерить не раз перемеренное, но в конце концов должен был уступить Матвею, который напомнил нехитрую мудрость, что, мол, дешево построил — дорого починил. Решили пустить в дело весь запас и работы не откладывать.

Матвей успел надеть отцовские ношенные штаны и старательно уложить свои разглаженные коричневые брюки в чемоданчик, когда Антон созвал всех обедать. Именинный стол Мавра объявила на вечерянье, но и к обеду подала задравную малую чарку. Поели сытно и молчаливо. Одна только Лидия приговаривала, на какой манер лучше бы готовить лапшу или картошник, но ела много и с удовольствием все, что подавалось.

Отец прилег после обеда отдохнуть, Матвей вышел на солнышко. Вновь наедине с собой, он мог осмотреться. Он долго простоял под поветью. Годами оседавшая пыль и сумрак затеняли собой кое-как приваленный к стенкам и рассохам старый обиход — дровни, бороны, снятые тележные колеса. На ржавом гвозде, вколоченном в рассоху, висело обротье. Не тот ли это недоуздок, которым, бывало, лихо подергивал Матвей, отправляясь верхом на смирной гнедой кобыле с ребятами купать лошадей? Он попробовал на ощупь повод: ремень точно одеревенел, и казалось, согни его — он переломится, как сухой прут. Все здесь отслужило прежнюю службу, и лишь у отворенных ворот, выведивших на зады, серебристо блеснули налощенные копкой земли лопасти двух заступов.

Земля на задах была обработана — вспахан лапик под картоху, перекопан огород, и по ровным, чистым грядам узнавались прилежные руки Мавры. Одинокий вяз в конце участка высился по-старому жилистый, по-весеннему молодой. Соседние огороды виднелись через плетень тоже ухоженные, прихорошенные и почти все безлюдные: колхоз еще не обсеялся, народ был в поле.

Матвей сел под вязом, вытянув по земле ноги, спиной к стволу. Не только он в ребячьи годы излазил с Николаем все суки этого дерева, но и отец говорил не раз про себя, как он с братишкой Степаном прятался от деда в непроглядной гуще вязовой листвы, и про самого деда, который вспоминал о том же — притаишься, мол, на вершинке, а мать снизу кричит: «Погоди, слезешь — я тебе покажу!» Так и прозывалось это убежище озорников: «Погоди — слезешь!»

«Прячется ли теперь Антоша от матери?» — думал Матвей. Навряд. Больно она его нежит, а он, пожалуй, и не озорничает вовсе. Но ведь не тихоней же растет? Как будто нет. Глазенки точно фары — вот-вот зажгутся, прыснут веригинским огоньком. Смьшлен! Пойдет, наверно, в братьев. Может, и Николая перегонит, а уж Матвея — наверно. Впрочем, кто знает? Матвей зарока не давал весь век зваться шофером. Будет механиком, обзаведется машиной, поди-ка перегони его тогда! Далеко еще Антону до Матвея! Надо подрасти, попасть в Москву. А попадешь — там скоро не побежишь. Не Коржики! Тут Антон — парнишка хоть куда! Но очутись где-нибудь посереде дороги, на Садовой, когда Матвей несется на «кадиллаке», сигнала трехголоса, — умрет, постреленок, от страха. А посади его рядом с Матвеем в «кадиллак» — вот диву

дастся!.. Известно, в деревне тоже можно далеко пойти. Если уж в эту-кую глухомань, как Дегтяри, пришел трактор... Да! Что же это отец не завел радио? Некультурно получается. Скупится папаня. Вот и дай ему две сотни с половиной. Дать дашь, а отдачи получишь. В кузницах ходил — был тоже прижимист... Чудно все-таки: живет по-старому, зовется по-старому, а уж больше не кузнец. Это Веригин-то!.. Может, только чудится так? Впрямь ли живет он по-старому? Службой дышит! Все равно что шофер. В кармане, поди, профсоюзный билет. Не позабыть спросить, как нынче папаня насчет крестьянства полагает. Один двор остался. Да неужто это веригинский двор? Взглянешь на повесть — что там крестьянского? Рухлядь, да лом, да воробыи... Вон как они стреляют — из-под повети на вяз, с вяза назад, под повесть. У них-то все по-старому. Шумят, чирикают. То ли ссорятся, то ли радуются. Самая пора. Пора хлопот, сердитых драк за счастье. Хорошо! Хорошо подраться за счастье. На вольной воле, в расцвете весны, в теплом духе развернувшихся листьев, пряминой земли...

Что-то вдруг помешало Матвею. Наверно, неудобно привалился он головой к дереву.

— А? Кто? — забормотал он, вырываясь из сладкого сна.

Отец стоял над ним, положив ему на плечо руку.

— Вздремнул? Боюсь, не застудился бы. Земля покуда холодна.

Матвей вскочил, молча пошел впереди отца, словно винясь, что заставил себя ждать. Они прихватили заступы, и Матвей начал копать яму для углового стояка под новые стенки хлева. Он работал неторопливо, но на солнышко не оглядывался, рукам висеть не давал и не пускал отца делать тяжелую работу, хотя тот норовил себя показать. Оба припомнили, как спорилось у них дело, когда работали вместе, и все заладилась теперь снова, будто они никогда не разлучались.

Уже перед закатом прибежал к ним Антон с криком:

— Стадо дядя Прокоп гонит!

И они, всадив топоры в бревно, стали раскатывать засученные рукава.

Мавра с Лидией уже стояли за воротами. Прибитая недавним дождем дорога не пылила, улица ясно проглядывалась вдаль, скот виден был весь, и коровы легко узнавались — чья которого двора. Антон с матерью первые разглядели Чернавку — она шла чуть сбоку от стада, вдоль того порядка домов, в котором, почти на краю деревни, стояла веригинская изба. Антон готов был припустить навстречу стаду, да мать не велела ему отходить от ворот.

Приближаясь, стадо видимо-невидимо редело, все больше слышалось мычание скота, у своих дворов звавшего хозяек, если где не успели отворить калитку.

Чернавка остановилась, не дойдя до дома, косясь то на отставшую от нее корову, то на пару шедших впереди. Лидия стала ее кликать, но Мавра тотчас отсранила невестку и сама взялась голосисто подзывать:

— Чернавк, Чернавк!

Прокоп, для видимости поторапливая свой невозмутимый пастуший шаг, строгонько прикрикнул на Чернавку. Она пошла. Уже в три голоса зазывали ее во двор обе женщины с Антоном, но она мерно выступала в своих белых чулках мимо настезь открытых ворот, не собираясь остановиться. Илья забежал ей наперерез, взмахнул раскинутыми руками. Она обогнула его, продолжая идти и глядя прямо перед собой лаковыми глазами в очках.

— Примани ее, примани куском! — кричал Прокоп Мавре.

— Беги скорей, неси хлебушка! — кричала мать Антону, кидаясь за коровой и опять улестливо призывая: — Чернав, Чернав!

Матвей тоже двинулся на помощь, зашел спереди, стал в линию с отступавшим перед рогами отцом.

Лидия перехватила у Антона на бегу ломоть хлеба, бросилась вперед. Мавра хотела взять у нее хлеб, но Лидия стала отламывать кусок себе.

— Отдай хозяйке, хозяйке отдай! — с сердцем крикнул на нее Илья.

Мавра вырвала ломоть из рук невестки.

— Хороша хозяйка! Спихватилась! — во весь голос откликнулась Лидия. — Меня сразу признала б, а ты поклоняйся ей, поклоняйся!

Легкой, но уже скорой трусой Прокоп нагнал корову. Он потряс у нее перед носом коротким своим кнутовищем, спокойно потянул за самую кривулину могучего рога в сторону. Чуть заворачивая, она сделала шага два и стала.

— Потчуй ее, потчуй да мани, — велел Мавре пастух, увидев, как Чернавка раздула ноздри и шумно дыхла на хлеб.

Повернувшись к мужикам, он сказал веско:

— Справная животица, Илья Антоныч. Все при ней. Ляжка маленько бедна. А так — куда! Во всем стаде нарядней нету.

Он перевел глаз на Матвея, подмигнул ему с добродушной улыбкой.

— Дворычку прибыл?.. Слышал от братишки от твоего...

Матвей уже давно улыбался ему, изумленный до пяточки знакомым видом коржицкого старожилла. Коричневое худое лицо его, словно окованное потемневшей медью, удлинилось бороденкой, похожей на скрученный жгутиком клок газеты — черный волос, как строчки, перевивался с белым. Даже парусиновый, вроде халата, армячишко, знаменитый тем, что Прокоп его не клал, а ставил, и он стоял, растопырив твердые рукава, — даже этот армячишко по-прежнему колоколом окружал поджарое тело старика.

— Гроби, чай, отцу привез, — еще раз мигнул он.

Матвей смеялся, жал его зачерствелую руку с таким чувством, точно встреча была если не самой любовной, то самой веселой из всех. И он повторил привечанье Прокопа, как оно им сказалось, слово в слово:

— Здравствуй тебе, добрый человек!

Они вошли во двор следом за хозяйкой, голос которой звучал теперь уверенно: Чернавка охотно тянулась за кусочками, пожеывая и мотая головой.

Под поветью опять вспыхнул перебор с невесткой. Пока Мавра наскоро взбалтывала мешалкой поило и обмывала вымя, Лидия следила за каждым ее движением. Она стояла поодаль — руки за спину, одну ногу вперед, чуточек поводя носком туда-сюда. Было в ней что-то от надсмотрщика, придиричиво выжидающего у работника какого-нибудь промаха.

Мавра, ополоснув и смазав маслом руки, сказала, не глядя на невестку:

— Шла бы ты, Лида Харитоновна, в избу. Устанешь стоямши.

Не успела Лидия выговорить закипевшего в ответ слова, как Прокоп в голос хозяйке прибавил:

— Лишний глаз дойке не помога.

— Это кой-то тут лишний? Я родня. А ты кто?

— А я никто, — легко ответил Прокоп. — Пастух скотину не сглазит.

— А я что? Пригнала — не сглазила, а сейчас сглажу?

— А коль и не сглазишь, нешто глазеть в подойник можно?

Матвей стал между пастухом и Лидией, совсем по-кавалерски предложил:

— Не пойдёте, Лидия Харитоновна, до горенки? Переодеться, может... к вечеру.

Она стихла, от неожиданности зажмурилась, потом раскрыла на него глаза.

— Во чтой-то буду я переодеваться? Из дому вышла — ватник на плечи накинула да в сумку хлеба горбушку сунула. Истрепала на себе все как есть. Чумичкой пришла. Юбку никак вон не отчищу. А только и слышу, что одни поношенья... Да кабы знать, рази я...

Она громко всхлипнула.

— Неужли Степан Антоныч когда пустил бы меня...

— Так как же, — растерялся Матвей, — может... все-таки в горницу?

— Дороги, что ль, не найду? — с досадой отмахнулась она и пошла прочь, в слезах дергая плечами.

Уход ее смутил не одного Матвея, но и хозяина, зато успокоил Мавру.

— Напустила на себя! — тихонько сказала она вслед невестке и быстро пристроилась с подойником к Чернавке.

Прокоп решил взглянуть, как Илья переделывает стойло, и Матвей пошел вместе с ними.

Прислушиваясь к разговору отца с пастухом, он глядел издали на Мавру. Лицо ее хорошо прочертилось в ровном вечернем свете. Притупленное теневой стороной, оно было мягким, сосредоточенным в своем спокойствии и очень шло к ее работе, которая тем краше Матвею казалась, чем дольше он смотрел. Руки ее в дойке двигались без перебивок, сменяя друг друга играючи-плавно.

— Слышь, Матвей! Прокоп говорит, уклон к стоку маловат, — сказал отец. — Грунта поболее снять придется.

— Снимем, — ответил Матвей.

— А у кормушки, говорит, глинобитный оставить. Пол-то. Слышь?

— Слышу.

До него, правда, доходило все, о чем толковал Прокоп. Но слышалось ему не одно гуторенье стариков. Слабые, разрозненные звуки деревенского вечера рождались и таяли вдалеке, а рядом, как ход часов, били в подойник короткие струйки молока. Первым их ударам пустой подойник отзывался металлически звонко, потом донце перестало звенеть, но удары еще постукивали по нему резко, а затем начали бить глухо, все больше снижая звук в наполнявшем посуду и пенившемся молоке.

— Тпруся! — тихо погрозила Мавра Чернавке, лягнувшей по подойнику, и приподняла его с земли осторожным усилием.

— Матвей! — позвал отец. — Дверь-то, говорит Прокоп, близко получается. Холодноовато не было бы.

Матвей промычал что-то, уже вовсе не вникая в разговор, испытывая одно только чувство слитности с этим вечерним часом, поднявшим из сонной детской памяти лучшее, что она хоронила. Тут бы и надо жить, думалось ему. Нигде больше, как у нас в Коржиках.

Мавра кончила доить. Все подошли к ней.

— Вымя-то мягко ль после дойки? — спросил Прокоп.

— Знамо, мягко, — будто вскользь, но деловито ответила она и, прежде чем обвязать рединкой подойник, выждала, пока все заглянули — на много ли он не полон. — Процежу, отведаете парного, — обещала она и приветливо досказала: — Приходи сейчас, дядя Прокоп, повечеришь с нами.

Хорошо смекая, на какое вечерянье он зван, Прокоп повеселел и, когда хозяйка ушла, с удовольствием хлопнул ладонью корову по ляжке.

— Лучшенных кровей ярославка! Отродья этакого только на хверме на колхозной увидаешь. Остхризами лучшили породу. Удоем, почитай, два раза больше простой ярославки.

Матвей просиял своей улыбкой.

— Ты вроде зоотехником заделался?

— Я, брат, не вроде. Я нынче куда ученей супротив прежнего! — важно дернул головой Прокоп, и легонько присвистнул, и тут же засмелся с обоими Веригиными вместе.

5

И вот с наступлением темноты все собрались в избе на вечерю. Началась она беседой при свете настенной лампы, которую долго налаживал хозяин, сощипывая с фитиля нагар. К столу не подходили, пока Мавра не собрала ужин, — присели кто где, чисто одетые, медлительные.

Рассчитывая залучить себе в союзники старшего брата, Антон пожаловался, что отец не дает ему пострелять из двустволки. Старое ружье висело под самым потолком, над photographиями; его увидел и признал Матвей сразу поутру, как переступил порог горницы, но лишь теперь охотничий разговор пришелся ко времени. Отец давно перестал ходить на охоту, однако на вопрос сына, балуется ли еще этой забавой, уклончиво сказал, что ходит редко.

— Мазать стал? — улыбнулся Матвей.

Отец ответил со скрытой гордостью:

— Не случалось.

— Мастер спорта! — похвалил Матвей.

— Где нам!.. В мастерах, поди, твой хозяин ходит... Пуляет еще по тарелочкам, а?

— Нынче весной кто выехал на тягу, а он — на стрельбище. Опять первым вышел... с хвоста! — мигнул Матвей, и все заулыбались.

— Тарелки-то дома легче бьются, — сказал Прокоп.

Мавра приостановилась с мисками в руках.

— Никак я, сыночек, твоему хозяину фамилье не запомню. Совсем быдто обыкновенно, а начну вспоминать — не дается!

— А ты подумай о дяде Прокопе и вспомнишь.

— Ну?.. Ужли Прокопов?

— Пастухов, а не Прокопов!

— Вот ведь дура, право! — со смехом воскликнула Мавра.

— Живет-то как хозяин твой? — спросил Прокоп.

— Крепко.

— Слышал. А с чего?

— С театров.

— С двух, ай боле?

— Какое! Может, с сотни целой.

— Ездит, значит?

— Сидит.

— А когда ж поспеват?

— Сидит, пишет для представлений. Напишет, тетрадками сошьют ему, что написал, рассылают по театрам. Во все концы. А там пошло. Афиши клеят, по радио объявляют — приходите, пожалуйста, посмотреть. дается пиеса такая там разэтакая и как называется, чтобы знали.

— А он?

— Он — считай денежки.

— За тетрадки?

— Ему с билета причитається. Купил ты, к примеру, билет в театр — ему с билета процент.

Прокопу понравился рассказ. Некоторое время, скосив взгляд к плечу, он прислушивался к своим соображениям.

— С каждого билета? — спросил он, засомневавшись в мыслимости подобного дела, и, когда Матвей подтвердил, сказал негромко: — С выработки, стало. Сколько народу заманит, столько получай.

Но оставалось что-то незаконченное в любопытном рассказе. Он спросил:

— Неурожай тоже бывает?

— Не без того. Сыграют представленье раз-другой, а потом в театр никого не загонишь. Сборов нету.

— Высеял, значит, а собрать не пришлось, — уяснил Прокоп, но все-таки решил доспрашивать до конца: — А хозяин?

— Ему что? Он обратно пишет, — уверенно ответил Матвей, довольный общим интересом к своему превосходному знанию театральной жизни. — А то еще так было. Это когда я только работать у него начал. Одну его пиесу совсем приготовили, а вышла закавыка. Порядок такой есть — перед тем как запустить представленье, требуется дать ему прогон. Словом, чтобы не вдруг его казать, а сперва просмотреть — как и что.

— Инспекция вроде как, — солидно вставил Илья.

— Ну, что ли, как у нас, шоферов: прошла машина техосмотр — валяй, можно гонять... Назначили пиесе прогон. Днем было. Я стою в переулке, позади театра, дожидаяю. Выходит его жена, садится в машину, молчит. Потом сам идет. Красный и губы надул. То всегда рядом со мной садится, а тут открыл заднюю дверцу, к жене. Слышу, дрюпнулся и всего одно слово сказал: «Завалили!» Всю дорогу домой — молчок... Провалилось представленье.

Прокоп с веселой живостью оглядел всех вокруг.

— Не все коту масленица, — одобрил он и, отвечая, видно, чему-то очень забавному, почти про себя закончил: — С каждого билета, хе-хе!

Тароватый рассказ Матвея о своем довольно загадочном хозяине потешил стариков, рассмешил ничего не понявшего Антона, а потом и мать, которая не прекращала уставлять посудой и снедью праздничный стол. Замерцавшая посередине блюд бутылочка способствовала тому, что приятная беседа не затянулась, и все дружно разместились вокруг стола.

Никто не подал вида, что заметил полное неучастие в разговоре Лидии. Ей не пришлось пересаживаться — она как уселась в самом куту, под картинками, так и сидела, поводя одной только бровью да слегка вздымая уложенные на грудь руки. Молчать ей было трудно, она крепилась, и неподвижность ее испугала посаженного рядом Антона — он поначалу тоже смиренно переплел на животе руки.

Был соблюден обычай — поздравили водочкой именинниц, привставая, величая ее по батюшке, а затем молча взялись закусывать холодным, разложенным по тарелкам. Лидия только чуть-чуть пригубила из своего стаканчика, и хозяин, начавший разливать по второму, шуточно укорил ее, что она не поздравила как следует хозяйку с ангелом.

— Очень для меня спиртное вино вредно, — серьезно ответила Лидия и, разомкнув губы, уже не могла остановиться. — А еще место хочу оставить, за молодых чтобы выпить. За счастье за ваше, деверь дорогой, с супругой, чтобы справить вам свадьбу золотую богаче серебряной, — сказала она вразтяжечку, как причитанье. — А я, извиняюсь, пить никак не могу, потому завтра с зорькой самая пора мне собираться домой.

— Да чтой-то ты задумала, невестушка! — всплеснула руками Мавра, стараясь за удивлением как-нибудь спрятать свою радость.

Тут выручил ее Прокоп. Ему было все равно, уедет или не уедет веригинская невестка, но он разинул рот от неожиданности, что сидит в гостях у молодых. А так как стаканчик уже сделал свое дело и к тому же Прокоп твердо знал, как вести себя на свадьбах, то он и хватил пастьшым голосом: «Горько!» Его сперва никто не поддержал, он опомнился и стал заглаживать свою торопливость сравнением прошлого с настоящим. Выходило, что до революции справляли серебряные и золотые свадьбы больше лавочки да разве еще попы — у них-то волю было и серебра и золота! Но насчет лавочников не могла согласиться Лидия. Поспорив, она сама принялась выкликать «горько», так что Матвей и обрадованный шумом Антон не удержались, стали ей вторить, а с ними затрубил опять и веселый Прокоп, точно рогом.

— Что ж, Илья Антоныч, нам, чай, не впервой! — не то спросила мужа, не то решила за него Мавра.

Они встали, поцеловались. Она хотела сказать мужу спасибо на всем, что он ей дал за жизнь хорошего, но загорячилась, растроганно спеша выговорила:

— А плохого не видала, вот как перед истинным!

К ней тянулись чокнуться. Она одним духом выпила стопку и, вытирая глаза, отошла к печке.

С минуты этой как-то все начали поторапливаться — и с едою и с разговором. Чинность нарушилась разногласием между Прокопом и хозяином. Пастух предложил, в уважение к обычаю, обмыть Чернавке копыта, на что Илья сказал, что положено пить за гостей, а копыта обмывать новокупке — за этим надо идти к тому, у кого корова куплена. Прокоп совсем не прочь был выпить за гостей (сам ведь сидел в гостях), но не уступал и копыт: до продавца далеко, возражал он, а покупатель за столом.

Чтобы не давать огоньку загаснуть, капнула маслица Лидия:

— Ведь как было дело? Рассчитался Степан Антоныч за Чернаву по доверию братца копеечка в копеечку. Заговорил о лйтках. А хозяин, который продал-то, приятель моему Степану, и слышать не хочет: кто, говорит, купил, тот, говорит, со мной и лйтки выпьет. Да-ть покупатель — он в Коржиках, говорит мой-то. А мне, говорит, все одно, где он. Ты, говорит, мне только деньги передал, за это лйтки не пьются. Так и отбоарился, не выставил ни пол-литра.

— А я про что? — воскликнул Прокоп. — Рази можно без лйтков? Спрыснем новокупку, а ты, голуба, отвезешь поклон прежнему хозяину, скажешь, выпили, дескать, Веригины за его здравие, благодарствуюг, дескать, за продажу. В хорошие, скажешь, руки скотина попала. Чтобы он не раскаялся, что продал. Она новым хозяевам ко двору и придется.

Мавра как услышала, к чему ведет Прокоп, сразу взяла его сторону. Чтобы корова пришлась ко двору, да не пропустить стаканчика? Какой может быть разговор! Но Лидия отозвалась по-другому:

— Чегой-то ради буду я развозить поклоны? — Она остро глянула на Прокопа. — Мне со Степан Антонычем за все наши труды, за старанье за наше, не то что почета, спасиба по-людски не сказали.

— Ой, милая! — с горечью и укором вздохнула Мавра.

— Зачем зря говорить, — сказал Илья. — Степан мне брат, по нему и ты, Лида Харитоновна, нам родня. Мы с хозяйкой обоих вас почитаем и желаем выпить раньше всего за твое здоровье. Благодарствуй за услугу, что прощбу нашу большую выполнила со Степаном. Приедешь домой, низкий передавай поклон. А мы в долгу не останемся.

Лидия во время речи не шелохнулась, а когда Илья протянул к ней

свой стаканчик, поднялась, ответила на поклон и медленно развернула свободную руку, остановив ее так, точно вот-вот подарила бы словечком, да уж ладно, мол, лучше промолчать и опустить глазки.

Кто за кого пил от души, кто за кого для виду, но хозяйка выставила новую бутылку, а хозяин, потеряв глазомер, щедро окропил вином скатерть. Для Матвея, как хорошего шофера, выпивка была не в привычку. Чтоб угостить Антона, он откупорил привезенный в подарок портвейн и пристроился к братишке.

Хозяин с Прокопом настоящими выпивохами не были по болезни. Перед ужином Илья принял ложечку соды, и пастух попросил его поделиться снадобьем.

— Мы с Ильей Антонычем, — объяснил он, — одной бригады. Он — ох, и я с ним — ох-ох! Сам-то я ничего, в силе, а нутро у меня крутит дюже.

Но болезни болезнями, а взявшись пить, они друг другу уступать не хотели. После здравичи за Лидию пир достиг черты, с которой идти ему было либо вширь, либо на спад, как половодью, поднявшемуся до красной отметины на мерке, либо дальше в разлив, либо назад, на межень. У Ильи отлегло было от сердца, когда перестали говорить о корове. Он все побаивался, не зашел бы спор о цене. Если решат, что дал много, стало быть у него мощна толста, не считает он денежек, а скажут — купил дешево, значит по цене и скотина, дороже не стоит. Но едва отпустили его клещи этих опасений, как Мавра подала жареное, приговаривая:

— Откушайте, гости дорогие. Живот крепше, так на сердце легче! — И чуть не звонче Прокопа возгласила, что уж теперь, под поросятинку, самый раз обмыть Черनावушке копыта.

— Одно к одному! Приплела поросятину! — буркнул Илья.

Но слово сказалось, не выпить он не мог, и пить нельзя было в полмеры. Лидия попросила себе портвейну, Матвей налил. Отхлебнув и облизываясь, она сказала с умилением:

— Вернусь домой, доложу братцу твоему, Илья Антоныч, про все как есть. Уж как, скажу, хорошо потчевали в гостях! За три праздника враз!

— Насчитала! И за один праздник не выпила, а хочешь на трех сидеть... — обиделся Илья.

— Отчего не выпить, когда что по вкусу? Вот за доброе здоровье племянничка! Спасибо вам, Матвей Ильич, на угощении, за сладкое винцо спасибо. Кабы не дареная ваша бутылочка, нечем было бы и полакомиться!

Она чокнулась с Матвеем, умеючи выцедила до дна стаканчик, зажмурилась и потом встряхнулась всем телом, словно ее пробрал холод.

— Так бы и не отрывалась! — сказала она, в то время как все глядели на нее, выжидая, что дальше.

И тут она осмелела. Выбрав и подцепив на вилку кусок жареного, она заиграла прыткими глазами, всех озирая, каждому показывая, что знает себе цену и уверена, что лицом эка уж смазлива!

— А закусить можно своей поросятинкой, — спела она, расплываясь в улыбке.

— Отчегой-то твоей? — словно не дыша, спросила Мавра. — У себя дома ты, что ль?

— Дома не дома, а поросеночек зажарен мой.

— С какой стати он твой, когда он из моей печки вынутый? — повторила хозяйка.

— Про печку не говорю. Твоя была, твоя останется. А поросяти изволь откушать мово собственного. На здоровьице. Мы не жадные.

Лидия медленно развернула руки и покивала Мавре с издевчивым радушием.

Мавра оглянулась на мужа, ища то ли заступничества от обиды, то ли согласия на отпор обидчице. Но он, будто окостенев, смотрел в свою тарелку, и только скулы острее выпятились на худом, помутневшем его лице.

— Ты что, Лида Харитоновна, вздумала изгаляться над нами? — вызывающе спросила Мавра.

— На что это мне изгаляться? Правда глаза колет. Муженек-то твой помалкивает. Да и ты знаешь, о каком деле разговор. Посулили двух поросят за пригон Чернавки, а пригнала, заглянула в свиной хлев — матку сосет всего один. Накануне, как мне прийти, было два, да под вечер одного зарезали, опалили, паленый дух еще не выдохся — нос-то не обманет! Я к Илье Антонычу: как же, говорю, это выходит? Обещал двух, а оставил всего только...

— Постой трещать,— вдруг осадил Илья.— Я тебе объяснял иль нет? Собрать денег на корову надо было? Пошел просить взаймы. А кто даст в долг за спасибо? Одному уступи поросенка, другой требует пару. Пришлось отдать. А всего опоросу было пять штук.

— Пара-то моя оставалась? Тройх отдал, пара моя! — крикнула Лидия.

— Так я разве отказываюсь? Одного забирай сейчас, а другого — с нового опороса.

— Лови ветер в поле! Только бы выпроводить меня со двора, а там до тебя не докликаешься. Полжизни ушло, покуда Степан из тебя долг выколачивал после раздела. Накланялся за кровное свое-то имяние!

С неожиданным смехом вскрикнул Прокоп:

— Да как ты, мать, за один раз пару поросят унести хочешь? В мешок, что ль, обоих сунешь?

— Мое дело, как унесу. А твое — скот пасти да лапти плести! Командир нашелся!

— Это ты тут раскомандовалась, стыда у тебя нету! — звонко вступилась Мавра.

Но едва вылетело у хозяйки слово о стыде, как на нее обрушила свой ответный перезвон Лидия, попрекая, что это у нее, у Мавры, ни стыда нет, ни совести. И потом взялись перебивать женщин Прокоп с Ильей, и уже никто ничего не хотел слушать, а нес только свое. Голоса подымались выше, выше, и видно было, как от грозного пристукиванья кулаков да ладоней по столешнице вздрагивали недоеденные куски холодного в миске и рябью подергивался в бутылке портвейн.

Матвей сидел бледный.

Когда в начале ужина еще говорилось трезво, ему стало скучновато после своего успеха рассказчика. В мерклом свете лампы лица казались одинаково усталыми. Здравницы звучали лениво. У одного Антоши звездилась пылким огоньком глаза, выжидавшие, наполнят ли ему чем-нибудь стаканчик. Выпив с Антоном и любясь его оживлением, Матвей сам почувствовал удовольствие и начал с интересом вникать в разговор. Он вспомнил, о чем ему с глазу на глаз наговорила о Лидии мачеха. Получалось, как по-писаному: пока не захмелели, толковали намеками, а едва затуманило хмелем разум — все, что скрывалось за подковыками, вылезло наружу. Ссора сделалась явной. Матвей, которого только было начали забавлять крикливые перекоры, нежданно испугался шума, как в поножовщине пугается сторонний человек, поняв, что, не разойми он драчунов, они перережут друг другу горло. Антон прижался к нему, и он накрепко обнял его.

Спорщики, не переставая кричать, все больше путались в своих до-

водах, запутывались в чужих. Мавра срамила Лидию тем, что она расчуфырилась, как барыня, и обзывала ее задержихой. Илья твердил, что договаривался с братом и перед одним братом в ответе. Лидия поспевала и напасть и огрызнуться. Напомнила опять, будто при разделе братьев Илья оттягал у Степана целиком всю отцову ковригу и расселся хозяином, а ведь как был полудворком, так и остался. Илья требовал ответить — коли он полудворок, то чего ж Степан в жизни не платил ни податей, ни налогов, ежели считает полдвора своим? Прокоп клялся, что был свидетелем полюбовного раздела братьев, а чтоб на веригинском дворе висели какие долги, никогда не слышал и слыхом. Лидия снова начинала выкрикивать о своих набойках, которые она как есть все сбила, и вопрошала, не ей ли теперь вместо Ильи выкладывать за чаевые, уплаченные Степаном в поезде кондуктору с бригадой за даровой провоз коровы.

— Тебе лишь бы поболе рубликов вымозжить из нас, жила! — бранилась Мавра.

— Молчи ты, артачка, нету на тебе креста! — отмахивалась от нее Лидия и опять насакивала на хозяина, кричала, что недаром Степан всегда ей говорил — захотела, дескать, от кузнеца угольев! Вот она и видит, чего стоят посулы деверя любезного, Ильи Антоныча, как с него получать долги.

Прокоп умаялся от раздора, вздумал помочь примирению.

— И что вы межа себе зассорились? — качал он горестно головой. — Бросьте, добрые люди, розниться. Поладить пора по-хорошему.

Но чтоб услышали его, надо было всех перекричать, а мирная речь от крика делалась злобной.

— Все приbedняешься, гундишь казанской сиротой, — тараторила без передышки Лидия. — А чего плакаться-то! Кабы беден был, одним духом не отвалил бы две тыщи за корову. Не мать сыру землю пашешь. В лавке служишь.

— А что мне с того, что в лавке? Долги за меня сельпо не заплатит.

— Кто в лавке работает, у того карман не пустует!

Илья вдруг толкнул стол, поднялся. Оттого, что голова его осветилась под лампой ярче, виден стал забелевший взгляд с остановленными на Лидии горячими бисеринами зрачков. Он покусывал нижнюю губу. Пальцы упиравшихся в столешницу кулаков дергались, натягивая сборки прихваченной скатерти.

Стало внезапно тихо, и слова его, выпущенные через зубы, были тоже тихи.

— Ты что, вором меня обзываешь?

— Никак я тебя не обзывала, — осекшись, ответила Лидия, — с чего ты взял?

Она принялась отрывисто оглаживать, обирать на груди кофточку, точно страшивая с себя все, чем могли бы ее упрекнуть, и показывая, что она чиста и невинна.

— Хочешь, чтоб я накрал да тебе отдал, — по-прежнему сквозь зубы выговорил Илья.

— Мне все одно, где ты возьмешь. Я за свое страдаю.

Быстро вскочила Мавра.

— Ах, тебе все одно?!

Она подбоченилась — локти вперед, голову к одному плечу и кверху брови. Наверно, такой вывернутой казалась ей противница, и для полноты сходства она еще и прижмурилась, высоко рассматривая невестку. Но та тотчас передразнила ее, уткнув в бока руки и, как танцовка, резкой вздержкой распрямив стан.

— Не на пугливую напала, голубушка,— сказала она без спеха.

— Такую, как ты, знамо, не напугаешь. Ославить двор наш задумала, щура!

— Бранью права не будешь,— нарочно сощурилась Лидия.

Мавра отшвырнула ногой табуретку, с угрозой нагнулась над столом.

— Ворами нас выставляешь?

Тогда вскочила Лидия.

— Ты что меня весь день хулишь да виноватишь? Моя разве вина, что Илья твой обманщик?

— Ой, нехорошо! Ой, срамota! — вздыхая, тронул ее локоть засуетившийся Прокоп.

Она наотмашь толкнула его руку.

— У себя дома, что ль, размахалась? — крикнула Мавра.

Лидия, стараясь выбраться к ней из своего угла, попробовала отстранить Антона, прижавшегося к брату.

— Ребенка мово толкать? — проголосила Мавра и потянулась рукою к Лидии, которая вмиг перехватила и начала выкручивать ее пальцы.

— Ты драться? Ты драться? — будто наперегонки бормотали, едва не задыхаясь, обе невестки.

Прокоп торопливо вытянул из-под борющихся над столом рук бутылку с портвейном, переставил ее подальше.

Антон вырвался из объятий Матвея, кинулся к матери, оцепил ее кольцом своих трепещущих рученок.

— Мама, не надо! Маманя моя! Мама!

Пронзительный его голосок встряхнул отца, окаменело стоявшего, пока женщины бранились.

Он ступил одним крепким шагом к Мавре и, снизу подцепив ее запястье, рывком высвободил женину руку из хватких пальцев Лидии. Глаза он не спускал с нее, отесняя от стола и загораживая собою жену с сыном.

В тот момент, как он разнимал драчух, поднялся Матвей. Все время молчавший, он и тут, стоя вплотную перед Лидией, как будто не собирався ничего сказать. Только уже не оставалось на его лице следа красок, и губы стали меловыми, и по всему лбу белым песком высветился пот. У Лидии еще ходили руки, не терпелось дать им волю, и хоть страшновато было лезть в задор против (не в сравнение со стариканами) крепыша Матвея, она все-таки попробовала отпихнуть его на место. Но он взял ее повыше локтя одной рукой, слегка качнул к столу, потом к стенке и аккуратно посадил в угол, в котором началась и протекала для нее бурная вечеря.

Она воскликнула в самом искреннем изумлении:

— Стало, и ты заодно со всей шайкой?

Но он, продолжая недвижимо стоять, раскрыл наконец рот. В том неохотно вежливом спокойствии, с каким рассерженный московский милиционер говорит с провинившимся шофером, он сказал:

— Давайте, тетенька, не будем! Довольно вы подпортили компанию. Кончать пора, вот что.

— Бьют... бьют-ут! — вдруг завопила Лидия и, так же вдруг оборвав истошный вопль, спрятала в ладони лицо и расплакалась.

Не опуская рук, она медленно встала. Матвей дал дорогу, и никто не мешал ей, когда она пошла горницей к двери. Шагнув в сени, она остановилась и — словно не было никаких слез — отрезала:

— Чтоб вам от коровы столько удоя, сколько я от вас добра видала!

Слышно было, как она протопала в клеть и грохнулась на отведенную ей железную кровать.

— Типун тебе на язык, злыдня! — погрозила Мавра, наскоро пригладившая волосы себе и тут же глядя по голове Антона. — И на дите наскокават, бесстыдница...

Вновь расселись все по своим местам, то поругивая Лидию, то успокаивая друг друга. Одно могло утишить жестокое волнение — хмельная чарочка. Да и жареное стояло почти не тронутым. Разлили, выпили, стали молча жевать, больше и больше входя во вкус. Мир благодатно опустился над хлебом-солью, избынное тепло окутало всех тихой лаской, спиртной жарок живее побежал по жилкам.

Прокоп, хвативший серьезного ерша из водочки с портвейном, причмокивая, радостно заговорил:

— А то еще есть така водка, зовут ее кашинской. В Кашине, значит, городе фабрикуется. Так говорят, самый что ни есть нехрещеный пьянчуга не выпьет без упаси господи!

Развеселились, начали обсуждать, не полезнее ли для здоровья самого и не так ли надо смотреть на это дело, что хотя оно советской властью правильно запрещается, однако для крестьянского двора много экономнее. Прокоп возразил:

— Так оно так, да ведь и для такого дела тоже трудолюбие требуется.

Чтобы прийти к единому мнению, попросили хозяйку раскупорить другую подарочную бутылочку. Мавра пожелала узнать, как смотрит на этот счет Матвей. Он смотрел хорошо: для того, мол, и привез, чтобы пили. Раскупорили, выпили.

И вот, протерев усы, Илья одарил мягким взглядом жену и сказал искательно:

— А разве мы с тобой не отдали бы Степану второго пороса, кабы у нас была пара!

— Да кабы не именины, так и была бы, — вздохнула Мавра.

— Может, прикупить одного? — погода спросил Илья. — Оно, правда, Степанова баба стерва. Да ведь тоже невольная — муж спросит... Рассчитаться бы вчистую, и черт с ней!

— А купишь-то на что? — сердито отозвалась Мавра.

Илья кашлянул, ради соблюдения приличия помолчал.

— Матвей обещал малость деньжонок, — сказал, покосившись на сына. — Матвей, а?

— А как обещал, — ответил сын, подумав.

— Вот спасибо, сынок! — воскликнула Мавра, даже и не взглянув на него, а с улыбкою всем телом потянувшись к мужу. — Купи, отдай Лидке, пускай подавится! — беззлобно досказала она.

— Уж вот хорошо, как хорошо, милые мои! — пьяненько лопотал и, как регент, водил руками над столом Прокоп.

Каждый к этой минуте обмякнул, посоловел и все медленнее жевал, ленивее брался за стаканчик. Антон задремал, неловко привалившись к матери. И Матвей решил, что пора говорить отцу с матерью спасибо.

Мавра дала ему овчинный тулуп, он взвалил его на плечо, вышел на двор.

Было звездно и холодило от охваченной заморозком земли. Вспомнилось прощание на крыльце с братом Николаем перед уходом в армию и потом слова его о том, что, может быть, им обоим доведется послужить когда-нибудь вместе. «Может, и доведется», — думал Матвей, глядя в усыпанное холодными огнями, неуловимое глазом небо.

Он пошел на сеновал, взобрался по скрипучей лестнице, нащупал ногами, где еще оставалось не скормленное прежней корове сено, и лег,

свернувшись под овчиной калачиком,— память повторила ему это словечко мачехи, которым она отвечала ему и Миколке в детстве, если они жаловались на холод: «А вы свернитесь калачиком, и потеплеет».

Весь день поплыл в голове кругами, и внезапно круги застыли, остановленные одной мыслью. Эта мысль была изумлением, что минул всего только один день, как Матвей приехал домой. Да полно! Неужели один день? С тех пор как Матвей сошел с грузовика у вырубок и за околицей Дегтярей обнялся с отцом и братишкой Антоном, а теперь свернулся калачиком под овчиной,— неужели один день? Да ведь это добрые полжизни — полжизни несчетных, друг на друга похожих дней, которые успели притомить полное тягот и любви сердце!

И правда, сердце неспокойно, жарко билось, и Матвей засыпал тяжело, как от угара.

6

Пошла другая неделя, как Веригины отправили восвояси невестку, усадив ее на попутный грузовик вместе с парой поросят, завязанных в мешки.

Лидия Харитоновна последние дни гошенья не только притихла, но даже попросила хозяев извинить ее, что сильно разнервничалась. Так и сказала: очень сильно разнервничалась. Антону она подарила леденец длиной в два пальца, наполовину в бумажке, обрисованной винтиком синей ленты. Мальчику смерть хотелось пососать леденец, но он положил его на книжную полку, чтобы все видели. Нельзя было, в самом деле, не показать полной холодности к тетке, которую он невзлюбил.

Перед ее отъездом в семье зашла речь об ученье Антона. Он окончил начальную школу, предстояло перевести его в семилетку и, стало быть, устроить где-нибудь в городе, лучше бы, конечно, у родных. Лидия сразу же предвосхитила угрозу. С самым готовым участием она заохала, что рада бы взять Антошу к себе, да ведь в железнодорожной будке его не поселишь, а какая теснота в комнатенке на городской квартире, Илья Антоныч удостоверился сам.

Премудрость Лидии вполне оценил Матвей. Он, правда, помалкивал, думая, как бы своим отказом не обидеть отца, но все-таки отказать бы ему. Когда отец, размышляв, сказал, что ничего бы не могло быть прекраснее, если бы Антон с осени начал учиться в Москве, испуганно вступилась Мавра:

— Куды это, в Москву? Антошу? Да его никогда в жизни и не увидишь!

Матвей подумал, что теперь можно бы согласиться: все равно мать не отпустит своего любимца. Но взглянул на Антона и осекся: у парнишки загорелись глаза, едва он услышал о Москве. Тогда Матвей твердо решил отказать и уже без колебаний свалил все на свою жену — она, мол, и его самого через порог дома не пустит, не то что с Антоном.

— Кабы своя квартира,— сказал он.— А то я у жены в этом вопросе никакой роли не имею. Куда денешься? Тебе, папаня, у меня в Москве и переночевать не пришлось. В смысле жилплощади меня жена только что с кашей не ест.

— Да что ж она у тебя така несогласна? — удивилась Мавра.

— Уж какие сами, такие и сани! — прибауткой отделался Матвей.

К разговору о его жене отец вернулся после отъезда Лидии, и случилось это наедине, в той задушевной беседе, о которой не раз вспомнил Матвей, возвращаясь мыслью к своей побывке в Коржиках.

Беседа происходила в воскресенье, тихим днем, на сельском погосте. Веригиным в этот год из-за болезни Ильи Антоныча не привелось всей семьей побывать на кладбище в прошедшую родительскую — ходила

только Мавра с Антоном. Отец предложил Матвею пойти вдвоем на могилу деда, и они отправились.

Как только показалась на взлобке белая колокольня, Матвей ясно увидел себя парнем восемнадцати лет, в своей первой городской колומёнковой «паре», купленной с отцом в Вязьме. Он тогда впервые испытал удовольствие покрасоваться собою и тогда же узнал еще небывалое чувство — когда полюбится краса другая и словно позабудется своя.

Все случилось вот в этом же перелеске, что и теперь тянулся прямо к небу статными березами, точно строем свежепобеленных столбов. Издавна знакомая Матвею девочка ближней к селу деревушки встретилась на выходе с погоста и неожиданно обернулась в его глаза пригожей, крепкой, будто спелое яблоко, красавицей. Уже сменились плачи на родительских могилах песнями, разгоряченными вином. Отходил короткий час за упокой, наступал час долгий за радость. Парни и девушки разбрелись по лесу. Пошли парой и Матвей с Агашей, все дальше уходя от прочих пар, все ближе идучи друг с другом — лес-то теснит! И где же еще примериться душой к душе, где свыкнуться им, если не в солнечном лесу весенним днем?

Из лесу вышли они, взявшись за руки, но по дороге, на людях, держались с чинным отступом друг от друга, заложив руки за спину. Матвей проводил Агашу до ее деревушки, и с этого дня запала в его сердце одна песня и больше не пелась никакая. Только становилась песня все тоскливее. Весенний день отблистал сиянием и померкнул: решившись спросить Агашу, пойдет ли она за него замуж, Матвей услышал признание, что у нее жених в Ярцеве и скоро быть свадьбе. Он уже знал это по слухам, но страшился и не хотел поверить.

Тем кончилось их расстанное свидание — он убежал, не простившись, бродил то по лесу, то по берегу речки и просидел до ночи у пруда, над заводью, где с детства любил просиживать часами за ужиением.

— Сломанная моя жизнь,— сказал он себе той ночью, как часто и, пожалуй, чересчур скоропалительно говорится в восемнадцать лет.

Старшие так и решили, разузнав подоплеку Матвеева гореванья,— на молодом, дескать, заживет скоро! Мавра даже посмеялась:

— Чтой-то нынче, сынок, у тебя пара и в праздник на гвозде висит?

— Успеет еще сноситься! — невесело ответил Матвей.

Он мучился своим разочарованием долго и, может быть, поэтому так и ушел холостым в армию.

Теперь, проходя с отцом опушкой перелеска, он нахмурился, перестал разговаривать. Илья Антоныч догадался, каким воспоминанием затенилось лицо сына, и не мешал его молчанию.

На могиле Веригина-деда все еще приметной оставалась забота о ней недавно навестивших погост Мавры с Антоном: палый лист с насыпи убран, два уже засохших пучка кукушковых слезок положены на поперечину кованого креста. Это был единственный железный крест среди небрежно рассеянных деревянных, и склепал его когда-то из пруткового железа Илья Антоныч, переклепывал позже Матвей. Нынче ржавчина на кресте из красной стала желтой, а на пересечках побурела, но крест был стоек, и, когда Матвей с силой нажал на его концы, заклепки не подались.

— Еще постоит, если покрасить,— сказал он по-хозяйски.

Отец тоже опробовал все три поперечины.

— Который год собираюсь выкрасить,— отвечал он.— Да разживешься с зимой олифой, а весна пришла — рамы надо освежить оконные, либо в избе гнилую половицу сменишь, иль еще чего. Глядишь, извел всю краску. Мертвый-то погодит, а живым не терпится.

Они уселись на насыпи и опять помолчали, следя за воробьями, стайкой перелетавшими с места на место; кое-где еще виднелась раздавленная скорлупа яиц, которые крошат в родительскую на могилах для «птичек божьих». И вдруг Матвей повторил отцовское слово:

— Живым не терпится.

Илья Антоныч искоса глянул на него: о чем бы это он? Не про птичек же божьих. Но разгадки ждать не пришлось. Неподвижный и будто нарочно безрадужный, сын спросил:

— Не слыхал ничего про Агашу?

— Это про которую? — притворился непонявшим отец.

Матвей не ответил. Оставалось говорить начистоту.

— А-а,— словно надоумливаясь, протянул Илья Антоныч.— Агаша-то? Она в нашем колхозе.

— Вернулась? — встрепенулся Матвей.

— Давно уж. По учету работает. Учетчицей в бухгалтерии.

— С мужем?

— С мальчонкой со своим. Не ужилась с мужем. Пил, говорили, много.

Матвей стихнул. Отец решился спросить, не вздумал ли он повидаться с Агашей, но не получил ответа и, повременив, сказал:

— О жизни, вижу, раздумываешь.

— Чего о ней раздумывать? — с неожиданной досадой проворчал Матвей.— Силком не возьмешь. Старое ворочать — только горя наживать.

Отец не перечил, что прежнего не вернешь, но тогда надо, мол, не менять хорошего на плохое.

— А ты вон бросил первую жену, ушел к новой. Та плачет, а эта на тебе верхом скачет.

— Не все одно тебе, папаня, с первой я живу или еще с которой? — обиженно сказал Матвей, но усмехнулся и тотчас, заглаживая щедрой улыбкой свою досаду, повернул голову к отцу.— У нас начнешь выбирать — давай квартиру. Нет квартиры — подождешь, когда тебя выберут. И рожка — завидная невеста, если при ней угол. О приданом забыли спрашивать. Было бы где койку поставить.

— В приданое и на деревне хату не схватишь,— возразил отец.— В зятя к кому вползти — это милости просим! Жених нынче дорогой, а бездомный. Крыша ему — самая приманка.

— На деревне, выходит, у меня бы давно пацаны бегали. Пара, а то и тройка,— сказал сын.

— Чего ж не перебираешься к нам?

Матвей засмеялся, положил руку на колено старика, легонько и игриво похлопал ею, точно бы хотел назвать отца шутником. Но опять сменилась улыбка угрюмостью, и он заговорил тихо:

— От первой я не ушел бы. Да с парнем ее не было сладу. Голово-рез. Пробовал я с ним добром. Еще хуже. Парню пятнадцать лет не было, а сколько раз из милиции его выручал, из-под ареста. Выслать собирались — на поруки его взял. Он обратно хулиганит. А мать его жалеет. Пальцем не тронь! Ну, либо он, либо я. Выжил он меня из дома.

Матвей остановился, задумавшись. Отец чуял, что ему надо выговориться, может быть впервые, и не шелохнулся.

— А жена была хорошая. Плакала, когда я ушел, это верно. Да и я жалел ее. Чуть было не вернул. Пришел раз к ней, а парень меня на смех поднял. Плюнул я. Ну, а потом... Сколько ни ходи нечетом!.. Переженился... В общем и целом не жалею, папаня. Живем ладно. Одно меня задевает — ни за что детей не хочет!

— Отчего это против женского она порядку? — не вытерпев, укорил отец.

— Что, говорит, я с ним делать буду, со своим дитем роженным, если опять война? Сама-то она натерпелась, пока стала на ноги, разряд свой получила на фабрике. Мать у нее вдова солдатская, беженкой была, все добро в войну потеряла. Привезла ее малолетней девчонкой, мыкалась, мыкалась — померла. Ну и пошло: кто девчонку ради милости к себе пустит, то в детдом она попадет. В семи городах жила, нагоревалась... Я ее убеждал насчет ребенка-то. Слышать не хочет. Я, говорит, глаза до дна выплакала из-за проклятушей войны. Да чтобы по моему хотению, говорит, еще свой ребенок слезами изошел, никогда, говорит, этого не будет. И я с ней вроде заодно начал думать... А ребятишек люблю, — кончил Матвей, и лаской затеплился его взгляд, вдруг оторванный от земли и остановившийся где-то поодаль, в молодой зелени кладбищенских берез и кленов.

Илья Антоныч под конец рассказа забеспокоился, начал подергиваться, выщипывать сухие травинки из насыпи, крутить их в пальцах.

— Давно бы пора внуков мне, — со вздохом сказал он. Наклоняясь к сыну, подбадривающе толкнул его локтем. — Больше слушай ее! Сноху-то мою. Чай, твой верх!

Матвей поймал припрятанное за усами насмешливое движение отцовых губ, но удержал просившуюся в ответ улыбку.

— Зачем тебе внуков? У тебя меньшей сынок вместо внука.

Отец поднялся, взял с насыпи свою помятую кепку, отряхнул ее резким ударом по ноге.

— О детях будет заботно... случае чего, — начал и не досказал он, сам себя перебивая новым шумным вздохом. — Ну, прощайся с дедом. Пускай дожидает другого повиданья с нами... А крест я покрашу.

Он потянул Матвея за рукав, показывая, чтобы тот шел вперед. Пройдя немного следом, обернулся на могилу, приподнял над теменем кепку, махнул кистью накрест перед самым лицом, опять попал в ногу с сыном. и покашлял — тут, дескать, не отстаю.

Уже остался позади взлобок с погостом и миновали березовый перелесок, когда Илья Антоныч с заметной осторожностью в голосе спросил:

— А что, может жена на фабрике у себя чего узнала? Опасение какое есть в Москве насчет войны-то, а? Говорят чего?

— Кто как.

— От хозяина своего не слыхал?

— Спросил его раз по дороге, в машине. Говорит: тучи ходят. И замолчал сначала. Проехали, наверно, километр — сам меня спрашивает: а почему вы думаете, что я больше вашего знаю? Газеты, говорит, одни читаем, радио у нас тоже одно.

— Мнения своего не выдал?

— Только про тучи. А прольются, говорит, либо нет, поди узнай у бабушки.

— Скрытый! — неодобрительно вставил отец.

— И другой раз разговор вел с попутчиком с одним, тоже в машине. Тот говорит, что с германцем замирение подписано, стало быть надежду терять никак нельзя. А мой ему: ты что, поручиться хочешь за фашистов или как? Ну, тот сразу в кусты.

— То-то и оно! — почти торжественно сказал отец. — Помнишь, в Москву привозил ты Тимофея Ныркова за чем-то по дачному хозяйству? Он со мной разболтался. Погоди, толкует, немец теперь оправился, локти раздвигать начал. Мы у него на очереди. Как это на очереди, спросил я. А так, что не любит он нас за колхозы, говорит Нырков. Я ему —

мало что не любит! Кулаки тоже колхозников не дюже обожали. Вот-вот, думали, проглотят. Да подавились. Тут мне Нырков тихонько, на ухо: поперхнулись, говорит, а немец и не закашляется.

Матвей остановился, вскинул брови.

— Так и сказал?

— Самым этим словом.

— Посадить его мало! — выговорил Матвей, едва приоткрыв губы, и с места широко зашагал, так что чуть впереди него остановившийся отец почти побежал вдогонку.

— Я к чему это, — торопясь, продолжал он. — С Нырковым я сроду не ладил. И тут он опять со мной заспорил, кто кого дальше видит — я или он. Только я тогда подумал — не от своего ума это он. Нос-то у него проученный, вынюхал, поди! У кого бы, думаю? Не у Пастухова ли вашего чего подслушал? У хозяина, а?

— Говорю тебе, хозяин воли языку зазря не даст. Не из таковских. А Нырков — сволочь, — сердито сказал Матвей.

— Зачем же ты его на место определил? — вдруг с хитрецей спросил отец.

— Да с дуру ума пожалел. Пошел как-то в забегаловку пива выпить. Нырков от стола к столу ходит, ждет, когда кто кусочек даст. Узнал меня, принялся жалиться. А нам как раз требовался сторож на дачу. Я его и привез хозяину. Земляк, мол...

— Порадел, выходит, человеку. А он отца твоего, когда заспорили, дураком обозвал. Ногу, спрашивает меня, с большевиками держишь? И засмеялся. Вроде бы шутит. Погоди, говорит, вернусь в Коржики!

— Вы, чай, заждались! — усмехнулся Матвей.

— Сам знаешь! Он и у кромешников наших в подлюгах числился. Кого-кого, а его в колхозе добром никто не спомянет...

Илья Антоныч видел, что с лица Матвея не сходила озабоченность, но не мог угадать, какой разговор растрожил сына больше. Самого его не так занимало Матвеево сердечное счастье, как та доля, которая могла поджидать и старших сынов и Антона с Маврой, случись война. И едва выступила на вид из порядка коржицких изб веригинская крыша, он будто спохватился и быстро выложил недоговоренное:

— Я свои две войны сработал. Нынче уж и бабы позабывали, сколько нашего брата домой не вернулось. Да и кто счет вел? Что в Маньчжурии, что в Галиции народу осталось — страсть. Как мухи, люди сыпались. Неужто опять к тому придем?.. Мне что! Как ни доживать. А вам идти обоим, с Николаем. Не досталась бы деткам работа пожарче, чем отцу. Четыре года как Нырков поцапался со мной в Москве...

— Что ты про него заладил? — перебил Матвей нетерпеливо. — Трепло он!

— Верно. Не о нем я. Мы и сами умом не оскудели. Немец нынче не то что локти раздвинул, а вон сколько государств в охапку сгреб. Войдет во вкус — не остановишь.

— Постой, — тихо сказал Матвей, одергиваясь и всем своим видом показывая, что хочет кончить раздражавший его, чем-то неприятный разговор. — Наше дело — свою жизнь обстраивать. А врагов наших дело — нам мешать. Пока вражье отродье есть, будут и помехи. Не верно разве говорю?

Из ворот дома показался Антон, увидел отца с братом, побежал к ним, выбивая босыми ногами короткие вспышки дорожной пыли. Не выждав ответа отца, Матвей зашепшил:

— А надо будет остановить — остановим. Хоть немца, хоть кого еще. Николай, поди, сказывал тебе, что такое есть Красная Армия? Я могу

подтвердить. А ты отвоевался при царе. И хочешь сравнивать. Теперь не те цевки у нас, папаня,— вдруг с задором договорил он и, нагнувшись, неожиданно прынул навстречу Антону, который с разбегу влетел к нему в распахнутые руки. Матвей охватил, прижал братишку к себе, оторвав от земли, и закрутился с ним, так что отец едва успел увернуться от мелькнувших в воздухе пыльных мальчишеских пяток.

— Легше, ты, силован! — вскрикнул Илья не от испуга за себя или за Антона, но обрадовавшись ловкости Матвея и любви братьев друг к другу, внезапно показавшей себя в удальской шутке.

Матвей взвалил болтавшего ногами Антона себе на плечо, и так все троим, наотмашь распахнув калитку, они вошли во двор, посмеиваясь, покрикивая, и Мавра встретила их тоже смехом:

— Эка! Отправились на поминки, воротились что со свадьбы!

С этим чувством легкости прошел и обед. Подбеленные ши хлебались дружнее, картошка солилась словно круче обычного, и отодвинулись, задремали беспокойные мысли. Говорили, как всегда за столом, мало, но обо всем очень весело, даже о покойнике дедушке Антоне — царство ему небесное, хороший был человек, право! И краску ему на крест Илья обещал поставить посветлее и попрочнее, чтобы надольше.

7

Матвею никто не мешал, когда он сел на крыльцо, медленно посматривая вокруг и не примечая, на что глядел. Доживал он дома последние дни. Хлев был достроен, мелкая работенка, в которой нашлась нужда пособить отцу и хозяйке, тоже кончилась. Что можно было наладить, наладилось, вошло в колею. Эту колею и рассматривал он, подолгу не отрывая глаз от какого-нибудь уголка полуденно-солнечного двора.

Тех забот, которыми жил отец, жила деревня, у Матвея не было. Отягчать себя ими он не собирался. Занявшись латанием дыр отцова хозяйства, он мало кого повидал на деревне. С юных лет памятные сверстники поразъехались, кто постарше — давно обзавелись семьями, с головой окунулись в недосуги. Почти ни с кем не разговорился он сам на сам, а если доводилось покалякать, сейчас же отступят незнакомые и сведут все к расспросам о том, как живет в столице.

Не раз случалось с ним — вдруг беспричинно сожмется сердце, как бывало в детстве, и все кругом станет мило, и опять, опять придет на ум, что тут твой дом и никуда тебе от него не уйти. Вот рано утром наперегонки завинтились печные дымы над избами; вот нечаянно долетели с далекого поля трескучие выхлопы мотора, будто целая орава ребят начала щелкать орехи; вот на бельевую веревку опустилась сорока и закачалась, поднимая и вздергивая долгоперый хвост, и просокотала, в ответ орехам свое горластое «трра-та-та-та». И сжалось сердце: мой дом, мой дом!

Дом этот менялся и переменялся с той поры, как Матвей его оставил. Он видел перемены не только в молодежи — о переменах не забывали сказать и коржицкие старики. Поворчат-поворчат да прибавят: оно, конечно, народ нынче грамотный — без книжек ни одной хаты не осталось. А то обзовут весь колхоз нерадельщиной, расхаят за бесхозяйственность, но хватятся, что свои семьи тоже в колхозе, и опять доскажут: оно, конечно, при нынешних машинах, да ежели бы еще правильный глаз за скотиной, да порядок с кормами — куда бы против прежнего! Матвей под веселую руку сказал отцу, что подходящее новое название Коржикам будет не иначе как «Оно, конечно». И они вместе посмеялись.

Легко было примечать перемены, но незванно-непрощенно Матвею лезло в глаза, как отстали Коржики от его жизни в городе, и к радости свидания с родным гнездом прибавлялось чувство превосходства и удовольствия, что сам он ушел далеко вперед. Иногда ему хотелось увести за собой и весь отцовский дом. Но он ясно понимал, что это ему не под силу, что если бы надо было взять к себе хотя бы только папаню, то и это можно сделать единственно за счет своего завоеванного благополучия. Тогда он видел, что этого благополучия самому еще вовсе недостаточно, и ему уже хотелось другого: не затягивать свою побывку в отчем доме (пусть как угодно будет он мил), а скорее покинуть Коржики и вернуться в Москву.

Накануне отъезда Матвей с Антоном пошли на пруд удить рыбу. Это были июньские ранние зори. Сквозь береговые заросли ветелок и ольхи пробилась на водную гладь медно-алая россыпь восхода. Рыболовы выбрали мысок, покрытый молодой, по-весеннему нежесткой осокой. Между мыском и берегом стояла еще чистая от кувшинок заводь, как бы запертая с открытой стороны длинным островком, делившим пруд надвое. Тихий угол пруда Матвей хорошо помнил, да и Антон со своими товарищами знал, что это изысканный притон линей, с весны заходивших сюда нершиться.

Опрокинули на землю ржавую консервную банку с червями, нарытыми Антоном с вечера, выбрали из лоснящегося красно-сизого клубка самых жирных, самых темных, наживили крючки, поплевали на них для ради удачи, закинули. Выломали ольховые рогатки, подоткнули ими удилища, сели, обняли руками коленки, замерли.

Каждому пришлось по паре удочек, и заброшены они были, как раздвинутая пятерня без большого пальца. Клева не было. Поплавки будто вмерзли в недвижимую, отливающую металлом поверхность воды. Солнце поднималось и переплавляло свою медь в серебро. Глаза обоих братьев держали первое время поплавки, как ружейную мушку на прицеле, потом стали отрывать от них, сперва на короткий миг, дальше — дольше. Клева все не было.

Вдали, у береговой кромки острова, вынырнула черноголовая птичка, приподнялась над водой, всхлопнула крыльями, отряхнулась, сунулась легкими пловками туда-сюда, точно что-то потеряла, и вновь нырнула, показав острый хвостик. Ярко-светлые круги побежали по воде шире, шире, и первый, медленно теряя яркость, докатился до поплавков и чуточку качнул их.

— Курочка, — с восторгом шепнул Антон, оборачиваясь к брату, и губы побелели у него от волнения.

До сих пор они оба молчали. Матвей испытывал выдержку мальчика, а у того и язык присох к гортани — так он был поглощен чудесным таинством выжидания клева, только изредка осторожно перекидывая удочку.

— Отгадай, где вынырнет, — сказал Матвей.

— Уйдет! — с видом знатока ответил Антон.

И правда, курочка канула под воду и больше уже не показывалась, уплыв, наверно, за островок. С этого пошел неспешный охотничий разговор — все равно ведь клева не было, хоть тресни!

Диву даваться, как испокон веков старшие охотники расписывают младшим богатства былых добыч и уловов, будь даже былинам без году неделя, а рассказчикам — далеко до Баяна или до вралей. По Матвею выходило, что, когда он начал охотиться, держалось на островке, что ни год, три-четыре выводка кряковых уток, а ныркам никто не знал и счета. То же и с рыбой. На этой самой заводь налавливал он, еще перед са-

мым призывом в армию, за каких-нибудь полчаса линьков на целую сковороду.

— Подумаешь, сковороду! — совсем неуважительно заметил Антон.

— А ты, поди, ни одного за всю жизнь не вытянул, — поддразнил Матвей.

— Еще как вытянул! — скрывая обиду, гордо возразил брат и долго потом смотрел, не мигая, на проклятые полавки, пока не набежала следа и не отлегло от сердца. — Правду мне мама говорила, — спросил он, — что ты один раз щуку поймал с меня ростом?

— Давно она говорила?

— Еще когда я был маленький.

— Ну, невелика, значит, была щука, — засмеялся Матвей.

Антон глянул на него недоверчиво и опять немного обиженно.

— Щук я ловил много, — с расстановочкой заговорил Матвей, — и про них никто не рассказывает. А про одну щуку, было дело, рассказывали по всем избам. Это про которую ты спросил. Только как раз эту щуку я и не поймал.

— Не поймал? — прошептал Антон, изумившись.

— Она ушла.

— Самая большая?

— Самая она. Такая большая, каких никто в пруду нашем не вылавывал... А было так. Поставил я во-он там, повыше, за островом, большой норот. Норот новый, крепкий, сплел его папаня — мастер был он плести норота.

— Когда еще кузнецом был, да?

— Да, тогда. Кузнецы — народ ловкий на все руки. Я ведь тоже кузнец, — улыбнулся Матвей (и ему ответил улыбкой Антон: тоже, дескать, ловкий, а щуку-то как же упустил, ну?).

— Поставил норот с лодки, вечером, по всем правилам. Донный конец шеста воткнул больше чем на полметра — дно там илистое, — а верхний оставил чуток повыше кувшинок, чтобы с виду торчок был незаметный. Утром подъехал взглянуть, что попало. Сразу мне в глаза кинулось, будто шест не так прямо стоит, как я воткнул. Ухватил, начал вытаскивать — тащится тоже будто легче, чем ожидал. Ну, думаю, достался улов кому другому! Воткнул шест наспех. Да нет. Только норот горбом своим показывается из-под воды, вижу — сетка волнуется. Есть кое-что, думаю. И не успел это подумать — ка-ак мою лодчонку под самое днище норотом бах! Насилу я устоял, не перекувырнулся вместе с лодкой — так она подо мной заплясала. Шест я все-таки удержал. Подхватил и норот за обручье. Тяну кверху, а вытянуть никак не дается. Вода бурлит, суденышко мое хлебнуло водицы, огрузнело, ходуном ходит с боку на бок. Понатужился наконец, дернул вверх изо всей силы — вышел норот из воды почти весь, а выворотить его в лодку не могу: тя-яжесть, беда! Смотрю — ба-атюшки, что это?! Из воронки наружу мутный такой хвостище торчит, в две мужичьих ладони, и то об лодку, то по воде хлясть, хлясть, аж борта гудят, словно кадушка. Гляжу — на дне норота таким чертом ворочается щучина, как сажка черная, только ржа по ней полосами — страх! Мордой зеленой уткнулась в один конец, под самую воронку, а с конца напротив, из встречной воронки — хвост: не уместился зверь весь целиком в нороте. Присел я маленько, выпустил шест, обеими руками ухватился за обручья, а сам стараюсь вес свой на другой борт перевалить, чтобы не кувырнуться. Понемногу начал норот валиться горбом на борт, но еще висит над водой. Осталось, может, перехватить обручья еще разок. Хотел я привстать. И тут спину

мою окатило холодом: сеть-то на донце норота в дырках! А щучья морда — у самой большой дыры! Только я шевельнулся, как норот опрокинулся на меня в лодку, и сам я — под ним!.. И вот, милоч мой, в ту самую секундочку, как я повалился, точно резанула меня по глазам рыба черная туша, да слышу вдруг — бултых! Только я ее и видел... Хвостом хлопыстнула по воде, да брызги разлетелись во все стороны на солнышке...

Матвей провел ладонью по лбу. Досказывая, он поднялся с земли. Воспоминание было излюблено им, и, глядя на пруд, он заново пересмотрел все приключение в мелочах, которые, наверно, давно считал забытыми. О слушателе же нельзя сказать, что он был благодарным, — он был упоен необыкновенной былью, душою всей и всем воображением переживал околдовавший его рассказ и лишь водил блестящими глазами с братнина лица туда, за островок, где разыгралось событие, и опять на брата.

— А дырья-то откуда? Норот ведь новый,— спросил он после молчаливых размышлений.

— Шука изодрала ячею вздрызг. Перепилила.

— Что ж она раньше не ушла через воронку? Хвост-то торчал на воле.

— То-то, что хвостом наперед она не плавает.

— Ну а другие какие рыбы с ней в нороте были?

— За ними, чай, полезла! Полон норот линиями набился. Половина вывалилась в дырья, половина... Да пес с ним, с другим уловом,— оборвал себя Матвей и неожиданно, как маленький, признался: — Чуть тогда я не заплакал!

Сказал это, нахмурился, с небрежным равнодушием пробормотал:

— Да и мокрый я был насквозь.

— Ну... а как же... — собирался еще о чем-то спросить Антон, но задумался, прилег на траву, подложил руки под голову. Казалось, его возбуждение проходило, он немного осовел, стал часто мигать, точно его клонило в дрему. Но немного погодя, все так же лежа на спине и с закрытыми глазами, отчетливо выговорил:

— Может, она в пруду до нынче живет?

— Наверно, живет, раз ее с тех пор не поймали,— ответил Матвей.— Только она теперь уж не с тебя ростом, а, поди, с меня.

Антон остро взглянул на него: кажется, брат был вполне серьезен. Мальчик подумал и засмеялся.

— Такие, как ты, одни сомы бывают!

Он ждал, что услышит ответный смех, но Матвей вдруг погрозил ему и начал тыкать пальцем на воду. На крайней Антоновой удочке поплавок сильно вело в сторону, потом книзу, и он быстро исчез, пустив вокруг легко побежавшие по воде кольца. Со всех ног бросился Антон к удилицу, ловко подсек и выкинул на берег доброго окуня.

Матвей со вспыхнувшим любопытством следил, как уверенно снимает мальчуган с крючка рыбу, заглотавшую жадно и глубоко приманку; как он спокойно вытаскивает из кармана и одним верным взмахом распускает смотанный кукан; как, бросив окуня плавать на кукане, снова закидывает удочку и проверяет другую. Рыболов был расчетливый, точный, владеющий собой и в то же время страстный. «Веригин!» — одобрительно и с любовью подумал о братишке Матвей.

Не так уж часто происходит этот вожделенный в охоте перелом, когда после томительного выжидания клев вдруг обрушивается горячкой своих требований к находчивости и мастерству ловца. Терпение стократ вознаграждено. В заводь зашла стайка прожорливых окуней. Тут не до сказок, не до разговоров — успевай поворачиваться. Охотники сбиваются

со счета — сколько вытянуто из воды и наспех брошено в траву рыбешек. Видят только свои поплавки. Не смотрят друг на друга. Не насыживают с каждым забросом нового червяка — довольно оборвыша, едва ль не хорош и голый крючок! Дорога ведь минута. Прошла она — миновала лихорадка, спал жар, реже и реже сверкают в воздухе лески. Можно вновь похитрее насадить червячка, можно и поплевать на него, есть время присесть на корточки и поправить скособоченную рогатку под удилищем.

И наконец Антон победителем выступает по дороге домой. В руке его полный кукан окуней, на плече удилища. Остатки червей высыпаны в пруд на приваду, пустая консервная банка валяется в траве на берегу. Все выполнено по закону обычая, и счастьем удачи сыто гордое мальчишеское сердце.

Матвей любовался братом. Это было приобретение, отрадное своей нечаянностью и ставшее дорогим. Оно запало в душу, и хотелось унести его с собой, сберечь на всю жизнь. Думая, кто тронул когда-нибудь с такою нежностью все чувства, как этот мальчик, Матвей не мог еще раз не вспомнить о Николае. Почти повторяя давнишний разговор с ним, он спросил, уж не ученым ли хочет сделаться Антон.

— А как же, — не задумываясь, ответил рыболов. — Раз буду учиться — значит, буду ученым.

Тогда Матвей сказал:

— Кончай семилетку. А захочешь учиться дальше, возьми к себе в Москву.

Антон остановился. Удилища поползли с его плеча. Он не подумал удержать их, они свалились на дорогу. Горящими глазами смотрел он на брата.

— Слово? — спросил он со строгой краткостью школьника.

— Слово! — так же строго сказал Матвей и подал руку. — Беги вперед. Пускай мама варит уху. Да помоги ей чистить окуней!

Антон живо нагнулся собрать удочки, но ловкость изменила ему, и чем больше он старался их спарить, тем упрямее они распряливались крестом. Брат взял на себя доставку удочек домой, и мальчик освобожденно кинулся бежать, размахивая тяжелым куканом. Но, отбежав недалеко, придержал свой полет, обернулся, крикнул:

— Смотри! Я запомню! — И побежал еще прытче...

Деревня была на виду. Матвей неторопливо шел по безлюдной дороге. Истово грело уже высокое солнце, но казалось, и в слабых токах пахучего ветра и в распевах жаворонка над открытым полем слышится не совсем ушедшее утро — тот свежий, счастливый час, которым одарили Матвея Коржики в канун расставания.

Дорога делает последний изгиб, перед тем как влиться в деревенскую улицу, и в стороне от изгиба, на склоне бугра, Матвей видит кузницу. Он замедляет шаг, потом мгновение стоит на месте, и вот решительно сворачивает, поднимается по склону.

Обнятая бурьяном, кузница кажется наполовину провалившейся в землю. Кусты отцветшей черемухи дотянулись до крыши. Елка вымахала выше трубы, разложив свои лапы по кровле. Дверь накрест заколочена длинными бурыми тесинами. Откуда взялись кусты, откуда елка? Занесло с ветром, посеялось, принялось, как принимается, живет жизнь даже на голых скалах.

Матвей раздвигает сухое былье, перемешанное с молодой крапивой, отыскивает щель между створом двери и косяком, заглядывает внутрь. Из угла солнечный луч бьет через рассеявшиеся пазы бревен, режет лезвием земляной пол. Мусор ворохом висится перед горном. Под шатром горна куча щебня, на ней два-три прокопченных цельных кирпича.

Плохо видно место, где стояла наковальня. Матвей выскивает другую щелку в двери, но, когда припадает к ней глазом, видит словно чудом подвешенный в воздухе, вырванный из тьмы солнцем серебристый круг паутины.

Не на что смотреть да ведь и незачем смотреть на доживающую век развалину. Скоро, очень скоро ее покроет земля. Матвей отходит от кузницы, почти сбегает вниз, на дорогу, и вот длинный ровный порядок улицы открывается его взгляду.

Женщина в темном платье идет навстречу. Частый шаг ее скор, она спешит. Но, приближаясь, будто сбивается с ноги. Можно разглядеть ее лицо. Оно бледно и как будто чересчур узко, обведенное платком. Странно, что в жаркий день на женщине такой плотный, наверно зимний, платок. Она все больше медлит. Видны ее глаза — круглые, светлые, немного выпяченные из черных окружий ресниц. Они одни живут, а впалые щеки, губы стьнут в холоде одинаковой желтизны. Лоб, скулы, подбородок туго обтянуты краями платка, и треугольник лица напоминает убранных к отпеванию покойниц. Матвей отводит взгляд, когда женщина вот-вот должна сравняться с ним. Что ему до встречных прохожих?

— Никак Веригин? — слышит он негромкий, но полный и певучий голос.

Они останавливаются в одно время.

— Не признаете? — с печально-счастливой улыбкой спрашивает женщина.

Тогда, точно от огня, сплавляются в один слиток ее голос, глаза, освещенный улыбкой рот, и он видит Агашу. Он видит ее не той, которая неуверенно протягивает ему руку и ждет, как он ответит. С огнем узнавания опять вспыхивает в памяти солнечный лес, и пылающий красками юный облик, и первое нескончаемое рукопожатие.

— А рыбу оставили в пруду? — кивает на удочки Агаша.

Матвей все не может выговорить ни слова. Он быстро выпускает ее руку из своей. Рука, которую он сжимал давно-давно в лесу, была другой.

Агаша понимает, почему ему трудно говорить. Счастье мелькнуло и пропало на ее лице вместе с улыбкой. Остались боль и печаль. И Агаша принимается говорить сразу за Матвея и за себя, чтобы только не тянуть молчания. Да, она знала, что он приехал. Да, она дожидалась, что он захочет повидаться. А он не подал о себе ни голоса, ни знака. Прислал бы сказать братишку или кого еще. Рассказал бы, как живет. Слухи были — не очень задалась судьба-то, а?

— Почему такое? Очень даже задалась, — останавливает ее Матвей.

Она смолкает, и ему становится не по себе, что первые слова его сказались жестоко.

— Что это вы так укутались? — спрашивает он.

Она отвечает обрывисто, коротко, что болит лицо, лицевые нервы, что это давно. Они стоят близко друг к другу, и она все время смотрит прямо ему в лицо, но тут опускает глаза.

— А моя жизнь не задалась. Из-за мужа. С тех пор и хвораю.

Он переступает с ноги на ногу, говорит тихо:

— Лечиться надо.

— Лечусь.

Они молчат. Потом она поднимает глаза и вдруг стесненным голосом медленно выговаривает:

— Красивый вы.

Он отворачивает голову.

— Так, может, повидаемся? — спрашивает она.

— Я завтра уезжаю, — не глядя на нее, говорит он и спустя секунду слышит ее вздох.

— Все, стало быть?

Он усилием удерживает себя, чтобы не крикнуть, резко взглядывает на нее, хватая, как попало, ее руку, жмет и — уже сорвавшись с места — выталкивает на ходу свое прощальное слово:

— Ну... будь здорова!

«Только бы не бежать! Только бы не бежать, как тогда!» — думает он, отмахивая уличей что ни на есть широкий шаг.

Влетев во двор, он швыряет под поветью удочки наземь, идет огородам к вязу и, привалившись к стволу, ждет, когда отшумит в висках кровь.

Зачем понадобилось смотреть заброшенную кузницу? Не пойдя он туда, не встретил бы Агашу. Не встретить ее, не мучился бы сравнениями, какой она была, какой стала. Ведь и сам он был когда-то не тот, что теперь. Может быть, он остался бы с Агашей в деревне или увез бы ее с собой, если бы она оставалась прежней. Но ничего не остается таким, каким было. Все не такое. Все другое.

Впервые с настойчивой силой ясности задал себе Матвей вопрос о переменах в жизни и впервые так ясно ответил на него. И когда нашел ответ, с болью думая о прежней Агаше, воображение повторило ту минуту восхода, когда он следил с Антоном на пруду за курочкой, исчезнувшей бесследно. Так было с Агашей: ранним утром неожиданно вынырнула она перед его глазами, всплеснула солнечными брызгами да и канула в воду навсегда. Ушло на дно счастье, затянулось илом — нечего его искать! Пришла пора другим счастьем жить, другим и дорожить...

Этот последний день перед отъездом Матвей был молчалив. Не отозвался даже Мавре, сердобольно заметившей его грусть.

— Жалко небось уезжать из деревни-то?

Не скажешь ведь, что и жалко и не жалко. Не признаешься, что уже чувствуешь себя не столько дома, сколько в гостях. Иной правдой можно обидеть, и лучше держать ее при себе.

Не мог Матвей нанести обиды и своему папане, робко попросившему добавить все-таки сотенку к тем деньгам, которые получил взаймы от сына и уже истратил на поросенка, — долг за корову не переставал мучить Илью Антоныча больше всего. Матвей обещал с первых двух получек присылать по полсотни, и сам был рад своему великодушию, увидав засиявшее от радости лицо папани.

Но обещанию суждено было остаться обещанием. И что удивительно: не только Матвей, но и батюшка Илья Антоныч — оба они позабыли думать о несдержанном слове.

Впрочем, удивляться нечему, потому что вскоре наступило время, когда из памяти стали исчезать куда более важные намерения, чем исполнение однажды данных обещаний выручить деньжонками.

Зато не забывал Матвей недолгих мгновений прощания с родной семьей.

Утро сеяло мжичкой. Колхозный грузовик, отправлявшийся на станцию и по великой просьбе Илья Антоныча завернувший в Коржики за попутчиком, стоял перед веригинским домом, словно только что из-под мойки. Мешок картошки, подаренный от доброты родительской, лежал в кузове, покрытый рогожей. Полегчавший чемоданчик был сунут в кабину. Заведенный мотор нетерпеливо ворчал.

Антон, обхватив шею Матвея, висел на нем, то горячо прижимаясь, то заглядывая ему в глаза. Что-то он шептал на ухо брату, чего не могли понять ни мать, ни отец, и что-то ответил ему шепотом Матвей, согласнo кивая.

Мавра потянула мальчика к себе ласково-ревниво:

— Да ладно уж, отцепись!

Матвей вскакивает в кабину и сверху бросает взгляд на мачеху, на отца. Мавра стоит вплотную к сыну, держа большую рабочую свою руку на его плече. В глазах ее — спокойствие, счастье, в застывшей улыбке — далекая от всякой тревоги грусть. Илья Антоныч быстро мигает. Голова его с каждым коротеньким поклоном вздрагивает.

И наконец последний взгляд на Антона, встречный разящий ответ во всю ширь раскрытых, жарких мальчишеских глаз и трепетание высоко поднятой тонкой руки.

Все это — сквозь частый ситник теплого дождика, почти как во сне. Машина уже рванулась, шофер спешит. Шоферы всегда спешат — Матвей это отлично знает.

(Продолжение следует)



АЛЕКСИС ПАРНИС

★

КРЫЛЬЯ ИКАРА

Драматическая легенда в трех частях

«...Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение».

К. Э. Циолковский.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ДЕДАЛ	ПРОТЕЙ, их сын
ИКАР, его сын	ПИСЕЦ
МИНОС, царь Крита	АРХОНТ
ПАСИФАЯ, его жена	ТЮРЕМЩИК
АРИАДНА, ее дочь	ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬ	РАБЫНЯ
ИДОМЕНЕЙ, художник	ГЛАШАТАЯ
ДАФНА, его жена	РАПСОД

Вончы царя Миноса, мастера, работающие в Лабиринте заточники-эфиныяне, приближенные царя, рабы, ремесленники, прохожие, зрители.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Крит четыре тысячи лет тому назад. Медный век. Недавно установился патриархат и начал утверждаться рабовладельческий строй. Государство легендарного царя Миноса.

Картина первая

Жилище Идоменея. Гончарня, глинобитная лачуга. Во дворике выставлены для просушки гончарные изделия. В углу дымится обжигальная печь.

Идоменей, мужчина лет сорока, в короткой одежде, перепачканной глиной, расписывает вазу. Рядом работает Дафна. Они одного возраста, но женщина выглядит старше. На ней длинный хитон. Она ловко босыми ногами вращает гончарный круг. На заднем плане видны стены дворца. Откуда-то со стороны доносится гомон толпы. Потом удары барабана и звук трубы. И вдруг все звуки покрывает громкий голос Глашатая.

Глашатай (*постепенно приближаясь*). Счастливые люди Медного века! Верноподданные богсравного Миноса! Граждане благословенного Крита! Спешите увидеть! Рекорд скорости! Парусное судно! Корабль с парусами! Чудо, которого не увидишь и во сне! (*Кашляет*.) А кто будет утверждать обратное, подвергнется наказанию, ибо смертным запрещено видеть божественные сны! (*Уходит*.)

И до мене й *(встает, снимает фартук)*. Пойду погляжу.

Да фна. А работа?.. Нечего лодырничать!

И до мене й. Нет, послушайте-ка ее!.. Милая Дафна, пойми, матриархат окончился. Уразумей наконец, темная женщина, что мы живем в цивилизованном Медном веке!

Да фна. Стоящие люди, может, и живут в Медном веке, а ты вот будешь жить у меня в деревянном... *(Хватает полено.)* В веке дубины! Бездельник!

И до мене й. Слава богу, что не в каменном. *(Вздыхает.)* Все спешат поглядеть на этот корабль. А я художник. Мне нужно вдохновение, впечатления.

Да фна. Знаю я твои впечатления — выпить задумал! Набезобразничать, поволочиться за какой-нибудь вертихвосткой! Ох и попадешь ты в Лабиринт... слопает тебя Минотавр, помяни мое слово.

И до мене й. Будь оно проклято, это чудище с человеческим телом и бычьей башкой! Лучше не поминай про него!

Входит Писец, вежливый тщедушный старичок с робкими движениями и тихим голосом. Он принес две большие глиняные таблицы с письменами.

Писец. Добрый день, соседи.

Да фна. Добрый день, писец. Присаживайся.

Писец. Нет времени, соседка. Работать надо. Архонт дал мне когда-то займы пять сосудов пшеницы, а теперь требует вернуть долг. Срок уплаты давно миновал. Того и гляди сделает меня рабом.

И до мене й. Не вешай носа, сосед. Пойдем-ка лучше поглядим, что там за корабль с парусами.

Да фна. Корабль, паруса!.. Нам-то какой от этого прок? Придумают тоже!

И до мене й. Это великое достижение человеческого разума, глупая ты женщина!

Да фна. Мне-то что с того? Придумали бы лучше средство против клопов, а то всю ночь глаз не сомкнешь.

И до мене й. Ах ты, моя бедняжка!

Писец. Видишь, соседка? А ты говоришь, что он тебя не любит, не жалеет.

Да фна. А то нет! Он только и мечтает, чтоб я покрепче спала, когда он притащится с пьянки да с гулянки. Слава богам, что вознаградили меня за мучения таким сыном, как мой Протей.

И до мене й. Протеем вознаградил тебя я. Тут третьи лица ни при чем.

Писец. Ох, и дерзко ты шутишь сосед, да простят тебя боги!

И до мене й. Художник должен быть дерзок, смел... и проворен. *(Прыгает через изгородь и убегает.)*

Да фна *(пытается догнать)*. Вот я тебя... я тебя!.. Удрал, окаянный!

Писец. Осторожней, раздавишь мои таблицы!

Да фна. Ставь-ка их в печь, покуда есть место.

Писец. Спасибо, соседка. Всю ночь я выводил на них письмена... Описание вышло на славу — и корабль, и паруса, и стремительный бег... Жаль, что нету Икара! Он сложил бы новую песню, и мое описание великого события стало бы еще прекраснее.

Да фна. Ах, Икар, Икар!.. Целый месяц пропадает на охоте. Где он бродит — одним только богам известно! Но зато каких птиц приносит, мой красавец!

Писец. Самые прекрасные птицы — это птицы его вдохновения, его песни.

Да фна. Первую его песню слышала я — это был младенческий писк.

Помню, как в ненастную ночь постучался к нам великий Дедал. Он принес младенца, завернутого в холстину. «Я бедный изгнанник,— сказал он,— враги заставили меня покинуть родину... Жена умерла в пути... А это мой сын... Прими его, добрая женщина, и будь ему кормилицей...»

Писец. Боги воздадут тебе за доброе дело!

Дафна. Мы только потом узнали, что это был великий механик, когда царь взял его к себе на службу и поселил во дворце. Дедал ушел, а Икара оставил у нас.

Протей (*входит усталой походкой; он коренастый, крепкий юноша; на плече его — огромный каменный молот, за спиной — котомка*). Здравствуй, мать! Мир вам, сосед!

Дафна. А вот и Протей вернулся.

Писец. Как идут дела в каменоломне?

Протей. Да разве толком поработаешь, если инструмент каменный? Только для мягкой породы годится. А мне бы мрамор рубить!

Писец. Всему свое время. Как-никак — теперь у нас Медный век...

Протей. Нам, беднякам, от этого ни холодно и ни жарко. Из божественной меди пока что выделывают оружие да доспехи. А коли увидят, что кто-то нашел кусок металла и приспособил к мотыге, сразу в Лабиринт, к Минотавру, — и прощай, белый свет. Говорят — государственная монополия.

Писец. Боги, дорогой Протей, одному Миносу открыли секрет вылавки меди. Дабы он изготовлял оружие для защиты государства от врагов внешних и внутренних. Но придет время, когда медь будет использоваться и в мирных целях.

Дафна. Пойдем, сынок, я солью тебе.

Писец. Не стану вам мешать... Работать надо... (*Уходит.*)

Протей (*подает ей большую деревянную флягу*). Возьми-ка, мать. Это от Икара.

Дафна. Он вернулся?

Протей. Да. Пошел поглядеть на отцовский корабль.

Дафна. А тут что?

Протей. Вино.

Дафна. Ни к чему это!.. Икар, Икар! Я вспоила тебя своим молоком, а ты спаиваешь моего бездельника-мужа!

Протей. Если Икар не принесет вина, отец все равно где-нибудь раздобудет... Вот сейчас я его повстречал с двумя пьяными моряками.

Дафна. Что ж ты не остановил его? Взяли бы с Икаром да и привели домой!

Протей. Икару не до того было. Его окружил народ. Заставили складывать песню в честь корабля. Поглядела бы, что творится на царской пристани!

Издали доносится песня, приветственные клики. Толпа приближается.

Дафна. Сюда идут.

Протей (*глядит через изгородь*). Икар!.. Его несут на руках мужчины и женщины, свободные и рабы.

Толпа проходит мимо изгороди. Высоко подняв на руках, люди несут Икара. Он поет, и толпа вторит ему.

Икар. Построил я лодку, два крепких весла,
Наполнил весельем, чтоб к солнцу плыла.

Но злая судьба моя лодки быстрее —
Настигла меня на просторе морей.

Настигла — и радость украла она,
И вновь моя лодка бедою полна...

Я парусом лодку свою открылил
И снова с надеждой по морю поплыл.

Плывет моя лодка, легка и быстра,
Ее от невзгоды уносят ветра...

(Икар оканчивает песню и прыгает во двор через изгородь.) Здравствуй, матушка!

Голоса. Спой еще, Икар!

Икар. Хватит. Ступайте по домам.

Голоса. Не пойдем!

Икар. А ну-ка, Протей, покажи им! *(Протей вращает вокруг головы огромный свой молот. Люди кидаются врассыпную, а он хохочет.)*
Так! Молодцом! Улю-лю-лю!

Толпа рассеялась. Протей и Икар, смеясь, обнимают Дафну.

Протей. Ну садись, потолкуем. *(Усаживают.)*

Архонт *(входит)*. Слава царю Миносу!

Дафна и юноши встают.

Дафна. Милости просим, почтенный архонт!

Архонт. Работаете?.. Вижу — обжигаете кувшины?

Дафна. Обжигаю. А еще мне принес свои таблички писец, твой должник... Он продаст письмена и уплатит часть долга.

Архонт. Твой писец не может ни продавать, ни покупать. Он уже раб.

Икар. Постой! Он же свободный ремесленник!

Архонт. Вот именно — до захода солнца. Сегодня истекает последний срок уплаты.

Дафна. О боги! Он же ничего об этом не знает!

Архонт. Я не хотел его с утра расстраивать. Пусть, думаю, насладится своим последним вольным деньком. *(Кивает головой и направляется к дому писца.)* Эй, старик!.. Собирайся!

Икар. Пристукнуть бы этого архонта!

Дафна. Тише! С ума ты спятил!

Икар. Разве можно, глядя на это, не сойти с ума!

Дафна. Молчите!.. Если кто вас услышит, прямоком в Лабиринт угодите!

Икар. Как бы не так! Есть еще на свете горы!

Дафна. Не болтай понапрасну... Мало ли рабов уходило в горы, а потом их снова ловили?.. От царя не уйдешь.

Икар. В скалах Дикта и в лесах Южного склона полно беглого люда... Я сам видел многих и беседовал с ними.

Дафна. Тише!.. Уймись, безрассудный!.. Архонт идет!

Архонт *(возвращается, подталкивая Писца)*. Ну полно, полно! Не хнычь, старик, я этого не люблю!

Писец. О боги! Почему вы не дали мне умереть! Другие же умирают в мои годы. Почему вы не дали мне покинуть этот мир свободным?

Архонт. Пойдем, пойдем, старик. Лексиарх внесет тебя в списки рабов. Дай-ка сюда резец. Знак свободного ремесленника тебе больше носить не положено. *(Снимает у него с пояса резец.)* Ну вот ты уже и раб.

Писец. Но ведь солнце еще не зашло, архонт!

Архонт. Я не думал, что ты будешь препираться из-за каких-то двух-трех минут.

Писец. Но я хочу еще проститься с солнцем как свободный человек!.. Отдай мне резец, архонт!

Архонт (*пожав плечами, отдает резец*). Чудной ты, старик. Верно, чудной.

Писец (*смотрит вдаль, на глазах его слезы*). Как прекрасен закат... Ужасно под старость терять свой кров, работу, все, к чему привык... Но ужасней всего терять самого себя... Икар, исполни мою последнюю просьбу: спой песню о солнце...

Икар (*опустив голову*). Не могу петь, учитель, прости меня.

Писец. Исполни, исполни предсмертное желание моей свободы. Пропой хоть «Солнце уходит...»

Икар (*глухо*). ...и многие тысячи лет

Неизменны привычки его. И в назначенный час

Наступает закат, а потом наступает рассвет...

Но свободное солнце похоже на нас,

На людей, добывающих кровью свою свободу...

Вглядишься, посмотри,

Как оно истекает багряною кровью вечерней зари,

И опять на востоке, как воин, вступает в борьбу,

Снова, снова воюет за волю свою и судьбу!

Всхлипывает Дафна, громко рыдает Писец, кулаком ударяя себя по голове. Все окружают его.

Дафна. Не надо, сосед, не надо... Все будет хорошо.

Писец. Почему не суждено мне умереть свободным! Почему! (*Падает.*)

Дафна. Он без памяти!.. Протей, помоги поднять!.. Икар, воды!..

Идоменей (*входит. Он навеселе, мурлычет песню*). «Я парусом лодку свою окрылил! И вслед за надеждой...» Эй! Что здесь происходит?

Дафна. Соседа в рабство берут... в рабство!..

Идоменей. Эх, сосед! Дорогой ты мой сосед!.. А я-то хотел спеть тебе новую песню Икара.

Я парусом лодку свою окрылил...

Окрылил... парусом... (*Плачет.*)

Опускается экран. По голубым волнам, прямо на заходящее солнце, скользит парусный корабль. Издалека слышен голос Гл а ш а т а я: «Счастливые люди Медного века!.. Счастливые люди Медного века!..»

Картина вторая

Мастерская Дедала. С огромной веранды ступени ведут в сад. Одна из дверей выходит в главную мастерскую. На стенах развешен инструмент: молотки, циркули, сверла. У стены — ванна, занавески отделяют ее от остального помещения. К ванне подведены две гончарные трубы — для холодной и горячей воды. Дедал возится над медными кранами. Он седой шестидесятилетний человек, еще бодрый и сильный.

Дедал (*подходит к перилам веранды и кричит кому-то в сад*). Подавай горячую воду! (*Скрестив руки, он любит своим изобретением.*) Ванна!.. Я придумал ванну!

Ариадна (*тоненькая девушка, еще совсем ребенок, подкрадывается к Дедалу сзади и закрывает ему глаза ладонями*). Хватит! А то с утра никак не налюбуйешься!

Дедал (*кланяется с шутливым почтением*). О нежнейшая Ариадна! Прекраснейшая дочь величайшего из царей!

Ариадна. Ну вот, ты опять смеешься надо мной, Дедал!

Дедал. Что ты! Я серьезен, как никогда!

Ариадна. Почему ты не хочешь, чтобы мы стали друзьями? С друзьями так не обходятся!

Дедал. Ну ладно, ладно! Не надо дуться! Я пошутил. С другом ведь и пошутить можно. Ты же у меня единственный друг здесь, во дворце... Единственный — с тех пор, как я стал любимым пленником царя.

Ариадна. Любимым пленником! Какие горькие слова!

Дедал. Еще бы не горькие! Шестнадцать лет живу я взаперти. Моему рабству столько же лет, сколько и тебе. Твой отец говорит, что я сокровище, и потому упрячивает меня подальше.

Ариадна. Я понимаю. Ты бы хоть Икара взял к себе. Сын был бы тебе утешением.

Дедал. Нет, пусть лучше остается там. Я лишился его, зато он не лишился свободы. Икар не вынес бы унижений в толпе придворных. Они бы постоянно напоминали ему, что он всего лишь сын изгнанника.

Их разговор прерывает нетерпеливый стук. Слышен женский голос: «Дедал, отвори! Слышишь? Отвори немедленно...» Громко звенят медные тарелки.

Ариадна. Что там за шум?

Дедал (*смеется*). Это царица, твоя матушка... Она ломится сюда уже третий раз.

Ариадна. Что ей надо?

Дедал. Ей взбрело первой испробовать ванну. Но это невозможно. Царь повелел все мои изобретения показывать ему прежде всех.

Ариадна. О боги,пусти ее, Дедал! Она же все равно не отвяжется и притом распугает моих голубей!

Дедал. Придется впустить... Не хотел я потакать ее причудам, но так уж и быть, ради тебя пущу. Ступай к своим голубям, а я займусь ею. (*Ариадна уходит.*) Эй, страж,пусти повелительницу!

Появляется Пасифая в сопровождении Рабыни. Это молодая, красивая женщина. Она часто и без повода смеется, и это придает ей легкомысленный вид. Она одета в дорогой прозрачный хитон, выгодно подчеркивающий стройность ее фигуры.

Пасифая. Ну вот, давно бы так! Ты же прекрасно знаешь, что царица Пасифая своего добьется. (*Оглядывается.*) А-а! Это и есть твоя ванна? А для чего трубы?

Дедал. По ним течет вода, Пасифая,— горячая и холодная. А этими кранами можно регулировать температуру.

Пасифая. Потрясающе!.. Теперь можно обойтись без рабынь. Они вечно толкуются перед глазами и льют на тебя то ледяную воду, то кипяток... Неужели я могу искупаться сама?

Дедал. Попробуй.

Пасифая (*задерживает занавеску и начинает раздеваться*). Какая прелесть! Потрясающе! (*Высовывает голову из-за занавески.*) Скажи, Дедал, для чего ты постоянно что-то строишь, что-то придумываешь?

Дедал. А для чего ты каждый день придумываешь новые наряды?

Пасифая. Каждый день!.. Вот и неправда. Мои швеи неспособны ежедневно придумывать новые фасоны. Они повторяются. Как жаль, что ты не швея! С твоей бы фантазией!.. (*Хохочет.*) Ты даже не представляешь, какое бывает чувство, когда надеваешь новое платье,— тебя словно обнимает новый возлюбленный! Ха-ха-ха!.. Когда я намекаю на это старикашке Миносу, он зеленеет и тут же приказывает сшить мне дюжину новых хитонов... Он предпочитает, чтобы ему изменяли с новыми нарядами, чем с новыми поклонниками.

Дедал. Минос соображает что к чему.

Пасифая. Великие люди чем старше, тем мудрее.

Дедал. Чего нельзя сказать об их женах. Ты, кажется, у него двенадцатая! Пасифая Двенадцатая! Помню, семнадцать лет назад я пришел просить убежища и как раз попал на вашу свадьбу: С тех пор ты делишь с ним его ложе. Надо отдать ему справедливость: насколько он беспощаден с теми, кто хочет разделить с ним трон, настолько он снисходителен к тем, кто делит с ним его ложе. Помнишь ту ночь, когда тебя застали в объятиях бедного изгнанника Дедала?.. Ха-ха-ха! Минос мудр, он не пожелал стать посмешищем. Для нас все обошлось благополучно... Но как давно все это было! О, я тогда еще был безрассуден.

Пасифая. Ты был просто бесстыжий обманщик, лишенный родины и потерявший совесть.

Дедал. Я был диким конем, потерявшим узду. Ту узду, что направляет дела человека к добру. Я потерял родину... Закусив удила, я метался во дворце. Днем скакал по просторам воображения, а ночи проводил в хмельном угаре и топтал без сожаления все заповеди — божественные и человеческие... Вот и все!

Пасифая. А потом угомонился.

Дедал. Время обуздало меня.

Пасифая. Да, ты стареешь. Тогда ты был сильным и дерзким... Твое тело источало жар аттического солнца, от него веяло ветром, запахом водорослей неведомых морей, по которым ты странствовал. Ты скоро покинул меня... Богини и даже царицы забывают мужскую неверность. Но женщины — никогда!

Раздаются звуки трубы.

Дедал. Постой! Играют «Боги, храните царя!». Повелитель идет сюда! Одевайся и побыстрее уходи!

Пасифая. Я готова!.. Эй, рабыня, ополосни ванну и пойдём. (*Выходит одетая из-за занавески.*) Не говори ему, что я была здесь. Пусть тешится тем, что он первый.

Дедал. А он поверит?

Пасифая. Он мужчина. А мужчины тщеславны и доверчивы. (*Уходит.*)

Входят царские трубачи и свита. За ними — Минос и Законодатель.

Минос (*в медных доспехах и шлеме в виде бычьей головы. Он выглядит мужчиной богатырского сложения и сверхчеловеческой мощи*). Устал я... Утомился. Законодатель, помоги мне раздеться! Я желаю ознакомиться с новым творением нашего дорогого Дедала.

Законодатель (*тощий, длинный, лысый, с реденькой бородкой. Лицо строгое, аскетическое, часто подергивает левым плечом. Обращается к свите*). Примите доспехи повелителя! Смотри морских сил утомил царя.

Минос (*освобожденный от доспехов, он оказывается хлипким старикашкой, беззубым, с совершенно голым черепом. Похож на только что вылупившегося цыпленка*). Я устал. Утомился я... А этот гимн мне действует на нервы. Послушай, законодатель, ты не мог бы сочинить какой-нибудь другой, повеселее? Этот что-то уж очень похож на похоронный марш. (*Дворцовые слуги уносят доспехи.*)

Законодатель. Символы власти, о царь, должны быть незыблемыми. Их изменения могут породить у подданных опасные мысли. Традиционность — вот в чем сила и величие власти. Гимн должен быть сохранен. Так надо.

Минос. Это вечное «так надо» угнетает меня, как эти медные доспехи. Я, старый человек, должен таскаться по адской жаре в медном пан-

цире, как черепаха. Придумал бы какое-нибудь «так надо» полегче. И не дергай плечом.

З а к о н о д а т е л ь. Повелитель!

М и н о с. Отстань. Ты мне надоел. Не смей меня угнетать! Я взбунтуюсь!

З а к о н о д а т е л ь. Царь мой, будь сдержан!

М и н о с. Я сказал — взбунтуюсь! Неужели только мои подданные имеют право восставать? И неужели я, который выше всех, лишен этого права?

З а к о н о д а т е л ь. Ты царь и, следовательно, не можешь восставать против царя.

М и н о с. Но я восстаю против тебя!

Д е д а л. Это еще сложнее. Тот, кто не смеет посягнуть на царя, не должен посягать и на его слугу.

З а к о н о д а т е л ь. Молчи, Дедал! Ты, кажется, забыл, что я законодатель, личный философ величайшего из царей!

Д е д а л. Я хорошо это знаю. Ты вдохновитель всех беззаконий и злодеяний.

М и н о с. Ну вот, опять... Оставь, Дедал! Я прихожу сюда отдохнуть душой, а ты вечно брюзжишь. Когда же ты избавишься от этой дурной привычки?

Д е д а л. Когда ты перестанешь творить несправедливости... Даже здесь слышны проклятия и стоны тех, кого ты отдал в жертву Минотавр-у. Они всю ночь не дают мне сомкнуть глаз.

М и н о с. Нет, как вам это нравится! Дедал, ты забываешься!.. Ты хочешь свою вину свалить на меня. А кто из нас бросает людей Минотавр-у — я или ты?

Д е д а л. При чем здесь я?

М и н о с. Если б ты не придумал это огненное чудовище, ему не нужна была бы пища, и я не искал бы для него жертв. Не гляди на меня так, пожалуйста. Разве не ты изобрел Минотавра?

З а к о н о д а т е л ь. Мы только дали ему название, чтобы засекретить его от врагов.

М и н о с. А кто изобрел парусное судно? Ты! И мне пришлось отправить гребцов в Лабиринт, теперь они больше не нужны. Я не виноват, что твои изобретения приносят несчастье моим подданным, а мне — одни заботы.

Д е д а л. Тогда отпусти меня, царь. Не держи меня пленником. Отпусти меня, и у тебя не станет забот.

М и н о с. Какая ерунда! Надо мыслить государственно. Если я тебя отпущу, ты уйдешь к другому царю и передашь ему свои изобретения. Что ты! Я еще не сошел с ума. *(Старается успокоить Дедала.)* Ну, Дедал... Ну, дорогой!.. Жизнь — штука сложная, и от судьбы не уйдешь.

З а к о н о д а т е л ь. Все сущее на земле, Дедал, имеет свое назначение. Оно сопутствует ему, как тень. У лошади — своя тень, у человека — своя.

М и н о с. Далась вам философия! В такую жару да еще философствовать! Проводите меня лучше к ванне, и я погржусь в нее.

Д е д а л *(в сильном волнении)*. Ты сказал, что все имеет свое назначение!.. Тогда я знаю свое назначение! Я буду создавать лишь такие вещи, которые служат добру, которые принесут людям только радость! Как эта вот ванна... *(Торжественно.)* Каково ее назначение, ответь, законодатель? Только польза, только добро.

М и н о с. Вот именно! Какое блаженство! Можно купаться без грязных рабов, которые льют на тебя воду из допотопных кувшинов... Благодать!

З а к о н о д а т е л ь. И какая экономия средств!

Минос. Экономия? Это любопытно.

Законодатель. Подумай, царь, сколько рабов-банщиков можно высвободить, если все архонты на Крите обзаведутся такими ваннами?

Минос. Обязательно обзаведутся! Их хлеб не корми, только подавай новинки!

Законодатель. Но тот, кто захочет получить разрешение на установку такой ванны, должен будет сдать в казну двух рабов.

Дедал (как раненый зверь, отпрянул в угол. Смех Миноса и Законодателя приводит его в ярость). Проклятье! Проклятье! О страшная моя судьба! Неужели все, что бы я ни задумал, все, что бы я ни создал на радость людям,— все оборачивается страданием и злодейством! О, как несправедлива жизнь! Но я уничтожу несправедливость! Задуш, как ядовитую змею, каждую мысль, что рождается во мне!

Законодатель. Не выйдет, Дедал!.. Разве может не цвести живое дерево?

Дедал. Каждую мысль свою я убью в зародыше!.. Я сокрушу все орудия, которые помогают воплотить мои мысли в творения рук моих!.. Все уничтожу! Все! (Он в бешенстве крушит и ломает все, что попадает к нему на глаза, и выбегает в главную мастерскую.)

Законодатель (прячась за колонной). Надо позвать стражу, пусть его свяжут!

Минос. Что ты! Что ты! Его свяжешь, а он не станет работать, когда утихомирится... Пойдем-ка лучше отсюда.

Законодатель (поспешно одевает царя). Но моральные принципы не позволяют царю бежать, подобно зайцу!

Минос. Основной моральный принцип — это самосохранение, почтенный философ. Это я лучше тебя знаю.

Дедал (входит). Все изломаю, все сокрушу!.. И эти инструменты, и себя... и вас, тираны!..

Он швыряет в царя скамью. Тот, увернувшись, испускает жалобный вопль и убегает, не успев одеться.

Законодатель. Караул! Стража! Убивают! (Убегает.)

Дедал (стоит один, гордый и гневный). А ну, попробуйте подступиться ко мне! Идите, я жду! (Пауза.) Нет, они не придут! Минос не настолько щедр, чтобы подарить мне свободу. Ведь смерть — это тоже свобода. И если царь мне не хочет ее подарить — ее подарит мне ничтожнейший из рабов! Я сам! (В отчаянии мечется по мастерской.) Тысячи рабов вопиют во мне: «Дедал! Ты бросил нас в Лабиринт! Спаси нас, Дедал!» А по ночам мне слышатся их голоса и бессонница терзает меня. Но я избавлюсь от этих стонов, избавлюсь от гнусного смеха Миноса! Избавлюсь от этих стен, куда замуровали мою душу! От тебя, злосчастная подушка, свидетель ночного кошмара. Ты станешь свидетелем вечного сна. (Он яростно терзает подушку.) Ты станешь мне саваном! Ты станешь мне парусом в последнем плавании... (Перья белым облаком носятся вокруг него.) Парусом, под которым я поплыву к вечной свободе!.. (Он снимает со стены нож и уже заносит его над собой, но вдруг застывает, увлеченный легким полетом белого пуха. Он обо всем забывает, глядя на перья, и взгляд его вдруг становится странным, отрешенным.) Как эти перья похожи на лодки, качающиеся на волнах лазурного моря!.. Но они плывут в синем небе... (Пауза.) Однажды я увидел в водоеме веточку с двумя листьями... Ветер дул на листья, и ветка плыла. Плыла, как лодка... И тогда я увидел парус. Я увидел корабль, плывущий под парусом по морю. (Улыбается далекому воспоминанию.) О, как прекрасно увидел образ своего лучшего творения перед... перед... (Он вновь поднимает нож, но взгляд его не может оторваться от легкого полета

перьев.) Перед... *(Со стоном.)* Перед новым открытием! Маленькие воздушные лодочки! Их же можно соединить... из них можно построить крылья! *(Бережно собирает пух.)* Крылья! Огромные крылья! *(В полном самозабвении он что-то вычерчивает ножом на полу и бормочет. Потом задумывается, уставившись в одну точку.)*

Ариадна *(входит веселая, прижимая к себе голубя, но, увидев разгром, в тревоге подбегает к Дедалу).* Что здесь произошло? Дедал! Послушай, Дедал! Ты нездоров? Ну, очнись, Дедал, а то мне страшно!

Дедал *(оборачивается к ней).* Ариадна? Хорошо, что ты пришла.

Ариадна. Ты болен, Дедал! У тебя странный взгляд. Что за растерзанный вид! Скамья разбита... инструменты раскиданы. А-а, у тебя снова был припадок? Но зачем тебе нож? Отдай мне нож, Дедал!

Дедал. И вправду — зачем мне нож? *(Он постепенно приходит в себя.)* Я хотел разорвать цепи. Они сковали меня, как галерного раба. Но я не сумел, Ариадна. Это слишком прочные цепи! *(С отчаянием.)* Я скован навеки, Ариадна! Скован навеки!

Ариадна. Ты просто устал. И жизнь у тебя нелегкая. Тяжело жить вдали от родины.

Дедал. О Ариадна, если бы ты могла постичь страдания изгнанника!.. Ведь ты никогда не покидала родину.

Ариадна. Я тоже изгнанница. Я покинула навсегда беспечную и радостную страну детства. И когда стала взрослой, я почувствовала себя ужасно одинокой...

Дедал. Погоди. Скоро девичья пора станет для тебя доброй и изведанной, как родная земля. Ты юное деревце, тебя выкопали из земли, но придет садовник и пересадит тебя.

Ариадна. Кто же этот садовник?

Дедал. Любовь, девочка. Первая любовь.

Законодатель *(входит опасливо, но смелеет, увидев, что Дедал успокоился).* Царевна, отец приглашает тебя в тронный зал. Прибыли послы из Вавилона.

Ариадна. Опять, наверное, сваты от какого-нибудь заморского жениха! Из одного изгнания меня хотят отправить в другое! Не желаю!

Законодатель. О своем отказе ты должна оповестить самого царя.

Ариадна. Ты думаешь, я испугалась? Пойду и скажу. *(Уходит.)*

Законодатель *(осматривается).* Какой разгром! Ах, Дедал, Дедал, когда же ты избавишься от своей ужасной болезни? Ты всех нас страшно огорчаешь. К тому же ты пребольно ушиб царя скамейкой, и он бежал, не успев облачиться.

Дедал. Хорошо еще, что не с голым задом. *(Отворачивается.)* Ладно, ступай. Не мешай работать.

Законодатель. Я уйду, но сначала я должен сообщить тебе неприятное известие.

Дедал. Приятных известий я от тебя не жду.

Законодатель. Твой сын Икар во дворце.

Дедал. Икар! И это ты называешь неприятным известием? Где же он? Зачем он пришел?

Законодатель. Он не пришел. Его привели, чтобы ты дал ему добрый совет.

Дедал. Какой совет? Я так давно живу вдали от мира, что едва ли могу дать хороший совет.

Законодатель. Посоветуй ему держать язык за зубами, иначе он распростится со свободой. Он сочиняет песни, которые призывают рабов к неповиновению.

Дедал. Я не знаю его песен. Приведите его сюда, и пусть он мне их споет.

Законодатель. Побеседуй с ним, Дедал. Горький опыт отца — большая польза для сына. *(Дергает плечом.)* Эй, стража! Введите Икара.

Дедал. Икар! Как мне не хватает его! *(Два стража вводят Икара, снимают с его глаз черную повязку. Дедал обнимает сына.)* Икар!

Икар. Отец! Вот мы и свиделись! Постой! Дай привыкнуть к свету... Наверное, во дворце есть божественные красавицы. Мне надели повязку, чтобы я их не сглазил!

Дедал. Ха-ха-ха! Ты, как всегда, не унываешь. Сядь-ка, я погляжу на тебя... О, да ты уже настоящий мужчина — широк в плечах, мускулист, смуглолиц... Теперь я думаю, что ты и есть лучшее из моих творений.

Икар. То-то! А я уж начал было ревновать тебя к моим братьям, особенно к парусному кораблю.

Дедал. Корабль остается таким, каким я его создал. Он не может ни вырасти, ни стать лучше без моей помощи. А ты — о боги! — смотри, как вырос! *(Укоризненно.)* Росту-то, вижу, у тебя прибавилось, а вот ума — не знаю. Скажи-ка, что за песню ты сочинил? Где ты пел ее?

Икар. В каменоломне. Мы сидели с Протеем под скалой и пели...

На земле и на море, на земле и на море,
И везде и повсюду мы родились людьми,
Чтобы жить на свободе и дышать на просторе,
Но разбойный закон подстерег нас, о горе!
Он украл нас у жизни, сделал рабами
И упрятал за крепкие стены тюрьмы.
О, закон беззаконный, тиран и грабитель,
Отпусти нас обратно в родную обитель,
Нашей матери-жизни сынов возврати!

Дедал. Да, невеселую песню сочинил ты, Икар. Только не понимаю, почему так выходит из себя законодатель? Ты поешь о беспросветной судьбе человека, и только. О законе, которому все мы должны подчиняться. Он всемогущ, и каждому из нас обозначено место в этом мире. Да, да, каждый из нас имеет свое назначение...

Икар. Но для одного — это тяжкие цепи, а для другого — легкие крылья, которые поднимают человека до самых небес.

Дедал. Что ты хочешь сказать?

Икар. Погляди на меня, каково мое назначение? Зачем я живу?

Дедал. Ты мое утешение и надежда, единственная моя опора в жизни. Когда пробьет мой последний час, ты бережно закроешь мне глаза.

Икар. Но дети существуют не только для того, чтобы закрывать глаза родителям в их смертный час. Порой они открывают им глаза на жизнь.

Дедал. Разве есть что-нибудь новое на этой земле? Испокон веку назначение рабов — подчиняться архонтам, а назначение архонтов — владеть рабами.

Икар. Это придумали архонты тогда же, когда придумали цепи. Я знаю иное!

Дедал. Что же?

Икар. Ты не дал мне допеть песню, которую поют рабы тайком от надсмотрщиков.

Наше время рождает горе и стоны,
Оно же рождает гнев окрыленный,

И рождает законы — наши законы,
Которые рабство сметают с пути!

Дедал. Безумец!.. Ты призываешь рабов к восстанию!

Икар. Смысл человеческой жизни в том, чтобы вернуть людям все, что у них отнято.

Дедал. О горе! Он задумал тягаться с Миносом! Он решил стать бунтовщиком!.. Икар, послушай меня! Смолоду и я бунтовал. И гляди, что из этого вышло. Я поплатился свободой, обречен на вечное изгнание. Неужели ты ничего не извлек из моего горького опыта? О проклятье богов! Почему опыт отцов не передается детям вместе с чертами лица?.. Жизнь — безжалостный ростовщик, и каждое поколение должно расплачиваться за одни и те же ошибки. *(Обнимает Икара.)* Но нет! Я не пушу тебя... Я не позволю тебе стать бунтовщиком!

Икар. Позволишь и еще благословишь меня на это. Ведь и ты раб, и потому обязан уважать права рабов!

Дедал. Но я ни за кем не признаю права отнять у меня сына!

Икар *(гневно)*. Рабы имеют на это право! И ты сам дал им его. Посчитай, сколько их сынов было брошено в Лабиринт? Скольких рабов породило каждое твое изобретение?

Дедал *(отшатнулся от него, подавленный неожиданным обвинением)*. И ты!.. И ты!.. Так вот что ты надумал! Разве сын обязан кровью смыть заблуждения отца? О Икар! Неужели ты — лучшее мое творение — станешь самым жестоким? Да, да! Ведь другие мои творения лишены голоса, чтобы вопиять, и разума, чтобы обвинять! *(Он цепляется за Икара, как утопающий.)* Ты умеешь обвинять! Но это значит, что ты умеешь и прощать! Прости меня, Икар!.. Ведь я не могу жить и не творить!

Икар *(бережно усаживает отца рядом с собой на ступени)*. Знаю. И я не обвинять тебя пришел. Я хочу только освободить твою душу от оков и дать ей крылья. Послушай меня. Я хочу спеть тебе свою самую лучшую песню. Она родилась однажды ночью на Дикте, когда я сидел у костра среди беглых рабов.

Мы камень рубим, мы землю роём,
Палит нас солнце нещадным зноем.
Но не проклиняйте солнце, ребята,
Солнце, ребята, не виновато,
Что законодатель мучает вас!

Мы рубим камень и в дождь и в стужу,
Мы тянем лямку одну и ту же,
Но не проклиняйте стужу, ребята,
Стужа, ребята, не виновата,
Что законодатель мучает вас!

Когда мы с солнца собьем оковы,
Оно добрее к нам станет снова!
Когда со стужи собьем оковы,
Она к нам станет не так сурова!
Когда Дедала спасем, ребята,
Он станет, ребята, вам ближе брата,
Нужнее друга, нежней отца!..

(При последних словах песни он обнимает Дедала и покачивает его, как малое дитя.) Он даст вам плуги, чтоб пахать ваши поля, и медные молоты, чтобы дробить камень... И его корабли понесут свободных путников в дальние страны... И не нас, а жирных архонтов будет пожирать Минотавр.

Дедал (*мечтательно*). И он станет добрым...

Икар (*недоверчиво*). Как ты сказал? Минотавр станет добрым? Неужели и это чудовище может подобеть? Вот бы узнать, откуда добыл его Минос! Одни говорят, что это свирепый медведь с далекого севера, другие — что это гигантский лев со знойного юга.

Дедал. Ха-ха! Ничего похожего!

Икар. Что ж ты смеешься! Как только я начинал расспрашивать тебя о нем, ты поспешно переводил разговор на другое.

Дедал. Ты был еще мал. А сейчас пришло время. Ты возмужал там, среди людей. И с тобой можно говорить обо всем, даже о таинственном Минотавре. Он действительно ужасен. Но его можно заставить служить добру, и он станет добрым, как ты и я. Ведь его создал я!

Икар (*не может прийти в себя от изумления*). Ты? Ты — творец Минотавра?

Дедал. Я, Икар. Но не пугайся. Минотавр не чудовище, это просто большая литейня, где плавят медь. И никакое чудовище не пожирает рабов, брошенных в Лабиринт. Они просто годами трудятся у плавильных печей и становятся искусными мастерами. Но выйти из Лабиринта они не могут. Им суждено умереть там, чтоб никто не узнал тайну выплавки меди.

Икар. Кто б мог додуматься! Неужели ни один человек не может выйти оттуда?

Дедал. Даже я не знаю дороги.

Икар. Но ведь и Лабиринт построил ты!

Дедал. Там, в глубине земли, под дворцом, я потерял направление. Меня вводили и выводили из Лабиринта с завязанными глазами. А с той поры, как я задул печи и научил рабов литейному делу, меня и вовсе туда не пускают.

Икар. Там же тысячи мастеров! Тысячи смертных, владеющих искусством литья! И все они знают про обман, распространяемый Миносом по свету! О, если бы ты, отец, мог выпустить их оттуда! Они затопили бы все побережье до Кносской равнины! Они бы подняли Крит! И медь перестала бы служить лжи и стала бы служить правде.

Дедал (*словно воспрянул*). Низвергнуть ложь! Как это прекрасно! Неужели когда-нибудь плавильные печи Лабиринта принесут людям счастье! Неужели придет такой день!.. Что ты скажешь тогда, законодатель? Законодатель!.. Сегодня я обрел своего настоящего законодателя! И жизнь моя стала прозрачна, как вода в этой ванне. (*Подводит Икара к ванне.*) Гляди, Икар, вот последнее мое изобретение. (*Открывает краны.*) Вот потекла горячая вода, а вот холодная.

Небольшая пауза.

Икар (*задумчиво*). Такой должна стать жизнь человеческая: из одного крана бьет кристальная струя знаний, из другого — горячий поток чувств. Техника соединяется с поэзией, и одна дополняет другую.

Дедал. И человек купается в радости... Не так ли, философ?

Икар. Так точно, механик! (*Смеется.*) Но зачем эти звания! Для меня ты — отец, а я для тебя — сын.

Дедал. Да, да!.. И недавно ты нужен был мне лишь для того, чтобы закрыть глаза в смертный час. А ведь дети существуют не только для этого. Как ты сказал? Вспомнил! Порой они открывают им глаза на жизнь!.. Жизнь, Икар! Жизнь!

Из двух кранов с шумом течет вода.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Картина первая

Жилище Идоменея. Слышится голос приближающегося Глашатая. Он проходит мимо двора, но на этот раз за ним никто не следует.

Глашатай. Счастливые люди Медного века! Верноподданные богоравного Миноса! Слушайте, слушайте! Спешите увидеть дань афинян! Наши корабли доставили из Аттики восемнадцать знатных юношей и девушек, среди них Тесей — единственный сын афинского царя! Спешите поглядеть на царского сына, закованного в цепи! Зрелище, которого не увидишь и во сне! *(Кашляет.)* А кто будет утверждать обратное, подвергнется наказанию, ибо благочестивым гражданам запрещено видеть нечестивые сны! *(Уходит.)*

Идоменей *(лежит на соломенной подстилке)*. Ах, какое зрелище! Поглядеть бы, как скованных афинян ведут в Лабиринт!.. Вот бы поглядеть!..

Дафна. Ступай, ступай! Ну что ж ты не идешь?

Идоменей. Времена ненадежные. Никто не идет. А потом ты же знаешь, что я ногой пошевелить не могу — изувечили меня, варвары!

Дафна. Не лазь в бани подглядывать за женами архонтов.

Идоменей. Художник, милая Дафна, чтобы творить, должен созерцать. Погляди, зато какая ваза получилась! Какой рисунок, какие краски! Купальщицы — они как живые! Пятьсот твоих кувшинов не стоят одной этой вазы.

Дафна. Еще бы! Целый месяц с ней провозился! А я за день сотню кувшинов леплю.

Идоменей. Ты бездарный ремесленник, Дафна!.. Ты изготавливаешь кувшин за сто оборотов гончарного круга, точно так же, как рождаешь детей: девять месяцев и девять дней — и все готово... Это ремесленничество... А художник творит по особым законам. Я целый год могу посвящать одной вазе, а могу закончить быстро, как эту вазу с купальщицами.

Дафна. Значит, лупцовка пошла тебе на пользу... Теперь я знаю, как сделать тебя более проворным.

Идоменей. Увы! И она разделяет ошибочный взгляд, что источник творчества — страдание... *(Стонет.)* Все печенки отбили, сукины дети!

Писец *(он сильно изменился, сгорбился, утратил свои прежние хорошие манеры, в глазах его ярость и безумие)*. Печь... печь... Топится у вас печь, соседи?

Идоменей. Как обычно.

Писец. Я принес таблицы обжечь... архонтовы таблицы... Новый указ законодателя... Моему господину нужно много-много копий... Быстро-быстро... Прехитрый указ! Прехитрый! Хи-хи!

Идоменей *(читает)*. «Каждый смертный, совершивший нападение на архонта в присутствии двух свидетелей знатного происхождения, становится рабом вышеуказанного архонта или направляется в Лабиринт...» *(Стонет.)* Худые времена настали! Теперь и носа на улицу не покажешь!

Писец. Указ издан позавчера, но уже многие попали под статью... Архонты нарочно затевают драки. Кулаком в челюсть, синяк под глазом — и поминай как звали!

Дафна. Боюсь я за нашего сына, Идоменей!.. Горяч он и, если кто его заденет, спуску не даст.

Писец. И правильно, что боишься, соседка! У нашего архонта он уже давно на примете... Твой Протей стоит десятка рабов... Архонт спит и видит, как бы продать его втридорога египтянам.

Дафна. О боги! Пусть меня поразит громом!

Писец. Ты не волнуйся, соседка! Я его выручу, его никуда не отправят. Я знаю, как спасти! (*Доверительно.*) Мы ему правую руку отрубим топором! Чик! И все! А?.. Однорукий раб ничего не стоит! Хи-хи!

Дафна (*плачет*). Что ты выдумал, безумный! Замолчи!

Идоменей. Ты словно сердца лишился с тех пор, как сделался рабом.

Писец. Вы хулите меня, соседи, а я вам добра желаю. Только добра, соседи...

Вваливается шумная пьяная компания — Архонт и двое его друзей.

Архонт (*поет, друзья подпевают ему пьяными голосами*).

Праздник-веселье, праздник-веселье,

Славное время, други, настало.

Двинулось дело, тронулось дело —

Денег немало, выгод немало!

Трудное дело — наша работа —

Сделать рабами всех негодяев,

И загребаем за день заботы

Сто урожаяв, сто урожаяв.

Эй, люди, здравствуйте! Слава богоравному Миносу!

Дафна (*робко*). Слава, архонт, слава!

Архонт. Эй, раб! Ты сделал копии с указа?

Писец. Как ты повелел, господин. Таблицы уже обжигаются.

Дафна. Мигом будут готовы, архонт.

Архонт. побыстрее! Четверо негодяев напали на меня сегодня и разбили мои таблички! (*Плаксиво.*) Я-то их как людей позвал выпить, хотел с ними отметить посрамление афинского царевича. А они обошлись со мной, как разбойники! Верно, архонты? (*Архонты пьяно хихикают.*)

Писец (*в сторону*). Четверых рабов заполучил, подлец!

Архонт. А где же Протей? Вот с ним я бы выпил чарку вина. Он на меня руку не поднимет, он добрый малый!

Идоменей (*глухо*). Он еще не вернулся из каменоломни.

Архонт. Ну что ж! Пойдемте туда, архонты!.. Он нам обрадуется!

Прямо без ума будет от радости!

Дафна (*с отчаянием*). Архонт! Молю тебя, не делай этого!

Архонт. Ты о чем? Разве грех выпить с таким молодцом? А потом спеть, сплясать.

Дафна. Я ведь все знаю, архонт! Не делай этого, он же у меня один-единственный...

Идоменей. Будь нашим гостем, архонт. Выпей со мной. Лучше меня никто не спляшет, да и по части шуток я никому не уступлю. Подай вина, Дафна!

Архонт. Не годишься ты для танцев, старый хрыч!

Идоменей. Еще как гожусь. Садись, архонт, не пожалеешь... Я тебе такое расскажу — живот со смеху надорвешь.

Архонт. Про баб, верно? А? (*Тормошит его.*) Знаю, знаю твои проделки, старый греховодник! Ну, ну, расскажи, пусть архонты узнают, как ты обхаживал рабыню Евагораса! (*Идоменей испуганно оглядывается на Дафну, но та подбадривает его кивком.*) Было это?

Идоменей. Было, было, архонт... Присаживайтесь, я расскажу. Животы надорвете! (*Наливает в чаши вино.*)

Дафна. Да, да, ты расскажи, посмеши их, Идоменей. Помнишь, как вас с нею накрыли в курятнике?

Архонт. В курятнике? (*Все хохочут.*) Ну, а дальше что?

Идоменей наклоняется к нему и что-то шепчет.

Архонт (*разочарованно*). Только и всего!.. Не смешно! (*Отталки-*

вает Идоменея.) Не умеешь ты веселить, старик... Пошли! Пошли к Протею!

Архонты уходят. Дафна в отчаянии бежит за ними.

Писец. Я восхищен тобой, сосед. Ни капельки ты не струсил!

Идоменей. А что мне трусить! Архонту нужны молодые, а не такие, как я.

Писец. Я не про него, а про Дафну. При ней ты осмелился рассказывать про свои похождения! А она слушает да еще подбадривает. Выходит, покорился матриархат!

Идоменей. Да, взяли над ним верх!

Писец. Кто? Неужто твой ничтожный патриархат?

Идоменей. Нет! Всесильный детоархат! И над патриархатом и над матриархатом стоит высшая власть — власть детей.

Икар (*входит задумчивый*). Сейчас мать повстречал, окликнул ее, а она даже не обернулась... Куда это она так торопится?

Идоменей. Плохи дела у брата твоего, у Протея... Архонт задумал сделать его своим рабом. Как быть? Как спасти Протея?

Писец. Указ утвержден. Царь печать приложил. Ничем не поможешь, Икар! Все там будем. Все рабами станем! Только топор может помочь! Только топор!

Икар. Да, учитель. Только топор.

Идоменей. Икар! И ты думаешь, что Протею надо отрубить руку? Неужели только так его можно спасти?

Икар. Я думаю, всех можно спасти, если обрубить руки архонтам!

Писец. Стыдись, стыдись, Икар! Неразумные речи ведешь. Только людей с толку сбиваешь. А ведь проще моим способом облегчить свою участь. Я хорошо знаю свое дело. Я спасаю от рабства! Я калечу тела! Рублю руки, выворачиваю суставы! Да, да! Я рублю руки, потому что они источник зла! Они крадут, убивают, душат, надевают кандалы! Да будут прокляты человеческие руки! Рубить их! Рубить! (*Уходит.*)

Идоменей (*смотрит вслед Писцу, покачивая головой*). Бедняга! С каждым днем страшнее его безумие.

Икар. И жизнь с каждым днем все страшней. Там, в горах, спасается беглый люд. Их тысячи, с ними жены и дети. И они не знают, что на них двинулось войско царя Миноса. Где мой мешок?

Идоменей. Уходишь? Подождал бы Протея.

Икар. Подожду. Он пойдет со мной в горы. Надо срочно передать эту весть. (*Входит в дом.*)

Дафна (*за руку ведет Протея*). Что творится на улице! Архонты устроили настоящую облаву. Каждый старается захватить побольше рабов. Между собой грызутся, как собаки.

Протей. Икар еще не вернулся из дворца?

Икар (*выходит из дома*). Я здесь!

Протей. Какие новости?

Икар (*отводит его в сторону*). Войску приказано выступить в горы.

Протей (*резко*). А где же наше войско, о котором ты столько твердил? Когда Дедал выведет его из Лабиринта?

Икар. Пока не получается... Дедал целый год думает, как это сделать, но еще ничего не придумал. Минос слишком хорошо оберегает свою тайну.

Дафна. Икар, мальчик мой, придумай, придумай, как спасти брата!

Протей. Горы — одно спасение. Собери котомку, мать.

Дафна. О боги!

Икар (*берет заплечный мешок и копьё*). Протей, захвати свой молот. И пошли, не то архонт нагрянет сюда. (*Целует Дафну и Идоменея.*) До свидания.

Дафна. Ах, сыночки мои!
Идоменей. Берегите себя, дети. Ну вот... Так... Не плачь, жена... нечего плакать...

Дафна. Мне плакать не стыдно, я мать. А ты-то что расхлюпался?

Идоменей. А я отец. Что же мне, и всплакнуть нельзя?

Протей. Ну полно, полно. Не люблю я слез.

Идоменей. Правильно, правильно, сынок. Вот мы уже и не плачем! Верно, Дафна?

Дафна. Верно, Идоменей!

Протей (*обнимает их*). Люблю, когда между вами согласие!

Идоменей. Что поделатъ! (*Шуткой старается унять слезы.*) Патриархат нас ссорит, матриархат тоже... К счастью, есть детоархат, который нас объединяет... Ну, в добрый час, Протей, доброго пути, Икар!

Дафна. Спрячьтесь получше и носа не кажите, покуда не минует это злосчастное время!

Протей (*размахивая своим огромным молотом*). Пусть овцы прячутся, а львы нападают, мать!

Дафна (*вдруг поняла*). О боги! Они идут воевать! Остановитесь, дети мои!.. Не уходите!

Идоменей. Оставь их, мать. Замолчи!

Дафна. Не приказывай мне! Пусти! (*Отталкивает Идоменея и по-рывается вслед за сыновьями.*)

Идоменей. Не я приказываю, Дафна. Приказывает детоархат. Всесильная власть детей! (*Они с Дафной печально смотрят друг на друга и покорно склоняют головы.*)

Опускается экран. Тревожные серые облака бегут по небу. Сверкает молния, грохочет гром.

Картина вторая

Открытая веранда в царском дворце, такая же, как и в мастерской Дедала, но здесь вместо инструментов на стене развешены мечи, шлемы, щиты, копыя и символы царской власти — бычьи головы из меди. На ступенях, ведущих в сад, стоят Минос и Законодатель.

Минос. Гонец с гор еще не прибыл сегодня.

Законодатель. Пора бы ему.

Минос. Вчера он принес хорошие вести. Войско захватило много пленных.

Законодатель. Но еще не было столкновений с вооруженными отрядами.

Минос. Передай главнокомандующему, чтобы избегал лишних жертв. Мне не нужны мертвые рабы.

Два стража проводят афинских заложников.

Законодатель (*провожает их взглядом*). Одного не могу понять: почему афиняне прислали самых знатных своих граждан?

Минос. Двадцать суток ты ведешь допрос и ничего не добился.

Законодатель. Тесей молчит, а вслед за ним и остальные. Я отделил его ото всех и запер в старой читальне Ариадны. Но безуспешно. Они по-прежнему твердят в один голос, что хотят померяться силами с Минотавром... Мол, либо все умрем, либо убьем Минотавра и избавим навсегда Афины от позорной дани.

Минос. Трогательная наивность! Какой отсталый народ! А еще претендует на то, чтобы верховодить в архипелаге! Хватит с ними миндальничать! Сегодня же ночью отправь их в Лабиринт — и дело с концом.

Законодатель. И все же стоит допрос продолжить — может, что-нибудь удастся вытрясти из них.

Минос. Ступай, а я пройду по саду. Как только прибудет гонец, сообщи мне.

Входит Пасифая.

Минос. Ты пришла очень кстати — мы погуляем вместе.

Пасифая. Прости, но я страшно занята.

Минос. Чем?

Законодатель. Царица уделяет все время афинским пленникам.

Пасифая. Мне жаль их, бедняжек... Я приглашаю каждый день двух или трех в свои покои, угощаю, успокаиваю. Как-никак, в их жилах течет царская кровь.

Минос. Прекрасно! Милосердие очень к лицу молодой царице.

Пасифая. Законодатель! Пришли ко мне сегодня афинянку в пурпурном хитоне.

Законодатель. Будет исполнено, царица!

Минос. Торопись, Пасифая. Сегодня ночью они, бедняжки, попадут в Лабиринт. А ты, законодатель, как следует накорми мужчин. Дай им двойную порцию... Особенно позаботься о Тесее!

Пасифая и Законодатель уходят. Минос спускается в сад.

Ариадна (*спрятавшись за колонной, слышала весь разговор*). Тесея нынче бросят в Лабиринт!..

Любимый мой!..

Ты, чужеземец гордый,

Пришел открыть мне край любви,

Страну, где жителей всего лишь двое,

Страну, которая мала настолько,

Что места в ней всего лишь на двоих;

И так просторна, что в себя вмещает

Всю жизнь, с ее грядущим и прошедшим.

Как неожиданно пришла любовь!

Я первый раз увидела его

В цепях!

Но я его не пожалела!

Так сердце переполнилось любовью,

Что жалости и места не нашлось!

В тот миг ко мне явился мой садовник,

И жаждущее деревце он взял

И перенес возлюбленному в сердце!

И сладкий сок неведомой земли

Вспоил меня и дал мне за день знанье

Того, что я не ведала годами!

Рабыня (*входит, пугливо озираясь*). Я здесь, Ариадна.

Ариадна. Ты отнесла цветы Тесею?

Рабыня. Отнесла. Но я так боялась, чтоб меня не увидали!

Ариадна. Потайной ход к моей читальне знаем только мы с Дедалом. Я удираю по нему, когда законодатель заставляет меня долбить свои дурацкие письмены. Но я не отлучилась бы ни на секунду, если бы меня заперли вместе с Тесеем!

Рабыня. Да, царевна, любовь — это школа, где все прилежны! Любовь дарит нам то, чего у нас нет: вам, царевнам, — чувство сладкого рабства, нам, рабыням, — блаженное чувство свободы. (*Заметив, что Ариадна плачет.*) О боги! Неужто великий царь не помилует его ради тебя? Пади ему в ноги, моли его! Царь так тебя любит!

Ариадна. Еще сильнее он ненавидит афинян! В тот день, когда они убили Андрогее, его сына от Пасифаи Четвертой, он поклялся мстить им всю жизнь.

Рабыня. Тогда ступай к Дедалу. Его мудрость спасет Тесея.

Ариадна. Род Тесея изгнал Дедала из Афин... Везде ненависть! Ненависть, как грозные скалы, обступает нашу любовь!

Входит Минос. Рабыня с низким поклоном уходит.

Минос. Два дня мы не встречались, дочка. Либо дворец слишком велик, либо твоя любовь слишком мала.

Ариадна. Просто ты всегда занят, отец.

Минос. Солнце и воздух входят ко мне, несмотря на дела. Ты для меня все равно что солнце и воздух — они входят без спроса.

Ариадна. Но позавчера, когда я молила тебя не бросать афинян в Лабиринт...

Минос. Нет, нет! Об этом больше ни слова!

Ариадна. Вот видишь...

Минос. Порой и на солнце налагают запрет — если оно слишком печет. Тогда уходишь в тень. И ветру тоже не все дозволено. Ему не позволено срывать шапку. Ты слишком молода и не все понимаешь. Оставь мне мою ненависть. Нам завещали ее предки.

Ариадна. Как ты жесток! Они же люди! И тебе не жаль людей?

Минос. Царь создан повелевать, а не жалеть. Что есть люди? И что есть народ? Это вол под ярмом, который плетется по воле погонщика, сам не зная куда. А погонщик обязан глядеть вперед, на дорогу, а не на ноги быка, не на его бока, искусанные оводами. Пусть бык зализывает языком свои раны и отгоняет оводов хвостом. Пусть народ находит утеху в молениях или в распутстве...

Пасифая (*быстро входит, сопровождаемая Рабыней и плачущей афинялкой*). Не бойся, глупая, не бойся! Тебя еще не ведут в Лабиринт. Идем в мои покои, я угощу тебя по-царски. Да не бойся же! Я хочу рассмотреть твой хитон. Швея, гляди, как он скроен, ты сошьешь мне точно такой же.

Минос. Ха-ха-ха! Так вот для чего тебе нужны афинянки!

Ариадна. Стыдись, матушка!

Пасифая. Впору стыдиться твоему отцу, который заставляет меня таким способом следить за модой. Строит свои Лабиринты и корабли, а не подумал о том, чтобы завести приличные ателье. У нас дикая отсталость! Смотри, какие в Афинах вырабатывают тончайшие ткани! Какое выделывают нижнее белье! Пленница! Приподними хитон!

Минос (*смеется*). Ты меня уворишь, Пасифая!

Дедал (*входит рассерженный*). Нельзя ли прекратить шум? Работать невозможно.

Минос. Не сердись, Дедал! Погляди, как сходит с ума женщина при виде другой, которая хорошо одевается.

Пасифая. Точно так же, как сходит с ума мужчина при виде женщины, которая хорошо раздевается! (*Хочет и удаляется со свитой*.)

Законодатель (*поспешно входит*). Государь! Гонец прибыл. Он ожидает тебя в тронном зале.

Минос. Какие вести?

Законодатель. Гонец доложит тебе лично.

Минос. Должно быть, известия важные! Пойдем, законодатель! Вот видишь, Ариадна, дела не дают покоя! Пускай Дедал побудет с тобой. (*Уходят*.)

Дедал. И у меня дела.

Ариадна. Почему ты избегаешь меня, Дедал?

Дедал. Неужели ты не понимаешь!

Ариадна. Я никогда не доверила бы тебе мою тайну, если бы знала о твоей вражде к Тесею! (*Умоляюще.*) Дедал! Ночью Тесея пошлют в Лабиринт! Там его ждет гибель! Неужели и мертвый он будет тебе ненавистен?

Дедал. Есть вражда, Ариадна, которая рождается раньше, чем враг, и не умирает с его гибелью. Тесея еще не было на свете, когда его род начал преследовать меня. И сегодня моя ненависть дождалась своего часа.

Ариадна. Дедал! Нельзя жить одним сегодняшним днем! Будь проклят сегодняшний день! Он как вымерзший сад, где костлявые черные сучья тянутся, чтоб сомкнуться на горле и тебя задушить.

Дедал. Куда уйдешь из этого сада?

Ариадна. Мы с Тесеем, вечерами встречаясь в темнице, перебирались через изгородь в зеленеющий сад доброго соседа.

Дедал. Кто ж он, этот сосед?

Ариадна. Это — завтра! Добрый завтрашний день! Там на деревьях шелестит листва, буйная, как наши мечты... Там Афины и Крит не противники, а единое царство. И царицей там добрая Ариадна. (*Садится рядом с Дедалом.*) И жизнь там сияет, как лазурное море Аттики. (*Восторженно.*) Ах, какое дивное море там, в Аттике!

Дедал (*мечтательно*). Да, удивительное там море! Оно глубоко и прекрасно, как сама жизнь! (*С тоской.*) Утром оно наполнено теплой голубизной!

Ариадна. А в полдень полыхает огнем и золотом, как жизнь человека, вступившего в пору любви и страстей.

Дедал. А потом, на закате, переливается всеми оттенками фиолетового — это цвет ожидания.

Ариадна. И замолкает, как человек, погруженный в воспоминания о минувшей счастливой поре.

Дедал. Да! Да! И по нему пробегают тени — первые морщины на лице. И море темнеет, темнеет... И потом уходит в ночное безмолвие, как человек, исполненный достоинства и мужества... (*Внезапно очнувшись.*) Постой! Откуда ты знаешь про это? Когда ты видела море Аттики?

Ариадна. Мне говорил о нем Тесей. В глазах его я увидела это дивное море.

Дедал, нахмурившись, встает. Внезапно раздаются резкие звуки трубы и яростные голоса: «Проклять! Проклять!»

Минос (*вбегает и в бессильной злобе кидается на Дедала с кулаками*). Изменник! Подлое отродье! Как ты посмел! Как ты осмелился! Предатель! Ядовитая гадина!

Ариадна (*бросается между ними*). Отец! Это Дедал! Что он сделал?

Минос. Ступай прочь, Ариадна! Сейчас я тебе не отец!

Ариадна. Но в чем он провинился?

Минос. Он предал нас! Его сын стал главарем беглых рабов и ночью напал на мое войско! Гнусное отребье уничтожило мои отборные отряды! И знай — Дедал внушил им неслыханную дерзость! Он открыл им тайну Минотавра! (*Дедалу.*) Как посмел ты, собака, выдать своему сыну государственную тайну?

Дедал. Я хочу, чтобы люди узнали об этом.

Минос. Но где ж твои клятвы! Ты попрал клятву, данную богам!

Дедал. Не клятву я попрал. Я низверг твое божество! Я проклял твою ложь! Теперь можешь делать со мной что угодно. Я подвластен одной лишь правде, той правде, которую должны знать все люди!

Законодатель. Беда! Беда! Что ты натворил, Дедал! О несчастный, зачем ты открыл им секрет Минотавра! Можно ли рабу доверить тайну, принадлежащую царю! Не я ли поучал тебя, что каждое существо имеет не только свое назначение, но и ограничение. Свинья — грязную веревку, собака — цепь, бык — деревянное ярмо, осел — уздечку...

Дедал. А к какой скотине ты относишь себя? К свиньям или к ослам?

Законодатель. Нечестивец! (*К страже.*) Эй, стража! Заткните его поганую глотку! Ну, что вы глядите! Бейте его, болваны! (*Стража накидывается на Дедала.*)

Минос. Эй, эй, потише! Укокошите его ненароком, а он нам еще пригодится!

Вбегает Вестник в пыльной изодранной одежде.

Законодатель. Еще один гонец! Говори, что случилось!

Вестник (*задыхаясь*). Царь! Твое войско разгромлено и отходит в беспорядке... Беглые рабы Икара вместе с жителями побережья подступают к столице!

Минос. Ничтожества! Тупоголовые скоты! Опять мне за вас придется расхлебывать кашу! Законодатель, тревога! Ввиду осадного положения с афинянами покончить сегодня же ночью! (*Дедалу.*) А голову твоего Икара я привезу на копье, выкованном в твоей мастерской! (*Уходит.*)

Дедал (*утирает кровь со щеки*). Люди правды и добра пошли в поход! Песня Икара стала их оружием. Они сражаются и за меня.

Когда Дедала спасем, ребята,

Он станет, ребята, вам ближе брата...

А я, братья... я не сумел вам помочь! Не сумел вывести из Лабиринта узников.

Ариадна (*подходит к Дедалу и обнимает его*). Дедал, горе постигло нас обоих! Твоего Икара бросят в Лабиринт вместе с моим Тесеем!

Дедал. Икар и Тесей! Разве можно поставить их рядом!

Ариадна. Но их ожидает одинаковая участь! Ты недавно сказал, что ненависть не умирает после гибели врага. Но и любовь не умирает со смертью любимого. Остается огонь. И когда два пламени соединяются, они не греют, а испепеляют!

Дедал. Два пламени испепеляют. А если их тысячи! Тысячи огненных душ! О братья, простите меня, я не сумел вам помочь!

Пасифая (*входит, как всегда, легкомысленная и оживленная*). Ариадна, дитя мое! (*Замечает Дедала.*) Что с тобой? Ты весь в крови!

Ариадна. Ты и не знаешь, матушка, что здесь происходит!

Пасифая. Не знаю. Я была у афинских пленниц. (*С торжеством потрясает клубком ниток.*) Погляди! Мы распустили хитон одной афинянки — и вот эти нитки! Погляди, какая прочная и тонкая пряжа! Я погнала туда всех ткачих и прядильщиц, чтобы они поднабрались ума! Не беспокойся, дитя мое, у нас будут прозрачные хитоны! Что ж ты не глядишь? Ты словно отсутствуешь.

Рабыня (*вбегает, запыхавшись*). Царица! Великий царь призывает тебя. Повелитель отправляется в поход.

Пасифая. В какой поход? Так, ни с того ни с сего? Неужели он не мог предупредить меня заранее? Как я могу с такой прической быть на выходе?

Рабыня. Торопись, царица!

Пасифая. А с кем война? Неужели египетский царь объявил нам войну? Или царь вавилонский?

Рабыня. Нет, царица! Царь идет сражаться с рабами!

Пасифая. О боги! До чего докатились! Потасовка с рабами! Поздравляю! Интересно, что за добычу принесет он мне с этой войны? Какие-нибудь обноски с грязной рабыни! Ну и срамота... Тьфу! *(Бросает клубок и уходит вместе с Рабыней.)*

Ариадна *(после паузы)*. Она всегда такая — глупая, вздорная. Тщеславие загнуло в ней материнские чувства... А жажда власти убила в моем отце отцовские. Я сирота в этом дворце. И слишком быстро промчались годы. Давно ли ты носил меня на плечах? А вот уже и конец пришел. Две сажени ниток отмотались от клубка — вот и вся моя жизнь.

Дедал. Ну что ты, тебе еще жить и жить... Когда станешь такой, как я, увидишь, что жизнь — это тяжелый, огромный клубок.

Ариадна. Нет, Дедал. Нить моей жизни коротка. Вот так она оборвется. *(Отрывает кусок нитки.)* Когда умрет Тесей, умру и я.

Дедал. Не говори так. Жизнь — заботливая хозяйка. Она не позволит злобному вору — смерти — украсть то, что принадлежит ей... *(Прощаясь.)* Что там теперь происходит... О Икар! Побеждай! Побеждай! С жадной надеждой я жду тебя!

Ариадна. Вот и нить моей жизни запуталась, как Лабиринт. Где-то затерялось начало. А этот конец — моя смерть. Скажи мне, Дедал, как распутать ее?

Дедал *(не слушая)*. Икар сражается... Мне слышится голос: «Отец, помоги, помоги!»

Ариадна. Ты не отвечаешь, Дедал?

Дедал. О чем ты говоришь, Ариадна?

Ариадна. О том, что жизнь — Лабиринт.

Дедал. Нет, Ариадна, нет. Жизнь имеет две двери — рождение и смерть. Входишь в одну, выходишь в другую. А в Лабиринте один только выход. Входишь из жизни и выйти можно только в жизнь, через одну и ту же дверь... *(Выхватывает нить из рук Ариадны и перебирает ее.)* Можно выйти в одну только дверь... Можно выйти!

Ариадна. Дедал! Дедал! Глаза твои сияют, что ты придумал?!

Дедал. Можно выйти в ту самую дверь! Нужна только прочная нить! *(Привязывает конец нитки к колонне и, закрыв глаза, передвигается по веранде, разговаривая сам с собой.)* Вот я в Лабиринте. Я иду в непроглядном мраке, все глубже, по бесчисленным галереям... Вот я запутался. Отсюда нет выхода! *(Начинает сматывать клубок.)* Но Дедал знает, как найти выход! *(Сматывая клубок, медленно приближается к колонне.)* И вот я нашел его! Вот я снова вышел на свет! Ведь это же так просто! Стоит только привязать конец нити у дверей Лабиринта, а потом разматывать клубок! А потом вновь сматывать его! И выйти!.. *(Лицо его озаряется.)* Сегодня Тесея отправят в Лабиринт! Я укажу ему путь спасения! А он выведет узников Лабиринта из тьмы к свету — туда, где пылают факелы восставших!.. А я так долго ломал голову! Ворошил свои знания, призывал свой опыт, пытал свою мудрость!.. И мне все чего-то не хватало... *(Весело.)* И знаешь чего? Пустяка. Очень часто для великого открытия не хватает всего лишь пустяка. Пришла Пасифая и подсказала то, чего мне не хватало! Мне всегда казалось, что из нашего с ней творческого содружества будет толк, Ариадна!

Ариадна. Ты гений, Дедал! Я побегу к Тесею и, может быть, успею его спасти!

Дедал. К Тесею пойду я.

Ариадна. Иди, иди Дедал! Ты полюбишь его! Вы станете друзьями. Он такой же пленник, как и ты...

Д е д а л. Жди меня здесь. Если все свершится, как задумано, эта ночь возведет для нас спасительный мост. *(Уходит.)*

А р и а д н а. Да, мы уйдем далеко! В будущее!.. Сердце бьется в предчувствии дальнего странствия! О ночь! Добрая, ласковая ночь. Твои тени, как крылья, несли меня на свиданье к Тесею! Пусть они станут крыльями, которые унесут меня к нему навсегда! Ночь! Раскинь свои прохладные крылья. Поднимай паруса, корабль спасения. Скорей! Скорей! *(Она стоит неподвижно, подняв взор к небу.)*

Темнеет. Опускается экран. Густой мрак пререзает полыхание пламени. Грохот мѣлотов, звон цепей, голоса: «Прочь из Лабиринта! Наружу! На свободу!»

Картина третья

Там же. Утро следующего дня. Торжественные сигналы труб. Возгласы: «Победа, победа!» Царская свита торжественно проходит через сцену и спускается в сад. Входят Д е д а л и Р а б ы н я.

Р а б ы н я. Они разгромлены. Я видела убитых. Много убитых! Д е д а л *(осунулся и постарел за ночь)*. Где они?

Р а б ы н я. Возле помещения стражи. Там складывают их тела, и дворцовые слуги глумятся над ними.

Д е д а л. Ты хорошо видела? Там... среди убитых... нет Икара?

Р а б ы н я. Не знаю. Ничего не слыхала о нем.

Д е д а л. А где Тесей и Ариадна? Почему он не вышел из Лабиринта?

Р а б ы н я. А может быть, вышел?

Д е д а л. Если бы вышел, он вывел бы и остальных. И тогда все было бы иначе! И те, кто мертвыми лежат у дворца, вошли бы в него победителями...

Входят приближенные царя. Возгласы: «Победа! Слава Миносу!»

В е с т н и к *(строго)*. Прекратить шум и песнопения! Великий царь отменил торжества. Он приказал соблюдать во дворце тишину, ибо, даровав великую радость, боги ниспослали царской семье великое горе. Приближенные падают на колени, перешептываясь: «Убит кто-нибудь?», «Может, законодатель?», «Какая потеря!»

В е с т н и к. На рассвете, воспользовавшись суматохой, из Лабиринта скрылся коварный афинянин Тесей. С ним бежала царица Ариадна. Ему и нескольким афинянам удалось захватить корабль и покинуть Крит. *(Возгласы возмущения.)* Спокойствие! Великий царь приказал соблюдать тишину.

Приближенные удаляются.

Д е д а л. И больше никто не вышел из Лабиринта, вестник?

В е с т н и к. А кто еще тебе нужен? Тесей вышел, а с ним десятка два афинян. Больше никто. *(Уходит.)*

Д е д а л. Значит, он все-таки вышел! А мастера? Он и не думал показать им дорогу! Предатель! Он предал меня... Предал всех нас... Проклятье! Проклятье мне! Это я вручил судьбу сына афинскому царевичу... Мало ли я потерпел от царей! Где были глаза мои, когда я доверился Тесею! Как мог я не предчувствовать измену! Это ты, Ариадна, усыпила мою недоверчивость.

П а с и ф а я *(вбегает взлохмаченная, неодетая, с истерическим криком)*. Ариадна, дитя мое!.. Украли ее! Похитили! Увезли! *(Замечает Рабыню.)* Вот тебя-то я искала, змея! *(Таскает ее за волосы.)* Ты шепталась по углам с Ариадной! Ты все знаешь! Говори! Говори!

Р а б ы н я. Смилуйся, царица!.. Клянусь, я ничего не знаю!

П а с и ф а я. Тебя подкупил Тесея, сунул какую-нибудь побрякушку! Говори! Или я разорву тебя!

М и н о с (*в доспехах, но без шлема*). Что здесь за крик? Я приказал, чтобы была тишина! А-а, здесь Дедал! (*С яростью смотрит на него.*)

П а с и ф а я. Оставь его в покое. Скажи лучше, что ты сделал, чтобы спасти Ариадну?

З а к о н о д а т е л ь (*входит*). Мы изучаем этот вопрос, царица. (*Страже*). Уведите ее.

Стража хватает Р а б ы н ю.

Р а б ы н я. Клянусь! Ничего я не знаю!

Ее уводят.

П а с и ф а я (*бежит следом*). Все знаешь, все знаешь, змея!

М и н о с (*Законодателю*). Ты расследовал, как им удалось бежать?

З а к о н о д а т е л ь. Уму непостижимо, как они вышли из Лабиринта!

М и н о с. А как они захватили корабль? Отвечай, дубина! Что делала стража?

З а к о н о д а т е л ь. Почти все были в бою. Там оставалось лишь три воина. Афиняне напали на них и убили.

М и н о с. Всех троих?

З а к о н о д а т е л ь. Один тяжело ранен. (*Дедалу.*) Он еще способен был говорить и рассказал все, что видел и слышал.

М и н о с. Что же он видел и слышал?

З а к о н о д а т е л ь. Твоя дочь, Ариадна, кричала Тесею, что он должен выполнить клятву, данную Дедалу! И знаешь, какое злодейство хотел совершить этот подлый изгнанник?

М и н о с. Говори! Говори!

З а к о н о д а т е л ь. Он хотел, чтобы Тесея вывел из Лабиринта узников.

М и н о с (*в ярости*). Как! Когда же они успели стакнуться? Кто их свел?

З а к о н о д а т е л ь. Не торопись, повелитель! Тесея не доставил радости изменнику! Ты знаешь, что сказал Тесея Ариадне?

М и н о с. Что, что он сказал?

З а к о н о д а т е л ь (*с ненавистью и издевкой смотрит прямо в глаза Дедалу*). Тесея сказал: «Когда я поклялся вывести узников из Лабиринта, я был рабом. Но сейчас я свободен, я вновь царь. Достойно ли царя — выполнять клятву, данную рабом?»

М и н о с. Но Ариадна! Как могла она причинить мне такое зло! (*Дедалу.*) Это ты коварно опутал невинную душу! О боги!

З а к о н о д а т е л ь. Зато Тесея оказался на высоте... Ты силен в механике, Дедал, но в политике ты профан. Истинный царь не станет освобождать рабов!

М и н о с. Когда я разгромлю Афины и захвачу в плен Тесея, за этот поступок я смягчу его участь.

З а к о н о д а т е л ь. Теперь не так-то легко будет разбить их.

М и н о с. Почему?

З а к о н о д а т е л ь. Тесея увел пятерых афинян, что давно были брошены в Лабиринт. Они владеют искусством выплавки меди. Это лучшие наши мастера. Теперь в Афинах соорудят литейни, и у них будет медное оружие.

М и н о с. Литейни в Афинах!.. О изменник Дедал! В одну ночь мы лишились превосходства, которого я добивался годами!

З а к о н о д а т е л ь. Но Дедал остается у нас! Он изобретет для нас нечто новое, еще более удивительное. И мы постараемся получше оберегать нашу тайну. Придумаем что-нибудь страшней Минотавра.

Д е д а л. Напрасно надеешься, законодатель!.. Никогда больше я ничего не сделаю для вас!

З а к о н о д а т е л ь. А Икар? Как же ты спасешь сына? Неужели ты хочешь, чтобы на твоих глазах он был предан мучительной казни?

Д е д а л (с волнением). Он в ваших руках? Отвечай, старый ворон!..

З а к о н о д а т е л ь (не глядя на него, надменно). Икар уже в Лабиринте. Он умрет там медленной смертью!

П а с и ф а я (вбегает, истерически крича). Он еще жив! Почему вы не растерзали его? Рабыня призналась во всем! Это он, он научил Тесея, как бежать из Лабиринта! Он помог украсть мою девочку! О боги! Сколько лет я воспитывала ее... лелеяла, как нежный цветок... Мечтала, как она царицей вступит на престол. А он, он...

З а к о н о д а т е л ь. Предложил ей трон вражеской страны...

П а с и ф а я. О боги! За что вы караете меня? Неужто Ариадна стала моей соперницей?!

З а к о н о д а т е л ь. Да. И завтра, быть может, она выступит против тебя...

П а с и ф а я. Против меня?

З а к о н о д а т е л ь. Неужели ты не понимаешь, царица? Если наш повелитель—да хранят его боги! — умрет, твое положение весьма щекотливо и ненадежно.

П а с и ф а я. Что ты плетешь! Не успела я справиться с одной бедой, как ты накликаешь на меня другую!

З а к о н о д а т е л ь. Мой долг судить трезво, царица... И ты должна знать, что Ариадна — единственная дочь Миноса — имеет больше прав на корону Крита, чем ты, его жена, отнюдь не единственная!

П а с и ф а я. Молчи, ворон! Не внушай мне ненависти к собственной дочери.

М и н о с. Вот горе-то! Вот беда-то!

З а к о н о д а т е л ь. Тесей знал, что делает, когда вскружил ей голову. Он нас всех одурачил.

М и н о с. Я умру от разрыва сердца! Ей-богу, я сейчас умру!

П а с и ф а я. Не убивайся, Минос, не так уж все худо.

М и н о с. Ах, что ты понимаешь, глупая женщина!

П а с и ф а я. Глупая! Когда дело касается трона, последняя дура становится мудрее самого большого мудреца.

М и н о с. Ах, замолчи, пожалуйста!

З а к о н о д а т е л ь. Посмотрите на Дедала. Он торжествует, слушая нас.

П а с и ф а я. А-а, он доволен? Но он глуп, оттого и радуется! И ты, царь, глуп, оттого и убиваешься! (С новым выражением.) Царь! Тесей не обманул тебя! Это ты обманул его, царь!.. Тесей не имеет никаких прав на престол Крита!

М и н о с (хватается за голову). Да уберите вы ее отсюда! Сейчас она снова сморозит какую-нибудь чушь.

П а с и ф а я. Да, я заявляю: Тесей не имеет никаких прав! В жилах Ариадны нет ни капли твоей царственной крови, Минос!.. Ариадна не твоя дочь!..

М и н о с (подскакивает). Ты с ума сошла!

П а с и ф а я. Могла ли я родить от тебя, старой развалины? Ариадна дочь простого смертного! Она дочь Дедала!..

З а к о н о д а т е л ь. Опомнись! Опомнись, царица! Ты соображаешь, что говоришь?..

Дедал (с ужасом). Это ложь! Лжешь, гадюка! Это неправда. Пасифая. Вспомните ее лицо, ее манеры, ее походку! (К Миносу.) Мы надули Тесея, царь! Всех надули! (Уходит с истерическим хохотом.)
 Законодатель. Нда-с... (Дергает плечом.) В каждом существе заключено свое содержание. А в каждой женщине — дьявол!
 Минос. Ариадна — дочь Дедала!.. Ариадна — дочь Дедала! В Лабиринт! Пусть сдохнет там вместе со своим сыном! Не хочу больше никогда слышать ни о нем, ни о его проклятых изобретениях! (Топает ногами в бессильной старческой ярости.) В Лабиринт! В Лабиринт!
 Дедал (его уводят). Лабиринт! Лабиринт! Что он такое по сравнению с тем бесчестным лабиринтом зла и глупости, который я познал здесь?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Картина первая

Лабиринт. Темный свод подземелья озарен неровным отблеском печей, находящихся в соседней галерее. Дедал, прикованный к стене короткой цепью, беседует с Тюремщиком. Два факела, воткнутые в расщелину скалы, освещают его осунувшееся лицо, обросшее длинной, спутанной бородой. Рядом с ним тюфяк и кувшин.

Дедал. Ты говоришь, что прошло всего лишь три года, как меня бросили в Лабиринт. А мне кажется — прошла вечность.

Тюремщик. Ты потерял счет времени, потому что тебе безразлично — три года прошло или пять. Тебе здесь всю жизнь сидеть. А если человек, вроде меня, ждет повышения или нового назначения там, на земле, он аккуратно следит за временем...

Дедал. Три года! Как истосковался я по свету, по зеленой траве! Когда-то я так же скучал по голубому небу. А сейчас зеленая земля для меня так же далека, как небо, которого я мечтал достичь. (Шагает насколько позволяет цепь.) Как коротка эта цепь, и как бесконечно мое отчаяние! Всю жизнь я работал, чтобы ускорить движение, а меня обрекли на неподвижность... И какой здесь холод! С каждым днем мне все трудней согреться.

Тюремщик. Подожди ближе к пролomu, погляди, как жарко мастерам у плавильных печей.

Дедал. Я и так их увижу, когда они понесут раскаленные болванки на верхнюю галерею. Уже, наверное, скоро. Слышишь, они поют? А вот голос Икара. Они пройдут, и я увижу его.

Тюремщик. Но он тебя не увидит. Три года он не видит тебя, разве можно что-нибудь разглядеть в этом темном углу! (Прислушивается.) Ишь, какие они веселые...

Дедал. Да, они работают, и цепи у них подлиннее. Минос лишил их свободы, но они хоть двигаться могут. Возможность двигаться — величайшее благо. Человек может выйти из горящего дома или сойти с тонущего корабля. А я? Вот уже три года как я не могу покинуть дом, объятый пламенем! Меня сжигают воспоминания. Ничего не могу забыть... И особенно гибель Ариадны!

Тюремщик. Сколько лет прошло, а еще никто толком не знает, сама ли она бросилась с корабля или ее утопили афиняне.

Дедал. Сама... Я знаю, что сама. (Дрожащим голосом.) Ей так хотелось вступить в завтрашний день. И когда она увидела, что Тесей снова везет ее в сегодня, полное ненависти и коварства, она не вынесла. Дочка моя! Доченька!

Тюремщик. Ну и прохвост этот Тесей! Вернулся к себе в Афины и разболтал на весь свет, что убил Минотавра. А сам почище нашего законодателя, хитрец, выстроил тайком где-нибудь литейню и втихомолку изготавливает оружие.

Дедал. Ариадна — моя дочь! Слишком поздно я сделал это великое открытие... Слишком поздно! (*Смотрит вдаль.*) И сколько их, Ариадн, случается нам проглядеть за свою жизнь! Да, да! Можешь ли ты понять? Вот, например, камень, — берешь его в руки и говоришь себе: это просто камень! И вдруг в один прекрасный день узнаешь, что этот камень может гореть и согревать.

Тюремщик. Вовсе ты спятил, старик. Разве камень может гореть?

Дедал. Я сказал это так, для примера. Но жизнь полна удивительных вещей, которых мы не замечаем. И миллионы Ариадн живут вокруг нас.

Тюремщик (*вздрагивает, услышав звуки трубы*). Законодатель! Залезай поскорей в свой угол!

Законодатель (*входит в сопровождении двух стражей с факелами*). Как дела?

Тюремщик. Плохи у заключенного, хороши у нас!

Законодатель (*Тюремщику*). Наверху уже утро. Последний раз я был здесь ровно месяц назад. Значит, пора снова укоротить цепь. Царь повелел каждые тридцать дней укорачивать ее на одно звено...

Дедал. Ты плохо выполняешь царские указы, законодатель.

Законодатель. Почему? Разве не миновало тридцать дней?

Дедал. Здесь не было дней. Дни отсчитывают от восхода до захода солнца.

Тюремщик. Это там, наверху. А здесь мы отсчитываем время по приходу и уходу нашего законодателя. (*Подобострастно кланяется.*) Он наше солнце.

Дедал. Черное солнце, от которого в жилах стынет кровь.

Законодатель. Я могу и согреть тебя. Вот исполню твою просьбу и дам тебе топор. Тогда ты признаешь, что я источник тепла?

Дедал (*с нетерпением*). Ты дашь мне топор?

Законодатель (*берет у Тюремщика топор*). На, бери!

Дедал (*хватает топор и прижимается щекой к острию*). Топор!.. Так давно я не держал тебя в руках!

Законодатель. Осторожней. Не порань себя!

Дедал. Ха! Он уже оцарапал меня. Он кусачий, как маленький веселый зверек! Как пес, потерявший хозяина!

Законодатель. Ладно! Поруби немного камень. Подумай, как лучше ударить, чтобы претворить мысль в дело. Пора тебе снова стать человеком, Дедал!

Дедал (*глядит топор*). Первый инструмент, который я взял в руки еще ребенком! Мой первый друг детства! Давай с тобой вырубим маленькую пещеру, как делали это мои предки, когда ты был их единственным помощником. Чтобы стать человеком, мне надо начинать с азов, с пещеры!

Законодатель. Да, да! Становись человеком, Дедал!

Дедал (*взмахивает топором*). Как тепло стало! И как весело пляшет этот топор! И все хочет выскользнуть из рук! Это он от радости пляшет... От радости!

Законодатель. Ну, вот видишь! Разве я не могу дать тебе тепло?

Дедал. Можешь, законодатель, можешь!

Законодатель. Тюремщик! Позови Икара. Мы с ним начали однажды философский спор о Дедале. Сегодня мы его окончим.

Дедал. Нет! Не зови Икара. Он меня не поймет... Мы не сумеем сейчас понять друг друга. Я человек прошлого века, человек пещеры и топора. А он... Слышишь его песни? Это современные песни... Послушай, как гремят его орудия. Это современные орудия.

Из галереи выходят мастера. Они толкают тележку, нагруженную болванками только что отлитой меди, и поют. С ними Икар.

Икар (*запевает*). Эй, добрые мастера, литейные мастера,
Как работа идет?

Мастера (*хором*). Как вчера, как вчера!
Все так же мы во мраке, все так же в пыли,
Не видим ни неба, ни света, ни земли, ни земли.

Икар. Эй, добрые мастера, как же в вас огонь не угас?
Как сердце не умерло?

Мастера. Есть правда у нас!
Есть правда у нас, перед нею бессильна гнетущая мгла,
Она, как небо, огромна, как солнце светла!

Эту правду мы потом питаем среди темноты,
Она выйдет наружу, раздвигая земные пласты!

Медный великан, наш добрый товарищ и друг,
Вернет нас на землю, нас избавит от мук!

Икар. Здравствуй, отец!

Мастера. Здравствуй, Дедал.

Икар. Отец, ты слышишь меня?

Законодатель. Дедал! Выйди, здесь твой сын! (*Дедал работает.*)
Оглух ты, что ли? Поговори с сыном.

Дедал. Некогда. Работа у меня... Она всего важнее... важнее всего!..

Законодатель. Тюремщик! Отбери у него топор!

Тюремщик отнимает топор и подталкивает Дедала к свету.

Дедал (*исступленно*). Нет, нет!.. Не отбирайте у меня топор!..
Законодатель. Я прикажу не отдавать его! Как только получил топор, ты сразу перестал повиноваться.

Дедал. Верните мне топор! Я буду послушным.

Икар. Отец! Что ты говоришь? А где твоя ненависть?

Дедал. Три года я не прикасался к работе. Три года я лишен дела.
Ах, Икар! Человек, лишенный дела, не может ненавидеть.

Икар. Но вспомни тогда свою любовь ко мне!

Дедал. Ах, Икар! Человек, лишенный дела, не может и любить...

Законодатель. Ты увидел, Икар, то, что я хотел тебе показать.

А теперь ступай работай!

Первый мастер. Жалко Дедала.

Второй мастер. Погубил Лабиринт великого механика.

Третий мастер. Пойдем, Икар!..

Икара уводят.

Законодатель. А теперь бери свой топор, Дедал.

Дедал (*работает*). Руби, Дедал! Вновь станюсь человеком! Трудитесь, руки! Очнитесь от трехлетнего безделья. Напрягайтесь, мышцы! Работай, сердце! И ты, память... Память... (*Внезапно останавливается, пытается что-то припомнить.*) Память... Да! Вспомнил!

Законодатель. Что, Дедал?

Дедал. Какая огромная мастерская была у меня наверху!

Законодатель. Да, твоя мастерская была из самых лучших в мире. У тебя были новейшие механизмы, которые прокладывали пути материи и времени.

Дедал. А сейчас у меня топорик. Что он может сделать? Он прорубает вчерашние пути! А я должен пробивать дорогу в грядущее! (*Нетерпеливо.*) Верните мне мою мастерскую! Дайте инструменты, достойные этих рук! Я полон замыслов! Как залежи меди, они сокрыты во мне и отягощают меня. Дайте мне мои инструменты, и руда замыслов станет металлом.

Законодатель. Ты хочешь просить царя о прощении?

Дедал. Да.

Законодатель. Тюремщик! Ступай к начальнику стражи и скажи, что Дедал готов дать царю великую клятву. Клятву слуги своему господину. (*Дедалу.*) Так ли я тебя понял?

Дедал. Да. (*Опускает голову на грудь и отходит в свой угол.*)

Возвращаются мастера и Икар, они тянут пустую тележку.

Законодатель. Эй, мастера! И ты, Икар! Остановитесь! Проститесь с Дедалом. Сегодня он возвращается на землю. (*Икару.*) Твой бывший единомышленник уходит и никогда не вернется к тебе.

Икар. Ко мне, царский прихвостень, он, может, и не вернется. Но к вере моей вернется.

Законодатель. Что ты хочешь сказать, незадачливый философ?

Икар. Когда он вернется в свою мастерскую и возьмет в руки инструмент, он снова станет человеком. Вместе с его делом вы вернете ему совесть. Рано торжествуешь, законодатель!

Первый мастер. Ишь, обрадовался, мошенник.

Второй мастер. Писклявая царская дудка!

Законодатель. Прочь, собаки! Я прикажу четвертовать вас.

Икар. Этого ты не сделаешь. Мы тебе нужны.

Законодатель (*в исступлении*). Но ты мне не нужен. Когда уйдет Дедал, я закую тебя в его цепи. Тогда ты запоешь по-другому.

Икар. Ошибаешься! Ты можешь приковать меня, но не можешь обречь на муки неподвижности, ибо не можешь отнять у меня инструменты, как у механика Дедала.

Законодатель. Почему?

Икар. Потому что я певец. И моя мастерская — сердце! Там мои замыслы превращаются в песни. Вы можете разлучить меня с этой мастерской, только убив меня. Похоронить заживо, приговорив к неподвижности, можно человека техники, но не человека поэзии.

Первый мастер. Так его, Икар!

Второй мастер. Ну что ты теперь скажешь, старый пес?

Третий мастер. Дырявый царский горшок!

Законодатель (*вопит*). Стража! Крутите ворот. Сматывайте цепь. Тащите их обратно. (*Цепь натягивается и постепенно оттаскивает мастеров в галерею.*) Ступайте, подышайте у печей! А ты, Икар, воспой свое поражение...

Икар. Неужели, законодатель, ты думаешь, что завладел Дедалом?

Законодатель. Борьба за Дедала окончена.

Икар. Борьба за Дедала продолжается.

Законодатель. Кто может бороться за него?

Икар. Он сам. (*Громко.*) До скорой встречи, отец!

Первый мастер. До скорой встречи, Дедал!

Второй мастер. До скорой встречи, великий механик! (*Уходят с песней.*)

Борьба за человека не кончается,
Она, как пламя, то горит, то тлеет.
И кто сражается, тот не отчается,
И жажда жизни в сердце не скудеет!

Песня громко отдается в галерее. Она заглушает звуки трубы, возвещающей о приближении царя.

Минос (*подходит к Законодателю сзади. Он в доспехах и шлеме. Четыре стража с факелами освещают ему путь*). Это что за новости! Встречаешь царя, повернувшись к нему задом?

Законодатель. Прости меня, повелитель. Эти негодяи так орут, что не слышно было трубы.

Минос. Где Дедал, непокорный механик? Я не вижу его.

Дедал (*из темноты*). Разве можно видеть того, кто не существует, царь? Непокорного Дедала больше нет. В Лабиринте есть только слабый покорный старик.

Минос. Я радуюсь, что урок пошел тебе на пользу.

Дедал. Слишком жестокий урок для старика.

Минос. Царь должен быть жесток и тверд, как этот шлем. Но человек... (*Снимает шлем.*) Как человек я тоже дорого заплатил за этот урок. Если бы ты знал, как я соскучился по тебе, Дедал! По всем этим твоим молоткам, пилам... даже по твоей привычке мне перечить. Даже по твоим насмешкам. Не раз я от тоски заходил в твою мастерскую и говорил себе: «Эх, позвать его, что ли, сыграть партию в шахматы?» Но царь во мне запрещал это. (*Надевает шлем.*) «Нет, Минос, нет!»

Так, играя две роли — доброго старика и жестокого Миноса, — он то снимает, то надевает шлем.

Минос 1-й. Но, царь мой, старик, что дитя, — он любит игрушки. Приведи Дедала, и пусть он поиграет во что-нибудь, например, в любовь с Пасифаей. Ха-ха! Мы уже старенькие стали и можем в это только играть.

Минос 2-й. Пусть он сперва попросит у меня прощения!

Минос 1-й. Но он упирается. Что с ним поделаешь?

Минос 2-й. Заставлю!

Минос 1-й. Пока ты его заставишь, царь мой, я — старик Минос — помру.

Минос 2-й. Ты, старик, помрешь. Но я, царь, не умру. Мой образ неизменен и вечен, как сама власть. И его примет другой Минос.

Минос 1-й. Ты слышишь, Дедал, какой он злой? Настоящий тиран! Но что нам, старикам, остается? Покориться. Черт с ним, проси прощения!

Минос 2-й. Ну как, Дедал? Клянешься ли во всем быть послушным своему царю?

Дедал. Клянусь.

Минос 2-й. И докажешь это делами?

Дедал. Высокими делами, царь...

Минос 2-й. Хорошо, прощаю тебя. (*Торжественно.*) Законодатель!

Законодатель. Слушаю, государь!

Минос 2-й. Пусть Дедал вернется в свою мастерскую. Накорми его хорошенько и дай ему все, что ни попросит.

Законодатель. Разумеется, мой повелитель. (*Кланяется.*) Слава богу равному Миносу!

Минос 1-й (*старческим фальцетом*). Слава! (*Надевает шлем.*) Законодатель, я пошел,

Законодатель. Трубите в трубы! Повелитель возвращается во дворец. (*К Дедалу.*) Ты готов покинуть Лабиринт?

Дедал. Человек всегда готов к свободе... Даже к самой крохотной. Законодатель. Я хочу сказать... может, у тебя есть что взять с собой?

Дедал. Что взять? Истлевший тюфяк, разбитый кувшин или этот крошечный мрак и могильную сырость?

Законодатель. Тогда следуй за мной. (*Тюремщику.*) Сними с него цепь и помоги ему идти. Эй, стража! Дайте сюда еще два факела. Посветите Дедалу.

Дедал. Прощай, тюремщик. Кончилась твоя власть надо мной.

Тюремщик. На мой век хватит узников в Лабиринте...

Дедал. Да, хватит. (*Издали слышна песня мастеров «Борьба за человека не кончается...»*) Но другие не похожи на меня. (*Прислушивается.*) О, кажется, есть у меня что взять с собой!

Тюремщик. Что, Дедал?

Дедал. Эту песню. (*Уходит, тяжело ступая и оглядываясь на галерею, откуда все сильнее слышна песня.*)

Опускается экран. Темные своды Лабиринта освещает пламя, которое то вспыхивает, то затухает.

Картина вторая

Мастерская Дедала. За открытой верандой на фоне голубого летнего неба вращаются крылья ветряной мельницы. Проходят цепочкой рабы, нагруженные мешками с мукой, и спускаются по ступеням. Слышны звуки труб и голоса: «Слава! Слава царю!»

Входят Минос с Законодателем.

Минос (*обнимает Дедала*). Да, выдающееся изобретение. Поистине великое! Смотришь, и душа радуется. Подумать только, какой могучий труженик ветер, какой старательный раб. Теперь проси у меня что угодно. Ты заслужил, и я не откажу тебе ни в чем!

Дедал. Ты знаешь, царь, мое желание. И ты обещал, как только я построю ветряную мельницу, перевести Икара из темницы в эту светлую тюрьму и разрешить ему быть со мной.

Минос. Да, да. Но что скажет законодатель?

Законодатель. Так или иначе Дедалу нужен слуга и помощник. Пусть им будет Икар.

Минос. Тогда ступай и приведи его!

Законодатель. Сейчас?

Минос. А когда же? Дедал устроил праздник нам, а мы устроим ему. Ступай приведи Икара!

Законодатель. Слушаюсь, мой повелитель. (*Уходит.*)

Минос (*любуется мельницей*). Ветер утих, и крылья остановились. Пусть отдохнут. О, теперь я всех прижму в хлебной торговле. Мне выгода, врагам вред.

Дедал. И Пасифае, царь.

Минос. Да, да. (*Смеется.*) Она проклинает твое изобретение. Когда я приказал перебить всю птицу во дворце, а перья принести тебе, рабы по ошибке зарезали ее павлинов. А она, оказывается, берегла их на шляпы. Комедия!

Дедал. Вчера ночью она тайком пыталась общипать мельничные крылья. Хорошо, что ей помешала стража.

Минос. Представляю, как рассердился ты!

Дедал. Я? Ничуть. Повернулся на другой бок и захрапел. У меня уже не бывает приступов гнева. Устал.

Минос. Мы стареем, и наши чувства тоже. Но разум не стареет. (*Снова глядит на мельницу.*) В молодости ты бы не создал такого чуда.

Дедал. Но идею родили во мне чувства.

Минос. Какие, Дедал?

Дедал. Те, что не стареют. Отцовские чувства! Боль за Икара, упрямого в Лабиринт, и боль за погибшую Ариадну. Эти два горя дробят и терзают мне душу: И я сделал два жернова.

Минос. А ветер? Ветер, который вращает крылья? Как ты распознал его силу?

Дедал. Жизнь сталкивает нас со многими явлениями, об истинном смысле и значении которых мы даже не догадываемся. А потом приходит день, и мы словно прозреваем и вдруг осознаем их. День этот настает иногда слишком рано, иногда слишком поздно! (*Про себя.*) Так это было с Ариадной. Миллионы Ариадн живут вокруг нас. И что мы знаем о них?

Громкие голоса прерывают их разговор. Входит растерянный Вестник.

Вестник. Великий Минос!

Минос. Что случилось?

Вестник. Царица Пасифая прогнала стражу и общипывает крылья мельницы.

Минос. Что? Уведите ее силой.

Слышатся громкие крики Пасифаи. Крылья мельницы начинают медленно вращаться и поднимают Пасифаю, уцепившуюся за одно из них.

Пасифая (*в ужасе*). Помогите! Остановите! Остановите!

Дедал бежит ей на помощь и останавливает мельницу.

Минос. Я же запретил тебе приближаться к мельнице. Так тебе и надо!

Пасифая (*с высоты*). Это мои крылья. Я узнала перья моих павлинов. Я хотела только забрать их и зацепилась платьем. Спустите меня! Спустите, а то у меня сердце лопнет!

Минос. Ничего. Держись крепче!

Пасифая. Сколько можно? Я упаду! У меня слабеют руки. О варвары! Ваша техника скоро уничтожит всю красоту.

Минос. Красоту не уничтожит. А тебя даже разукрасит, если грохнешься.

Дедал. Эй, воины! Опускайте крылья. Поосторожней.

Пасифая. Я боюсь, Дедал! Крыло трещит, оно не выдержит меня!

Дедал. Чего ты боишься?

Пасифая. Станный вопрос. Чего можно бояться в моем положении? Падения!

Дедал. Ну, это тебе не впервые.

Пасифая (*поднимается по ступеням на веранду*). А все-таки голуби были украшением дворца. Сейчас и в этом афиняне нас обогнали. Все только и твердят о голубях афинского царя. У них, говорят, особая порода. Можно увезти их куда угодно, а они снова вернутся в Афины.

Минос. Слышал, слышал. Эти белые голуби скоро заставят афинян проливать черные слезы. У меня созрел план. Здорово будет, если он удастся.

Дедал. Какой план, царь?

Минос. Стратегический. Я велю египетским купцам доставить мне два корабля афинских голубей.

Пасифая. Чепуха! Они все улетят обратно в Афины.

Минос. Я сам их отпущу. Пускай возвращаются. Но я сперва намажу им коготки и клювы ядом!

Дедал (*с испугом*). Каким ядом? Где ты раздобудешь его?

Минос. Куплю у вавилонян. Они на это мастера. (*Самодовольно улыбается.*) Через год от Афин останется одно воспоминание.

Пасифая. О Минос! Это страшно, но удивительно мудро. Это твоя собственная идея?

Минос. В данном случае мое отцовство не подлежит сомнению.

Входит Законодатель.

Законодатель. Дедал, я привел Икара!

Минос. (*Дедалу*). Вот и твой праздник начинается.

Законодатель. Ввести его сюда, царь?

Минос. Да. А мы уйдем, не станем мешать.

Пасифая. С праздником, Дедал!

Уходят.

Дедал (*один*). Ну, погодите. Узнаете, какой праздник я устрою вам!

Икар (*его вталкивают стражники и уходят. Икар, ослепленный светом, протирает глаза*). Солнце, солнце, солнце!

Дедал (*обнимает его*). Икар, сын мой!

Икар. Здравствуй, отец! Здравствуй, солнце!

Дедал. О Икар, ты даже не глядишь на меня? Икар! Любимый сын! Твои волосы начали сесть на висках. И глубокие морщины избороздили лоб. И глаза твои полны слез...

Икар. Солнце, великое солнце! Вот мы и встретились. Твой воин приветствует тебя! Дай-ка я похожу на свету. Неужели я отвык ходить? (*Его лицо светлеет.*) Солнце! Как лучи его ласкают кожу... (*Сбрасывает грязное рубище. Его молодое тело сияет на солнце. Он вскидывает руки, словно хочет обнять весь мир. И торжественные стихи сами льются из его уст.*)

Животворное солнце,
Своим добрым теплом
Защити, как доспехами,
Тело мое!

Битвы с мраком
Еще ожидают меня!
Дай свой факел солдату,
Светило мое!

Дай мне свет, дай огонь
И копьем награди.
И на битву, как брата,
Меня проводи.

(*Только сейчас он осознал, что видит Дедала. Он порывисто обнимает отца.*) Отец! Отец! (*Отпускает Дедала и садится на ступени, обессилив от радости.*) Как прекрасны чуткие ветви тополей! Они словно приглашают солнце опуститься на них, подобно птице. В три раза горше станет моя жизнь там, в подземелье, после того как я увидел солнечный свет!

Дедал. Ты не вернешься в Лабиринт. Минос оставляет нас во дворце. Тебя и меня навсегда!

Икар. Неужели он думает этим сломить меня? И того, чего не добился с помощью мрака, думает добиться с помощью света?

Дедал. Наверно, он и об этом подумал, когда снизошел к моей просьбе.

Икар (*вскакивает*). Значит, ты просил за меня?

Дедал. Да, Икар. Я построил мельницу, которая мелет зерно с помощью ветра, и царь в награду соединил нас. Смотри! Смотри, как вращаются крылья. (*Показывает на мельницу.*)

Икар. Вначале я хочу разглядеть тебя. Зачем ты взял меня из рабства подземного в дворцовое рабство?

Дедал. Не для рабства я взял тебя.

Икар. Тогда для чего же?

Дедал. Чтобы предложить тебе нечто иное...

Икар. Что ты можешь мне предложить? На суше, на море, на земле, под землей — всюду господствует Минос.

Дедал. Он не господствует в небе. Я хочу предложить тебе небо!

Икар (*изумленно и недоуменно*). Небо?

Дедал. Не гляди на меня так. Да, небо!

Икар. Небо!

Дедал. Так-то, мой философ, так-то, поэт. Помнишь? Однажды в эту мастерскую вошла твоя песня и дала крылья моим замыслам. Ну вот! А теперь техника даст крылья поэзии, чтобы освободиться от оков. (*Все более горячо.*) Да, да! Я осуществил свою давнишнюю мечту, Икар. Я сделал крылья, на которых будет парить человек!

Икар. Удалось тебе это?

Дедал (*озираясь с опаской*). В глубокой тайне. Они думали, что перья нужны мне для мельницы. Я обманул их. Днем я строил мельницу, а по ночам сооружал крылья, которые спасут нас. (*Ощупывает Икара, словно обмеряя его.*) Крылья для меня уже готовы. Нужно несколько дней, чтобы доделать два других по твоей мерке, по твоему весу.

Икар. Где эти крылья?

Дедал. Я их прячу. Сейчас покажу. (*Приносит из соседнего зала два огромных крыла.*) Вот оно, величайшее из моих творений. Их надо прочно привязать к телу ремнями. И потом взмахнуть руками, как махнут взлетающие птицы. Я уже испытал их.

Икар. И ты летал?

Дедал. Ночью я уходил в сад и поднимался на крыльях. Мои руки еще сильны. Наша порода крепкая, Икар. Конечно, мой дед, который жил в Каменном веке, был крепче. Но и сейчас хватит мощи в наших руках, чтобы освободиться от Миноса.

Икар (*рассматривает крылья*). Крылья, крылья! Какие небывалые просторы открывают они людям!

Дедал. Горизонты, зловещие, как смерть!.. Не наши законы господствуют на земле, Икар. На земле господствуют законы царей! И если им достанется мое открытие, они разрушат все. Знаешь, о чем мечтает Минос? Он хочет наслать тысячи голубей с ядом, чтобы погубить Афины. Подумай, что бы он мог натворить, имея крылатых воинов. (*С горечью.*) Нет, нет. Мое изобретение не для нашего времени. Только зло и горе причинит оно людям. Поэтому крылья будут только у нас двоих. Погоди, сейчас я принесу твои крылья, и пора приниматься за дело! Каждая минута дорога. (*Уходит.*)

Икар. Крылья для нас двоих! Ничтожна радость, которая достается лишь двоим. Она тяготит и перестает быть радостью. (*Рассматривает крылья отца.*) Мы не можем дать крылья людям. Их украдут цари. Но мы можем одарить их новой надеждой. Этого цари не отнимут. А гордость за человека? И этого не отнимут цари! (*Улыбается с торжеством.*)

Ну, законодатель! Я же говорил тебе еще там, внизу: «Борьба за человека не кончается». Я крикну то же самое с поднебесных высот!

Дедал (*выходит с крыльями Икара*). Что ты бормочешь, Икар?

Икар. Я беседую с небом.

Дедал. Когда взлетим, тогда поговорим с небом, как оно того достойно.

Икар. И с землей поговорим.

Дедал. С землей говорить опасно. Во всяком случае, на Крите. Для этого надо лететь низко, и нас могут настичь стрелы Миноса... (*Прилагивает ему крылья*.) Но и слишком высоко тоже не следует парить, потому что нас могут поранить жгучие стрелы солнца. Ты будешь следовать за мной, не теряя меня из виду. Я сумею не сбиться с пути. И мы будем спасены.

Икар. Крылья для нас двоих!

Дедал. Да, да! Завтра или послезавтра мы взлетим. Крылатая радость ожидает нас, Икар!

Икар (*улыбается своим мыслям*). Радость, которая должна окрылить тысячи людей. Как и надежда.

Опускается экран. Летние облака бегут в небе. Как живые, они льнут к солнцу. И вдруг безмолвие голубых высот впервые нарушают человеческие голоса — голоса Дедала и Икара. Они счастливо парят, расправив огромные крылья. «Летим, Икар!» — «Летим отец!» — «Добро пожаловать, Икар, в голубую страну!» — «Добро пожаловать, Дедал, на голубой берег!» Они летят. Впереди Дедал, за ним Икар. Но вдруг сын неожиданно меняет направление, снижается и исчезает. Дедал оборачивается и, не видя сына, испуганно зовет: «Икар! Икар!..

Где ты, Икар?.. Ика-ар!»

Картина третья

У ворот, перед стенами дворца. Рабы кладут широкие ступени. Протей обтесывает огромные глыбы. Дафна и Идомений расписывают стены около ворот, стоя на приставной лестнице. Поодаль сидит Писец, он что-то выводит на глиняной таблице и следит за рабами.

Писец. Живей, живей пошевеливайтесь!

Дафна. Дай нам передохнуть, сосед.

Писец. Я вам не сосед, а надсмотрщик. И прошу без фамильярности, рабыня. Пошевеливайтесь! Господин скоро изволит явиться.

Протей. Сколько камней ты записал?

Писец. Сколько ты обработал, Протей. Тридцать. Маловато. Нам оказали великую честь, доверив строительство дворцовых ступеней. И мы должны работать, не жалея сил.

Архонт (*входит, в руках у него кувшин и плет*). Как идут дела, надсмотрщик? Покажи-ка мне записи. (*Читает*.) Что? Только тридцать камней обтесал Протей? Он бы должен штук пятьдесят в день обтесывать. За каждый недостающий камень выдать ему плетей!

Протей. Пятьдесят камней в день? Этого и пяти рабам не осилить.

Архонт. Да, но ты один стоишь десяти и должен быть мне благодарен: я заставляю работать только пятерых, а остальные отдыхают.

Дафна. Почтенный архонт, не брани его! Я ведь знаю, ты любишь моего Протей!

Архонт. Раба любят за силу, а не за язык. Вот отрежу ему язык и брошу собакам! (*Уходит*.)

Писец. Плохи твои дела, Протей! Я говорил: отруби руку. Ты не послушал, а теперь терпи.

Дафна. Замолчи, писец! Бессердечный ты стал человек. Оставь

меня с моим горем. Я потеряла две пары рук — руки Икара и руки Протея.

Идоменей (*с лестницы*). А мои?

Дафна. От них сроду не было проку.

Идоменей. Слыхали, что говорят о руках художника? Ну и темная ты женщина! Подними глаза и погляди на мои фрески.

Дафна. Чего на них глядеть? Намалевал голых мужиков. Я хоть и потеряла свободу, а стыд покуда не потеряла.

Идомсней. О боги! Это же бегущие атлеты, перед ними долгий путь. Они будут бежать, когда меня уже не будет на свете, и придут туда, куда мы не дойдем, — в лучшие времена...

Протей. И увидят, то, чего не увидели мы. Возмездие! Да, придет это время! Икар знал, когда пел:

Наше время рождает горе и стоны,
Оно же рождает и гнев окрыленный.

Дафна. Тише! Могут услышать. Пора забыть эту песню!

Протей. Разве можно забыть Икара?

Издали слышен странный звук. Испуганно вскрикивают люди. Вбегают

Архонт, пригнувшись и прикрывая голову руками.

Писец. Что случилось, архонт?

Архонт. Бог! Крылатый бог летит над городом!

Протей. Надрызгался, скотина, и теперь мерещатся ему порхающие боги!

Архонт. Я видел его, видел, все видели!.. (*С испугом глядит ввысь*.) Вот он! Вот он! Летит сюда!.. На колени, на колени! Как бы он не разгневался и не покарал нас! (*Падает ничком на землю*.)

Писец. Бог. Вижу его!.. (*Испуганно закрывает лицо руками*.) О! О!..

Дафна. И я вижу! Вижу! Чудо! И я, ничтожная, узрела его! На колени!..

Все бросаются на колени, но внезапно с высоты раздается голос Икара.

Голос Икара. Люди! Смотрите! Это я, Икар! Я парю на крыльях, которые создал Дедал! Смотрите на меня, люди! (*Голос его постепенно удаляется*.)

Протей. Икар! Это голос Икара!..

Дафна. Его! И я слыхала! Неужели я так люблю Икара, что даже с неба я слышу его голос?

Протей. Верно говоришь, мать! Это и был Икар! Я вырос не с богами, а с Икаром! Я хорошо знаю его голос. (*Смотрит на небо*.)

Архонт (*испуганно приподнимает голову*). Что вы там мелете? Какой Икар?

Вестник (*вбегают испуганный, держа в руках шлем*). Архонт! Архонт! В каменоломнях рабы кричат, что пролетел Икар!

Голос Икара (*приближается*). Это я, Икар! Узнаешь меня, мать? Протей, ты видишь меня?

Архонт и Вестник падают ниц.

Протей. Это он! Это он! (*Протей стоит один, но его слова заставляют подняться Дафну и Идоменея*.)

Дафна. Икар! Он зовет меня! Я здесь! Сын мой! Я здесь!

Писец. Это бог, соседка! Не верь ушам своим!

Дафна. Как же не верить? Бог не станет называть матерью меня, ничтожную!

З а к о н о д а т е л ь (*разъяренный выходит из ворот*). Эй вы! Как смеее стоять? Смертные недостойны взирать на богов!

П р о т е й. Какой же это бог? Это мой брат. Икар!

З а к о н о д а т е л ь. Воин! Встань и двинь ему в зубы!

В е с т н и к. Как же я встану, законодатель? Мне страшно — вдруг бог поразит меня?

Звучат царские трубы. Входит Минос в доспехах. За ним — Пасифая.

М и н о с. Что случилось?

З а к о н о д а т е л ь. Хочу наказать дерзкого раба! Он утверждает, что видел в небе летящего Икара!

М и н о с. Если ты накажешь тысячу рабов, все равно ничего не изменишь! Икара надо сбить!

Г о л о с И к а р а. Люди! Я Икар! Люди!

М и н о с (*свите*). Цельтесь в него из луков! Сбейте его! Сбейте!

З а к о н о д а т е л ь. Не надо, царь!

М и н о с. Прочь, старый козел! Стреляйте!

Г о л о с И к а р а. Братья, я Икар!.. Икар!..

Стрела, пущенная в Икара, обрывает ликующий голос. С неба, кружась, падают перья. Дафна с криком падает без чувств.

В е с т н и к. Сбит!.. Сбит!.. (*Убегает.*)

З а к о н о д а т е л ь. Что ты натворил, царь! Теперь никто не поверит, что это летел бог! Бога убить нельзя! Теперь все поверят, что летал Икар!

В е с т н и к (*вбегает, запыхавшись*). Царь! Рабы с верфей вышли на улицы. Они кричат, что видели взлетевшего в небо человека! Первого человека в небе!

П а с и ф а я. Ложь! Первой взлетела я! Помнишь, Минос, как высоко вознесло меня крыло мельницы?

М и н о с. Ступай прочь! (*Отталкивает ее.*)

В е с т н и к. Рабы идут сюда! Стража не может их удержать!

З а к о н о д а т е л ь. Удались во дворец, царь. Заприте ворота! Тревога!

Уходят. Ворота запирают. Вдоль стен выстраиваются воины.

П и с е ц. О боги! Это был Икар! Какое зло, новое зло он причинил людям. И это все руки! Руки приносят несчастье! А теперь появились еще и крылья. Горе удвоится. Обрежьте крылья! Обрежьте их! (*Уходит.*)

И д о м е н е й (*плачет, поднимая с земли Дафну*). Икар! Убили тебя!

П р о т е й. Я побегу туда, где он упал! Нельзя, чтобы его тело досталось этим злодеям. (*Уходит.*)

Д а ф н а. Икар! Сынок мой! А я не поверила! О! Идомений! Я действительно темная баба!

И д о м е н е й. Но молоко твое было светлым, Дафна. Оно вскормило первого человека, который взлетел в небо! Ты вспоила Икара! О, материнское молоко, чистое и светлое! По всей земле струится оно! И будет течь во все времена, смывая ложь и страх... ложь и страх!

Приближается песня. Это рабы вышли на улицу. Они идут через сцену, лица их строги и торжественны.

Х о р р а б о в. ...Погиб наш Икар! Но осталась мечта.

Мы этот полет не забудем.

Он будет рассказывать людям,

Что есть над землей высота!

Опускается экран. В голубом небесном просторе одиноко летит Дедал и тщетно кличет сына: «Икар!.. Икар!..»

ЭПИЛОГ

Крутой скалистый берег. Видна мачта корабля, приставшего где-то за высокими скалами. Светает. Старик Рапсод поет, сопровождая себя на лире.

Рапсод. Погиб наш Икар! Но осталась мечта.
Мы этот полет не забудем.
Он будет рассказывать людям,
Что есть над землей высота!

Входит Дедал. Ему уже за сто лет. Мы с трудом узнаем его.

Дедал. Доброго здоровья, рапсод!

Рапсод. Добрый день, чужеземец! Я слепой! Я не вижу тебя. Но по твоему голосу чувствую, что ты много старше меня. Прости, что я не приветствовал тебя первым...

Дедал. Да! Мне так много лет, что я уж не помню, сколько. Что там за корабль, рапсод? И куда он держит путь?

Рапсод. Наверно, ты пришел из дальних мест, чужеземец. Этот корабль везет паломников на остров Икара.

Дедал. Остров Икара?

Рапсод. Да. В Икарию... Там был погребен крылатый Икар...

Дедал. Икар...

Рапсод. Ты не слыхал о нем?

Дедал. Слышал. *(Пытаясь скрыть свое волнение.)* Неужели там его могила?

Рапсод. Да. Тело перевезли туда рыбаки с Крита и похоронили тайно, чтоб не нашел Минос. Сколько уже лет прошло с той поры? Лет, наверное, пятнадцать или двадцать! Царство Миноса разрушило мощное землетрясение. Но любовь людей к Икару — такое царство, которое не разрушит никакое землетрясение!

Дедал. А где Дедал? Что известно о нем?

Рапсод. Ничего. Он сгинул. Его повсюду разыскивают цари, чтобы выведать у него тайну крыльев.

Дедал. Наверно, он скрывается.

Рапсод. Я его понимаю! Он хочет, чтобы крылья остались белыми. Чтобы их не касались грязные руки. Крылья должны остаться чистыми, как мечта. Как песня Икара...

Дедал. Велик подвиг Икара, рапсод! Дедал сотворил крылья, чтобы поднять человеческое тело! Но Икар использовал эти крылья, чтобы возвысить человеческий дух!

Рапсод. Крылья Икара сильнее крыльев Дедала!

Дедал. Так и должно быть! Сыновья должны возвеличивать дело отцов.

Голос *(с корабля)*. Эй, рапсод! Корабль отплывает!

Дедал. Вы не могли бы и меня взять на остров Икара? Я тоже хочу поклониться его могиле!

Рапсод. Сейчас я узнаю. *(Кричит.)* Эй! На корабле! Возьмете с собой еще одного старика?

Голос. А есть у него разрешение берегового архонта?

Дедал. Что они говорят?

Рапсод. Они спрашивают, есть ли у тебя разрешение местных властей.

Дедал. Нет!

Рапсод. Тогда ступай проси! Вон та дорога ведет прямо к городу. Добро тебе пути, старик. *(Уходит.)*

Дедал. Тебе тоже, рапсод... *(Остается один.)* Нет... Не дадут они разрешения Дедалу. Никуда нельзя мне поехать! Даже к могиле сына! Везде на земле господствует закон царей! *(Восходящее солнце все ярче освещает его.)* Но будущее! Будущее — это огромная страна! Там восторжествуют законы Икара. Эта страна меня примет... Примет даже тогда, когда я буду для нее глубокой древностью! *(Мечтательно.)* И пойду я тогда, тысячелетний Дедал, и смело встану перед людьми. И буду застенчив, как дитя, потому что мои знания будут по-детски наивны перед их всеведением. Но затем вспомню, что я старше их, и осмелюсь сказать им: «Я Дедал, отец Икара! Вы примете меня, добрые люди?»

Голоса зрителей. Примем, Дедал!

Дедал *(приставив ладонь к уху, радостно прислушивается к невидимым собеседникам)*. Люди, я сделал для вас все, что мог... Простите, если я в чем ошибся! Очень трудно мне все давалось!

Голоса. Знаем, Дедал!..

Дедал. О! Я слышу их! Слышу!.. Нет, это не шум в ушах! Это будущее разговаривает со мной!.. *(Громче.)* Спасибо вам, люди!

Голоса. Спасибо тебе, Дедал!..

Дедал. О! Будущее примет меня! Я могу поднять паруса и плыть в грядущее. У меня есть разрешение на это далекое путешествие! *(Горячо.)* Поднимаю паруса! Расправляю крылья... Крылья!..

Корабль поднимает большие красные паруса и медленно отплывает.

Перевели с греческого Д. Самойлов и А. Столтидис.



ВЛАДИМИР ФОМЕНКО

★

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ

*Роман **

Глава четырнадцатая

1

Карьер, на котором директорствовал Илья Андреевич Солод, числился в номенклатуре Волго-Донского строительства производственной точкой. Солод привык понимать под словом «производство» стеклянные крыши корпусов в дымах и паре, свист, грохот и стук; веселые, говорливые конвейеры людей, текущие от проходной к цехам.

Здесь же была белая степь, чуть разрытая, с деревянным навесом для техники и деревянной столовой. Вокруг — заросли веников-сибирьков, остро пахнущие на морозе, вмерзший по пояс татарник и даже ковыли, которые бежали по ветру шелковыми волнами. На этой «производственной» территории Солод вспугивал по утрам табуны куропаток, от века облюбовавших это место. Они всегда вырывались из-под самых ног, вскрикивая, пронзительно свиристая в воздухе. Здесь, в ста шагах, под слоем снега и тонкой земли, лежал пласт ракушечника, который механические пилы Ильи Андреевича резали на кубы, а с центрального участка стройки, из поселка Соленого, приходили «ЗИСы» и «МАЗы», забирали продукцию.

Для Солода, опытного механика, техническая сторона дела не представляла трудностей: машины были несложными, работа каждый день одна и та же. Легко сложилось и со штабом карьера. Из присланных из Новочеркаска и Шахт девяти мастеров и десятников только двое оказались рвачами, и Солод выгнал их на другой же день. Еще лучше было с материальной базой. После недавней военной голодухи на промышленное оборудование, когда жестко учитывалась каждая заклепка или гвоздь, страна бурно и радостно погнала первенцу послевоенного подъема бесконечные эшелоны машин, стали, цемента, леса. Карьер Солода, как любая волго-донская точка, мог получать все, что угодно душе, вплоть до роялей, если бы кто-нибудь на карьере вздумал на них играть.

Но зато из рук вон плохо складывалось с рабочими. Это были те самые женщины, которых Солод отбил у Щепетковой. Домохозяйки, они и на колхозных полевых работах не зря именовались домоседками. Солод — с детства рабочий человек — не умел вобрать в разум такого домоседства. Как это задрипанное личное хозяйствышко или вообще что бы то ни было, даже случись новая Отечественная война, может стать поперек производству?!

Но женщины рассуждали по-своему. Являлись они на карьер далеко не каждый день, а по вдохновению, и уж если и решали явиться, то выхо-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 6 и 7 с. г.

дили из дому, когда какой вздумается. В то время как ровно без трех семь сторож на карьере вызванивал в подвешенный к столбу рельс, извещая о начале работ, два самосвала в хуторе, приезжающие туда за женщинами, еще стояли пустые в ожидании пассажиров. Сам же директор и все его мастера переминались возле сторожа — уныло, точно генералы без армии. Единственным человеком, который являлся в срок, был Андриан. Он не пользовался самосвалом, выходил из хутора затемно, шагал напрямик с новенькой одностволкой, нередко приносил подвешенного спиной книзу зайца. Солод и горожане-мастера, чтоб убить время, рассматривали зайца, его бараньи выпуклые глаза, подернутые льдом, его окровавленные усы. Андриан приседал перед механической пилой, молча принимался смазывать. Минуты текли...

Наконец подъезжал первый грузовик, из которого раньше всех выпрыгивала Лидка Абалченко. Оживленная, будто прибыла на молодежную культвылазку, она весело кивала мастерам и, подбежав к директору, точно он был самым близким ее приятелем, дружески снимала с его нальто какую-нибудь пушинку. Спросу с Лидки не было. Илья Андреевич и мастера набрасывались за опоздание на других колхозниц. Те, поджав губы, оскорбленно отвечали:

— Корову подоить надо? Буряка отварить кабану надо? А детвору покормить, послать в школу!.. Вы, мужики, что ли, поуправляетесь за нас?

Солод заранее готовился к этому. Иногда, еще со вчерашнего дня подыскав аргумент, от которого не отвертишься, с ехидством спрашивал:

— А как же вы на хлебоуборке стемна в поле?..

Но заряд пропадавал даром. Тетки смеялись наивности Солода.

— Так то же страда,— объясняли они,— там зерно осыпается. А камень твой что? Он тыщи лет лежал и еще час пролежит.

Солод отходил в сторону на секунду-другую, чтобы остудить себя и не наговорить лишнего. Успокоясь, он объяснял, что такое график, план, задание. Женщины молчали, сочувствуя директору, потому что директор был человеком невредным и они искренне желали ему добра. Однако, когда он предлагал им — чтобы ликвидировать опоздания — начинать работу не в семь, а в девять и, разумеется, кончать на два часа позднее, его с презрительной иронией спрашивали:

— Может, нам совсем уже не ходить домой, тут и ночевать на твоих камнях?

Терпение Солода лопалось. В конце концов почему руководители колхоза стоят в стороне? Почему не выполняют рекомендацию облизполкома — обеспечивать карьер рабочими? Обижаются на конкуренцию? Да начхать на эти обиды. Держите их при себе. Вопрос решается государственный! Симулянты!.. Илья Андреевич поехал в правление колхоза, чтобы разговаривать с председательницей именно там, в официальном месте, а не дома, где она, видите ли, хозяйка, а он квартирант.

2

Настасью Семеновну Солод застал в кабинете. Она смотрела бумаги, которые, стоя перед ней, перелистывал бухгалтер Черненко. Что-то вычеркнув в одном, в другом месте, строго посмотрев на бухгалтера, она подписала. Потом дала дождавшемуся колхознику записку на пять литров масла, другому — на лошадей: привезти из больницы жену, третьему отказала в денежной ссуде и, заметив Солода, предложила:

— Садитесь.

Илья Андреевич сел, принялся дожидаться своей очереди.

До приезда в деревню, еще там, в Таганроге, на общегородских со-

браниях, посвященных Женскому дню, Солод обычно со всеми вместе аплодировал деятелям города, директрисам школ и мелких фабрик. Юбилярши сидели на сцене среди цветов, и Солод громко хлопал, как и положено в торжественную дату. Кроме подобных случаев, Илья Андреевич не сталкивался с руководительницами в юбках. Он хорошо знал других женщин — работниц завода, хозяек в доме. Такими были жены его товарищей; собственная его покойная жена — беззаветная, святая труженица, аккуратистка. Не отличалась от них и пышнотелая, пышноволосяя Инна Васильевна, с которой Солод уже больше года жил. С ними можно было в хорошие минуты балагурить, в серьезные — обсуждать семейные, даже заводские дела; но говорить, глядя снизу вверх, заранее подбирать доводы и отставлять их, потому что их разобьют, — этого ему не приходилось... Щепеткова сидела прямо, отпускала посетителей быстро. Сидела в том самом голубеньком платье, которое в ночь Зойкиных родов недоштопанное лежало дома на табурете. Сейчас оно было так ловко залечено подобранной под цвет ниткой, должно быть выдернутой из подола, так отпарено и разутюжено, что казалось совсем новым. Солод смотрел на черствоватое лицо председательницы, на ее пунцовую родинку у верхней губы и понимал, что, будь Щепеткова на его месте, а он на ее, председательском, она бы сюда не явилась, обошлась сама.

Действительно, выслушав Илью Андреевича, она сказала, что побеседовать с домоседками о дисциплине она может, но вообще-то на хозяйках в самом деле ребятишки, дом и двор, птица и скотина. Солод, который здесь какой уж день, должен бы это знать, уважать на своей карьере женщин. Женщины, они и всю жизнь для прокорма страны и сейчас для Волго-Дона делают не меньше мужиков. Именно те женщины, на которых Солод приехал сейчас жаловаться.

На обратном пути Илья Андреевич пытался думать объективно: «Правильно, когда над колхозом стоит баба. В колхозе основная сила — бабы, и, должно быть, верно, чтобы их интересы и всякую специфику своя же и учитывала. Но гори она огнем, эта Щепеткова, чтобы к ней хоть раз еще обратиться!»

3

Больше Илья Андреевич в правление колхоза не ездил, боролся за каменную продукцию силами своих людей. К его досаде, на карьерах нельзя было создать парторганизацию: он был единственным здесь коммунистом. Правда, носил билет и присланный из Новочеркаска мастер Попков, человек неплохой, но глубоко беспартийный, ставший кандидатом в армии, в войну, когда в тысячах солдат вспыхивала горячая активность: «Хочу умереть коммунистом!» Тогда Попков не умер, а теперь, в мирном быту, стал снова обывателем. Солод вызвал Попкова и, превышая все свои права, заявил:

— Если не хочешь, чтобы мы через райком отобрали твой билет, то возглавь от имени партии движение среди мастеров. Вы, мастера, должны не только руководить, но и лично, для примера народу, выполнять общую норму! Кроме того, не дрыхни в обеденные перерывы, а помни, что ты пока что коммунист, поэтому проводи среди народа культмероприятия.

Политическая работа на карьере была в прорыве, и Солод решил жать на нее в свободные обеденные минуты. В это время женщины собирались в дощатой столовой, где для обогрева горела форсунка и был организован возможный в зимних степных условиях уют. Висели две репродукции с картины Айвазовского «Девятый вал», возвышалась искусственная пальма, возле которой, напуганный директором, переминался

ся Попков с шашечной доской под мышкой. Не заходил в столовую только Андриан, прогуливался на морозе, дыма сигаркой. Женщины же развязывали возле пылающей форсунки узлы с харчем и с ходу начинали разговоры, от которых Солод, явившийся почитать вслух воззвания Волго-Донского политотдела, приходил к твердому заключению, что не только построй социализм — и совсем, окончательно и полностью, — но даже и в коммунизм войди, а толку от этих женщин не добьешься.

— Слыхали, бабочки, — обычно заводила Лидка Абалченко, — хутор Ясырев сселять не будут.

— Сады там дерьмовые, чего ж его трогать, Ясырев? — отзывалась мордастая, тугошекая молодайка Ванцецкая, главный среди женщин авторитет в вопросах законности. — Отоб, — говорила она, — порубать бы нам свои сады — и нас бы с места не сгоняли. А теперь что?.. Я уж утей распродала. Сами вот кушаем последушков, — тянула она из узла вздутую от жира вареную укку, разламывая, угощала соседок. — Дура я, что до комиссии не вздумалась порезать да попродать. Вам, до кого комиссия доходит, советую.

— Правильно! — с активностью поддерживали Ванцецкую. — Инженерá завидуют, у кого богато птицы. Начислут три рубля за всю хату.

— Три — так веселись! А то вовсе получишь от задницы уши, — оживлялись тетки, решали завтра же скубать птицу, а карьер подождет.

Лидка Абалченко — чтоб, боже упаси, не отстать — поспешно заявляла, что хоть у нее дома всего пять гусаков, но тоже начнет скубать и сюда, «на камни», завтра не явится. Не дура.

— Хватит! — гаркал Илья Андреевич. — Вы ж работницы самой передовой стройки в Союзе!.. Уточек едите? — спрашивал он так, будто перед ним рвали клыками живого человека. — Уточек? — зловеще повторял он, но, чувствуя, что хватил через край, миролюбиво добавлял: — Ешьте на здоровье. Только нельзя же бросать производство, паниковать, как когда-то, в коллективизацию...

Он выхватывал из кармана «Поднятую целину». Незнание села он старался ликвидировать с помощью литературы, читал женщинам место, где Щукарь сдуру привалил свою телочку, объелся и знахарка Мамычиха ставила ему на живот полуведерную махотку, всосавшую все дедово нутро.

Директор согласно тексту то рычал зверем, то скулил по-щенячьи, а на месте, где остервенелый от боли Щукарь лягал знахарку Мамычиху, Солод для полной достоверности тоже лягал воздух. Женщины смеялись, а он, воспользовавшись этим, разворачивал и читал особо зажигательные, с его точки зрения, приказы по стройке...

Но как, в общем, ни тяжело ему приходилось, он не жалел об оставленном Таганроге. Здесь, на карьере, все было неиспытанно, по-молодому остро, будто пробуждало от прежней сонноватой жизни городского привычно знатного рабочего. Поднять собственное предприятие, доказать всем, как можно с неопытными работницами организовать дело, стало для него целью жизни, заставляло вставать и ложиться при звездах, а часто и ночевать на карьере.

4

Изредка Илья Андреевич посылал все к черту, решал с обеда посидеть дома. Он говорил себе, что это от усталости, но отлично знал, что врет. Его, помимо его рассудка, тянуло к этим печастым, не богатым событиями минутам в доме Щепетковых.

Когда он оставался, все шло будто по установленному распорядку. Он обедал, курил и, чувствуя, как в натруженных суставах толчками

рассасывается дневное напряжение, садился в зале сумерничать. Сидел, облокотясь на стол и прикрыв веки. В доме бывала лишь бабка Поля, которая не трогала умянного квартиранта, разговаривала на кухне с телочкой. Солод не видел, но телочка, наверно, гянулась к бабке своим черным языком, цепким, шершавым, как наждак; водила свежими, словно бы переполненными тушью зрачками. Смешно: Солод совершенно определенно испытывал нежность к этой пегой, белобокой телочке, своей крестнице... В зале темнело. В спокойной полутьме Солоду дремлет, но он слышит, как в хлеву выжидательно мычит Зойка, знает, что скоро понесут ей подогретое пойло, подбросят сена и станут доить. Витьки голуби на чердаке сонно поскребывают коготками по настилу, отчего-то воркуют к ночи... Удивительно быстро свыкается человек с любой стороной, которой повернулась к нему жизнь. Уже для него, Ильи Андреевича, появились здесь приметы, полное понимание всего, что недавно было чужим, даже диким. Он слушает, дожидается главного, к чему, будто к празднику, готовился последние сутки. Главного пока нет, но во всех звуках есть то обязательное, что ему предшествует. Например, под балконом всхлопывают сильные крылья. В голос вскрикивают обеспокоенные индейки, сразу же умиротворенно потягиваются. Это какая-то сорвалась с насеста и снова устраивается. Пальма не лает на проезжающую улицей машину, не шевелится на крыльце. Значит, кормит щенка. Пустила его под свое брюхо, подталкивает длинной сильной мордой под задок, деловито лижет.

Но вот раздается ее короткий гавк. Она гавкнула без зла, для показа, что не спит, стережет,— и сердцу Ильи Андреевича будто тесновато. Это Настасья. Раиску или Виктора Пальма встречает по-другому, равнодушнее. А сейчас она хочет, чтобы ее заметили, скулит и, взбегая первой на крыльцо, бьет хвостом по перилам. Настасья заходит, но Илья Андреевич сидит с прикрытыми глазами, не шевелится и сам не разберет, дремлет ли он, давая отдых глазам и всему себе, или просто хочется наработавшемуся человеку, чтобы о нем позаботились без его напоминаний... Настасья вносит в комнату-боковушку какие-то свои бумаги. Солод слышит, как она переплетает волосы, кладет шпильки на подоконник. Потом заглядывает в зал и, думая, что Солод спит у стола, говорит бабке:

— Холодище там — собак гоняй, а квартирант вон намерзся.

В зале в кафельной стене — дверца печи, за дверцей на колосниках — сухая виноградная лоза. Сверху она толстая, узловатая, с-под низу меленькая, как солома. Чтобы подпалить, Настасья заходит в зал. На ее крепких стройных ногах чулки, поверх них, до половины, шерстяные белые носки. Она чиркает спичкой, прикрывает огонь горстью. В сумерках насквозь светятся её пальцы, словно бы вишневый горячий сок прорывается между ними. Слышно потрескивание лозы, и из печи льются блики, прыгают на деревянном потолке. Из отворенной духовки начштает тянуть тепло; расширяясь, звонко хлопает внутри лист железа. Солод думает: «А что, если заговорить?» Но он молчит. Настасья размывает на колене кизячный кирпич, кладет куски поверх лозы и уходит доить корову, процедить и разлить по кринкам молоко, кинуть на ночь овечкам. Так было каждый раз. Покончив с делами, Щепеткова присаживалась обедать, но тут ее уже вызывали в правление. Прибегала уборщица или у дома останавливалась тачанка, заложенная рослыми колхозными жеребцами, и кучер, инвалид Петр Евсенч, стучал кнутовищем в окно, всегда одинаково шутил:

— Семеновна, вороные ждуть.

Для Солода на этом, собственно, и кончалось то, чего он ждал целую неделю.

Для Настасьи Семеновны это было продолжением дневных дел. Она шла в Совет, в контору или ехала лошадьми в МТС на переселенческое совещание, а иногда среди ночи и в райцентр, захватив кавказскую фронтную бурку мужа, чтоб не околеть в дороге.

За все время своего председательствования не испытала Настасья столько тяжелого, сколько сейчас, в торжественные дни волго-донских побед. Как в 1929—1930 годах радовались в городах поступающим из села сводкам коллективизации, а Матвей Григорьевич Щепетков на себе нес тяжкий груз сводок по хутору Кореновскому, так и теперь каждый город от Ростова до Владивостока ликовал по поводу очистки морского дна, а наследница Матвея Григорьевича — Настасья Семеновна — отвечала за «очистку» хутора Кореновского. Она заставляла рубить молодой лес, которому бы еще расти и расти; она в спорах с колхозниками становилась на сторону инвентаризационной комиссии; она сдавала по актам хуторские виноградники и не оправдывалась во всем этом перед людьми — что, мол, я-то за вас, товарищи, но что ж я поделаю, когда приказывают?.. Настасья считала бессовестным сваливать происходящее на кого бы то ни было, давала распоряжения от своего имени, и у людей, должно быть, создавалось впечатление, что все беды исходят от нее лично.

Настасья знала, что Андриан митингует на всех перекрестках, яростно рассказывает, как выбирали «мадам Щепеткову» в председатели и как просчитались:

— Покупали воду возить, а она оказалась рысаком. Шкодливый. Выслуживается. Скачет на свой шкурный интерес, а мы, дураки набитые, стоим ждем — на каком она свертке пустит нас по откосу?..

Планерки в конторе проходили теперь без обычных шуток мужчин, при которых прежде Настасья с усилием делала строгое лицо, стучала по графину: «Хватит уж. Разошлись, как на Дунькиной свадьбе!» Сейчас все сидели угрюмо. Отсталые помнили Герасима Живова, отмалчивались, а передовых, не в меру горячих, вроде Валентина Голубова, Настасья укорачивала сама, видя, что дай им волю, так они чуть не с минометами начнут вводить новую жизнь.

Оборвалась у Настасьи дружба и с Дарьей Черненковой. Если раньше они спорили о севе или культивации, доходили до шума, до криков, то и сев и культивация кончались, и опять веселая, забывшая ссору Дарья прямо с огородов по-соседски забегала к Щепетковым передать хуторские новости; или Настасья Семеновна мирно шла к Черненковым покалякать, повозиться с многочисленной детворой.

Теперь дело было посерьезнее. Оно не кончалось, а закручивалось все туже. Дарья с глубокой убежденностью считала, что каждого, кто не соответствует требованиям Волго-Дона, надлежит давить. Она была решающей силой в своем партбюро, выносила постановления, направленные против Щепетковой, и жестко давила ими. Правда, она от всей своей души хотела помириться. На днях она задержала Настасью одну в конторе, ласково заговорила, вспоминая о недавней дружбе:

— Послушай, Настенка! Я за тебя же, чудачка, болею, не за себя. Давай выгоним с колхоза Герасима Живова. Подумаешь — лучший бригадир. Вырастим не таких еще! И Андриана гнать надо. Поважаешь ты его, потому что родич. Ведь ясно.

— Дуракам ясно, — ответила Настасья. — Отыщи-ка где-нибудь такого специалиста по винограду, как Андриан.

— Да специалист этот подрывает твой авторитет. С Живовым вместе, с Фрянчихой. Не панькайся ты с ними, сволочами. — Дарья схватила

подругу за плечи, перешла на доверительный шепот: — Нам сейчас политически важно держать твой авторитет. Пойми!

Настасья ответила:

— Никого не выгоним.

— Ну смотри, с горы видней. Только предупреждаю, Настя, скверно обернется тебе, — сухо, уже с угрозой сказала Черненкова.

Не лучше было и с другими подругами. Они абсолютно извиняли Настасью, когда она агитировала за переезд в общественных местах. Пожалуйста. Такая ее работа. Но с глазу-то на глаз, когда подружки вместе, обязана ж она по-свойски признаваться: «Плохо, мол, бабы...»

А Щелеткова считала: разговоры что на собраниях, что с близкими должны быть одни, никакого ляда работать нашим-вашим! Уязвленные подруги решили, что Настя отшатнулась, брезгует, и стали платить ей тем же. Позавчера бухгалтер Черненко составил список колхозников, не явившихся на порубку. В перечне значились Настасьи кума Фелицата Рагозина, Гуцкова Марфенька, Лизавета Чирских, Фрянчиха. Настасья вызвала всех их в контору, попыталась поговорить по-хорошему, а когда не вышло, оштрафовала. С каждым днем действовала Настасья тверже, закрывала в сердце отдушины ко всему, что мешало работе. Единственная слабость, которую не искореняла Настасья, а, наоборот, опиралась на нее, была любовь к сыну.

Будь жив муж или хоть капля другого бабьего счастья перепала бы ей на долю, возможно, меньше бы сердца уделялось Витьке. Когда на сошествиях было особенно напряженно, Настасье Семеновне радостно приходило вдруг в голову, что самое тяжелое в переселении сделает она, а Витьке будет легко на устроенной для него земле. Рисовались веселые, изумрудные поля, по которым с песнями идут девчата, ребята и в центре — Виктор. Он самый красивый из всех, самый умный и сильный, с ясными на солнце, счастливыми глазами!..

Возвращаясь домой, Настасья всегда торопилась. Вдруг Витька не спит и, значит, сядет напротив, когда она будет ужинать. Если не было чужих, он не стыдился своей ласковости, лип к Настасье, как теленок, давно уж выросший в годовалого бычка, но которого, хоть он и здоровенный, лобастый, а надо погладить. Витька рассказывал что-нибудь свое, по-мальчишески прихвастывая, и тут же досадливо покашливал в большую руку, обиженно объяснял хрипловатым баском: «Так, мама, и происходило, чего ты улыбаешься?» И это было для Настасьи самой щедрой, царской платой за все.

6

В первый понедельник нового, 195* года Настасья не пошла вечером в контору, решила постирать, перештопать носки. Никуда не уходил и Виктор, валялся с книгой в комнате-боковушке, но, к досаде Настасьи, был дома и квартирант, сидел, как сыч, в своем зале.

Услышав мать, Виктор вышел в кухню в наброшенной на голое тело стеганке. С того дня, как ему записали выговор, он держался козырем; возбужденно посмеиваясь, говорил, что теперь он меченый, почти что враг народа. Он крутнул мать за плечи, щелкнул по лбу Раиску, сидевшую над учебником, и устроился возле печки, принялся клеить велосипедную камеру. Бабка Поля перебирала на столе пшено, Настасья собирала белье, бросала в деревянную балю для отмочки, поглядывая на Витьку. До чего же похожим на Алексея выпестывался Витька!.. И не только обличем — нависающей пипой, красным, круглым, как яблочко, подбородком, — но и всей словно бы усмешливой сноровкой, подергиванием плеча, когда оторвется вдруг от дела, посмотрит вокруг. Витькино лицо, особенно лоб, — в ярко-красных прыщиках, сочных и плотных, туго

накачанных кровью. «Молодой, а хоть жени», — думала Настасья. Она наблюдала: резинового клея у Витьки мало. Он грустно лез глазами в пухляк, задумывался, совсем по-отцовски привздрогивая верхнюю короткую губу. Заметив взгляд матери, досадливо опустил губу, прикрыл ею зубы, — точь-в-точь как Алексей, и так же, как Алексей, сдвинул следом брови.

— Прокипятить бы твою фуфайку, — сказала ему Настасья, тронула на нем стеганку вроде для порядка, а на самом деле, чтоб коснуться рукой сына.

Пока белье отмокало, Настасья села поесть, и Витька враз пристроился рядом. От него пахло резиновым клеем и авиационным бензином, он заглядывал к матери в миску, куда бабка Поля налила лапши с курицей. Бабка потянула его за зуб, кинула ложку и ему, отгребая половником в Настасьиной миске куриный пупок, крылышко, печенку.

— Ешь уже, пупешник!..

Витька, точно к воздуху, привык к любовным взглядам домашних. Считая, что это гораздо больше для них, чем для него, он вытягивал из миски крыло, пупок, с хрустом, на оба ряда зубов, жевал, чмокая масляными губами, говорил:

— Ма, послушай! Вот история была утром!

Но из зала вошел квартирант, и Витька повернулся к нему, обрадованный его появлением.

— Так что там, Виктор, у тебя утром было? — вся поджимаясь, напомнила Настасья.

— После! — отмахнулся Виктор и, выбирая, где лучше сесть, чтоб поговорить с квартирантом, сдернул со стула Раиску вместе с ее учебниками.

Илья Андреевич думал, что Настасья одернет сына, но она молчала, и он спросил сам:

— Чего ты девчонку согнал? Ей же заниматься.

— А пусть. Дуй спать, Райка, — приказал он сестре, улыбнулся Солоду: — Илья Андреевич, у вас машина есть. Поедьте с вами на Зеленков пережат. Знаете, какого там дед Фрянсков брал судака? Во! — показал он на голую руку, ударяя у плеча. — Подледный, один в один!

Настасья Семеновна смотрела на стол, а Витька, не обращая на нее внимания, доказывал Солоду, как здорово бы съездить, тем более, что не нужны ни черви, ни даже живец. Судака надо брать на марлечку. Навязать лоскуток поверх крючка, пришить спереди красные шелковинки, вроде это краснеются жабы рыбешек, — и забрасывай. Марлечка мелькает на течении — судак и берет, будьте покойны!

Витька метнулся в кладовую, приволок ящик со снастью, вывалил горой на стол. Он поштучно давал Илье Андреевичу в руки чаканные бабышки с намотанным, туго скрученным навощенным шнуром; вынимал застромленные в мягкий чакан вороненые крючки с хищными белыми жалами остриев. В груди добра были хитрые «соминье» колокольчики для лова ночью, поводки из белого конского волоса и капрона, тусклые свинцовые грузила-самоделки.

Увлеченный Солод не замечал раздражения хозяйки и по Витькиному требованию брал шнуры на зуб, на растяжку, на подергивание. С Витькой ему было по-ребячески свободно. Рассказы о рыбалке, которой никогда не занимался Илья Андреевич, поражали его, и Витька, зная свое превосходство над квартирантом, снисходительно посмеивался, соблазнял:

— Поехали! Может, и краснюка подцепим.

— Какого краснюка?

— Осетра. Красную рыбу. Знаете, какого я там брал? Пусть мать вам скажет!.. Выедем ночью, по темноте,— уже распорядился Витька.— Только будите меня крепче. Буду вам говорить: «Все! Уже встал» — не верьте. Толкните, чтоб я хоть бы сел на койке.

«Хорош мальчинок,— любовался Солод,— а тоже фетровик».

Фетровиками он считал одетых в редкостные макинтоши и в какие-то особенные фетровые шляпы восемнадцатилетних городских паразитов. Ни разу в жизни не постирав своих штанов, не стукнув пальцем о палец, они на всё и вся брезгливо топырят пухлые пацанячьи губы с несколькими волосинами усиков. Их брезгливость — к Солоду, идущему с завода, к ребятам-студентам с книгами, к портальному крану, поднимающему блоки домов. Оказывается, такое есть и в хуторе. На колхозных тракторах работают девчонки, камни на карьере ворочают женщины, а этот лорд — наблюдателем: должность ниже зава его оскорбляет. Относительно Абалченко, с которым его проработали, говорит: «Сережке что? Он в кузнице ишачит. Мне похужее, у меня клуб — идеология...» А заговори об этом — Настасья вконец отвернется. Но и молчать совестно; и так уж сколько дней Солод все примеряется, а молчит. Он отодвинул удочки и, хоть не был дипломатом, все же подошел к Виктору издали:

— Ну, что у тебя сегодня в министерстве?

— Киношку крутили,— улыбнулся Витька.

— Значит, наработался,— кивнул Солод.— Правильно. Уйму дел за свой век переделал, надо и на халтурке посидеть. А?

Витька недоуменно хмыкнул, а Настасья, которая уже поужинала и поила телку, жестко спросила:

— Кино, по-вашему, не дело? Колхознички-дурачки и так обойдутся?

Солод, усмехнувшись, повернулся к Витьке, словно это сказал Витька, а не мать.

— Был я в твоём кино, видел. Картину крутит механик, а не ты. А ты до начала домино выдаешь. Две коробки. Ну какая это для тебя работа? Глянь на свои ручищи. Борец ведь! Если б Раиска домино выдавала, то и тогда, знаешь ли...

Солод сочувственно похлопал Витьку.

— Беда, что много в тебе осталось от капитализма.

— Что вы? — опять хмыкнул Витька.— Что ж я, жил при капитализме?

— А как сейчас живешь?.. Коллектива у тебя нет, работы нет. Клуб — дело сложное, завод целый! Но у тебя же никакого отношения к этому заводу! Ты не слесарь там. Не подметаю даже. Так — симулянт.

Витька чувствовал, что жгуче обижен, но не умел выпутаться из уважительного тона к квартиранту.

— Одно домино у меня, что ли? — спросил он.— А стенгазета?..

— Не брешь,— мирно посоветовал Солод.— Стенгазета выпускалась без тебя, в мае. Там и дата и цветочки нарисованы майские. Бумага летними мухами закраплена.

Настасья Семеновна не замечала, что телочка оторвалась от еды, белыми, в молоке, губами жуёт, мусолит ее юбку.

Солод прошел мимо Настасьи Семеновны, мимо бабки Поли, бросившей перебирать пшено, принес из зала «Комсомольскую правду» с портретом девчонки на всю страницу.

— Вот,— сунул он Витьке под нос,— знаменитые люди Волго-Дона! Ей девятнадцатый, и тебе девятнадцатый. Чем с коробочкой домино оглянуться, иди ко мне, масленщиком станешь... А еще верней — в Цимлу прямо. Там и вода и небо колышутся!.. Бетонные работы, земляные, монтажные. Выбери! А боишься — сиди здесь под печкой, береги здоро- выще.

Настасья выдернула юбку из губ телочки, стала перед Солодом.

— Вас кто просит вмешиваться? Чужую рожь веять — глаза поросить. Вы, интересно мне, и своего сына погнали из дому?

— Нет, — ответил Солод. — У меня сына нет. А дочку тогда же, когда и жену, убило в бомбежку. На рытье противотанковых рвов. И зря, Настасья Семеновна, думаете, что постороннему все равно, как складывается у парня. Скверно складывается. Его отец так, что ли, шел по жизни?

— Правильно! — отрезала бабка Поля.

Она поднялась над насыпанным на столе пшеном, пытаясь разогнуть скрюченную поясницу.

— Отец не так шел, — сказала она гордо. — И все Щепетковы не так!

Настасья молчала. В кухне было уютно, сухо. За окном сек зимний дождь, с крыши лило, а на ставнях, должно быть, намерзло: слышалось, как они скрипят на ветру льдом, словно кремни под полозьями сани. Витька запахнул на голом животе стеганку, наклонился к бабкиной кровати, где под перевернутым ящиком постукивал коготками по полу голубь, помятый соседской кошкой. Кошку Витька убил, Солод слышал вчера выстрел в саду. Виктор вынул голубя. Птица была грудастой, белой, с розовым клювом, аккуратным, как зернышко пшеницы. Виктор взял клюв в губы, стал понть голубя слюной. Потом веером расправил на руке помятое крыло, начал осматривать его, разглаживая пальцами, шупая вокруг ранки тугие, серебряно-чистые перья.

— Что ж, Витька, — медленно проговорила Настасья, — ты не маленький. Хочешь переходить на карьер — переходи. Только на что ж тебе Цимла? От хорошего хорошее не ищут. У Ильи Андреевича, Витя, та же техника, машины...

Виктор с детских лет усвоил, что он внук Матвея Щепеткова, что всем, даже носом-курком, похож на легендарного героя. Вокруг всегда рассказывали, каким крутым был дед, потому и Витька считал своей обязанностью быть крутым. Именно просьба матери не выбирать Цимлу решила дело.

— Нет, мама, раз уж рубить, то чего ж наполовину? Я в Цимлу еду.

Он сидел к матери боком, небрежно. Из-под наброшенной стеганки виднелись открытые, совсем мужские руки, голый, латунно-золотистый от летнего загара живот. На губах было знакомое Настасье бесповоротное упрямство, то же, что в младенчестве, когда Витька со злостью выпихивал языком, не желал брать соску; то же, что не раз видела Настасья и у своего свекра и у мужа. Виктор бросил голубя под ящик, протестительно буркнул:

— Ты, мам, не волнуйся. Чего ты?

7

Утром Виктор Щепетков понес в сельсовет заявление. Днем он по акту сдал клуб новой заведующей — Миле Руженковой, а через два дня, вечером, накануне отъезда, ждал под береговым откосом в садах Лидку Абалченко.

Хотя в Цимлу уезжали многие, о решении Виктора судачил весь колхоз, и Лидка, ни от кого не скрывая горя, бегала с опущенной головой и заплаканными глазами. Виктор — если по правде — не рвался на стройку коммунизма. Он уже грустил, что поддался Солоду, этому черту губошлепому, сболтнул лишнее при нем и при матери... Но дороги назад не существовало, а главное, что смиряло с обстоятельствами, была Лидка. Теперь-то, когда он человек рабочий, отлетный, он обязательно будет смелым до конца.

Он пришел под берег раньше уговоренного срока, уже полчаса, шурясь от мокрого ветра, всматривался в темень. На ерике поверх льда стояли лужи, в вышине два раза проносились с криканьем цепочки уток, наверно из тех, что зимовали на полыньях у Конского леса. Воровато, чтоб не хрустеть камышинами, Виктор ходил от берегового песка до тропинки, временами становился спиной к откосу, где было чуть затишней.

Виктор знал, что получит от Лидки все. Он смертельно боялся и ждал этого — самого непонятного, что происходит между людьми и сейчас случится с ним. Становилось так жутко, что кровь толкалась где-то в шее под стеганкой. Она толкалась еще сильнее, когда он думал: «А вдруг Лидка не придет?..» Но когда думалось, что придет, в голове сами собой деловито и четко обсуждались детали будущего свидания. Виктор знал по рассказам старших ребят, что с девчонкой надо сесть, а под ногами жидко чавкал оттаявший суглинок. «Эх, было б захватить плащишко. После отстирал бы в ерике или сказал бы дома, что упал». На руке у Виктора были подаренные матерью часы, стрелки их под выпуклым стеклом светились, Виктор поминутно подносил их к глазам. Время не подошло, а позади захлюпали шаги, появилась Лидка, и он подбежал, схватился дрожащей рукой за лацкан ее пальто.

8

Из всех многочисленных свобод, которые предоставила Советская власть Лидке Абалченко, она усвоила для себя лишь одну. Личную. «Что желаю, то делаю. А что?..» Каждый новый парень в первый же вечер не оставался в обиде. Пройдя с ним квартал-другой, перебросившись десятком фраз, Лидка уже всей душой чувствовала его своим. Остановясь в укромном месте, она радостно, в предчувствии счастья, замолкала, смотрела на парня по-детски покорно. «Вот она я вся. Видишь, какая?» При этом ее губы сами раскрывались, а желтые, черные в темноте, глаза, наоборот, начинали прикрываться... Лидка была активной комсомолкой, хорошей девахой. Любила она искренне. Иногда, правда, из озорства и даже из-за выгоды, но и в таких случаях сразу увлекалась. Если же кто-нибудь решительно ей не нравился, а приставал, то у Лидки все равно не хватало сил огорчить ухажера.

Очередная любовь — Виктор — была самой настоящей из всего, что испытала Лидка. Вот и сию минуту, когда он держал лацкан ее пальтишка, ей казалось, что он единственный в ее жизни парень, до которого она никогда никого не знала... Но разве женская судьба не сволочная вещь?! Пока Витькина рука задерживалась снаружи, боясь просунуться под пальто, Лидка навязчиво переворачивала в голове то, что томило ее все время, с первой встречи за клубом. Мужа сняли с секретарей. Снимать да ставить — это ерунда собачья, и люди только прикидываются, что им это важно. Но Сережка, он на самом деле страдает, сидит, как больной, целыми вечерами в хате. Вообще это ничему не мешает, даже наоборот. Сережка такой сознательный, что и раньше ни от кого не желал слушать рассказов про жену, не был помехой для ее увлечений; а сейчас его домо-седство и совсем на руку. Однако при виде Сергея, оскорбленного коллективом, одинокого, Лидка все же задумывалась — хорошо или не хорошо при таких несчастьях бегать от него к другому?

Пока Лидка вновь решала это, Виктор, умудренный практикой предыдущего свидания, просунул руку под пальто и, смеясь, лез дальше, а Лидка заламывала назад, отгибала его пальцы. Она недолго задумывалась бы о верности Сергею; по ее привычной философии все звучало бы так: «Ничего, и ему хватит...» Но возникло еще одно, совершенно неожиданное обстоятельство: она забеременела. Она бегала позавчера в

медпункт, узнала, что этому уже три месяца. Сейчас она боролась с Витькой, так как чувствовала, что вступила вдруг в новую полосу жизни. Женщина с ребенком — это человек, вернее два человека, о которых всюду говорят уважительно. Их не толкнут даже в сутолоке на базаре. Даже пьяные уступают им дорогу. Такая женщина, ее ребенок, ее муж, как никто, связаны один с другим... Она, правда, не знала, Сергей или кто другой отец будущего ребенка. Но это было не так уж важно, а кроме того, Лидка с легкостью убедила себя, что он; и ее дожимала теперь уязвленная гордость за отстраненного от секретарства мужа, за собственную свободу, полученную от него фамилию.

А любовь к Виктору не уменьшалась... Сердце само, без спроса, льнуло к нему. Весь сегодняшний день она замирала в ожидании вечера, делала в доме не то, что надо; и теперь, наперекор всем своим желаниям, рвущимся навстречу Витьке, отдирала от себя его пальцы. Совершая героическое усилие над своей душой, Лидка выдохнула:

— Погоди, Витя. Скажу что!

Оторвавшись к Виктору не поцеловала его. Потом отодвинула его на шаг, достала пять сложенных носовых платков и купленный сегодня пластмассовый портсигар, похожий на мыльницу, сама положила ему в карман. Сделала все это деловито, хозяйственно, будто жена, которая уже переплакала дома свое горе и сейчас на перроне провожает мужа в далекую дорогу.

— Ну, я пошла... Будь здоров, Витя...

— Куда ты? Да ты что?! — с закипающей мужской злостью изумленно зашептал Виктор, окончательно теряя робость, тиская в сильных, разъяренных руках ее пальцы.

Лидка понимающе глядела. Лепил мелкий талый снег; Лидкин лоб и высунутые из-под берета кудряшки были мокрыми. Виктор сбросил с себя, накинул на нее поверх пальто свою стеганку и, радуясь, что Лидка не отказалась, снова ощутив надежду и свое «я», смотрел горячими, измученными глазами. Лидка с удовольствием постояла минуту под его стеганкой, потом решительно возвратила, решительно, с дрожью в голосе сказала, чтоб Виктор был здоров, счастлив и, увернувшись, побежала к дому. Виктор, будто отстав от поезда, зашагал следом, но догонять не пытался, ясно чувствуя, что все почему-то рухнуло и никакие силы не остановят Лидку. Он половину ночи пробродил и простоял под ее окошками, утром (так положено при несчастной любви, да еще и при отъезде) напился и, провожаемый матерью, Раиской, бабкой Полей, отправился попутным самосвалом на Цимлу.

Великая стройка приняла Витьку, как принимала в эти дни тысячи других парней.

Глава пятнадцатая

1

Сергей Голиков вопреки своему положению партийного вожака района не был сильным человеком. Но у него были твердые принципы: жить надо честно.

После разговора с Конкиным он две ночи подряд лежал в темноте с открытыми глазами, решал — уходить из района или нет. Он отлично знал, какие поступки в его ситуации считаются положительными, а какие отрицательными и что он, как бы ни фанфаронился, а поступит общеположительно. Эти итоги, уже заранее предрешенные, бесили Голикова. Нет, к черту! Он желает сам разобраться во всем. И разберется. Только разговаривать надо совершенно прямо и просто, без ссылок и без оглядок на готовые политические формулы.

Он задавал себе вопрос: «Может ли коммунист быть дезертиром, какими бы исключительными обстоятельствами ни объяснялось его дезертирство?»

И отвечал: «Разумеется, нет».

Он спрашивал: «А если это не только не дезертирство, а, наоборот, переход на более трудный и нужный обществу участок? Как тогда?»

И убежденно отвечал:

«Тогда переходи завтра же».

Таким образом, все становилось ясным. Но независимо от ясности на сознание давили слова: «бросил периферию», «не справился», «не обеспечил». Эти слова питались резолюциями внеочередных бюро, служебными характеристиками и личными делами, звучали на собраниях, которые еще не состоялись, но, безусловно, состоятся.

«Да что за рабство! — бунтовал Сергей. — Неужели ты, Голиков, настолько уже отравился административным духом, что ты, не боявшийся танков, испугался пустых канцеляризов? Обвинения не вытекают из твоего завтрашнего поступка. Твой поступок диктуется желанием принести советской науке пользу».

Это была логика. Однако вне логики, вслед за словами «не оправдал», «бросил» вставало возможное исключение из партии. Больше того, Сергей сам уверенно и со спокойной совестью голосовал бы за исключение дезертира.

Он протягивал руку к ночному столику, нащупывал в пачке торцы папирос и скрытно, чтоб не разбудить Шуру, закуривал.

«Глупости! — говорил Сергей. — Ты человек, и «они» люди. Нельзя не объяснить им, что тебя зовет единственное твое на свете — твоя работа. Тебя не исключат».

Он чувствовал, что действительно объяснить можно и, значит, все-таки можно уйти. Но поперек дороги, ведущей из района в институт, неожиданно вставала новая преграда — Волго-Дон... Хотя секретарь райкома Голиков имел к расположенным на его земле строительным объектам такое же приблизительное отношение, как английский король к управлению Англией, он с каждым днем испытывал за Волго-Дон все большую личную ответственность. Стройка притягивала Голикова и космическими масштабами, и неестественно огромным количеством техники, которой Сергей изумлялся, проезжая мимо, и даже воющим где-то в хуторах Степаном Степанычем Конкиным. Черт ее знает, но от стройки, даже на расстоянии дохнув ее воздухом, словно бы позорно было отказать.

Стоя босиком в полумраке комнаты, Голиков стряхивал с себя задумчивость, смеялся:

— Может, хватит валять дурочку, Серега? Удостоилась стройка понравиться тебе или не удостоилась, но делай вид, что этот факт меняет твое решение. Все решено без тебя. Да и какой чудак будет панькаться с психологиями Голикова или какого-нибудь Моликова, если завтра впервые за тысячелетия перекрывается русло Дона?

В результате всех самодискуссий Сергей пришел к тому выводу, к какому и полагалось: вопрос с институтом надо отложить до лучших времен и секретарство не бросать. Во всяком случае пока, до очистки от станции волго-донской территории.

Чтобы утвердить душой этот шаг, Сергей обставил его в мыслях самыми торжественными словами: «ответственность перед государством», «народ», «могущество» и — взятыми у Конкина — «преобразование планеты».

Вооружившись таким образом, Голиков начал действовать. Он без особого рвения и горения, но с привычной сноровкой студента-отличника принялся изучать колхозы. Наставником его был Орлов. Они вместе, в одной машине — то орловской, то голиковской — уезжали с утра в окрестные станицы, и Сергей из-под могучей руки Орлова узнавал районный быт. Повернувшись теперь к этому быту, к сфере действий Орлова, Сергей по существу впервые увидел Орлова. Орлов управлял народом настолько четко, генеральски-безоговорочно, что Сергей, не обладавший такими качествами, стал проникаться к учителю уважением, даже почтительностью.

Орлов тоже был доволен. Он охотно, не считаясь с трудами и временем, ездил по колхозам, потому что любил работать смолоду и до сих пор отдавал себя делу. Кроме того, он знал: чтоб не осложнить переход в область, надо и заместителя подготовить как следует и район держать в ажуре. Но едва ли не основным было отцовское отношение к Сергею, ревнивое желание понравиться ему.

— Ну,— энергично говорил Борис Никитич, усаживаясь с Сергеем в машину, звучно хлопая дверцей.— Поехали. Продерем сегодня директора зерносовхоза. Кстати, замечательных лошадей у него посмотришь.

Орлов гордился своей умелостью перед Сергеем, радовался каждому его удивленному и уважительному взгляду... Так солидный мужчина на рыбалке или у верстака с рубанком в руках старается быть приятным понравившемуся ему десятилетнему мальчишке. Обоим есть что взять. Мужчине — почитание мальчишки, мальчишке — великий опыт старшего друга. Голиков, не замечая сам, начал копировать Бориса Никитича. Уже на другой день совместных поездок он стал произносить неторопливое, идущее из глубины груди «кгм», как это делал Орлов, и так же, как Орлов, надевал на лицо непроницаемое выражение, когда слушал председателей колхозов.

Но что касалось основного, то есть работы, то, к тоске Сергея, оказалось: кроме переселения станиц и продуктозаготовок, существует целая пропасть других не менее важных вопросов. Сергей наивно думал, что, упорядочив эти вопросы, он примется за Волго-Донскую стройку, хоть немного столкнется с ее заманчивыми общими проектами и остроумными подетальными разработками, с ее новой техникой, известной Сергею лишь по литературе. Он, точно к светлой поляне, продирался к Волго-Дону сквозь цепкие кустарники сельских дел, но кустарники разрастались все гуще и непролазней. Это были вопросы быта, культуры, комсомольской работы; партийная учеба в колхозах, трех совхозах и трех МТС района; прием в члены партии и персональные дела коммунистов, которые следовало заранее готовить и затем разбирать на бюро. Главным же, что отбирало внимание Орлова и трепало нервы непривычного к таким вещам горожанина Голикова, было неблагополучие в степных частях района.

В этих отодвинутых от Дона равнинных массивах прошел летом суховей. Он особенно испепелил возвышенный, открытый рельеф, без остатка выжег хлеба, огороды, бахчи, выпасы. Как говорили люди и как видел своими глазами Голиков, на многих полях была выдута до глины даже сама почва. Зерно, что собрали в наименее пострадавших, то есть «береговых», придонских колхозах, осенью вывезли из района в виде госпоставки, а теперь такое же самое зерно ввозили обратно в район в качестве семенной ссуды. Сергей не мог уразуметь этих встречных перевозок, хоть Орлов и втолковывал ему всю сложность

и обязательность централизованного планирования. Степные погорелые колхозы наряду с переселяемыми станицами были в центре деятельности Орлова и Голикова.

3

В то утро, когда Виктор Щепетков отправился из своего дома в Кореновском на стройку коммунизма, Орлов и Голиков поехали в отдаленный, особенно выгоревший колхоз «Маяк». В степи было промозгло, резко ветрено. Гнилая ростепель, наступившая в канун Нового года, все держалась, и Орлов с Голиковым, чтобы не засесть в грязи, ехали трофейным райкомовским вездеходом, с включенным передним мостом. Сергей, как всегда, уступил Орлову переднее место в машине, но, завидя какой-нибудь хутор, тянулся через плечо Бориса Никитича, протирал перчаткой запотевшее стекло, смотрел вперед. На крышах хат была надобрана солома. Свеже-желтые ее выгрызы четко отделялись от потемневшей верхней корки. Сергей уже знал — солому брали на корм коровам. Снимали по-хозяйски, начиная не с жилой части хат, а со стороны навесов...

Навстречу попадались подводы, идущие на станцию за посевным зерном. Возчики лежали на дне бречек, подняв воротники, хоронясь от напористого ветра и дождевых дробин; гривы лошадей трепало. Местами, на околицах хуторов, работали люди, возили на поля навоз-сыпец и «химию» или занимались строительством. Летом рабочих рук не хватало, и сейчас, несмотря на распутицу, закладывались хозяйственные постройки. На въезде в «Маяк» Орлов остановил машину возле группы женщин, вылез с Сергеем из кузова. Колхозницы рыли котлован для овощехранилища. Они долбили облепленными грязью лопатами и ломачами. Сверху почва оттаяла и чавкала под железом, а там, где котлован уже углубился, промерзшая в декабре земля была вязко-пластмассовой, не поддавалась клевкам лома. Ветер однотонно и уныло хлопал плащами, облепливал юбки колени женщин. На бодрый вопрос Орлова, как дела, люди смолчали.

Сергей не раз уже замечал, что сейчас, в дни строительства, когда даже в самом воздухе только и гремели слова, что о великом счастье преобразуемого Дона, многие колхозники выжженных в засуху хуторов реагировали на это раздраженно. Орлов окликнул какую-то рослую старуху, громко повторил:

— Ну так как же, мамаша, живете?

— По-жукову, — ответила бабка. — Как жуки, цельный день в г..не. Ты лучше скажи, чем нам годувать коров? Они достижений не кушают. Или, может, бетоном их кормить? Кубометрами вашими...

Сергей спасовал перед ястребиными глазами старухи, перед ее белыми космами, вылезшими из-под платка, прижатыми ветром к лицу; но Орлов подошел к ней, в упор спросил:

— Вредите, тетенька?

Колхозницы перестали копать, кто со спрятанным, кто с открытым вызовом подняли головы. Они были явно на стороне бабки, злобно разглядывали Орлова, но Борис Никитич каждой своей фразой изолировал, отделял от них бабку, уверенно говорил:

— Пытаетесь, тетенька, сагитировать этих честных тружениц, втянуть их в неприятность? Не получится. Не поссорите вы их с Советской властью. Они собственными руками строят народное хозяйство. А вы среди них человек случайный, нетрудовой.

И крепко, словно клин вбил в бревно, заключил:

— Чужачка вы!

Действительно, по справкам, наведенным в конторе «Маяка», выяс-

нилось, что старуху уже судили за самогонный аппарат, за кражу общественного имущества. Орлов порекомендовал секретарю партбюро обсудить дополнительно вопрос и об агитации старухи. Определив ее с первого взгляда у котлована, он оказался правым; Сергей уже призыв к его неизменной правоте. Однако, как он узнал, у старухи в сорок третьем году погиб сын — и это томило Голикова. Кроме того, было непонятно, почему Бориса Никитича не знала в лицо ни эта бабка, ни остальные рядовые люди как в «Маяке», так и в других колхозах... А может, действительно тратить время на показную демократичность, вроде личных знакомств, — это расточительство? Время, как боеприпасы, надо беречь для большего. Борис Никитич это умел. Он всегда целился в главное — в общее направление района. Сергей присматривался к четкому, неизменно твердому стилю Бориса Никитича и завидовал.

В «Маяке» они проверили хозяйственные дела, вернулись в райком к вечеру. Голикову нужно было посылать в областной комитет информацию о состоянии района. Он держал над бумагой перо, и перед глазами возникали сегодняшние крыши с их свеже-желтыми выгрызами, лица возчиков, глядящих со дна бречек на райкомовскую машину, вязкая земля, налипшая унылыми, безнадежными катухами на лопатах женщин. А Борис Никитич, помогая Голикову, обо всем этом писал:

«Район готовится к сею. Незирая на бездорожье, используя тягло, сельскохозяйственные артели не прекращают подвозку посевного материала. Зимовка скота пока все еще неудовлетворительна. Относительно же капитального благоустройства артелей следует сообщить: колхозники осваивают строительство в зимних условиях, что является значительным шагом вперед по сравнению с прошлым годом».

Это была правда. От нее, зафиксированной на бумаге, все становилось ясней. Может, конечно, следовало о зимовке скота написать тверже? Но ведь поставлено русскими буквами: «Все еще неудовлетворительно». Да, Орлову, безусловно, и не лезут в глаза эти выгрызы в крышах. Он видит большее. Он видит методы нового, зимнего, строительства. Орлов напоминал Сергею генерала в бою, который не замечает и не должен замечать ни убитого миной шофера, ни девчонки-телефонистки с переломленной ногой, а следит через их головы за основным продвижением войск. И вообще не положено ведь в официальном документе обрисовывать каждую соломинку, что торчит из крыши. Документ и художественное произведение — вещи разные.

В просторном высоком кабинете было уютно. Два дивана и несколько кресел под кожу, стоящих у стен, наступали передними ножками на ковер, растянутый в полкомнаты. Сидеть в кресле, упираться ногами в ковер было мягко и спокойно.

— Ну, пошли по домам? Ужинать пора! — Закончив писать, Орлов потянулся и опять стал похожим на фронтовика генерала, который и сам ест и людей кормит.

4

По дороге из райкома Сергей на ощупь шагал в сумерках по грязи. Он, как всегда, зашел в больницу к жене, вместе с ней отправился домой. Шура раньше его освоила вкус к району. Она стала ходить широким, нравящимся ей шагом, каким ходят станичные девчата, купила платок казачьей местной вязки — белоснежный, как раз к ее глазам и волосам, — и такие же, из пуха ангорской козы, маленькие варежки. Ветер к ночи улегся, стояла теплынь, Шура была без варежек. От ее рук, натертых до черноты йодом, резко пахло, и, следовательно, она была победительницей. Натертые йодом руки означали, что ей сегодня было

разрешено ассистировать, и даже почти полностью самой делать операцию, о чем она и рассказывала мужу во всех медицинских и психологических деталях. Голиков — упаси боже! — не перебивал. Во время ее хирургических рассказов он всегда думал о своем, больше всего о служебном, только должен был сохранять на лице живой интерес и периодически произносить междометия. Сегодня Шурино ассистирование было особенно удачным.

— Ну правда же, здорово? — закончила она и сдвинула локоть мужа. — Посмотри-ка на небо. Знаешь, я открыла тут для себя небо, как путешественники открывают материк... В Ростове вечерами я просто не знала, что есть небо, не смотрела, что там, вверху. Разве из-за троллейбусов, машин, трамваев смотрят вверх? И ты тоже ни одного ведь раза не замечал в городе ни ночных облаков, ни когда, например, рождается месяц. А сейчас глянь!

В небе, не загороженном этажами, влажном от дождей, светился молодой — проволочно тоненький, обмытый. Шура до отказа запрокинула голову в платке, и Сергей среди улицы стал целовать ее смеющиеся щеки, мигающие глаза, пальцы, которыми она отгораживалась, слышал исходящий от пальцев резкий йодистый запах. Они подошли к своему флигелю, но не заходили, топтались у калитки по грязи. Здесь, на улице, было легко, потому что не было нянюшки, всегда мешающей в доме. Голиковы ходили вдоль забора, без помех обсуждали свои семейные дела, главным образом воспитание дочери.

— Видишь ли, — говорила Шура, — я боялась, что, когда Вика подрастет и начнет расспрашивать, откуда берутся дети, мы не сможем толком объяснить. А сейчас она удивительно правильно воспринимает мир. Бегаёт через двор в гости к Бесхлебным, вернее к их козе с козленком. Козленок сосет, наша его гладит, слушает рассказы Бесхлебных, что эта коза и по двое и по трое козлят приносит. Вика ходила туда, когда эта коза было еще беременная.

— Котная, — поправил Сергей.

— Это безразлично. Главное, что Вика без грязи в связи с козой восприняла эти вещи. Сегодня утром говорит мне: «Не швыряй со стола Мурку. Вон какой у нее живот, там котята». Все естественно, здоровое влияние.

Сергей тоже был доволен таким влиянием. Они зашли в дом, покорно смолчали, когда нянюшка Мария Карповна стала кричать, чтоб они живой прикрывали с холода дверь, чище вытирали ноги. Неисчерпаемо ругливая, бесцеремонная, вечно лезущая в чужие дела, Мария Карповна появилась у Голиковых с рождения Вики и ухаживала за ней так нежно, а главное, умело, что супруги поклялись сносить все от Марии Карповны ради ребенка. «Когда-нибудь я ее все-таки убью!» — убежденно говорила Шура, однако оба терпели и даже считали крики няньки как бы аккомпанементом к семейному уюту.

Войдя, они погасили принесенные с улицы улыбки, чтоб не вызвать недовольства. Быстро прикрыли дверь и стали умываться. В доме в руках Марии Карповны все блестело. Вода в умывальнике была подогрета, повешенное у двери полотене сияло белизной, как и скатерть на столе, на котором Мария Карповна чинно и одновременно пренебрежительно разложила обеденные приборы и начала ставить тарелки с супом, пока Сергей и Шура умывались.

Пообедав, Сергей пошел посидеть к дочке. Вика уже лежала в кровати. Она с восторженным визгом поползла под одеяло в дальний угол матраца, уверенная, что ее невозможно найти в том углу.

— Ну какая же дура! — восхитился Сергей, залез рукой под одеяло, сжал пальцами тонкие дочкины ребра и подвижные лопатки.

Вика вынырнула вместе с куклой. У куклы была отвратительная лысая голова в заскорузлых струпьях клея, еще державших обрывки пакли. Сергей всегда уверял, что у нее экзема, но, как и все в доме, обязан был любить куклу. Он отбивался от Вики, а та в длинной рубаше атаковала, и на ее макушке колыхался фонтанчик волос. Днем фонтанчик украшался лентой, а на ночь его в последнее время обвязывали тряпичей — реформа Марии Карповны, начавшей в деревне проводить экономность. Сергей тискал дочку, наслаждался теплотой и мягкостью ее кожицы, ее писком, пронзительным, точно свисток; но внутри в Сергее шла своя работа, как шла она и в служебном кабинете и на улице. Безусловно, старуха самогонщица — чужак. Безусловно, нельзя теряться, когда переживаешь тугую зиму. Тем более, что в сегодняшней информации обкому докладывается и о минусах. И не только докладывается, но уже район действует: подвозит посевное зерно.

Все было так. А в душе, не в мозгу (мозг без особых споров соглашался с хозяином), Сергей ловил брехню. Он сравнивал сегодняшнюю свою работу с фронтом. В наступлении, в цепи, боец совершает перебежки, падает за бугорками, стреляет. Делает это со всеми одинаково и вместе с тем по-своему. Можно больше стараться бить в цель, а можно больше укрываться за бугорком. И сами перебежки один делает для того, чтобы быстрее приблизиться к рубежу атаки, а другой — чтобы скорее упасть за спасительный бугорок. Как ты поступаешь — по первому или по второму способу, — со стороны не видно. Тут дело твоей высокой солдатской совести или, наоборот, подлости.

С окончания войны прошло больше времени, чем длилась сама война; до нее Голиков прожил значительную жизнь, восемнадцать лет; но все значительное, с чем бы он в последние годы ни сталкивался, он мерил высокой меркой войны. Сейчас он думал; не похожи ли его нынешние действия на второй способ перебежек? На «бугорковый»? Он зажимал губами ладошки разыгравшейся, прыгающей на него Вики, смеялся вместе с ней и отлично понимал, что надо ясно разобраться, в качестве кого он живет в районе.

5

На другой день утром, не поднимаясь на второй этаж, в райком, Голиков зашел в кабинет Орлова.

— Борис Никитич! — сказал он. — Вчера мы с вами сообщили в информации, правда, иносказательным образом, о съеденных крышах. Должны мы, кроме этого достойного шага, принять какие-нибудь меры?

Орлов был болен. Несколько дней он кашлял и чихал, сегодня выглядел совсем скверно, должно быть температурил; но работы было много, и он, судя по разложенным бумагам, давно уже сидел за столом, был, как всегда, выбритый, с крепко смоченными, зачесанными назад волосами. Оглядев Голикова, он засмеялся:

— Чего ты, Сергей Петрович, этакий вдруг настопырченный? Крыши не съедены, а лишь кое-где надобраны. И не радуйся, что ты здесь изобретатель правды; о бескормице сообщалось и до твоего приезда. Поэтому мы и проставили: «Все еще неудовлетворительно». А вот что вчера забыли — это сказать о перевыполнении графика волгодонцами.

— Какая же тут наша заслуга? — Сергей совсем помрачнел.

— А будь у них неприятность, чепе, ты отвечал бы? Отвечал. Да и что дебатами заниматься? Нам вменено в обязанность информировать обо всем, что творится на территории. Так что я дописал о Волго-Доне.

— Ну а все же в отношении крыш — какие меры?

Орлов улыбнулся.

— Тоже написал. Прочитай. Внизу поставим: «Райком партии» — и твоя подпись. Ниже: «Райисполком Совета депутатов трудящихся» — и моя подпись.

Сергей взял у Орлова лист, прочитал:

«У к а з а н и е

В связи с засухой, поразившей степную часть района, в целях организации нормальной зимовки скота, рекомендуем правлениям с/х артелей:

1) Перевезти с полей и использовать как корм все отдаленные стога соломы и кукурузные бодылья.

2) По возможности выделить с конеферм, а также с телятников подстилочную солому и распределить между молочно-товарными фермами.

3) Пользуясь отсутствием снега, выпасать овец на площадях, покрытых сухостойной травой.

4) Парторганизациям и сельским Советам проследить за выполнением, подойти к вопросу с полной большевистской ответственностью».

Голиков согласился, «Указание» дали печатать машинистке. Орлов сказал:

— И все же главное у нас, голубок, не в этом, а в Волго-Доне. Прибыли вот бумаги из облисполкома... Сегодня-завтра береговые станицы вступят в очередную фазу переселения, начнут выбирать места для своей новой жизни. Нам с тобой надлежит направить этот процесс и задолго до ихнего весеннего переезда знать, где какая станица обоснуется.

— Мне пока что, — буркнул Сергей, — хочется знать, как мы помогли погорельцам.

Он сам забрал у машинистки и проверил отпечатанные «Указания», проследил, чтобы их отправили по адресам, а через день самостоятельно (Орлов слег в постель) приехал в один из степных колхозов, пострадавших от астраханца.

Счетовод, сидевший в конторе в единственном числе, на вопрос Голикова, что делается с «Указанием», ответил: «Уже подшито».

— Я не о бумажке, — сказал Сергей, — я насчет того, как вы действуете практически.

— А никак, — ответил счетовод, абсолютно не интересуясь, кто такой Голиков. — Там же ерунду понаписали. Комики! Рекомендуют свозить стога, когда точней нашего знают, что тех стогов в полях и перушка нет. Комики! — повторил счетовод и раскатисто захохотал.

На нем был китель, поношенная пехотная фуражка, под штаниной скрипела в колене пружина протеза.

— Чего вы смеетесь? — вскипел Сергей.

Счетовод перестал смеяться, обругал Сергея матом.

— Учитъ приехали? Мне учителя эти до Феньки!..

— Подождите, — попросил Сергей, — вы объясните, зачем же пишется такое, чего не выполнишь?

— Чтоб на делах отражалось.

— Значит, есть влияние на дела?

— Есть. На конторские.

Площадно ругаясь при каждом слове, он растолковывал Голикову:

— Те, которые пишут и которые получают, — они понимают друг дружку. Снюхались. Может, они и ничего люди... Наш предколхоза, это уж точный факт, человек замечательный. А нет у него никакой соломы. Ему и отпечатали: «По воз-мож-нос-ти». И сами вроде дело делают и председателя выручили. Главное, любая ревизия будет довольная, так как по документам видно: работали.

Сергей молчал. Кто же он, Голиков? Лицо, руководящее партийной организацией района и, значит, всей жизнью, или кукла? Счетовод раскрыл книгу с подшитым «Указанием», вслух прочитал первую подпись: «Голиков».

— Все мы тут голики, кто не сматывается с погорелого хутора, считает совестным сматываться. А кто наклал полные штаны, сбежал в Цимлу от трудностей, те, выходит, хорошие. Они строители Волго-Дона.

Сергей простился со счетоводом, объехал еще четыре колхоза. В каждом сталкивался с той же картиной: подшитое к конторским делам «Указание» — и полное отсутствие кормов. Вечером, когда он вернулся в райцентр, он проехал мимо своего дома, мимо райисполкома, где были темными окна в кабинете Орлова, и ворвался к нему на квартиру.

У Орлова болело горло, он пил с женой, Ольгой Андреевной, чай — лечился. Уж коль оставался дома, то делал сразу все, чтоб не залежаться. Подтянув стол к голландке, он сидел, опершись спиной о кафедру, под его крутым подбородком белела пуховая перчатка жены, подвязанная к горлу; возле стакана с чаем лежали стеклянные трубочки с таблетками. Он и жена обрадовались гостю. Ольга Андреевна была моложавой, привлекательной, с квадратным лицом — свежим, чистым и словно бы распахнутым в мир. Все на лице было открыто: глаза, зубы за полными губами, круглые откровенные дырочки ноздрей небольшого носа. Она относилась к Сергею, как относятся добрые, милые женщины к ребятам, друзьям мужа, и сейчас, как обычно, стала наливать Сергею чай.

— Не хочется. Мне вот поговорить с Борисом Никитичем...

— Ладно уж! — оборвал Орлов. — Сделай ему, Оля, бутерброд. Видишь, он с холода, с воздуха.

Ломаться было глупо. Сергей хлебнул из стакана, откусил хлеба с маслом, с куском колбасы сверху и, так как целый день не ел, ощутил волчий голод. Ольга Андреевна намазывала ему еще — толсто, как любимчику в доме, но Сергей отказался. Он позвонил жене, что задерживается у Орловых; скоро придет. Шура настаивала, чтоб быстрее, потому что дома банный день. Выкупали Вику и — раз уж вода нагрета — решили не тащиться по темноте и грязи в баню, перемыться всем. Сергей недослушал, повесил трубку, упрямо оторвал Бориса Никитича от чая, повел в смежную комнату. Ольга Андреевна появилась следом, накинула на потного мужа кожушок и, недовольная, что больного вытащили в прохладное помещение, молча вышла. Сергей виновато посмотрел ей вслед и, так и не успев снять с лица это выражение, стал рассказывать Орлову о том, что сегодня видел.

— И все? — спросил Орлов, когда он кончил.

— Вам мало? — вспыхнул Сергей, освобождаясь от виноватого выражения. — Недостаточно, что нас считают жуликами?

— А ты, Сережа, думал — тебя только хвалить будут, коли ты пожаловал из города на периферию? Все жалуют, когда их посылают. И уж раз посланы, то помнят: хлеб сеять — это не то же, что ходить в филармонию на Райкина. Мягко ты, товарищ Голиков, на твердость, — пошутил Борис Никитич. Прикрывая жениной перчаткой распаренное горло, он добавил, что, конечно, «Указание» не в силах помочь всем погорелым колхозам, да и которым поможет, то лишь частично.

— Какого же дьявола было писать?

— Такого, что хоть в пяти, пусть хоть в трех хозяйствах сумеют выполнить наши рекомендации. Нельзя игнорировать даже малую возможность, когда астраханец погулял. Стихия — она стихия.

— Коровы не знают этого слова. Им питаться надо.

— Это так, — согласился Орлов, — но мы им посильно и даем.

— Крыши соломенные? А когда покроем все дома этернитом и железом?

— Э-э, голубок! Тогда не будет с кормами таких ситуаций.

— Сами собой ликвидируются?

— Кгм,— произнес Орлов. Видимо, его раздражало, что этот мальчишка, с которым нянчишься, нянчишься, не только не благодарен, а еще и устраивает здесь экзамены.

— Все-таки как же,— спрашивал Сергей,— ситуации устранятся без наших действий? По такому «Указанию», как мы послали в колхозы?

Орлов сохранял терпение, держался вежливо. Он чувствовал, что, несмотря на кожушок, остывает его потная спина, начинает в холодной комнате сипнуть распаренное горло.

— Распиваете здесь чай! — бросил ему Голиков, желая обозлить Орлова, раскрыть ему глаза на суть вещей.

В дверях появилась Ольга Андреевна с явным намерением вмешаться. Сергей понимал, что она права. Женщина не хотела, чтобы ее больного мужа дергали среди ночи. Сергею правильнее всего следовало уйти. Но уйти — значило использовать тот самый бугорок, за которым прячутся во время перебежки...

— Ничего, не умрет ваш муж,— огрызнулся Сергей на Ольгу Андреевну, захлопнул перед ней двери.

— Чего ты, Сергей Петрович, хочешь? — подавляя желание прикрикнуть, вздохнул Орлов.

— Ваших моральных установок! Считаете вы возможным спокойно существовать, когда вокруг, в хуторах, происходит такое?

Орлову досаждал кашель. Ольга Андреевна через стену слышала это, возмущалась Голиковым. «Ну как не видит, что надо домой? Еще вдруг и истерики здесь закатывает. Распустил его Борис...» Ольга Андреевна знала, любила жесткую, деловую твердость мужа к людям и к самому себе. К себе даже в повседневных мелочах. Любой с таким гриппом уже неделю лежал бы, а Борис нет, да еще и выслушивает эти голиковские вопли. В кои веки никуда не торопился, принадлежал ее заботам, ей. И вот тебе!..

«Выход из бескормицы, разумеется, есть,— думал в это время Орлов.— И Николай Владимирович, и Петр Иванович, и сельхозуправление знают все отлично. Но, коль мы молчим, рассчитывают, что выберемся. Настоять на помощи — дадут; всегда ведь помогают неблагополучным районам. Нужно лишь «благополучный» заменить определением «неблагополучный». Разве Голикову важно это? Тарахтит вот сейчас над ухом о всяких пустяках, даже удобно, как под радиопередачу, сидеть под это ребячье тарахтенье».

Орлов не любил играть в бирюльки, всегда трезво и определенно говорил себе, что, руководя, необходимо принимать некоторую обязательную специфику. Скажем, в октябре, когда подбивались итоги отчетного года, крупного скота в районе было двадцать тысяч восемьсот голов. На тысячу восемьсот выше плана! Сейчас, бесспорно, произойдет отсев. Далеко не единичный. Попросту — падеж... Но к весне народятся новые тысячи телят, кроме того, для увеличения общественного стада можно будет контрактовать телят у колхозников не пострадавших колхозов, и поголовье к следующему отчетному году восстановится с перевыполнением. Ну, а сейчас, в промежутке, ясно, что придется покряхтеть. Надо будет выслушивать о падеже скота, взыскивать с людей: «Скверно работаете!» Чтоб взыскивать крепче, самого себя убедить, что вся заковыка в их халатности, без скидок, с сердцем будешь спрашивать с них... Что ж, это тот труд, о котором понятия не имеют посторонние и не любят знать вышестоящие. То, о чем Орлов, отвечая на вопрос какого-ни-

будь приятеля, как и он, опытного руководителя, говорит: «Было жарковато, брат». То, от чего, заскочив домой с работы, на такой же вопрос жены надо отвечать с привычной энергичностью и весомостью: «Ничего! Налей-ка стопочку. Перемерз».

Но Голиков, этот чудак, требовал определять все другими названиями, смешными для Орлова, давшего за свою жизнь стране тысячи тонн угля, сталепроката, передавшего свой стиль работы не одному десятку людей. Поэтому Орлов улыбался, когда между своими думами лопнул изредка слова Сергея — накаленные, чуждые жизненной практики. Борис Никитич добродушно подтрунивал в мыслях: «Заявился. Неистертый, свеженький, вроде майского огурца, и лезешь в меня, как в игрушечку. Думаешь, когда мне, как сейчас тебе, было двадцать восемь, не подходила по вечерам, не бралась руками за мои плечи жена — еще молодая тогда, красивая. — не уговаривала разве пойти за город под звездами?.. К чертям звезды! Езжай к себе в кабинет, бейся за себестонность каждой гайки, воюй, не спи, душой изболейся. Гайка делу социализма нужна! И ты меня еще экзаменуешь, сопляк розовый».

— Так все-таки какие ваши моральные установки? — встав со стула, повторил Сергей. — Отчего вы еще летом не позаботились о степных хуторах, не попросили у области кормовую ссуду?

— Плюс к зерновой? — усмехнулся Орлов.

— А почему тогда не обойтись внутренними силами, не взять солому в своих же богатых станицах — в береговых?

Впервые Орлов заговорил резко.

— И не заикайся, — сказал он. — Береговые колхозники — это переселенцы.

— Так что? Живут, как боги. Сам видел, кормов у них масса, а у степняков голод. И вы поддерживаете такое безобразие.

— Переселенцы, голубок, — опять набираясь терпения, вздохнул Орлов, — это новая у нас категория колхозников. Совершенно особая. Кстати, я думал, что, когда ты влетел ко мне, ты явился оттуда, занимался подбором новых мест для переселенцев!.. Ты не хуже моего знаешь мнение обкома: не только хоть на волосок ущемить их, но всеми возможными силами поддерживать.

— А степняки пусть голодают? Ваше мнение такое же? — выкрикнул Сергей. Он смутился под взглядом Орлова и проговорил: — Извините, что вы больны, а я пристаю. Поправитесь, тогда будем выяснять; скажем, завтра.

Он протянул Борису Никитичу руку, и Борис Никитич, чтоб не передать грипп, отвел свою руку, дружески подставил запястье в рукаве:

— Бывай здоров, философ. Кланяйся своим.

Глава шестнадцатая

1

Дома Сергей застал всех перекупанными. Вика спала на чистой наволочке, под свежим, непряматым конвертом, надетым на одеяло. На подоконнике сохли ее резиновые утки и зайцы, тоже вымытые с мылом, побелевшие. Всюду царил уют и покой, над вымытыми утками и зайцами реял запах чистоты и теплой резины. Шура, розовая от пара, в шлепанцах на босу ногу, в летнем, цвета шиповника, сарафане, принялась на кухне кормить Сергея, чтоб и он скорей лез в корыто.

Мария Карповна с мокрой головой, украшенной буклями, была в редчайшем состоянии мира, не шипсла ни на Шуру, ни на Голикова и даже, отпавляясь спать, пожелала обоим счастливых снов.

— Наверно, перед смертью, — хмыкнула Шура. — Ну, что у Орлова? Что у Орлова? Сергей еще не определил сам. Оттертыми от больничного йода и теперь, точно у Вики, розовыми пальцами Шура ставила на табурет таз для Сергея. Ее волосы, подобранные после мытья вверх, открывали сзади шею — гибкую, с продольной канавкой, с отстающими, уже просыхающими у затылка прядями.

Хорошо быть дома! Голиков шмякнул ложку горчицы на край тарелки, наполненной до каймы тушеным мясом, и стал есть. Окна в кухне, по-станичному заложённые снаружи ставнями, отделяли Голикова от уличной мозглоты; впереди было наслаждение — скомкать, отбросить липкие портянки, влезть в кипяток промокшими с утра, холодными ногами. Сергей попробовал воду в тазу и, продолжая набивать рот, запивая чаем из блюдца, стал раздеваться. Он носил не белье, а, точно физкультурники-подростки, трусы и майку. Оставшись в трусах, он сразу, всем существом ощутил живое, напитанное влагой тепло кухни, оглядел жену в ее летнем сарафане и с размаху шлепнул ее ниже спины, звучно получил сдачи.

— Хватит! — И оба обернулись на дверь, за которой скрылась Мария Карповна, не терпевшая подобных вещей.

Хватит — значит хватит. Сергей доужинал, начал мылить голову так же истово, как всегда, возвращаясь из шахты домой, намыливался его отец и четверо дядьев, отмывая въевшуюся в поры угольную пыль. Сергей сохранял традицию. Несмотря на завидный аппетит Голикова, на его бодрое мытье, Шура все равно видела его взвинченное после Орлова настроение.

Никакой спецотдел не разбирался в коммунисте Голикове так уверенно, как Шура. Никто не награждал его качества такими криминальными определениями: фантазерство, зазнайство, неуравновешенность. Всего этого Шура ни за что не прощала мужу, хотя себе разрешала охотно; она женщина, ей можно, даже идет. Его же за это — если бы, конечно, по правде! — надо в шею с партийной работы. Все ему, как рассеянной девице: сегодня одно скажет, завтра — другое. Еще хорошо, что окружающие в нем не разобрались, так как загнипнотизированы его должность. Терапевт Анна Ивановна, жена третьего секретаря райкома, делится с Шурой — супругой старшего начальника — новостями, и Шуре как на ладони ясно, что райком принимает легкость Голикова за его умение оперативно менять курс в работе, а пассивность — за рассудительную неторопливость; золотое, дескать, качество молодого хозяина.

Чушь. Боже, черт знает какая чушь! Сережка и без приклеенного вранья лучше всех. Когда уж загорится высокой идеей, отдает за нее не только себя самого со всеми потрохами, со всем, что в нем настоящего, но и собственную жену, собственную дочку, не задумается, отдаст. Такому Голикову Шура прощает все, буквально обожает его — злого, неумного, верящего.

Сергей в трусах стоял в корыте перед табуретом. Окуная в таз голову, скреб ногтями, изредка просил: «Дай воды промыть глаза». Шура лила из кружки в его мыльную, протянутую, как сослепу, горсть и всякий раз, будто это невзначай, опиралась то локтем, то ладонью о спину мужа. Четыре с половиной года назад, до регистрации, она любила его гораздо меньше. Теперь же с каждым месяцем привязывалась все трепетней и, словно девчонка-десятиклассница, первозданной. Когда возвращалась домой и знала, что Сергей ждет, чуть не бежала, замедляла шаги лишь потому, что стеснялась прохожих. Она злилась, говорила себе, что нельзя так любить мужа, надо держаться независимей. Так

она и делала: без поводов дулась или в самые неподходящие минуты супружеской нежности начинала чем-нибудь возмущаться, проявляя свое самоутверждение. Но много ли это помогало, если она была счастлива, что Сергей принес сейчас домой свои еще не известные ей заботы, что он рядом и уже наверняка до самого завтрашнего утра никуда не уйдет, все время будет здесь.

Покончив с мытьем головы, Сергей выпроводил жену, выкупался и, надев брюки, со вкусом натягивал штопаные Марией Карповной, принесенные Шурой свежие носки. Шура перекрашивала в тазу старое белое платье в синий цвет, Сергей сидел возле табурета с тазом на крохотной дочкиной скамеечке, покуривал, наслаждался покоем.

Радость отдыха омрачалась лишь одним. Сергей самой кожей чувял приближение разговора с женой. Вопрос упрется в Орлова, которого она последнее время ругала, а Сергей оскорбленно защищал. Она всегда, точно общественный обвинитель, бывает отвратительно логичной, ключевой в самую точку, а он, Сергей, вечно должен давать показания. И хоть крушение мира, хоть потоп — от разговора не отделаешься... Действительно, Сергей услышал:

— Так что же у Орлова?

— Дело не в Орлове,— огрызнулся он,— а в тугой зимовке на степной части района.

— Значит, дело в тебе,— безапелляционно сказала Шура.— Ты виноват в безобразиях.

Как раз здесь-то Сергею оправдываться было не в чем. Извините, он-то знает, чем он занимался эти дни! И он стал объяснять, что если, предположим, человек лежит в боевой цепи, то пусть лежит не для того, чтобы загорать на ветерочке, а пусть, когда он не сволочь, бьет, совмещает прорезь с мушкой, а четкую, выверенную, как логарифмическая линейка, мушку — с врагом!

— Коровы насчет этих мушек считают так же? — холодно поинтересовалась Шура и, заметив, что Сергей скривился, отчеканила методически ровно, как она это умела: — Ты или разговаривай о деле, или ступай дрыхнуть. А кривиться брось. Весь район, даже наша глухая зубвращиха, говорит про ужасную зимовку. Ты впервые толком узнал — и сразу затрезвонил о всякой отвлеченной ерунде. О мушках с логарифмическими прорезями... Тренькаешь, как на арфе, а под твой аккомпанемент некормленные буренки воют.

Сергей с досадой выпрямился, задел таз, плеснул из него на пол.

— Назло ты их, что ли, тут понаставила?

— Выживешь,— сказала Шура. Проявляя свое женское самоутверждение, добавила: — Не дергайся, как козел, перевернешь. Нет уборщиц подтирать лужи.

Сергей переломил себя. Черт с ней! В конце концов он старший. Надо кому-нибудь сдержаться, быть умнее... Он стал рассказывать об оголенных от соломы стропилах на хатах степных хуторов; об «Указании», под которым он, как последний дурень, ставил свою подпись; о колхозном счетоводе, который издевался над этим «Указанием», и, никого, ничего уже не боясь, ругал Голикова площадной бранью. Главное же, об иезуитской ситуации, при которой, видите ли, неэтично просить помощи у богатых волго-донских переселенцев. Пусть степняки пропадают, но будет соблюдена этика.

Шура отбросила теперь придирки, со страхом слушала. Как ни столкнулась она за последние самостоятельные свои годы с минусами жизни, все же очень мало знала о безобразиях, значительно больше — о достижениях. Еще в Ростове, видя мелкие безобразия, она с негодованием вмешивалась в них, тормозила Сергея — работника горкома. Каким

слабовольным ни был Сергей, а мог помочь; требовалось только превратить его из равнодушного в возмущенного. Сейчас было посерьезней, чем с недоеданием в ростовском «Гастрономе» или с лишением стипендии нуждающегося студента. Дослушав, Шура решительно сказала:

— Сережа! Добыть солому — дело твоей чести. Ты ничего в этом сельскохозяйственном не смыслишь, как и я. Но мы не такие уж идиоты. Как конкретно ее добыть — можно разобраться по логике вещей.

Шурина логика была своеобразной. Шуру терзали десятки моральных, экономических, социальных вопросов, и поэтому она, требуя от Сергея конкретности, сама же в абсолютно конкретный вопрос о соломе впутывала множество другого. Требовала, например, признать, что она и Голиков погрязли в каждодневном, мелком и не борются за важнейшее — за чистоту принципов своей страны. Скажем, принцип «Каждому по труду» — велик. Но собственный Шурин отец, которого она очень любит, даже чит, получает деньги неприлично огромные, а двоюродный дядя Шуры, президент академии одной из маленьких республик, — еще больше. Тогда как Шурины пациенты стараются не хворать лишнюю неделю, не упустить добавочного заработка на туфли к лету или на борщ на сегодня; и еще над их головами коровы пожирают крыши!.. Если бы у дяди на его даче сгорела вдруг крыша, двадцать райкомов устроили бы аврал, починили ее за единые сутки. Дядя — крупный ученый, он стоит и большего, но нельзя же, чтобы принцип «по труду» разделял советских людей, чтобы сотни хуторских ребят — детей, таких, как Вика, — могли под самым боком у величайшей стройки мира остаться без молока.

— Я была убеждена, — говорила Шура, — что если где-нибудь случается такое (дети без нормального питания!), то все вокруг, точно в кинофильме о наших днях, мгновенно организуются, проявляют самоотверженность и всякие другие замечательные качества. А ты, Сережка? Когда Орлов толковал тебе в этой комнате о коровах, ты нос воротил.

Сергей активно соглашался. Запал жены совпадал с его запалом. Он признавался, что теперь по-другому не понимает Орлова. Не дотягивает до него, что ли? Орлова интересуют центральные перспективы Волго-Дона и района, а относительно мелочей он не волнуется. Советует и Сергею не волноваться, а применять необходимую для руководителя волю.

— Но ответь мне, пожалуйста, — спрашивал Сергей жену, — разве в том проявление воли, чтоб уметь давить в себе совесть? Тренированная совесть... Ее при умении можно уговорить на все... Орлов рекомендует мне не беспокоиться насчет степных хуторов...

— Ага, — обрадовалась Шура, — прозреваешь! Сам уже говоришь, как эти микробы равнодушия проникают во все районное руководство.

— Я этого не говорил, — тотчас оборвал Голиков, который рад был громить и собственные недостатки, и даже орловские, но на обобщения не шел. Секретарь есть секретарь...

Шура же воспринимала мир непосредственной. В отличие от Голикова она не была ограничена никакими обязательными служебными рельсами и могла сворачивать в любую сторону, сколько ей вздумается.

— Трусоват был Ваня, — прищурилась она на мужа. — А я вот не верю, что коровы сидят на диете не из-за вашего хамского равнодушия. Не верю, что вообще преступление может быть законным. Где-то в Челябинске недостатки мануфактуры — твой Орлов сидит; где-то колхозники получают мало на трудодни — другой Орлов; с соломой беда — ты виноват, твой, как у вас изъясняются, «наплеви́зм». Наплеви́зм на нижестоящих. Профессиональный!

Она не дала Сергею и рта раскрыть, повысила голос:

— Знаю, понимаю, заучила: вы, начальство, вышли из трудовых слоев. Но ведь «вышли». Значит, вас там уже нет. Вам и безразлично, что там делается.

Сергей возмущался рассуждениями Шуры. Он просил ее шуметь тише, не разбудить Марию Карповну с Викой.

— Отстань! — говорила Шура. — Каким чудесным вещам учили нас в школе! Говорили нам, что сердце вожака должно быть совершенно особенным, действительно орлиным. Что оно бушует огнем за людей, как сердце Данко, как, черт возьми, солнце!

Шура в такт словам пристукивала ладонью по тазу, а возвышенные слова о Данко время от времени перебивала практическими: «Поддай мне кипяток», «Высыпь порошок из пакета».

Она говорила, что ей, слава богу, двадцать четвертый год и сидеть дольше под стерильным колпаком она не желает. Уж раз она в районе и пользуется теперь собственными глазами, то будет пользоваться и собственной головой, понимать, в частности, что ей недостаточно приятного для уха солидного звучания «секретарь райкома», а ей нужны от Голикова дела!

Что касается соломы, то по Шуриной системе складывалось так: «Солома есть в природе? Есть. Что нужно, чтобы достать ее хоть под землей, хоть даже из стратосферы? Сердце. Если его у Голикова нет — разговаривать не о чем. А есть — он достанет. Достают же сегодня подпольщики Алжира типографские станки и бомбы. А здесь не подпольно. Здесь совершенно легально, даже почетно».

Сергей слушал и, как это бывало уже много раз прежде, убеждался, что в его жене, словно некий безотказный аппарат, «работает» шестое чувство. Именно эти ее слова об Алжире и бомбах, о чистоте первых школьных книг, как воздух, как пролитая кровь, необходимы ему сегодня. Хорошо ощутить в себе человека!

Шура, взбодренная нападками на мужа, решительно подтирала возле корыта пол; Голиков стал помогать, взялся за ведро. Удивительно все сплетено... За окошками — огромный ночной район, с воздвигаемой плотинной, освещенной тысячами прожекторов на столбах, на металлических вышках, на живых порталных кранах. Вокруг, в степных хуторах, — колхозники, колхозницы, для которых воздвигается плотина, судьбы которых вручены коммунисту Голикову; за дверью — спящая Вика, его и Шурина дочка; рядом — Шура, жена, в этом тоненьком летнем сарафане. Она же товарищ. Хоть и противный, даже отвратительный своими нотациями, но единственный абсолютно необходимый, когда нужно шагнуть вперед.

Шура резала булку, разливала по чашкам чай, как и полагается вечером в семейном доме.

2

На другой день Голиков созвал бюро райкома, изложил известные всем факты тяжелой зимовки и свое категорическое мнение — взять корма в береговых станциях.

Случилось то, чего никогда не происходит у опытных секретарей: бюро раскололось. За Голикова был только начальник МВД, молодой белобрысенький капитан Филимонов, недавно назначенный в район. Остальные, вчера лишь ловившие каждый взгляд Голикова, человека, занимающего высокую должность, сегодня не принимали не только его взглядов, но и слов. Сергей понимал: вопрос упирался в их честную, привычно боевую психологию. Мобилизовать бы их на любое, самое сложное перевыполнение планов, они бы пошли безоговорочно, даже

выдвинули бы новое, идущее еще дальше. Но Голиков предлагал им не атаку на трудности, а несогласие со святой установкой о переселенцах, и товарищи резко возражали ему.

Член бюро Орлов, потный и красный от температуры, явившийся на заседание, несмотря на болезнь, с сожалением в адрес Голикова говорил, что не о том бы сейчас думать Сергею Петровичу... Энергия партии направлена на Волго-Дон, который обязан положить конец всем засухам в области, а не только в десятке степных колхозов, и задача районного комитета — возглавить, а не ослаблять движение. Что касается переселенцев, то их следует поднимать и глубочайше уважать за то, что они первыми в стране едут осваивать воды Волго-Дона. Они буквально завтра начинают выбирать места для своих будущих станиц.

— Это так,— досадливо отвечал Сергей из своего хозяйского кресла, поставленного в голову стола.— Безусловно, так. Но нельзя же, поддерживая переселенцев, начисто игнорировать интересы других колхозников!

Он смотрел в глаза Борису Никитичу. Глаза были доброжелательными, слова — тоже доброжелательными, хоть и резкими, но все было не таким, как обычно в разговорах с Сергеем. Чересчур мягким.

— Точки зрения, Сергей Петрович, ясны,— сказал Орлов и посоветовал: — Ставьте на голосование. Убедитесь сами — товарищи вас не поддерживают.

3

Ночью Голиков выехал в Ростов, чтобы высказать свое личное несогласие с членами бюро, доложить о положении погорельцев и настаивать на вмешательстве в дела погорелых хуторов. Он понимал, что никого в Ростове не обрадует. Кому интересно узнать, что появился прорывной участок?.. Шоферу нездоровилось, Сергей сам всю ночь и утро вел залитый грязью, буксующий в колдобинах «виллис», отдал баранку только на подъезде к городу, где шоссе кишело автоинспекторами.

Первый секретарь обкома не мог принять Голикова. Второй, которого Сергей знал еще по горкому, уважал и надеялся на него, был в командировке. Голиков попал к третьему, Игорю Ивановичу Капитонову. Тот, выслушивая Сергея, недовольно тер высокий лоб, смотрел на пресс-папье, которым была придавлена толстая кипа принесенных на подпись бумаг. Чтоб достать сигарету, он выдвинул ящик. В углу ящика, в полуразвернутой магазинной бумаге, сверкнула пунцовая погремушка, видно купленная час назад по дороге в обком. Игорь Иванович, несмотря на свои пятьдесят лет, был молодоженом и отцом младенца. Сергей знал его тоненькую, хорошенькую жену — студентку пединститута — и всегда посмеивался над спартанской выдержкой Капитонова. До розовости выбриваться, надевать под пиджак свежие полуспортивные рубашки — нетрудно. Но ежесекундно держать расправленными округлые от возраста и сидячей работы плечи, сохранять в баритоне молодые, даже звонкие нотки — это мужество. Раньше оно веселило Сергея, а сейчас раздражало, как раздражает фронтовика, прибывшего с поля боя, с пылу-жару, в штаб и увидевшего штабного начальника, беззаботно сохраняющего благодушные привычки довоенного времени. Чудно: Сергей не прирос еще душой к своей станице, к залитым водой улицам и широченным степям. не собирался ко всему этому прирастать, а ему уже казались душевными ковровые дорожки и тяжелые резные стулья в кабинете Капитонова.

Игорь Иванович снял с одного из четырех телефонов трубку, попросил разрешения у первого секретаря зайти к нему с Голиковым. По дороге, в коридоре, сказал:

— У вас на шлюзах сегодня уложили семьсотшестидесятую тысячу кубометров бетона! В полтора раза перекрыли мировой рекорд, поставленный в свое время Днепрогэсом. За один вчерашний день — об этом уже знает весь Советский Союз! — дали три тысячи кубов! А вы, братцы, колбасите рядом со строителями, кричите караул, подняли панику.

Голиков стал объяснять, что приезд в обком и паника — вещи разные, но Игорь Иванович указал ему дорогу, пропустил вперед через массивный фанерованный дубом тамбур в кабинет первого секретаря. Первый был не таким важным и нервным, как третий, спросил у Сергея, действительно ли он считает, что он один прав, а все члены бюро райкома, как новорожденные несмышленыши, ошибаются. Выслушав Сергея, сказал Игорю Ивановичу:

— Поезжайте, пожалуй, с Голиковым, разберетесь на месте. Мы ведь считаем район передовым; не кто-нибудь, а Орлов там!..

Худшего варианта в выбореверяющих Сергей не представлял, но, не желая сдаваться, бодрил себя: «Хорошо, что поедет Игорь Иванович, будет торопиться назад в Ростов, к молодой жене — и не затянет дело».

4

В районе, на месте, Капитонов, действительно не теряя времени, отправился в степные, выжженные астраханцем колхозы. Из-за непролазной грязи выехали вездеходом с ведущим передним мостом, с цепями, натянутыми на скаты. Капитонова сопровождали Голиков с Орловым, Капитонов неприязненно поглядывал на Сергея, и Сергей торжествовал: «Давай, давай — полюбуешься нашей зимовкой!..» Когда машина увязала, ее толкали все втроем, старались не становиться против буксующих задних колес, из-под которых, точно пули из пулемета, летели ошметки жидкой земли.

Хозяева колхозов, чувствуя, что секретарь обкома прибыл в район не для осмотра шагающих экскаваторов, а для них, что наконец-то приспела долгожданная минута, водили Игоря Ивановича к базам, к порожним закрамам. Ему, занимающемуся в городе вопросами культуры, деликатными композиторами и директорами театров, показывали сопливых телят, отошальных коров с проваленными боками, с выпершими под кожей кострецами, и он приходил в ужас, непрерывно писал в блокноте. Казалось, он должен был помягчить к Сергею, давшему правильную информацию, но он, наоборот, все накалялся, и Сергей понимал причину. Ведись кампания по улучшению быта колхозников-степняков, Голиков оказался бы на высоте. Но все общественное внимание рвалось к Волго-Дону, к завтрашнему выбору новых мест для переселенцев, а Голиков отвлекал от этого. Видя недовольство Капитонова, он с вызывающей открытостью говорил в каждом очередном колхозе очередному председателю: «Ведите-ка еще к овцам», «Покажите-ка, чем телят кормите»...

На одной из ферм Орлов позвал Сергея в сторону, шлепая по лужам, спросил, на самом ли деле Сергей думает, что тот или иной факт, например факт действительно тяжелой зимовки, существеннее той политики, к которой призваны двести миллионов населения?

— Однако вы ни себя, ни Ольгу Андреевну не оставляете без чая с колбасой ради политики, — огрызнулся Сергей.

— А ты не предложишь ли, — повысил голос Орлов, — не только отказаться от чая, но еще и вериги под пиджак надевать, когда в районе срысывается прополка или солому не заскирдовали? Это демагогия. Проще — кулацкие идеи, голубок.

— Я вам не голубок, а секретарь райкома! — тоже повышая голос, оборвал Сергей, пошел к машине и до конца обследования хуторов еще назойливее тянул Игоря Ивановича в пустые, выбранные под метлу клетушки и фуражные сараи.

Факты бескормицы, вчера еще не тревожившие обком, сегодня поднялись в полный рост, требовали немедленных мер. Говорить о ссуде из области было невозможно. Область без того тянулась из последнего, поддерживала районы, которые в нынешнем году выгорели целиком, и Капитонов вынужден был прислушаться к рекомендациям Голикова. Игорь Иванович Капитонов сам внес и провел на бюро райкома решение — рекомендовать береговым колхозам-переселенцам выделить до пятнадцати процентов своих кормов в заем степным хуторам.

В результате этого, хоть и гуманного, но навязанного решения все оказались задетыми. Райком — подрывом авторитета; область — обнаружением неблагополучного района на ответственной волго-донской территории; Орлов — всем вместе, да еще и провалившимся теперь переводом в Ростов. «Спасибо Голикову, отблагодарил...» Даже малозначащие завмаги и завбазы, патриоты райцентра, узнав о решении внеочередного бюро, порицали Голикова, вынесшего сор из избы.

И только сам Голиков, во все время боя за степные хутора ни разу не спрятавшийся под спасительным бугорком, был счастлив. Хотя в резолюции записали «рекомендовать», Голиков немедленно дал степнякам распоряжение завозить на ферму солому. Благо ударили морозы и дороги застекленели.

Установление дорог помогло и выбору новых мест для переселенцев — этой широкой политической и хозяйственной кампании, начавшейся на всем Среднем Дону.

Глава семнадцатая

1

Дул морозный ветер, струил вдоль улицы по земле крупички снега. Настасья Семеновна Щепеткова, одетая тепло для степи, вышла из дома к ожидающим машинам. Машин было две. Светлая, цвета кофе с молоком, «Победа» Волго-Донского комитета по переселению и блестящий черный «ЗИС» ростовской конторы Облархпроекта — длинный, низко посаженный, с белой нарядной резиной новехоньких покрышек.

Люди, ожидавшие Щепеткову, курили: шоферы — у кабины «ЗИСа», хозяева — возле калитки. Офицер МВД из переселенческого комитета, ростовский архитектор — высокий красивый старик, молодой гидрогеолог и мужчина в соку — техник пожарной инспекции. Все оживились при виде Настасьи Семеновны, она покраснела от посыпавшихся шуток, от улыбок незнакомых людей.

— Место вашему хутору подберем — пальчики поцелуете, — говорил архитектор, знакомясь, пожимая мягкой большой рукой маленькую крепкую и жесткую руку Настасьи.

— Предоставим курорт, — поддерживали его офицер с гидрогеологом. — Будет не хуже Сочи, еще магарыч нам поставите.

Архитектор, прямой, стройный, с породистым узким лицом, посвежевший в длительной командировке, был явно восхищен крестьянским, чисто донским видом председательницы, ее рукавицами, валенками, коротким, выше колен, присборенным в талии кожушком. Наклоняясь к невысокой Настасье, он с улыбкой говорил:

— Вы единственная в нашем обществе дама, мы для вас пойдем на все,

Остальные мужчины соревновались с ним, острили, и Щепеткова чувствовала, что хорошеет от внимания, что с ее лица сбегает привычная ей деловая угрюмость. В душе вдруг заговорило давно отмершее, бабье, и Настасья вскинула на архитектора голову, спросила, на что это на все он для нее пойдет. «Да что это я мелю, дура? Еще всерьез решит», — ужаснулась она, но махнула рукой и с открытой белозубой ухмылкой договорила:

— Ох, гляди, обожжетесь!

От мороза все чувствовали себя взбудораженно. Воздух был легким, репродуктор на площади четко потрескивал, за площадью над садами отворилось в небе голубое окно, и сады, еще пятидневку назад серые, сырые, обсохли на морозе, посветлели под голубизной, казались розовым лесом, затопившим хутор. Настасью поместили в «ЗИС», впереди. Здесь пахло кожей сидений, резиной, папиросами архитектора и офицера МВД, который перешел из своей «Победы» сюда, ко всей компании, протер перед лицом Настасьи выпуклое, без того чистое стекло.

Нет, это начало переселения, которого Щепеткова с тревогой, с замйранием ждала, оказалось не таким страшным, тем более, что на завороте улицы толпа девчат во главе с Милкой Руженковой дружно замахала Настасье, громко горлана, выкрикивая ей вслед вольные веселые советы. И тут же Настасью кольнуло, что предает она хутор, не голосит по нем, не плачет, а, точно барыня, сидит, улыбается на шутки архитектора, гидрогеолога и этого офицера в грудастой шинели и золотых погонах. Впервые ехала она в такой машине. Даже на колдобинах улицы «ЗИС» не давал толчка, а лишь плавно, бесшумно приседал. После грязи скотных дворов, после колхозниц, вечно чего-нибудь просящих, требующих, было хорошо сидеть в мягкой машине, слышать упругость пружин своим затылком, шей, всей спиной, наморившейся от домашней ночной стирки.

— Вам удобно? — спрашивал архитектор.

Вылетели за околицу, на гору, и враз, в две минуты, из затишных садов — в степь. Открытая ветру, она, словно живая, шевелилась сухой травой, тернами, несрезанными кукурузными бодьями, причесанная с востока на запад, по ходу ледяной поземки. Поземка гнула даже кучепалые терновые кусты, дробно секла по ним летящей в небе и над землей снеговой крошкой. Не зря от века жил хутор Кореновский там, внизу, загороженный крутыми надежными буграми, матерински укутанный деревьями береговых лесов и левад. Чем выше от Дона, тем злобней мело. Перед лицом Настасьи на эбонитовом полированном щитке мирно подрагивали под стеклом стрелки, рука городского шофера в городском клетчатом пальто лежала на тонком круге руля, спокойно пошевеливаясь. Все в машине дышало спокойствием, уютом, однако, как ни плотно был закрыт «ЗИС», как ни запечатан дверцами, с наветренной стороны начинало просачиваться острое дыхание.

— Будто полюс, — показал на улицу архитектор.

— Да, вроде окопов Сталинграда, — подтвердил офицер, тронул плечо шофера. — Заведи-ка, брат, печку.

Водитель включил реостат, и сперва к коленям Настасьи, потом к щекам пошло сухое электрическое тепло. На подъезде к месту к Настасье перегнулся через спинку ее сиденья техник районной пожарной инспекции, который все время как бы тушевался в присутствии архитектора и офицера.

— Если решите сюда переселяться, — кашлянув, сказал он, — то учтите: в противопожарном отношении все тут продумано до ажур...

Он кашлянул опять и спросил:

— Вы-то раньше бывали здесь?

— Зачем же? — ответила Щепеткова. — Селений тут нет, поля наши в стороне.

Пуговицы на стеганке техника были добротнo закреплены новыми толстенными нитками (ясно, старания жены), те же нитки приковывали крючок на воротe, стягивали аккуратной штопкой потертые углы цигейкового воротника. По одежде, по маленьким простецким глазам и сочувствию в глазах техник был ближе Щепетковой, чем остальные, сидящие вокруг; но ей хотелось верить в веселое спокойствие, в хорошее настроение этих остальных, и она опять заговорила с ними, отмахнувшись от техника. «ЗИС» затормозил.

— Предъявляйте, товарищи, санаторные путевки. Приехали, — объявил гидрогеолог.

Глянув в стекло, Настасья ничего не поняла. Просто степь. Такой же ее участок, из каких состояли все двадцать километров пути. Только, пожалуй, самый высокий, открытый ветру. Ступили наземь, в секунду вышибло из-под одежды тепло, после уюта машины охватило дрожью. Подъехала шедшая позади «Победа», из нее вылез шофер и, тоже обдуемый ветром, съехался. По бесснежной земле бежала крупа. Она была редкой, струилась по черной, каменной от мороза почве, обегала бурьянины. Она неслась безостановочно, вся в одну сторону, местами завиваясь, дымясь, как дымится пар на черном чугуне плиты. Ни деревца, ни единой палки, только шуршащая земля и недвижный пустой экран неба.

«Боже, неужели тут жить?» Настасья зажмурилась, но держалась спокойно, как и все люди вокруг нее, приехавшие не для вздохов и охов, а для дела.

— Тут самый высокий участок, самый незащищенный, — произнесла она. — Зачем его выбрали?

Архитектор, отворачиваясь от ветра, объяснил, что здесь берег, а низкие участки залет море. Он попросил гидрогеолога:

— Александр Станиславич, вы молодой, сбегайте, голубчик, до первого репера, покажите границу воды.

Гидрогеолог побежал в сторону, притопывая, греясь на бегу. Отыскав что-то, крикнул Щепетковой:

— За моей спиной берег, ваш будущий колхоз, а вот впереди — море.

От его крика там, где море, поднялся из бурьяна заяц, поскакал, мелькая белым подхвостьем. Шоферы оба враз свистнули, засмеялись: «Морской заяц!»

Смеяться здесь было трудно, так же как разговаривать. Ветер сковывал лицо, вышибал слезу из глаз. Офицер опустил ушанку, посоветовал шоферам:

— Включить бы моторы, а то воду прихватит в радиаторах.

Моторы включили. Пряча руки в карманы, в рукава, все поднялись на горку. Под ногами среди бурьяна белели вбитые в землю колышки, и архитектор стал пояснять Настасье, что это намечены улицы нового поселка. Как только колхоз даст согласие на переезд, их доработают детально. Однако уже сейчас все намечено с учетом берегового рельефа, климатических, метеорологических, а также других условий. Настасья тронула крайний колышек носком валенка, потом рукой. Рядом с архитектором стояли гидрогеолог, техник, офицер. Все они приехали, чтобы каждый по своей специальности помог Щепетковой разобраться в обстановке; и сейчас, показав место, сообщив, что здесь будет вода, что пожаров не будет, что переселение произойдет согласно инструкции облисполкома, они стояли перед Настасьей. Шоферы тоже стояли. Работа по сдаче земель была новой, люди не знали, как вести себя, что,

собственно, еще делать, после того как ткнешь пальцем в место и объяснишь его особенности.

— Значит, фермы для животноводства будут вон там? — кивком показала Настасья.

— Ну да! — оживились все. — Будут за ветром, чтобы на поселок не несло запахи. Господствующие ветры — восточные, значит фермы планируем на западе.

Щелеткова слушала. Ничего плохого вроде не происходило. Наоборот, все в поселке было учтено. Дом культуры, радиостанция, даже запахи. Но где тут, на сухом юру, добывать камыш на хозяйственные нужды? Это тебе не запахи... Какой дух у своих коров, у их навоза, крестьянин отродясь знает и не помирает от тех запахов. Но вот чем топить хаты, когда вокруг на пятьдесят километров ни единой палки? А бахчи как посеешь без супесных участков?.. Расспрашивать сопровождающих было ни к чему. Они знали лишь свое, и Настасья, махнув на них рукой, стала разбираться сама.

«Понежилась в мягкой машине, — усмехнулась она, — наболтала языком. Хватит. Занимайся делом, баба». Она зашагала по ходу поземки через бурьян к будущим фермам. Бурьян здесь был не таким, как под хутором Кореновским, а низким, редким, видать выбитым на этих высотах летним суховеем. Гидрогеолог, который все рассказал об артезианских колодцах, и техник, уже изложивший особенности огнеохраны, приотстали. Офицеру полагалось наблюдать за всем сразу, но на нем были тонкие шевровые сапожки, пальцы стыли, и он побежал к машине, где уже сидели шоферы. Один только архитектор поджентльменски не оставлял Настасью. Он давно, с первых еще минут, потерял щегольской вид, сколько мог насунул каракулевую шапку на уши; его тонкий точеный нос приобрел цвет морковки.

Настасья осмотрела место будущих ферм, прикинула глазом, где рыть силосные траншеи, куда ставить скирды.

— А что намечено во-он под тем краем неба? — показала она на далекое, гладкое, как стол, поле.

— Виноградники.

— Это на ровном-то?

— На ровном, — подтвердил архитектор. — По последним данным, крутые откосы, южные речные склоны для виноградников совсем не обязательны.

Щелеткова не стала спорить. Она с детства гнула спину на винограде, что ей говорить с человеком, который небось неделю назад впервые за жизнь прочитал статью о «последних данных».

Архитектор мужественно стоял на холоде, щурил покрасневшие веки и, чтоб согреться, двигал плечами, разжимал и сжимал пальцы в карманах пальто.

— Пошли, — предложила Настасья.

Идти назад было труднее: против ветра. Ветер был еще не очень сильный; видно, собирался разойтись лишь завтра-послезавтра и тогда уж зарядить здесь на неделю, на две, ударить по-настоящему. Даже у Настасьи началось от ветра, от пустого белого неба, как от напора воды, давить в ушах, нудно ломить затылок.

— Видите ли, — сказал архитектор, — вы, разумеется, можете отказаться от этого места. Право переселенцев. Только я бы не рекомендовал. Нас еще в области предупредили — прежде всего предложить этот участок вам, заслуженным перед революцией казакам-хуторянам.

Архитектор замаялся и, деликатно подбирая слова, спросил:

— Скажите, действительно ваш тесть вроде донского Чапаева? Необыкновенный нарсдный герой, оратор! Только, мол, беда, что о нем

не написали художественную книгу, не попал он в литературу и потому меньше известен. А?

— Я их не перемеряла — Чапаева с тестем, — ответила Настасья и сменила разговор: — Отчего вы советуете не отказываться от этого места?

— Перспективное. Берег моря, вероятные поливы. Кроме того, недалеко должна пройти высоковольтная линия, сможете все работы электрифицировать.

Поэмка присвистывала, губы и ноги архитектора слушались его плохо, но Щепеткова упрямо осматривала каждый квадратный метр участка, и архитектор, должно быть давно забыв, что утром ухаживал за этой женщиной, уныло сопровождал ее. Он безотказно шагал рядом, соблюдая требование внимательного отношения к переселенцам. Потом по очереди с ней дотемна ходили гидрогеолог, техник, офицер...

2

Вечером Настасья Семеновна, прикрыв глаза, лежала на койке в комнате-боковушке. Полчаса назад, по возвращении из степи, она с архитектором вывесила в конторе план нового поселка, чтоб с ним знакомились члены правления, затем приняла инженера Петрова, который уже заканчивал инвентаризацию Кореновского, потом дала на завтра задание бригадирам и сейчас, одетая, лежала на койке поверх одеяла. На столе белело несколько заявлений колхозников, которые Настасья взяла в конторе и еще не читала. Возможно, заявления об уходе из колхоза на стройку — время сейчас такое... Белело и сегодняшнее письмо из соседнего хутора Подгорнова, от председателя колхоза. Подгорнов расположен высоко, выше будущего моря, его не переселяют. Председатель, однополчанин покойного Алексея, боевой товарищ, писал Настасье, что открылись свищи в раненой ноге, врачи хотят извлекать осколки, поэтому сам он приехать сейчас не может, а в письме предлагает щепетковцам переезжать к нему в хутор. В Подгорнове лишние земли, все одно кого-нибудь подселят, так уж лучше своих. Настасья и без письма весь день прикидывала в уме эту возможность. О переезде в Подгорнов уже давно настойчиво, даже требовательно говорит пол-Кореновского. Не поднять ли в самом деле людей на подгорновские края, чем ехать, как в ссылку, на эту сегодняшнюю проклятую пустошь?..

Раиска в кухне, думая, что мать спит, шепталась с бабкой Полей о чем-то очень для Раиски смешном, зажимала себе рот и нос, ежесекундно прыскавая. С отъездом Виктора Настасья помягчала к дочери, да и Райка ластилась теперь, как котенок, перетасила свое школьное хозяйство из кухни в боковушку, устроила учебники с тетрадями и чернильницу здесь на столе. Это Витькин стол. Первые пять-шесть дней Настасья держала на нем в неприкосновенности каждую вещь сына, надеясь, что парень подурит и вернется. Но когда через неделю пришла открытка: «Работаю на порталном кране, по-комсомольски преобразовываю природу», — Настасья поняла, что Виктор уехал всерьез. Она убрала в чемодан Витькины школьные конспекты и книги, моток рыболовных капроновых лесок, коробку с ружейными пистонами. Однако по-прежнему этот стол принадлежал именно Виктору!..

Протянув руку, Настасья трогала в темноте стол, и ей казалось, что сын никуда не отлучался, спит сейчас на сундуке, беззвучно дышит в мирной вечерней тишине дома. В сенях грохнуло опрокинутое ведро, покатились, резко дребезжа дужкой. Квартирант!.. Ни минуты от него, черта губатого, покоя. Влез, перебаламутил семью и хоть бы постыдился, съезжал бы уж с хаты! Настасья решительно вышла, столкнулась с

квартирантом нос к носу. Наверно, вид у нее был такой, что Солод без обиняков сказал:

— Зря вы, Настасья Семеновна. Единственно верное, что я сделал в вашем доме, так это отправил Виктора.— Помолчав, он добавил:— А ведро, оно порожнее было...

Настасья не ответила, вернулась в боковушку, с неприязнью думая, как чудно смотрел на нее квартирант. Даже покраснел весь. Еще этих дел ей не хватало!.. Если по совести, она и раньше замечала кой-что; давно надо гнать этого ухажера из дома. Она позвала Раиску. С отъездом брата девочка часто забиралась в материнскую постель, чего раньше Настасья не позволяла. Влезла Раиска и сейчас. Настасья Семеновна не думала больше ни о квартиранте, ни о чем другом, пыталась согреться после целого дня на морозе. Она лежала с дочкой, а все в доме шло своим, давно уже новым ходом. Слышно, бабка Поля позвала Солода ужинать; он умывался, продув от табака расческу, причесывался; затем хлебал борщ персональной ложкой «фраже»; и после всего резко щелкал в залеке арифмометром, подсчитывал камни со своего карьера... Настасья понимала, что не ухажерство постоянного, не арифмометр, не беспорядки в доме ее томят, а этот, неизбежный, как смерть, переезд. Господи, да не будь она, Щепеткова, колхозницей, а будь в старые времена просто бабой, разве так бы держалась? Восстала бы! С криком, с дрекольем в руках пошла бы за свой хутор, за воздух и небо над ним, за родимые, выращенные потом жерделки и вишни на зеленом берегу у дома.

Раиска уютилась где-то внизу, под мышкой у матери, уткнула ей в бок посапывающий мягкий нос. Настасья, чтоб не беспокоить дочку, не шевелилась, прижималась плечом к теплой стене. Только теперь после степи изнутри по-настоящему выходил холод. В ушах шумело от много-часового ветра, все казалось, что на уши что-то давит. Перед зажмуренными глазами плыли колышки, охваченные торопливой поземкой, и порой чудилось, что это не та сегодняшняя пустошь, а ласковое кореновское займище, лето...

Душно, даже липковато в летнем предвечернем воздухе. Люди вернулись с ферм и мастерских, с поля от комбайнов, отобедали, высыпали на займищные огороды. Все, как пшено на столе, на виду; каждая семья против своей усадьбы. Мужчины спихивают на воду лодки, отправляются по ерикам к рыбным и рачьим местам, к сенокосным участкам или к плесам, где на заходе тянет под выстрел дикая утка. Женщины обрывают огурцы с грядок, набивают ими подоткнутые подола и, вынося на тропки, сыпают в кучи, откуда ребятишки волокут во дворы. Каждая тетка в полную свою радость работает языком. Услыхав на соседней деляне побрехачку, мгновенно перестроив, разрисовав, передает дальше, и любая новость — кто как женился, кто родился — идет, как по телеграфу, через все огороды, в смехе и грохоте до ночи будоражит займище. И даже совсем поздно, когда уже тускнеют звезды, все еще живет низина. Возвращаются рыбацьи кайки, плывут баркасы, груженные черным в темноте сеном, и люди стоят на кормах, перекликаются, пихают шестами в дно, в отдающую теплой тиной воду.

Настасья ближе придвигает Раиску, чтоб согреться и удобнее думать. «О чем бы сейчас думать? А можно опять о том же, только уже о полдне, когда жарко...»

Небо раскалено, за Доном собираются и все не соберутся облака. Народ на колхозных работах, займище совсем пустое, только во-он, среди грядок, согнулась над тяпкой старушонка, да какая-то молодуха — чья именно, Настасья не угадывает,— белея кофтой, часто семена босы-

ми ногами, несет на гнущемся коромысле полные сапетки помидоров. Не движется стоялый запах лозняка; печной сухостью пахнут чистые, горячие, как в пустыне, пески. Вьются над ними чайки, пролетают над бахчами, где угрузли полосатыми боками в песок, млеют на солнце арбузы. И Настасья не женщина, а девчонка. Она лежит у края бахчи, утонула в песке локтем, посунула на глаза косынку. А солнце, а синева пропекают косынку насквозь, так жгут, что даже через прикрытые веки видит Настасья всю яркость неба, песков, живой листвы на вербовых пружинистых ветках.

Глава восемнадцатая

1

В сельсовете у Конкина на полный ход работала школа поливальщиков, на улице над дверью висела новехонькая вывеска: «Курсы по совершенствованию преобразователей природы на землях и море Волго-Дона».

Голубов, назначенный Советом на должность директора, расширял круг дисциплин, привлекал к работе все новых лекторов.

Он зашел в кладовку, где теперь помещался кабинет председателя сельсовета, весело козырнул Конкину и, веселый, возбужденный деятельностью, хлопнул по плечу Любу.

— Слушай, Фрянскова! Ты кончила педтехникум. Прочитай нам несколько лекций по истории. По нашим царям — разным Федорам Иоанновичам, Аннам Леопольдовнам, чтоб товарищи сравнили прошлое с настоящим!

Люба молчала. За стеной, в двух комнатах Совета, превращенных в классы, уже несколько вечеров собирались курсанты. Половина их, особенно домохозяйки и старики, являлись не по своей охоте; их буквально за руки вытаскивали из хат активисты Милки Руженковой, сзади подталкивала сама Черненкова, давая своим авторитетом, как прессом, а уж здесь, на месте, их принимали Конкин и Валентин Голубов. Конкин с Голубовым не ходили, а бегали. Они улыбались, уговаривали, они — хоть плачь! — весело шутили, ставили перед каждым толстостенную чернильницу с откидной никелированной крышечкой. Звенел звонок, и начинали звучать слова: «обводнение», «дождевание», «коммунистические общественные поливы».

Люба ненавидела все это. Ей нужны были не общественные поливы, а крошка счастья, обыкновенная семья, какая есть у всех. У людей, у ворон, летящих по небу за окошком, даже у паршивой мыши под полом, но нет у нее, Любы Фрянсковой. Семья еще недавно была, и она оставалась бы, если б не Волго-Дон с его преобразованиями. Их не именовали иначе, как великие, исторические, грандиозные. Вся страна, как теперь считала Люба, играла в волго-донскую игру, которой и сама Люба до последнего времени была охвачена... Теперь она молча смотрела на Голубова, этого офицера-фронтовика, человека с высшим образованием, который, как малый ребенок с погремушкой, носился со своими курсами.

Голубов нахмурился, дернул волосины усов (он недавно стал отпускать их) и спросил Любу, не оттого ли она медлит, что на курсах не платят, что дело это не заработочное, рассчитанное на совесть.

— Да, оттого, — равнодушно ответила Люба. Она прикрыла двери, которые Голубов так швырнул за собой, что они, распахнувшись, возвратилась на свое место, опять стала думать о Василии.

Все в хуторе всё уже знали. Женщины, оживляясь, веселея среди унылых переселенческих дел, наперебой давали Любе советы: «Держись

ты при нем королевой. Умри — не показывай тоски: песня до конца не играется, правда мужу не говорится». И, понизив голос, с доверительностью сообщали: «Мужчина — он кобель, долго без бабы не выдерживает. Потерпи — позовет тебя». Люба мучительно морщилась, слушала, но если какая баба пыталась сказать против Василия, отнять надежду — Люба отворачивалась, боялась, что вцепится.

Конкин проводил Голубова глазами и, потирая то острый подбородок, то нос, неуверенно подошел к Любе, сел перед ней на ее стол, буркнул:

— Кончай это художество.

— Какое?

— С Василием, Люба. Нарисовала ты когда-то себе картиночку, сказала: «Это Вася», — и влюбилась в картиночку. А теперь она не сходится с Васиной физиономией.

«Открытие. Нарисовала!» Люба без всяких Конкиных отлично понимала это еще до свадьбы.

«Почему ж согласилась?» — изумился бы Конкин, если бы услышал это от Любы.

«А потому, — заплакала бы Люба, — что я с детства устала от одиночества. Я хотела счастья. И счастье ведь налаживалось с Василием — с настоящим, с живым Василием, с ненарисованным. Он был очень ласковым ко мне, он подготавливал постройку нашего дома, собирался работать в МТС шофером, а я мечтала носить на руках ребенка. Неужели мне кричать ура, если между мной и моим другом встало переселение со всеми этими вашими курсами, с инвентаризациями? Сейчас не война, а мирное время. И, все говорят, замечательное... Так почему у меня отбирают мужа, как отбирали их у женщин для фронта, оставляли женщин горемыками, старухами в двадцать лет?»

Так могла отвечать Люба, пожелай она объясняться. Но она не желала. Острые колени сидящего на столе Конкина углами торчали перед ее носом, а над головой раздавалось покашливание Конкина. Он говорил что-то ласковое, а Люба не слушала. Если бы Конкин понял Любу в первые дни ее несчастья, она бы, наверно, выложила тогда все. Целую систему своих сложных попыток удержать семью. Люба рассказала бы, как, заметив в муже что-нибудь светлое, она изо всех сил раскрывала на это светлое глаза, а видя плохое, поспешно отворачивалась и сама же делала для себя вид, что отвернулась случайно или что была виновата сама, что тупая, что не ухватывает чего-то главного в любимом человеке.

Теперь она зачерствела, не хотела разговаривать ни о каких своих отворачиваниях. Да теперь не к чему и отворачиваться. Василия постоянно нет — уезжает то в Шахты или в Ростов торговать домашней сушкой, то в район к прокурору.

До Любы долетало сверху противное ей сейчас, раздражающее покашливание Конкина; долетали и слова, что она не имеет права валить свои настроения на окружающее — на Голубова, на курсы, что она секретарь Совета и стоит на этом посту в ответственные дни. и что опять-таки «картинка» и реальный Василий — вещи разные. Надо или принимать Василия, каким он оказался в действительности, или разводиться. Конкин так и сказал: «Разводиться».

— Ведь ты, дочка, не любишь мужа, — откашливаясь, сказал он.

Он совался, куда Люба его не просила, да еще и давал ей дурацкие советы.

— Не вешай нос. Брось, пожалуйста, эти штуки, — говорил он. — У тебя, чудачка ты, и солнышко впереди и вся твоя молодость. Целый мир!

Он спрыгнул со стола и, шурясь, откидывая пятерней редкий чубик, спросил:

— Знаешь, как будет у тебя, когда полюбишь, найдешь свое настоящее? Будешь идти, а навстречу — он, твой друг. Пусть даже не он. Просто увидишь ты дорогу, на которой он только что стоял. Увидишь галку, что сидит на дороге, и аж замрешь перед галкой, поймешь вдруг, какая же это замечательная галка. Красивая, нежная, как лебедь... И сама ты про себя почувствуешь, что тебя распирает от твоей силы, от могущества. Все ты на свете можешь! Даже посрывать сверху облака, превратить их в дождь для полей. А как иначе? — уставясь на Любу изумленными глазами, спрашивал Конкин. — Ведь тот, кого ты любишь, настоящий, может быть хочет дождя; как же не совершить для него эту пустяковину, не посрывать?!

Люба мрачно молчала, поглядывала на ходики на стене, рассортировывала по ящикам свои канцелярские бумаги, как полагалось в конце рабочего дня. У Конкина так и не вышло разговора ни о личных делах этой девчонки, ни о сложной обстановке в хуторе, о которой Степан Степанович тоже хотел бы говорить с Любой.

А обстановка была такая. Вчера Щепеткова ездила осматривать место для хутора; завтра правление колхоза должно было утверждать его. Место было отдаленное, дикое, однако в будущем с высоковольтной линией, с насосным орошением пахотной земли, с обводнением лугов. Но большинство членов правления было враждебно настроено к этому участку, ратовало за переезд Кореновского в хутор Подгорнов. Лежал Подгорнов на высоких кряжах — изрезанных, камневатых, поэтому исключался из государственных планов орошения и поэтому переезд в Подгорнов означал полный уход от завтрашнего коммунистического земледелия. Нажим извне был невозможен. По решению облисполкома переселяемые станицы сами определяли свою судьбу, и в щепетковском колхозе девять членов правления — людей во многом случайных — должны были завтра определить первый шаг всего хутора, четырехсот семидесяти семи дворов.

2

В эту ночь бок Любы вдруг обхватила рука Василия. Люба вздрогнула. Хоть они все время спали на общей койке, однако лежали на разных подушках, далеко отсунувшись друг от друга, одетые, как ходили в доме. Люба подумала, что Василий решил мириться, но это ее не обрадовало. Сегодняшние слова Конкина о настоящей любви жили в мозгу, вели разрушающую работу. С прихода домой и до сих пор Люба со страхом перечитывала страницы собственной своей любви. Господи, разве хоть раз замирала она при виде не только что галки, а даже при виде самого Василия?.. А было ли, чтоб пыталась и не могла сдержаться радости, когда приближался Василий, чтоб, думая о нем, она от избытка счастья и силы хотела срывать облака? Нет, никогда не хотела. Что ж она делала все это время? Притворялась? Боялась прежнего сиротства? Да, боялась! Да, всегда скрывала от себя, что теплота свекров, липнущие Гришка и Ленька, добротное спокойствие крепкого семейства — все то, что было в первые дни, — притягивало ее больше, чем сам по себе Василий. Конкин вывернул наружу все это, от чего Люба пряталась, и она еще там, в Совете, поняла, что не у клуба после комсомольского собрания и не в новогодний вечер, а именно теперь случилось настоящее семейное горе: стало ясно, что надо уходить от мужа. Поэтому, услышав на своем боку тяжелую руку Василия, Люба заплакала. Она повернулась к Василию, просительно зашептала что-то растерянное, извиняющееся, но Василий молча, ожесточенно, крючок за крючком сдерги-

вал с нее юбку, и Люба испуганно оттолкнулась, уперлась ему в грудь вытянутыми руками.

— Ты это брось! — сказал Василий тем же чужим голосом, каким когда-то обругал ее. — Ты мне жена.

Могучей, будто поршень, рукой он согнул ее руку. Люба зажмурилась, изо всех сил ударила локтем. Она попала в лицо Василию и, услышав, как из его носа горячо хлынула по локтю кровь, в ужасе закричала. В кухне отозвались, в приглашенной на ночь лампе выдвинули до конца фитиль, распахнули двери.

Было невыносимо жутко, как в детстве, когда Люба тонула и, выныривая, ударялась головой в днище проплывающей над ней баржи. Василий размазывал кровь, в дверях стоял Дмитрий Лаврыч, над кроватью — Фрянчиха в расстегнутой кофте, с провисшей до живота грудью.

— Сыночек! Чем она тебя?..

— Уйдите, мама, — попросил Василий, отворачивая глаза.

Фрянчиха все поняла, обалдела уставилась на Любу.

— Пас-скуда! Девочку с себя строит! Или, может, твоему законному супругу кажный раз просить? Да я тебе, курве!..

Дмитрий Лаврыч, обхватив жену поперек, отволакивал от Любы, в кухне голосили Гришка с Ленькой. Люба одевалась. Она натягивала боты, застегивала пуговицы на кожанке. У выходных дверей стояли два аккуратно увязанных мешка и корзина — Василий утром собирался в Ростов, договорился с шофером, ночевавшим у соседей. Люба обошла мешки, взялась за дверную щеколду, сказала, что жить у Фрянсковых больше не будет.

3

Шаг за шагом пошло позорное дело развода, и не в силах Любы было исключить хоть одно действие. К счастью, тетка Лизавета хорошо отнеслась к племяннице. Старая дева, презирующая радости супружества, она сразу потеплела к Любе, оставшейся без мужа.

— Ладно, что хоть скрыню не перевезли «туда» от меня, — сказала она, снимая с обитой медью дубовой скрыни скатерку и вазу с ковылем, покрашенным фиолетовыми чернилами. — На ней и спать будешь. А трюмо доставят они или заберешь сама?

Люба ответила, что ничего не хочет, но тетка назвала ее дурой и, когда рассвело, за руку повела к Фрянсковым. Другой рукой она тянула за дышло тачку-двуколку. Снятые со старого плуга железные колеса тачки прыгали по колеям, грохотали на всю улицу, и тетка Лизавета шагала степенно и гордо, с высоко поднятой головой.

В доме Фрянсковых их словно бы ждали. Все, даже Гришка с Ленькой, были дома, сидели за чистым столом. У входа, отсунутые к стене, стояли увязанные мешки и корзина: Василий в Ростов не поехал. Переносица его была припухлой, лицо было спокойным, он смотрел в окно. Дмитрий Лаврыч и Фрянчиха повернули к вошедшим головы.

— Здравствуйте! — Лизавета слегка поклонилась и сразу выпрямилась. — Мы за вещами... Чего стоишь? — сказала она Любе. — Собирай!

Люба взяла с подоконника в руки свои книжки, вытянула из-под кровати чемодан, положила в него книжки и остановилась.

— А вон то? — показала тетка, сама сняла со стены Любино платье. Потом она расстегнула наволочки на взбитых пуховых подушках, оставила на месте розовую, кинула на чемодан Любину зеленую, подошла к трюмо, сдвинула его. Заметив между рамой и стеной провисшую нитку паутины, Лизавета победно глянула на Фрянчиху, двумя пальцами демонстративно сняла паутину.

У Любы застилало глаза, она не понимала, где тетка Лизавета приказывала ей братья за трюмо. Тяжелое зеркало качалось на своей подставе, Василий с матерью молча наблюдали — грохнет это сооружение или нет. Дмитрий Лаврыч обхватил трюмо, вдвоем с теткой Лизаветой понес из хаты. Во дворе бережно уложил трюмо на тачку, и в зеркале отразилось широкое опрокинутое небо. Попросив Любу подождать, Дмитрий Лаврыч взял с колодезного сруба бечеву, зашел в сарай, вывел беленького барашка. Люба, как от волка, шарахнулась от барашка, так посмотрела на тетку, что та не раскрыла рта. Через забор заглядывали соседи; было воскресенье, все были дома, высыпали во дворы. Дмитрий Лаврыч, ссутулясь, держал бечеву.

— Попали мы, Любаша, в непонятное, — вздохнул он. — Ну, дай тебе, как говорится, бог.

Люба посмотрела в зажатые тяжелыми скулами крохотные, соминные глазки Дмитрия Лаврыча, губы ее дрогнули, и она прошептала:

— Ничего... Мы с вами будем еще заниматься. Вы приходите.

— Нет уж, дочка, спасибо. Видать, мне не светит. А может, передумаешь насчет Васьки?..

Люба взялась рядом с Лизаветой за тачку, пошла к калитке мимо наваленных у сарая бревен, размеченных мужем, обтесанных по шнуру, мимо загибающей в сад широкой тропы, что вела к бывшим Любиным яблоням.

4

Заседание колхозного правления, начавшееся в обед, длилось уже четыре часа.

Согласно инструкции «О переброске станиц и хуторов с затопляемой зоны» порядок выбора нового местожительства был таков: сперва на место должен был выехать председатель колхоза; потом созывалось правление и во главе с председателем обсуждало — подходит или не подходит этот участок; затем надлежало собрать всех членов колхоза, чтобы они голосованием утвердили свою новую родину; и уж после всего место переселения окончательно закреплялось районным, а вслед за ним областным исполкомом.

Первая стадия в колхозе Щепеткова была пройдена — Настасья Семеновна вчера осмотрела место. Сейчас шла вторая стадия. За окнами, возле освещенного фонарем обледелого стенда с фотографиями виноградарей и доярок, теснились взбудораженные люди. К внеочередным «заседаниям-совещаниям» они уже привыкли и шумели не из-за вопроса, который решался в конторе, а потому, что у них забирали их солому. Сегодня из степного погорелого колхоза имени Фрунзе пришли за фуражом одиннадцать бычьих упряжек, остановились возле кореновских скирд — огромных, как трехэтажные дома, по-хозяйски установленных и вывершенных. Так ехали все степняки во все придонские хутора и станицы. Но эта взаимопомощь колхозов, которая представлялась Сергею Голикову личным его достижением, приобрела в глазах переселенцев совершенно другой смысл.

«Снимаемся на голые места, так вместо того, чтобы к нам проявили сочувствие, помогли нам, нас же за глотку!..»

Настасьи кума Фелицата Рогозина, грозя берданкой покойного мужа, не допустила фрунзенских возчиков к скирдам. Фелицату, как верные адъютанты, сопровождали Нинка Ванцевкая и Марфенька Гуцкова. Опешившие возчики отступили и, подогнав арбы к конторе, наблюдали, что будет, а Фелицата рядом с ними потрясала кулаками, сзывая с улицы людей. Наиболее сознательные были на курсах, руководители — в конторе; и вокруг Фелицаты собирался третий сорт.

- Не отпускать солому!
- С казаков дерут, а преподносят иногородним.
- «На новосельях» не уродится — иногородние нам не позычат.

Марфенька Гуцкова, всегда незаметная, сейчас размашисто жестикулировала, с яростью сообщала, что на тех пустошах, куда председательница мсталась вчера, в шикарной машине ехала вроде Черчиллихи, повыжгло этим летом даже курай и верблюжью колючку.

— Дак туда нас и зашлют?

— Нет, спросят!.. Там жарыша — гадюки задыхаются. А когда хорошие люди зовут нас в Подгорнов, то наше правление нос воротит.

— Того носа набок можно сбить, когда не поведут в Подгорнов.

Как в «малу кучу», валили Подгорнов, инвентаризацию, каменный карьер, курсы, завтрашнюю рубку садов, сегодняшнюю рубку леса да еще то, что Щепеткова, как и солому, начнет небось раздаривать вырубленные тополя. Колхозного не жалко ни ей, ни сельсовету.

В толпе стояла Люба Фрянскова. Ей было безразлично, глазают или не глазают на нее, только сегодня катившую возок с пожитками через весь хутор. Она вошла утром в Лизаветину каморку, тихую, как дно реки. Там не было ни детей, ни радио, машины под окнами не ходили. Лишь привеза вещи, Люба вспомнила, что хозяйка — бывшая монахиня. Та внимательно посмотрела на Любу и произнесла: «А ты запустовала глазами...» Дверь из Лизаветиной каморки вела в комнаты, там на подоконниках лежали газеты, что выписывала монашка, белелись запечатанные пузырьки с порошком пенициллина и шприц, которым хозяйка делала себе уколы, если болела ангиной. Хоть печка не топилась со вчерашнего дня, было тепло, потому что в окнах стояли двойники, в три слоя обклеенные бумажками, заложенные понизу ватой. Чайник у тетки Лизаветы хранился в перине, накрытой подушкой и шалью, чтоб не остывал. Люба отказалась есть, выпила кружку чаю из этого чайника и, так как было воскресенье и не надо было в Совет, присидела весь день. Час назад, когда стемнело и хозяйка зажгла лампаду, позвала Лизавету помолиться, Люба вырвалась на улицу, пришла сюда.

— В Подгорнов! — требовали вокруг, толкались на стуже под бока. — В Подгорнов!

Распахнулась дверь. Появился Герасим Живов, потный, как умытый. Хлебнул ртом мороза. С пластинами дыма, с духотой вываливались из освещенной двери члены правления.

— Чего решили, президенты хреновы? — крикнула Фелицата.

— Сама, дура, реши, когда наша любезная председательша жаждает опытов. — Живов остановился, сипло дыша, отблескивая мокрым лбом. — Опыты такие: поселить нас на пустошь и наблюдать — сразу мы там передохнем или постепенно.

Вышла Щепеткова. В ответ на взлетевшее улюлюканье неторопливо сказала, чтоб не шумели, потому что ничего не слышать, когда шумят все. Домовито оправив волосы у виска и вслед за этим надевая свои небольшие белые варежки, объяснила, что ничего особенного не произошло. Судьбу хутора будут определять сами колхозники на общем собрании. Увидав фрунзенские арбы, она позвала к себе на крыльцо возчиков, спросила, как в степи дорога, как доехали, и посоветовала поставить быков в сарай, самим заночевать в теплой конторе, а утром она, Щепеткова, лично отпустит солому. Дарья Черненкова появилась из дверей с Конкиным и Голубовым, зычно бросила колхозникам:

— Ну чего околачиваться здесь, когда не зовут? В кино бы отправлялись, веселей было б!

— Э нет,— остановил Конкин.— Чего нам, Дарья Тимофеевна, держать от них секреты? Пусть знают, что мы, власть, перегрызлись здесь, как собаки. И что мы, которые за освоение пустоши, не уступим! Например, я лично лягу мертвым, а не допущу переезда в задрипанный Подгорнов.

Толпа недобро замерла, Конкин прыгнул со ступенек в гущу и — маленький — сразу потонул среди платков, капелюх. Люба словно проснулась, подалась вперед. «Еще стукнет кто Конкина...» А он тянул к себе за руку Фелицату, спрашивал: почему бог устроил ей глаза во лбу, а не на затылке? Чтоб идти вперед! Он выдернул и Нинку Ванцевку с Марфенькой и, оборачиваясь на крыльцо к Живову, говорил:

— Не тикай, Герасим Савватеич, подожди. Объясни колхозникам, почему ты, член правления, мечтаешь в Подгорнов... Да потому, что у тебя там готовая хата, у твоей помирающей своячины. А где Андриан Щепетков, Фрянсков где? — Конкин крутил головой.— Выходите, докажите, что море, которое подойдет к пустошам,— это не самое главное в нашей жизни!

Конкину орали, что какое будет то море неизвестно, да и вообще будет ли оно. Что если ни у кого, кроме Живова, нету хат в Подгорнове, то и на пустошах ни у кого не имеется хоромов. Но Конкин возмущенно перебивал крики, доказывал, что еще пять тысяч лет назад умные люди в Египте перегородили Нил, организовали такое хозяйство, такую культуру, что до сих пор мы все это изучаем.

— Пусть на Ниле солнца больше, чем на Дону,— объяснял он,— но у нас же энтузиазма сколько!

Заметив вдруг Любу, он обрадованно отозвал ее в сторону, выкликнул из толпы Голубова, сказал ему:

— Вот она, Люба. Отыскалась! Закладывай с ней пролетку и отправляйтесь, действуйте. А я докончу здесь, займусь курсантами.

Люба молча пошла по улице за Голубовым, не зная куда, не понимая, известно ли Конкину и этому Голубову, что стряслось в ее семье... Видимо, не было известно. Голубов шагал быстро, поскрипывая в плечах кожей тужурки. Он не обижался за вчерашнее на Любу; наверно, Конкин говорил с ним. Он принялся на ходу объяснять ей, что они поедут сейчас на свиноферму. Это три километра. Там Люба как секретарь Совета будет говорить с девушками, работницами фермы, агитировать их за отказ от Подгорнова и переезд на пустошь. Девчата будут в сборе, там как раз кинопередвижка. Голубов проедет дальше, к овцеводам, тоже выступит с речью, вправит овцеводам мозги и обратной дорогой, сегодня же, захватит Любу. Конечно, все это можно бы завтра днем, но завтра и в хуторе не заскучаешь. Завтра исполком, партийное собрание, комсомольское собрание, а послезавтра уже — общеколхозное... Почему надо горячку пороть, срочно говорить со всеми? Да потому, что правление сейчас начисто провалилось. Такое же, если не худшее, может случиться и на собрании всего колхоза; не разберется, поддастся народ демагогам и голоснет с ходу за Подгорнов.

— Только вот,— заводя Любу в свой двор, усмехнулся Голубов,— никакой пролетки у нас нет. Поедем верхом.

Он прошагал в выбеленную, светлую при луне конюшенку и, звеня там цепным чембуром и уздечкой, крикнул, чтобы, пока он подседлает, Люба зашла в дом, познакомилась с женой. Люба отказалась, но на голоса в дверях появилась женщина в легкой меховой накидке, наброшенной на плечи. Люба отчего-то смутилась. Она смутилась еще больше, увидев, какая красивая эта женщина с огромнейшим жгутом черных волос и, точно девочка, тоненькая в поясе.

— Едем на фермы, Катя,— пояснил Голубов, выводя из конюшни оседланного жеребца.

— Очень хорошо,— холодно сказала женщина, едва взглянув на Любу.

— Это работник сельсовета, Люба,— сказал Голубов.

— Очень хорошо,— повторила женщина, придерживая у шеи меховую накидку и с равнодушным любопытством наблюдая за мужем.

Голубов охлопал обеспокоенную фыркающую лошадь, подвел ее вплотную к крыльцу, распорядился, чтобы Люба поднялась на крыльцо и с верхней ступеньки влезла на лошадь.

— Только,— сказал он,— позади седла.

Рослый жеребец со свистом стегал хвостом, поджимал круп, на который Любе надо было громоздиться при этой красивой, должно быть очень противной, бабе. К счастью, Люба была в лыжных шароварах, в которых еще в техникуме всегда ходила в морозы. Решительно уцепясь за седло, она села. Голубов, тоже смущенный, сказал жене, что ночью вернется, поднялся в стремени на одной ноге, перекинул другую перед собой поверх гривы. Жеребец вынес за калитку, понес боком, удивленно поворачивая назад голову.

— Давай, Радист, давай,— говорил Голубов.

Спина Голубова в хромовой тужурке была гладкой и скользкой, держаться за нее было трудно; конская тугая кожа передвигалась под Любой, а когда Радист пытался ржать, присасывая ноздрями морозный воздух, Люба слышала ногами, собственной кожей его дрожь и энергичные всхрапы.

Все было необычайно после происшедшего за последние сутки в доме Фрянсковых, на квартире тетки Лизаветы, у конторы... Радист вскидывал Любу на высокой своей спине и, высоко подняв голову, поставив вперед уши, шел прямо на луну, сперва улицей хутора, потом над ериком, вдоль скованных морозом камышей. Голубов впереди Любы молчал. Может, думал, что нехорошо, что не следовало ему при жене уезжать вдвоем с Фрянсковой. Неожиданно он обернулся, подмигнул:

— Держись.

Ударил каблуками лошадь, резко пригнулся. Люба пригнулась тоже, чтоб не оторваться от его спины, и минуты две ухала под копытами дорога, сливались в одно придорожные камыши — высокие и низкие, густые и редкие,— и Люба неслась между луной и этими мелькающими камышами.

Ферма стояла на берегу ерика, среди огромных тополей. Голубов повел Любу, чтоб представить ее коллективу и самому ехать к овцеводам, но кино еще не кончилось, из дальнего сарая, где стояла кинопередвижка, неслась музыка. Порой не по ходу картины, а настоящий, живой из сарая вылетал зычный визг поросенка. Голубов приотворил дверь. Крутили военный фильм, видимо уже вторую половину, потому что вовсю били немцев. Парень сажал из автомата в гущу, и немцы, то скрючиваясь, то широко взбрасывая руки, подпрыгивая, валились один на другого.

— Эк он их! — скривился Голубов и пошел по двору.

— Это ж немцы,— сказала Люба.

— А они не люди?..

Люба поразились. Голубов — этот скандалист, этот, по мнению Любы, горлохват с институтским дипломом, даже о колхозниках, о своих хutorянах, постоянно орет, что надо, мол, вытряхивать из них дыхание, жабры, мол, и все пузыри подонкам выдирать... И вдруг — сочувствие эсэсовцам. Люба возмущенно спросила:

— Значит, фашистов не бить?

— Тю! — сказал Голубов. — Я их бил и еще буду бить — будь спокойна! Я сейчас не о том.

Он с недоверием оглядел Любу, дескать, стоит ли разговаривать с ней на серьезную тему.

— Я, — сказал он, — говорю о положении человека среди других млекопитающих. Животное рождается — одно зайцем, другое теленком. А человеческий детеныш, он по своим качествам никто. Ни фашист, ни коммунист. Сосет молоко, дрыгает себе ручками — и кем ему стать, зависит не от него, а от среды. Ребятишки в Западном Берлине (мы его, Берлин, три дня брали — двадцать четвертая, шестнадцатая, девятнадцатая дивизии), так вот, ребятишки, что рождаются там сейчас, может в эту самую минуту, разве они хоть чем-нибудь хуже наших? Но вырастут в той среде бандитско-международниками. А дай им нашу реальную мечту — ликвидировать пустыню с ее пылякой, с постоянным распроклятым астраханцем, и сформировались бы из них хлопцы я тебе дам! Никогда б я больше не имел нужды надрывать себе душу — колошматить их, получать за них награды. Я награду и за другое получу.

Привычно ухарским движением головы на длинной и крепкой голой шее он кидал кубанку то на затылок, то на глаза, излишне много произносил «мне», «мною», «я», но Люба, хоть ее раздражало яканье, слушала.

— Я к тому, — пояснил Голубов, — что наша среда, именно цимлянская, — это силища почище атомной; любого фашистского детенка в состоянии сделать человеком... И как же нам самим сомневаться — повернем или не повернем людей на оросительную территорию?! Да нас, если не повернем, давить надо. Первых нас с тобой, которым выступать сегодня.

Выступать?.. Люба только теперь это сообразила. Она никогда не выступала перед людьми, кроме как в классе или на комсомольских собраниях, где все были своими. А как же сейчас? Даже на фоне ее неотвязных мыслей о Василии это было страшно. Нет, что же все-таки делать?.. Не глядя на сарай, где вот-вот кончится кино, она равнодушным голосом спросила, о чем ей, с точки зрения Голубова, правильней бы побеседовать с девушками.

— Да хоть о том же, о чем мы с тобой, — ответил Голубов. — О берлинских новорожденных и тут же о том самом, что вокруг тебя. Смотри.

Люба посмотрела. Закостенелая грязь и редкие пятна снега были усеяны пометом, земляной спуск к ерику, где летом терлись накупавшиеся свиньи, был засмальцован и, несмотря на мороз, отдавал затхлым, едким запахом свинофермы.

— Именно, именно! — Голубов кивнул. — Стоим на снегу, на навозе, а скоро над нами метров на пятнадцать — светлая вода выше этих тополей. И вся ее поверхность в солнце, в брызгах!.. А здесь, внизу, между этими ветками, — сазаны, как птицы, или осетер размером в баркас. А?

Голубые, чуть навькате глаза Голубова, окруженные покрасневшими на стуже веками, смотрели на Любу с требовательной мечтой.

— Эти волны, — показывал Голубов вверх, в сторону высокой ярчайшей луны, — они на нашей пустоши войдут в посеянные травы, например, в эспарцет, в фацелию; войдут в каждую ягоду винограда. Они ж не просто волны, они уже заранее наши овеществленные мысли.

Он совсем на затылок заломил кубанку и, раздражаясь, будто Люба с ним спорила, резко сказал:

— Разве можно представить, что живи сейчас Ленин, он бы не писал со всей радостью декреты об этих волнах, не дрался б за них, как за электрификацию или за всеобщую грамотность!

Глава девятнадцатая

1

Если по горизонтали вытянуть перед собой руки и сорок раз достать их ногами, то почувствуешь себя человеком. До этого надо дать себе пробежку, втягивая через нос предрассветный воздух, еще совсем черный, сырой и свежий. Да, делать зарядку надо только на улице, без пиджака, без шапки и никак не в восемь часов, даже не в семь, а на границе ночи и утра, когда и стужа и ранний ветер работают на тебя одного, уже проснувшегося, богатого.

Сергей Голиков усвоил это еще с ребяческих лет. Всегда, когда на душе бывало хорошо, он вставал рано и до умывания, до чая занимался зарядкой. В последние дни дела Сергея налаживались, а значит, на душе прояснялось. После удачной операции с погорелыми хуторами было уже не совестно смотреть в глаза колхозникам. Что же касалось районных работников, то с их точки зрения произошло как бы второе рождение Голикова. Когда он впервые появился в станице с рекомендациями областного руководства на пост секретаря, он этим самым уже имел свое лицо — значительное, непререкаемо солидное, несмотря на молодость. Потом Голиков враз потерял это лицо; по мнению станичных «юристов», споткнулся на своих погорелых хуторах. «Юристы» с совершенной точностью определяли, на какую именно должность снизят Голикова, но он вопреки прогнозам, даже вопреки самому Орлову, взял верх. Он словно бы заново — и уже не по областным рекомендациям, а сам по себе — стал секретарем, и теперь к нему приглядывались, не зная, чего ожидать еще.

Сергею льстило новое его положение. Неожиданно и радостно было сознавать, что именно он организовал помощь выгоревшим степным хуторам, а завтра, вполне вероятно, сделает еще больше. И Сергей готовился к этому большему. Хотя он знал, что сельский период в его жизни лишь эпизод, он упорно штудировал теперь специальную литературу: Вильямса, Костычева, Лысенко, называя последнего не по фамилии, а как и все в станице — Трофимом Денисовичем. После неприкаянности первых недель было приятно обрести корни, чувствовать себя здесь своим человеком. Например, отчитывая нерадивых аппаратчиков, со вкусом произносить ходкие в районе слова: «филькина грамота» и «шарашкина контора». Домашние отношения тоже упорядочились. Еще недавно Сергей ссорился с женой по всяким мелочам. Сейчас, занятый работой, успокоенный, он смотрел на Шуру как старший, даже любовался ее наскаками, без которых, собственно, не было бы Шуры, как не бывает моря без штормов.

Итак, Голиков делал на улице зарядку. Сила была в том, чтобы с первой секунды, как выскочишь без пальто и шапки на мороз, не сгибаться, не прикрывать подбородком теплую с постели шею. Надо развернуть плечи и бежать, пока не заходит кровь, не наступят чудесные минуты теплоты. Тогда можно притормозить, разминать мышцы, в полное удовольствие любоваться еще не ушедшей ночью. Сегодня было ветрено. В конце улицы, у нефтебазы, сияла тысячеваттная лампа, свет от нее бил наземь огромным треугольником, который покачивался, ходил вправо и влево. В небе над треугольником висела едва тронутая рассветом темень, и Сергей шагал, думая, что день только начинается, планируя, что он сделает за этот день.

2

В бытность в Ростове Сергею случалось летать в командировки в Москву. Под «дугласом» проплывали деревушки, все почти что на

одно лицо, все одинаково незначительные, сонные. Казалось, в промежутке между городами, редкие на карте поля, вечно спят деревни под двухстворчатými скорлупами крыш.

Теперь, бывая в колхозах, Голиков увидел, как сложна и напряженна жизнь под этими крышами. Любая бригада, даже самая маленькая, затерянная в полях и перелесках,— это целое государство. Семь-восемь хат, притулившихся к сараям и механизированному току, в хатах всего лишь человек тридцать, считая детей, а сколько там внешней и внутренней политики, противоположных тенденций, нерешенностей!.. Анна Ивановна разоблачает бригадира — собственного родного брата; комсомолки Варя, Валя и Тоська — горой за Анну Ивановну; другие комсомольцы — за бригадира; а в результате общей свары не ладится с планом. Кто такая Анна Ивановна? Склонница или, наоборот, правдолюбец, которому безразлично, жить или умереть, лишь бы добиться правды? Кто этот бригадир — немногословный, приятный с виду человек, недавно вступивший в партию? Почему хорошие девчонки — Варя и Вера, из которых каждой в отдельности безоговорочно поверишь, с настойчивостью показывают противоположное?

Чтобы разобраться, не напортачить с выводами, мало заехать в бригаду, надо проникнуть во все ее поры, жить там и неделю и две. Эта бригада — лишь малая часть одного колхоза. Колхозов в районе множество. Кроме них, три МТС, три огромных совхоза, в каждом многочисленные отделения со своими людьми, а значит, с напряженными задачами. Однако Голиков не терялся. Во всей стране секретари райкомов живут нормально. Они не рвут себя на части, а спокойно опираются на свой штат в райцентре и на партийные организации в глубинках. Чего ж мудрствовать Голикову? Он поступал так же, как все, а для активного контроля лично проверял отдельные участки.

Сегодня после зарядки и нескольких часов работы в райкоме он отправился в переселяемые колхозы. Говоря по правде, его всегда интересовала не только цель поездки, но и само по себе передвижение в машине. Самый процесс, начиная от заправки и выезда из гаража со встряхиванием на колдобине, радовал Сергея. А за станицей, на просторе шоссе, где можно дать мотору полную нагрузку, начиналось и совсем захватывающее: погоня за вечно уходящим горизонтом. Сергей сам водил машину, пересаживая за околицей на свое место шофера Николая Витальевича. Сегодня Сергей взял баранку еще возле райкома, профессионально-мягкими движениями переключал скорости, прибавлял и сбрасывал газ на подъемах и спусках волнистого придонского профиля. Порой он выходил из машины и, перепрыгнув через кювет, рассматривал зеленя.

Теперь для Голикова это была не просто трава, присыпанная снегом, а о з и м ь, и под ней не просто земля, а п о ч в а, в которой после чтения Вильямса и обычных в последнее время бесед с агрономами Голиков кой-как начинал разбираться. Но это было далеко не все. К удивлению Сергея, в него начинало просачиваться не только понимание агротехники, но и самое главное, без чего не жить человеку в степи,— ощущение природы. Хорошее дело — вдыхать запах увядшего донника, ступать сапогами не по асфальту, а по хрусткому насту или, как сейчас, наклониться на остром, напористом ветру над кустами озимки. Через секунду разогнешься, оглядишь кругом равнину — безлюдную, вроде мертвую. И вдруг впереди замелькало что-то. Сразу не ухватишь надутыми ветром глазами — что пошло по прошлогодним травам? Лисица, русак или, стелясь над травой, полетела ворона? А может, аж километра за три, верховой под самым горизонтом?.. В поле все чудно и до сих пор неожиданно Голикову... Он садится за руль, закуривает махорку Николая

Витальевича, со вкусом едет по своей все более понятной, колхозной земле.

И все же в районе его по-настоящему захватывала только стройка. Даже то, что косвенно связано с ЦГУ (так называли все центральный гидроузел), неизменно волновало Голикова. Вот впереди показалась дорога — одна из множества дорог, ведущих на ЦГУ, — и уже Сергей словно бы подтягивается, садится прямей и веселей. Хотя до дороги еще далеко, гул моторов уже заполняет воздух. Николай Витальевич начинает беспокоиться, хочет забрать баранку, но Голиков отказывается, с разворота выезжает на грузовую трассу, держит обочинной параллельно встречному потоку. В четыре плотные ленты, все в одну сторону, все с грохотом и завыванием, мчатся «МАЗы», «ЗИСы», «ГАЗы», груженные горами свежего камня. Будто недра земли стали на колеса, пошли по профилю на резиновых тугих баллонах. Хлипкая голиковская легковичка среди великанских железных самосвалов живет каким-то чудом. Кажется, вильни на один лишь сантиметр любой встречный «МАЗ», пронесись по его следу еще полсотни самосвалов — и, как пустая консервная банка, сплюснутая и жалкая, никому нисколько не мешающая, останется лежать «Победа» под мелькающими колесами.

У поворота к Дону, к хуторам, Сергей свернул с трассы, опять окунулся с Николаем Витальевичем, с машиной в тишину, в спокойный, медленный мир. С неба прорывалось ласковое предзакатное солнце, и на берегу Дона ярко, словно в июле, светились красным цветом вербовые прутья, зеленели на снегу плети ежевики. Неровно заснеженный бугристый Дон почти не угадывался среди низких берегов, сравненной поземкой; на льду лежала такая же, как на поле, утрушенная половой, поклеванная подковами дорога, а все-таки Дон оставался Доном!.. На просторных, как стадионы, ледяных площадях, на середине, отчетливо пахнул мороз волной, ясно чувствовалось в глубине, под машиной, извечное, могучее движение большой воды. Вода шла для стройки, как шли для стройки самосвалы с камнем, как ехал он, Голиков, чтобы проводить переселенческие собрания, ломать к черту мешающие делу мелочные свары хуторян. Не так уж трудно руководить районом, когда смотришь в главное.

В таком готовом уже настроении, заранее предубежденный и боевой, приехал Голиков в колхоз имени Щепеткова.

3

Настасья Семеновна была у себя в конторе, когда на улице остановилась машина секретаря райкома. Голова Настасьи раскалывалась. Завтра с утра начиналось общеколхозное собрание; сегодня, тоже с самого утра, непрерывно, одно за другим, прошли расширенное партийное собрание, затем комсомольское, потом заседание сельсовета. Настасья вышла на крыльцо навстречу секретарю вымученная и безразличная. Голиков же был бодр, сказал, что остается ночевать, энергично стал расспрашивать, как прошла подготовка к завтрашнему голосованию. На улице вечерело. Со стороны площади, откуда-то с воздуха, раздался приближающийся крик гусяного стада. Это гуси шли сюда летом. Через секунду над крышами домов, разгоняя воздух широкими крыльями, понеслись, снижаясь к пустырю у колодца, белые птицы. Хрустнула, покатилась с вербы сбитая гусакон сухая ветка. Птицы грузно садились, выставляли вперед лапы, взметывали на дороге пыль и солому. Они возбужденно гоготали, переговаривались, то стеля длинные шеи, то вытягивая их кверху. После степного ветра здесь было особенно тихо, мягкий

воздух ласкал кожу на лице Сергея, и в этом воздухе нежились нескончаемые кореновские сады, прочно стояли дома на каменных фундаментах, под толстыми желтыми крышами.

«Здорово живут куркули!» — думал Голиков, вспоминая хилые степные поселки, все больше утверждаясь в желании не панькаться с хутором Кореновским.

— Поделились с погорельцами фуражом? — спросил он.

— Поделились. Мы добрые, — холодно ответила Щепеткова. — На этой соломе пуп свой рвали, стаскивали к хутору по распутице. А они забрали по морозу. Готовенькое.

Сергей возмутился: даже у председательницы такие кулацкие настроения! Но срываться ему не полагалось. Он педагогично спросил, что вообще думает Щепеткова о нынешних событиях, как относится к переселению.

— Надо, значит поедем, — вздохнула Щепеткова.

Голиков заметил ей, что вздохам здесь не место, возбужденно стал говорить о соединении завтрашнего Цимлянского моря с Каспийским, Азовским, Черным, а на севере — с Балтийским, с Белым. И разве все это не окупает мелких, естественных потерь? В войну больше теряли.

Щепеткова слушала, но Сергей видел, что между ним и этой женщиной стоит та прозрачная, но совершенно непробойная резиновая стена, какая еще недавно стояла между ним и железным бюро ростовского горкома, когда бюро отрывало Сергея от аспирантуры. Сергей попрощался со Щепетковой, пошел по хутору. Интересно, что думают остальные отцы колхоза? Их можно сейчас собрать в правлении, а еще лучше в сельсовете, у Конкина, но это получится лишь официальный разговор. Что, если запросто зайти в один, в другой дом, взять и побеседовать по душам? Вообще-то на их точку зрения плевать, они все здесь пропитались собственническими мелочными настроениями. Зажирили, в отличие от степных хуторян, которые знают почему фунт лиха.

Сергей перешел широкую площадь с памятником и оградкой посередине, шагал по широкой тихой улице.

— Кто здесь живет? — остановил он проходившую девочку, показал на высокую хату.

— Черненкова, секретарь партийной организации.

Голиков уже встречался с Черненковой у себя в райкоме. Он постучал, дверь ему открыла целая куча детей. Дарья мыла полы. Она подняла голову и, придерживая рукой вырез на блузке, выпрямилась, плечом отвела с лица рыжую прядь.

— Вам кого?.. А-а, Сергей Петрович! Пожалуйста!

У входа было уже вымыто. Некрашенные белые полы, выскобленные до живого дерева кирпичиной, натертые желтым песком, влажно сияли под лампой. Голиков покосился на свои пыльные сапоги.

— Ну да ничего! — крикнула Дарья. — Наши ковры не попортятся. Нюся, дай дяде табуретку. Вон ту вот! Сергей Петрович, раздевайтесь.

Детей в комнате было так много, что Голиков не сразу заметил бухгалтера Черненкова, который раскатывал на столе тесто. Смущенный, что его застали за бабьим занятием, Черненков начал было вытирать руки, но Дарья осадила:

— Чего причипуряешься? Сыпь муку. Не видишь — пышка у тебя на качалку липнется!

И сказав Голикову, что она сейчас, принялась размашисто доскабливать доски, поворачиваясь то широким, как печь, задом, то лицом.

Бедра у нее были широченные, живот большой, но целиком она была по-кобыльи статная и такая могучая, вся видная мужскому глазу, что Голиков отвернулся, стал смотреть на детей.

Двое играли на скамье замусоленными кусками теста; две старшие девочки помогали отцу — выдавливали стаканами тестяные кружки на вареники; еще одна девочка каталась, как на тачке, на отцовских конторских счетах; а по неоглядной кровати, среди равнины зеленого одеяла, между громадными подушками, лазил младенец-ползунок.

Все ребята были мордастые, краснощекие и такие же добротные, как цветочные горшки на подоконнике, обернутые розовой бумагой, как ясеневая долбленая люлька, привешенная к потолку.

— Ужасно люблю пацанят,— сказала Дарья, заметив интерес гостя к ее ребятам.— Особенно маленьких. Одно подрастет, я сразу другого!

— И не трудно ухаживать, когда так много?..

Дарья засмеялась басом.

— А у меня конвейером. По отдельности ясно не успеешь, когда одного купать, тому жрать, этому ж... бить. Так я всех сразу.

Сергей с неуважением подумал о себе и Шуре. У них проблема — одна-единственная Вика да еще при отличной няньке. Он подошел к зеленой кровати — этому комбайну семейного счастья Черненковых, взял на руки младенца. Дарья предупредительно выдала двумя пальцами соплю из малюсенького носа младенца, который сразу заорал и сразу успокоился.

Все это была идиллия. Мальчишка был тяжелый, упругий, его было приятно держать на руках, но Голиков пришел не за этим, и он спросил у хозяйки, как обстоят переселенческие дела. Дарья, закончив с уборкой, переодевалась за шифоньером. Она сообщила оттуда, что все сегодняшние собрания и совещания колхозного актива прошли неплохо, но что в колхозе есть несознательные элементы, которые рвутся в Подгорнов, гнут свое. Их, сволочей подлючих, надо будет завтра брать в оборот.

Это совпадало с тем боевым, с чем Сергей приехал сюда, в хутор Кореновский. Он твердо поддержал Черненкову и поинтересовался, а как она сама — так сказать, в душе — относится к переезду.

— Тю! — сказала в ответ Дарья.

Она вышла в чистом платье, надетом для гостя, литая, тугощекая, с красноватыми надбровьями.

— Чего мне относиться? — удивилась она.— Есть план улучшения природы, так ясно же, что надо бороться за выполнение!

Действительно, все у Черненковой, партийного вождя колхоза, было ясно. Теперь бы следовало повидать местных стариков, тех людей, которых называют массой. Ведь, может, не зря ругают в печати сельских райкомовцев за то, что общаются лишь с председателями колхозов да в лучшем случае с секретарями парторганизаций. Голиков спросил у Дарьи, кто здесь среди рядовых дедов самый языкатый.

— А дед Фрянсков,— улыбнулась Дарья.

— Это точно,— робко вставил бухгалтер Черненков, но жена не обратила внимания на его высказывание.

Голиков поднялся.

— Куда? Ужинать! — всполошилась хозяйка.— Сейчас поспеют вареники.

— Спасибо.

— Покушаете, после скажете.

Но Голиков еще раз поблагодарил и категорически отказался.

На улице, под луной, возле приметного флигелька деда Фрянскова, он столкнулся с доцентом Розом, с которым поддерживал в Ростове шапочное знакомство. Роз был фольклористом, печатал статьи и отдельные брошюры по казачьим говорам. Сейчас, накануне затопления, когда

в станицы хлынули мелиораторы, геологи, архитекторы, повалили и языковеды спешно хватать материал, точно бы вместе с землей море собиралось поглотить и стариков, хранителей донских былин и песен. Оказалось, Роз давно знал Лавра Кузьмича Фрянскова, сказал, что познанокомит Голикова с ним. У флигелька крутилась рыжая собака, окна были темными. Роз принялся барабанить, и за стеклом, точно в негативной пленке, возник щуплый дедок в белье.

— Чи товарищ Роз? — всмотревшись, спросил он. — А Рыжка не гавкала?

— Не гавкала.

— Завтра убую, сделаю шапку. Идите до двери, я сейчас ногу надену, — сказал он, запрыгал на одной ноге от окна.

В комнате, когда хозяин засветил лампу, Сергей увидел голубые стены, спящую на диване старуху, завершенные и незавершенные чучела птиц на столярном верстаке. Не только у филина и ястреба, но даже у безобидных чижиков были распахнуты крылья и хищно раззявлены клювы — так, видимо, считал мастер, было интересней. Роз представил Голикова, громко сообщил, что это секретарь райкома, однако высокая должность гостя не вызвала в Лавре Кузьмиче почтительности. Он лихо подкручивал иглы щуплых своих усиков, подчеркнуто внимательней относился к Розу, человеку без чинов. Знай, мол, секретарь, нашу хуторскую вольность!

— Получил я, — сказал он Розу, — ваше письмо. Вы спрашиваете, как мы говорим: «сегодня» или «нонча»? «Когда» или «когда»? Дак вот отвечаю. Мы — по-станичному. У вас в Ростове «сегодня», а мы — «нонча». У вас «когда», по-нашему — «когда»... Еще вы пытали насчет овощей. Дак «памадоры» так и будут — «памадоры».

— А раньше как? — записывая все, что говорит Фрянсков, спросил Роз.

— А на что вам раньше? Раньше — «богови яблочки».

«С этими «боговими яблочками», — подумал, заерзав на табурете, Голиков, — прочиликаешься до полуночи, а мне на завтра надо собрать мнение по переезду в десять мест». Но он решил терпеть, коль уж надумал разговоривать с людьми в естественной, не в казенной обстановке. Роз вынул из кармана, поставил на стол бутылку водки, как, видимо, и полагалось при фольклорных беседах.

— Я вам, — сказал Лавр Кузьмич Розу, — исполню сейчас ту песню, что вы интересовались. Только надо, чтоб бабка подмогнула.

Он потряс спящую на диване бабку. Та раскрыла глаза и, несколько не удивляясь, что в доме народ, поднялась на подушках, ответила на поклон незнакомого Голикова, гостеприимно заулыбалась Розу.

— Сыграем «Ой да тикла!» — прокричал ей в самое ухо Лавр Кузьмич. Он сел к столу, поставил локоть на клеенку и, переждав мгновение, чтоб сосредоточиться, затянул:

Ой да тикла речка, река, ой, ну-ка бы-э-нстрая.

Ой да бережо-бережочки сно-е-сить.

Глухая бабка всматривалась в губы мужа, определяла по движению губ, когда ей вступить. Уловив нужный момент, запела громким контральто:

Ой да молоденькай з Дону казачочик,

Ах да и хорунжева про-е-сить.

Все было удивительно: чучела на верстаке, сосредоточенный Роз, набрасывающий в тетради какие-то значки, и эта диковатая, должно быть очень старая песня, совершенно непривычная слуху Сергея. Он не

мог понять, действительно это здорово или чудновато. Лавр Кузьмич дирижировал одной рукой, а другой подергивал кожу на кадыке, чтоб лучше получались вариации всех этих протяжных «ой да» и «ай да и эх». Когда песня кончилась, Фрянсков поглядел на сосредоточенного, явно растроганного Роза.

— Хорошо поете,— похвалил Голиков, чтоб подладиться к хозяину.

— Поют в церкви,— ответил Лавр Кузьмич,— а у нас играют.

Сергей покосился на часы на руке и уже без околичностей спросил, что думает Лавр Кузьмич о завтрашнем собрании.

— Я скажу, чего вы думаете, а не чего я! — ответил Фрянсков.— Вы думаете, как я завтра проголосую. И требуется это вам для завтрашних протоколов, а не потому, что заинтересовались мной, трудящимся человеком. Рази вы спросили, как мое здоровье? Нет! Или спросили, об чем я в своей трудовой жизни мечтаю? Тоже нет!

Сергей помаргивал, а Фрянсков, победно взглядывая на Роза — дескать, Лавр Кузьмич, он и не такое отпалает сейчас начальнику,— говорил:

— Четвертый десяток строю я социализм, а до меня в хату первый раз пожаловал секретарь райкома. И чего ж он, боже ты мой, спрашивает?.. Давайте уж тогда я вас, товарищ Голиков, спрошу! Вы хоть где-нибудь на всем Дону встречали места лучше наших?

Сергей задумался. Действительно, во всей Ростовской области он нигде не видел более богатой земли.

— А хуже, чем то, куда нам ехать, наблюдали? — продолжал допрашивать старик.

Да, Сергей не наблюдал и худшего. Участки завтрашнего заселения представляли собой удаленные от реки, высоко поднятые вздыбленной степью черствые равнины. Среди этих сухих, исхлестанных ветром равнин благодатные станицы Дона с их левадами и садами, с их тучными виноградниками были как бы оазисом в пустыне. Именно этот оазис сейчас ликвидировался, отходил под море, а пустыня заселялась.

— Уж раз вы жаждали беседовать,— витиевато говорил Фрянсков,— то не поглядывайте на свои часики, а послушайте в подробностях про меня.

Голиков раздраженно кашлянул. Вместо разговора о завтрашнем собрании, сиди, как чужак, в гостях, выслушивай то песенки, то прибауточки хозяина хаты. Видимо, руководители не зря, когда хотят беседовать с кем-нибудь, вызывают к себе в кабинет.

— История моя,— неторопливо, со смаком завел Фрянсков,— имеет поучительное название: «Как я всю жизнь собиралси жить». Нехай и товарищ Роз записывает, а то он все пишет про одни древности, про Кондратия Булавина... Значит, отбыл я первую империалистическую войну целиком всю. От звонка до звонка. Вернулся сюда, в родный хутор, и,

Хочь измученный был,
Как на льду крокодил,

принялся производить здесь революцию. Вот этой рукой,— Фрянсков показал свою руку,— и этой самой сашкой,— кивнул он на клинок, привешенный к стене.— Произвел и думаю: теперь начну жить в полное удовольствие, поскольку все мое — и воды, и недры, и полнодержавная моя власть. «Нет,— говорят,— трошки потерпи. Надо провести еще борьбу с голодухой, тифом, а само главное, с бандами». — «Пожалуйста», — отвечаю. Опять вооружаюсь дорогой подругой сашкой, теряю в бою ногу. Вот тут была у меня коленка.— Он звучно постучал по деревяшке, пристегнутой к культе.— Так меня в ту коленку и засветили пулей. За-

светил есаул Кошкин. Я конем на него скакал, он хотел мне с нагана в живот и промазал с растерянности. Ну, ближе к делу. Бандитов стрелили, голодуху прикончили, теперь-то уж живи! «Нет,— говорят,— давайте коллективизацию и пятилетки по четыре года». Дали. А тут вот он Гитлер. Прикончили и Гитлера в его собственной берлоге. Не скажу, что я его рубал лично, но восемнадцать тысяч пятьсот рублей своего с бабкой сбережения пожертвовал на танки. А как взяли Берлин, мы пять лет спать-отдыхать или разогнуть горб не помнили и с полной честью провели восстановительный период. Теперь-то уж во все удовольствие можно жить! «Нет,— говорят,— давай, Лавр Кузьмич, преобразывай климат. Метися с хутора, а уж после начнешь жить». А мне семьдесят шесть. Завтра ни встать, ни сесть.— Очень довольный собой, Фрянсков захохотал, блестя голыми, точно полированными деснами.

Он сделал знак бабке, та принесла соленый арбуз, порезала сверху вниз на скибы, развалила на стороны огромным бордовым цветком. Лавр Кузьмич выковырнул из бутылки картонную штампованную пробочку, разлил водку по стаканам.

— Не гребуете с нами? — спросил он Голикова.

Из-за язвы пить Сергею не полагалось, но он взял стакан, чокнулся с мужчинами, с бабкой и выпил.

— О! — Фрянсков посмотрел на него уже ласковей.— Ну а какой все ж таки дадите ответ насчет меня? Имею я все ж таки право хоть под старость спокойно пожить или не имею? Молчите?.. А Щепетков Матвей Григорьевич, хоть имел всего два класса образования, не молчал. Бывало-к, падаем на походе, просим у него: «Матвей Григорич, дай отдохнуть». А он сам смученный, сам кругом пораненный, выпрямится в седле, как орел, и говорит: «Никаких отдыхов ни вам, ни мне лично во век веков не будет. Раз мы,— говорит,— красные революционеры, то вся-то наша жизнь есть борьба!»

Фрянсков назидательно приставил палец к носу Голикова, заключил:

— Вот это самое каждому положено заучить. Что вся-то наша жизнь — борьба!

— Так черта ж вы хотите, если сами все знаете? — озлился Голиков.

— А я не себе загадывал. Я вам,— опять захохотал Лавр Кузьмич, явно красуясь перед Розом.— Желал знать, как вы, товарищ секретарь райкома, ответите мне на мою историю жизни. Я желаю, чтоб со мной нынешние начальники так же обращались, как Щепетков. Без брехни!

Он еще ближе подвинул к лицу Сергея заскорузлый палец, покрытый понизу ороговевшей пластиной мозолей, и, уже не оглядываясь на Роза, раздраженно подергивая усиком, продиктовал:

— Матвей бы Григорьевич не стал врать, что уходить мне из родного хутора прекрасно и замечательно. Сказал бы, что это мне плохо, но требует революция! Не хвентил бы и не подходил с дальней стороны — что, мол, я думаю о собрании...

В комнатенке было жарко, пахло арбузом и чадило из лампы. На Сергея смотрели птичьи чучела своими белыми ватными глазницами, куда Лавр Кузьмич не вставил еще глаза. Ушастый филин, мордастый, как кошка, тоже недоконченный, но уже с этикеткой «Ростовская таксидермическая фабрика», раскинул вдоль стены крылья. Фрянсков принес из погреба вина в огромной жестяной кружке, дегустировал его с Розом, не очень насилуя Сергея, поскольку душа гостя меру знает и гость показал уже, что не брезгает хозяйским хлебом-солью.

— У меня всего вдосталь,— хвастался Лавр Кузьмич перед Голиковым.— Гусь? Пожалуйста, гусь. Вино? Хоть залейся — вино. В любой дом в Кореновском зайти — так же! И дурак тот, кто до нас приедет и от шибкой сознательности смотрит волком... Разве правильно,

чтоб крестьянин жил плохо? Правильно, чтоб он жил хорошо! Чем я пред государством хуже, чем тот дед в сухом степу, что выучил, бедолага, слово «дотаця» да каждый год и зарится на дотацю? Мы не сами вино пьем, фрукту кушаем. Я, колхоз, ведро красностопа выпил, шестьсот ведер — шампанскому заводу. Грушу-яблочко сгрыз, триста тонн — государству. Так же и другую фрукту, и свинью, и овечку. А вы — город. Не будь нас, не будет вас. С вашим индустриализмом... Еще и спрашиваете — как я завтра проголосую насчет земли?!

Фрянсков куражился, работал на своего старого знакомого Роза, но Сергей начинал ощущать, что земля хутора Кореновского, как и земли других придонских хуторов и станиц, уходящие под море, — это не так уж «ясно», как считает Дарья Тимофеевна Черненкова.

Фрянсков подливал Розу и себе, говорил о паводках, пригоняющих под хутор рыбу, о южных склонах кореновских бугров, где под прямым солнцем, под накалом наливаются виноград; рассказывал о яблочке и капусте, о камышах, что в жирном «грунту», по пояс в воде, вымахивают в два и в три человеческих роста — и вот она, кровля на дома, огорожа, топка. Сергей узнавал, что гуси и то не проблема на этой воде, на благодатных илѧх. Посадит хозяйка на гнезда десяток гусынь и с весны до морозов не желает видеть свое стадо. Гусята щиплют траву по левадам, глотают в ерике малька, головастика. Их только к Октябрю или к Новому году сажают на зерно, чтоб залились салом и отбило в них рыбный запах. «На двенадцать дней на зерно, — пояснял Лавр Кузьмич, — а то после с-под пера пойдет колодка».

— Это все так, — перебил Голиков, — но разве верно, чтоб вы сидели здесь, благоденствовали, а все степи вокруг оставались пустынями? Нельзя ж так! И ехать вам надо не в Подгорнов! Обязательно надо на новые участки, где большое будущее.

Слово «будущее» явно задело Лавра Кузьмича. Он насмешливо поглядел на Роза и с предательской улыбочкой сказал:

— Нас, казаков, ученые считают за редких икзимпляров, вроде за жирафов, которые еще не повыздыхали. Не тем интересуются, куда нам устремляться, а как, мол, я произношу — «хочь» или «хучь». А нам надо знать, как жить завтра. Только без брехни знать!.. Мы ж, товарищ секретарь, — опять перенес он огонь на Голикова, — не дурачки, не дюже верим вашим лекторам насчет морской той радости.

Провожая гостей, Фрянсков накинул ватник, вышел на крыльцо. Когда Голиков и Роз отошли, флигель осветило вспышкой, грохнул выстрел. Это Фрянсков застрелил Рыжку, которая не гавкала.

Глава двадцатая

1

Наутро, когда Голиков проснулся и вышел из Дарьиной хаты, где он ночевал, все вокруг было бело, весело, подвижно. Летел снег. Он нарядно облепывал дома, заборы, деревья. Чья-то пара лошадей на другой стороне улицы стояла, как ватная, не видать было даже сбруи. А возле лошадей детвора — тоже облепленная снегом — катала огромный белый ком, толкала его плечами и руками. Половина детей оказалась черненковскими. Сами Черненковы уже ушли; старшая девочка, с материнской хваткой исполнявшая роль хозяйки, накормила Голикова разжаренными варениками и кислым молоком, и Сергей отправился в клуб, где на девять утра назначалось собрание. Он с тревогой шагал по праздничной от снега улице, жалел о потерянной ясности и злости, с которой ехал вчера в Кореновский и с которой расстался в доме этого прибауточника,

Лавра Кузьмича. Сейчас Голиков понимал, точнее — ощущал тоску хуторян по благодатной земле, политой их кровью, возделанной трудовыми, корявыми, как у Лавра Кузьмича, руками.

Не дойдя на целый квартал, Сергей уже увидел у клуба людей, о которых напряженно думал и вчера, расставшись с Фрянковым, и не один раз просыпаясь ночью, за которых отвечал...

2

Что касалось самих людей, за которых Голиков отвечал, то незначительная их часть, правленцы, поминали его, забравшего солому, лихом, а большинство и вообще не знало, что на свете существует какой-то Голиков. Они шутили и смеялись. Видимо, хутор вошел в обычную колею, привык за последние месяцы к постоянным потрясениям, жил среди них своей жизнью, как и на фронте, среди ранений, даже смертей, люди живут, пьют водку, смеются... У клуба было шумно. Подходили все новые женщины и мужчины, приодетые точно к октябрьской демонстрации; стояли давно явившиеся девчата, отдельно — парни с сигарками: всюду бегали школьники, время от времени получая по шеям от взрослых. Их сегодня отпустили, потому что педагоги — члены колхоза — тоже явились на собрание, как явился и весь карьер. Поодаль, еще не отправленные на конный двор, виднелись брички, привезшие людей с ферм, а рядом — чей-то новый «газик» и солидная, цвета морской волны, «Победа» Орлова с белой снежной опушкой на радиаторе. Сбоку стоял Орлов с хозяином «газика» — полным мужчиной в каракулевой кепке. Голиков и Орлов пожали друг другу руки — крепко, крепче, чем делали это всегда; видимо, чтоб не показать один другому охлаждения. Весь район-центр понимал, что перевод Бориса Никитича в Ростов теперь задержан, острили, что Голиков «подстелил ему соломки, чтоб мягче упасть», но сам Орлов вел себя ровно. Ровно держался и Голиков. Орлов познакомил его с плотным мужчиной. Должность мужчины напоминала выписку из приказа, произносилась длинно: заместитель начальника экспедиции по проектированию населенных пунктов в связи с затоплением. Он обрадовался Голикову.

— Очень хорошо, — сказал он, — что вы здесь. Я уже говорил товарищу Орлову, что собрание сегодня надо провести как можно организованнее.

Он сообщил, что в соседнем, тоже затопляемом районе, станицы Заплавская, Еланская, Платовская и хутор Кошкин пятый раз забаллотировывают выделенные им участки. Нельзя повторять их ошибку. Щепетковцы должны сегодня твердо и определенно выбрать пустошь.

— Не так это просто, — заметил Орлов. — Правление-то у них ни к чему не пришло, решения не подготовило.

— Значит, — сказал заместитель начальника, — пусть утверждают любое место.

— Нет, — запротестовал Голиков, — любое нельзя. Как же допустить, чтоб они покинули такую благодать, как Кореновка, и не имели будущего?! Надо нажать на все и вся и выбрать именно орошаемую землю.

Орлов звучно засмеялся.

— Делаеть успехи, Сергей Петрович. Решать-то как-никак должны члены колхоза, а не ты. А ты можешь или соблюдать демократию, или пытаться ее нарушить.

Он стряхнул с рукавов снег, кивнул на клуб.

— Народ вон уже повалил. Пошли!

В коридоре у входа в зал меловыми буквами на красной материи было написано: «Добро пожаловать», а в зале над сценой — «Слава великому Сталину» и «Да здравствует Волго-Дон». Президиум: по предложен-

ному из рядов подготовленному списку избрали такой обширный, что казалось, все люди переместятся из зала на сцену. В дружном грохоте хлопков, встав всем залом, избрали и почетный президиум.

После рассказа Настасии Семеновны о поездке на пустошь начались прения. Все развивалось, как хорошо продуманное закаленными генералами, расписанное по пунктам сражение. Руководящие работники, занявшие первый ряд президиума, были людьми опытными. Они все время помнили о провалившемся позавчерашнем правлении и были начеку. Довольные первой удачной операцией — толковым сообщением Щепетковой, — они старались дать высказаться массам, придерживали собственные выступления на случай плохого поворота. С мест говорили и за и против. Больше всех выступали кадры Конкина, Черненко́вой, Милки Руженковой. Они расхваливали перспективы пустоши, превозносили значение искусственных поливов, но чем сплоченней действовал актив, тем, видимо, больше замыкались сторонники хутора Подгорнова.

Сидели уже два часа. Было душно. Все больше сгущался запах мокрой согретой одежды, нанесенного на ногах подтаявшего снега и дыхания людей. Голиков не мог уловить, в каком именно месте покачнулась идея нового участка и пошла под уклон. А она пошла... Желая сразу же выправить, Голиков взял слово, стал говорить о миллионах рублей, отпущенных правительством на орошение, о машинах, которые не смогут пойти на изрытых природой подгорновских кряжах, а, как по выстроганному столу, пойдут по равнинам нового участка, обеспечат переселенцам урожай. Когда он сел, одни хлопали, другие — он видел — шушукались.

Голиков, в сущности, не знал ни тех, ни других... Их было много, таких, как Сережка Абалченко и Милка Руженкова, готовых в огонь за новое; таких, как Фрянчиха, готовых тоже в огонь за старину; и людей, вроде Маруси Зеленской, не знающих, кто прав, кто нет. Даже руководители, стремившиеся к одной цели, исходили из разных мотивов. Щепеткова, которая вела собрание и ратовала за пустошь, ненавидела эту пустошь. Пустошь — голая, обдута — с первого взгляда не приросла к сердцу Щепетковой, хотя Щепеткова хозяйским умом понимала преимущества участка над морем. Дарья Черненко́ва тоже ратовала за пустошь, но делала это потому, что имелась рекомендация обкома — заселять орошаемые территории. Для Конкина с Голубовым пустошь была живой дорогой в завтра, на которую они уже ставили людей на своих курсах; для Орлова и заместителя начальника экспедиции по проектированию населенных пунктов пустошь означала честное и точное выполнение служебного долга. «Подгорновцы» же, которых все вместе здесь уговаривали, попросту боялись новшеств. «Кто их видел, те поливы? Тут либо в стремя ногой, либо в пень головой!..»

Герасим Живов и Щепетков Андриан возглавляли подгорновцев. Хоть Андриан работал на карьере, но оставался членом колхоза, членом правления и теперь, дождавшись своего часа, яростно клевал Настасью Семеновну, требовал переезда в Подгорнов. Прежде щепетковцы решали вопросы, которые по самой сути были решены заранее. Бывает ли два мнения, если, например, на повестке дня повышение трудовой дисциплины или расширение посевных площадей. Не очень уж сложно решить и другое — удовлетворительной или хорошей признать работу правления. Сегодня же ничто не было просто или предрешено, а зависело от самих хуторян, все касалось их жизни. Требовательно раздавались голоса за Подгорнов. План операции, так разумно подготовленный, рушился, и президиум двигал уже всю «обойму». Только что выступил Орлов, теперь взял слово Валентин Голубов, но, как говорится, пережал, слишком горячился, а когда на трибуну вышла Дарья Тимофеев-

на Черненкова и трахнула кулаком по доске, Сергей увидел, что дело совсем скверно.

— Нельзя так,— громко окликнул он.— Мебель перебьете.

— Ничего,— отозвалась Дарья, принимая реплику секретаря за поощрение, и повернулась к залу:— Вы что ж, не доверяете государству?.. Не пройдет, товарищи, ваш номер. Хватит! Будем думать на завтра не о своих индивидуальных садочках в жерделках-яблочках, гори они огнем, а про социалистическое планирование! Будем, не сходя с места, думать про интерес колхоза.

Привыкнув диктовать на своих бюро, Дарья диктовала и здесь, отпугивала людей; и выступившему следом Конкину зал уже не поддавался, гудел, как ненастроенный репродуктор. По второму разу говорили Орлов, Голиков, Настасья Семеновна, но, когда Настасья Семеновна объявила голосование, люди избрали Подгорнов, а участок над морем с его орошениями, с высоковольтной линией, со всеми перспективами оказался проваленным.

3

Конкин перегнулся к Щепетковой, распорядился: «Не отпускай, Настя, по домам, объяви перерыв».

— Зачем вы это сделали?— спросил Орлов Конкина, когда Настасья Семеновна объявила получасовой перекур и колхозники, оборачиваясь на сцену, недоумевая, почему задержка, двинулись на улицу.

— Пройти б и нам,— глядя не на Орлова, а на Голикова, сказал Конкин.— Размяться, кто курит — покурить.

Все прошли за кулисы. Здесь стояли декорации к какой-то постановке, на фанерном щите был нарисован замок, как недавно еще рисовали замки на полотнищах базарных фотографов. В углу лежали плоские жестяные коробки от кинолент, похожие на диски автоматов, а рядом тыквы с наклейками — экспонаты колхоза, вернувшиеся с сельхозвыставки. Злые, уставшие люди, измученные собранием, вздохнули, принялись разглядывать декорации, но Орлов спросил Конкина:

— Ну?

— Не знаю я,— досадливо сказал Конкин.— Надо думать.

— Так же, как с сельсоветовским помещением додумались?..

— Именно! Без бюрократизма. Надо отказаться от Подгорнова. Ведь люди растерялись, и голосовательная машина сработала не туда. Против них. А мы ушами хлопали. Нас, а не их загонять в Подгорнов за такое руководство!..

Вокруг стояли избранные в президиум колхозники. Они, должно быть, смущали руководителей. Заместитель начальника экспедиции по проектированию трогал пальцем колонну «замка». Настасья Семеновна молчала, думала, что идти им в Подгорнов примаками, что остались для них на подгорновских известковых хрящах такие деляны, где не зря не живут сами хозяева. Молчала и Черненкова. В Черненковой все кипело. «Этот Андриан, этот Живов, паразиты, о которых я предупреждала Настасью, сорвали рекомендацию обкома. Ладно еще, что хоть обойдется без оргвыводов; и райком и райисполком здесь сами прохлопали».

Орлов спросил Конкина:

— Значит, предлагаете доложить собранию, что мы не считаемся с его мнением о Подгорнове?

— А вы предлагаете,— краснея, вмешался Валентин Голубов,— толкать колхоз в яму, но сохранить демократизм? Мы небось не один раз нарушаем этот демократизм. Почему ж сейчас для пользы дела не нарушить!

Все заулыбались. Голиков предложил:

— А что, если сделать простую вещь?.. Совершенно простую. Взять и сказать сейчас людям: «Товарищи! Вы выбрали Подгорнов. Никто, разумеется, не будет вас принуждать отказываться. Но есть ведь и много других мест, кроме Подгорнова, свет-то на нем не сошелся. Давайте вынесем решение — искать еще. Дополнительно».

— Да это преступление! — крикнул заместитель начальника экспедиции. — Вы в куколки играете или руководите райкомом? Я буду жаловаться на вас, я вам не позволю! — Он сдержался и, стараясь быть спокойным, заговорил, словно извиняясь: — Проектирование участков, таких, как пустошь, обходится государству в сотни тысяч рублей. Считайте сами: геологи, гидрологи, бурение шурфов, пробы воды, архитекторы, геодезисты, проектировщики!.. А ваш колхоз взял и отказался от пустоши. Мы бы сейчас дали ее другим колхозам, и щепетковцев считали бы уже устроенными. А если все отложится, если щепетковцы — как это делает ваш соседний район — ткнут пальцем во второе, в третье место, то опять производить изыскания? Чтоб они снова отказались?!

Орлов отошел в сторону, уселся вдалеке на приступок, положил ногу на ногу. «Расходы, о которых плачет заместитель начальника, — прикидывал он в мыслях, — дело естественное. Правительство на это и шло, отлично знало, что море стукнет по бюджету. А вот положение щепетковцев в Подгорнове действительно будет гиблым!..» Орлов тяжело покачал головой, закурил папиросу. «Положение ай-яй, — думал он, — гиблое, но план выбора мест есть план. Не может район срывать его, как срывают соседи. Мы без того уж прогремели на всю область, отличились с кормами... Дай Кореновскому послабление, и все остальные переселенцы начнут по его примеру выбирать да перебирать. Из-за одного хутора десяток станиц не переедет в срок, сорвет весеннюю посевную».

Конкин сжимал Голикову локоть, говорил, оборачиваясь к окружающим:

— Немедленно переголосовывать! Хутор Кореновский — это две с половиной тыщи человек. Расстрелять нас мало, если Кореновский покажется под уклон.

Орлов докурив папиросу, подошел к «замку», напомнил, что переселения из затопляемой зоны поручены исполкомам. Он председатель исполкома в этом районе и не допустит никаких переголосований.

— Вот что, Борис Никитич, — отозвав его в сторону, сказал Голиков. — Раз уж вы это твердо, то пусть нас разбирают потом, а я внесу сейчас предложение. На свою ответственность,

Вернувшийся с перерыва народ был в снегу, рассаживался — кто с настороженностью, кто с враждебной подозрительностью смотрел на сцену. Но когда Голиков объявил, что в протокол занесено решение о Подгорнове, что ехать можно хоть завтра, но предлагается, оставив Подгорнов за собой, искать еще, все с огромной охотой согласилось. Это как бы оттягивало расставание с родной землей, позволяло думать: «А вдруг и вообще отъезд обойдется...» За второе предложение потянулись все руки; поиски участка хутором Кореновским начались сначала.

На вечерней улице мело. Поспешно и весело, уже не ковром, а белой шубой облепиво пустошь, отдаленные хаты, изгороди. Небо было подвижным — казалось, что кто-то натянул в вышине полупрозрачную рыбачью сеть, двигал ее из стороны в сторону. К тому же примораживало, и снег, насыпанный в четверть, позванивал под сапогами расходящихся из клуба людей. Жмурясь от летящей крупы, Щепеткова сказала гостям:

— Не добратья вам машинами. Берите лошадей, а еще лучше — ночуйте. Охолонетесь от нашего собрания, повыспитесь.

Но ни Орлов с заместителем начальника по проектированию, ни Голиков оставаться не согласились. Они попросили пристроить на ночевку шоферов и, пока закладывали лошадей, наскоро поели на клубном крыльце принесенного от Щепетковых хлеба с салом. Рыжие, темные в сумерках, жеребцы (зимой и летом — личный выезд Настасьи Семеновны, весной — производители колхозной конефермы, отцы всех жеребят, всех двухлеток и трехлеток колхоза) поднесли к крыльцу сани. В санях на ворохе сена лежал брезент, чтоб укрыться седокам, и войлочная полость, пахнувшая то ли брынзой, то ли старым конским потом и летом. Голикову было хорошо и уверенно, несмотря на то, что Орлов, уминаясь на полости и натягивая, как шалаш, общий с попутчиками брезент, пообещал: «Уж за сегодняшнее, Сергей Петрович, вы ответите».

Кучер Щепетковой, инвалид Петр Евсенч, подпоясанный поверх ватника ремнем, цокнул губами; провожающие крикнули: «Счастливо!»; жеребцы от сытости, шараясь от снега, затанцевали по улице.

Конец первой книги.



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Все реже мы стихи друг другу
Читаем, бросив все дела,
С трибун торжественных по кругу
Иль просто сидя у стола.
А прежде было по-другому:
Тебя завидев за версту,
Собрат выскакивал из дому
С призывным кличем: «Дай прочту!»
Мы пишем. Мы еще не слабы.
Нас ждет читатель — верный друг.
Но что б мы делали, когда бы
Поэтов не было вокруг?
Дорога наша круче, круче,
Колочим воздухом дышу.
И если ты напишешь лучше,
Я тоже лучше напишу.

* * *

Качнулась и раскололась
Снов тоненькая гряда.
Меня разбудил твой голос,
Был свежий он, как вода.
И счастлив невольным счастьем,
Что ты навсегда со мной,
Я слушал его с участием
Из комнатки за стеной.
В нем все меня занимало —
Был утренний, чистый он...
А я не любил, бывало,
Чтоб мой прерывали сон.
Еще я смотрю беспечно,
Шагаю густой травой...
Хочу одного: чтоб вечно
Будил меня голос твой.

И. ИСАКОВ

★

ПАРИ ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА

(Из невыдуманных рассказов)

П

1

о спискам флота он числился Николаем Юльевичем Озаровским, но гораздо шире был известен по прозвищу «Летучий голландец».

Внешне ничего подчеркнуто морского в нем не было, несмотря на то, что всю свою жизнь он провел на флоте. Коренастый, среднего роста, белобрысый, относительно медлительный в движениях и в мыслях, он оставался мечтательным, почти непьющим, всегда улыбающимся, добродушным и доверчивым. Как видите, довольно невзрачный герой, вопреки своему прозвищу далеко отстоящий от типа так называемого сурового морского волка.

В любой момент он готов был прийти на помощь первому встречному, попавшему в беду. Если же выяснялось, что встречный, прикинувшийся дружком, оказывался мелким подлецом, Летучий голландец полурастерянно улыбался, оставаясь терпимым и склонным к всепрощению. Вот почему у него всегда было больше приятелей, чем у любого другого — скептически настроенного или наученного жизнью человека.

Конечно, не за эти качества получил он прозвище, а за совершенно неистребимую, по-особенному чистую и романтическую любовь ко всему флотскому и морскому, любовь, которая сочеталась с высокими профессиональными качествами и обширными теоретическими познаниями.

Озаровский был кадровым офицером военного флота и исключительно удачно сочетал в себе главные качества этой профессии в отличие от двух основных разновидностей своих коллег — от тех, которые бывают слишком военными, но плохими моряками или, наоборот, являются чудесными моряками, но абсолютно невоенными людьми.

Малозаметный мичман Балтийского флота, он получил боевое крещение во время войны с кайзеровским флотом, в финляндских шхерах и в Рижском заливе.

Могу засвидетельствовать, что только естественная скромность помешала Озаровскому стать общепризнанным героем. Это был человек редкой отваги и спокойной храбрости, но всегда остававшийся в тени.

После Октября, который Озаровский принял сразу и навсегда, в период относительного спокойствия в Гельсингфорсе он бросился под Нарву, в отряды морской пехоты, сформированные Павлом Дыбенко. Но в разгар событий на псковском направлении до моряков дошли слухи о том, что флот, оставшийся в главной базе, оказался под угрозой, так как немцы захватили Ревель с суши, а с моря высадили десант

в Ганге и двигаются к Гельсингфорсу, в то время как линейная эскадра вице-адмирала Маурера пробивается туда же, используя предательски захваченные ледоколы.

Озаровский поспешил обратно через Петроград, так как другого пути не было, и только-только поспел, чтобы принять участие в легендарном Ледовом походе, благодаря которому балтийцы спасли свой флот. На долю мичмана Озаровского выпало спасти старый четырехтрубный угольный миноносец типа «Резвый»; на нем он воевал с немцами еще в Моонзунде.

Такой человек не мог отсиживаться в Петрограде, когда началась гражданская война и интервенция. С обычной своей доблестью и скромностью он дрался против офицеров из гвардейского экипажа, выкинутых ходом истории из императорского российского флота на колесные буксиры камских и волжских мукомолов и нефтяников, которые возлагали все свои политические и коммерческие расчеты на адмирала Колчака. Позже он руководил обороной морских подступов к большевистской Астрахани от блокировавших ее кораблей, носивших на гафелях крест св. Георга¹. Этот своеобразный филиал колониального флота его величества создавался на фунты стерлингов дельцов Сити, попахивавших бакинской нефтью. Он родился из каспийских танкеров, переоборудованных в мусаватистской столице или в бичераховском Петровск-порте², на которых были установлены морские пушки известных поставщиков британского адмиралтейства Виккерса и Армстронга.

И не случайно то, что именно С. М. Киров, умевший видеть на сажень под землей, утвердил назначение Озаровского на должность начальника обороны двенадцатифутового рейда Астрахани. Несмотря на его молодость для такой должности, на то, что он был беспартийным, и даже на то, что несколько его однокашников воевали вместе с англичанами против нас, — Сергей Миронович не ошибся.

Всю гражданскую войну и борьбу с интервентами Летучий голландец воевал, взрывался на морских минах, тонул, спасался, спасал других и, не успев обсохнуть, спешил опять на мостик, с тем чтобы броситься в следующую драку.

Потом воевать больше стало не с кем, и он долго не находил работы по сердцу, обретая утешение своей душе только тогда, когда мог обучать молодых матросов, курсантов или офицеров постижению профессиональных навыков и секретов. Он не только учил, но и воспитывал советских моряков, приохочивая их к морю, прививая любовь к нашему флоту, к его добрым традициям, и делился опытом гражданской войны.

Был период, когда начальство, забывшее его дела и считавшее Летучего голландца своеобразным партизаном, не сумело его хорошо использовать, удивляясь тому, что Озаровскому все чего-то не хватает, и всеми средствами старалось вжать его в общий ранжир «нормального прохождения службы». Наконец Летучему голландцу повезло — его назначили командиром экспедиционного судна «Первое Мая» (бывший «Дунай»). По сути дела, это был самый банальный транспорт, да еще сравнительно небольших размеров, приспособленный для гидрографических работ. Летучий голландец был счастлив и, засучив рукава, занялся выполнением скромных, но очень нужных экспедиций.

¹ Флаг Британского королевского флота по традиции называется флагом св. Георга и имеет красный крест на белом полотнище.

² Лазарь Бичерахов — один из военных главарей контрреволюции, действовавший в Сасарном Иране, Азербайджане и Дагестане. Друг и союзник английских интервентов. Долгое время держал свою штаб-квартиру в захваченном им Петровск-порте, переименованном при Советской власти в Махачкалу.

Небольшой эпизод, пожалуй, характеризует нашего героя ярче, чем длинное изложение его биографии.

Найдя в книге Ю. Ф. Лисянского «Путешествие вокруг света» бедственные заметки знаменитого капитана «Невы», относящиеся к периоду от пятнадцатого до тридцать первого октября 1805 года, в которых описывается посадка корабля на коралловые рифы, не обозначенные на картах, Озаровский особенно заинтересовался попутным открытием маленького острова, названного островом Лисянского¹. Несколько птиц и три убитых тюленя оказались единственными представителями живой фауны этого микроскопического клочка суши, открытого на поверхности необъятного Тихого океана при переходе Лисянского из Кадьяка в Кантон.

Проведя почти две недели в хранилищах и архивах Главного гидрографического управления в Адмиралтействе, изучив все тихоокеанские походы начиная с капитана Кука, Озаровский пришел к убеждению, что остров Лисянского относится к случаю первооткрытия, не оформленного российским капитаном то ли из скромности, то ли из опасения повторной посадки на коралловые рифы, с которых «Неве» пришлось двукратно сниматься с великим трудом. Составив на основании этих предположений обстоятельную докладную записку и захватив с собой рулоны карт не только Крузенштерна и Лисянского, но и их предшественников в водах Великого океана до Лаперуза включительно, он отправился в Москву.

Прямо с Ленинградского вокзала он проложил курс в УВМС², но здесь надо было предварительно выложить, с какой целью предполагается беспокоить начальство. Таковы требования военной субординации. Без этого нельзя было попасть на доклад, а обходных путей Летучий голландец не знал и не умел узнавать. С явным скептицизмом, если не с долей издевки, было встречено предложение снарядить немедленно экспедицию для поднятия флага РСФСР и установки памятного знака с бронзовой доской на острове Лисянского. Конечно, при соблюдении всех подобающих случаю церемоний (в виде оружейного салюта, официального извещения иностранных держав и т. д.) и при условии, что командование экспедицией будет поручено лично ему. Вот почему, когда Летучий голландец попал наконец на доклад, уже были подготовлены проекты не только резолюций, но и острот.

Высокое морское начальство вдоволь посмеялось над предложением Летучего голландца.

В Наркоминделе, поскольку автор проекта экспедиции не имел верительной грамоты от своего командования, он не проник дальше начальника одного из второстепенных отделов.

Здесь Озаровскому разъяснили, что «данная проблема относится к компетенции морского ведомства, почему приоритет выступления перед правительством остается за ним... после чего, в случае положительной санкции, коллегия Наркоминдела проштудирует и даст свое резюме... Не забудьте только сопроводить основной документ меморандумом, подробно иллюстрирующим демографическое и политико-экономическое состояние острова, динамику развития и эвентуальную перспективу на ближайшее время...» и так далее.

Травма была, очевидно, сильной, так как очень уж искренне и бескорыстно хотел он, чтобы красный флаг с серпом и молотом навсегда утвердился над водами Великого, или Тихого, океана.

¹ К норд-весту от Гавайских островов. По заключению самого Лисянского, сделавшего первую опись острова и определение координат, широта его средней точки оказалась 26°2'48" и долгота — 173°35'45" от Гринвича.

² УВМС — Управление Военно-Морских Сил.

Вернулся он в Ленинград заметно сумрачным и менее разговорчивым. Не только о поездке не говорил почти ни слова, но и перестал выпустать на волю свои мечты... Это не означает, что Летучего голландца отучили мечтать. Это было невозможно. Но его отучили мечтать вслух.

Теперь прозвище Летучего голландца как-то утвердилось еще больше, но в интонациях некоторых сомнительных друзей оно имело более иронический оттенок.

Постепенно эта идея остыла, как стынут многие другие пылкие мечты.

2

И вот уже тридцатые годы. Кронштадт.

Уже семья в Ленинграде. Уже седеющая голова. Уже очки, которых в первое время он стеснялся. Но ни служебной бодрости, ни морской романтики не убавилось ни на йоту, он остается все тем же.

Хотя по всему складу характера и навыкам он являл собою тип «марсофлота»¹, лихого «офицера с мостика», так как только на нем в море преображался и чувствовал себя на месте, все же у кого-то возникла мысль перевести Озаровского для работы в штаб. Эксперимент оказался на редкость удачным, несмотря на то, что Летучий голландец был не на шутку возмущен и оскорблен, искренне считая, что перевод моряка на береговую должность означает конец его жизненного пути и сдачу как бы в архив.

Во время малоубедительного препирательства с начальником штаба он стоял с унылым видом и серьезно уверял, что боится утонуть в бумагах. И поскольку никакие доводы не помогли, он выпросил себе право занять кабинет на верхнем этаже кронштадтского небоскреба, с обязательным условием, чтобы его окна были обращены в сторону гаваней и рейда. Попутно в форме весьма деликатного ультиматума заявил, что по окончании рабочего дня будет, когда позволят обстоятельства, путешествовать на яхте вокруг да около Котлина, с тем чтобы периодически проветриваться от входящих и исходящих.

Через день Летучий голландец хотя и продолжал ворчать, но уже работал много и с увлечением, как и всегда раньше, забывая счет времени, так как иначе работать не умел.

А через месяц его кабинет, оборудованный стеллажами для карт и увешанный барографами, биноклями, трубами и старинными морскими часами, напоминал больше штурманскую рубку, обитатель которой, не вставая с кресла, мог наблюдать печальными глазами за движением кораблей и судов, следующих мимо Кроншлота, по Большому фарватеру. При этом купец, проходивший в Ленинград, в зависимости от флага казался ему идущим из Тринкомали, а уходивший на запад — в Гуантанамо или в Порт-оф-Спейн. И так хотелось перекинуться парой слов с каждым капитаном и предупредить обо всех коварных отмелях и рифах на подходах к этим портам или о камнях, закрываемых пеной приливов в сизигийные периоды, о которых он так много знал по картам и лоциям, но еще больше — по прочитанным романам.

Итак, каждое утро Летучий голландец, с исключительной пунктуальностью появляясь в своем рабочем кабинете, прежде всего открывал форточки (или окна, в зависимости от сезона) и внимательно оглядывал гавани, рейд и Южный берег.

Это смотрел на воду и на небо не праздный обыватель, собирающийся на прогулку по Петровскому парку, а начальник отдела боевой подго-

¹ Марсофлот — опытный моряк, знающий и любящий морское дело (профессиональный жаргон).

товки, то есть офицер, отвечающий за щиты для стрельб, за организацию вылетов самолетов-разведчиков, за распределение полигонов для маневрирования подводных лодок и за многое-многое другое, что должно по строгому плану взаимодействия протекать в море, под водой, в воздухе и на побережье. Причем все это осложнялось условиями такого уплотненного базирования Балтийского флота, что не хватало ни моря, ни воздуха, ни суши.

Но, кроме начальника УБП¹, в лице Летучего голландца одновременно смотрел в окно яхтсмен-любитель, спортсмен-артист, который после работы мечтал сделать несколько галсов в пределах Маркизовой лужи².

Именно эти прогулки на яхте служили тем целебным бальзамом, который в значительной мере примирял Летучего голландца с жизнью и работой на берегу. Поэтому рядом со служебным зданием, один из фасадов которого выходил на Итальянский пруд³, недалеко от бона для штабных катеров был организован своеобразный филиал яхт-клуба — Озаровский держал тут одного из «Драконов»⁴.

Периодически, а летом чуть не ежедневно, если позволяли обстоятельства работы и погода, Летучий голландец прямо из кабинета, не переодеваясь, спешил к бону Итальянского пруда и один выходил в море, с расчетом использовать хотя бы час или два до спуска флага. Не для гонок и состязаний, а только для себя проделывал он затейливые эволюции в водах, омывающих остров Котлин. Почти никогда не уменьшая парусности, даже в свежую погоду, он часто возвращался мокрый насквозь, уставший, с ладонями рук, содранными шкотами, но бодрый и довольный.

Это было не только удовлетворение спортсмена, но и человека, проветрившего мозги от пыли бумажного мусора, накопившегося за сутки.

Именно потому друзья остряки посоветовали окрестить яхту «Форточкой» или «Отдушиной», однако ее хозяин категорически возражал, уверяя, что ее класс, то есть «Дракон», является прекрасным наименованием. Так как подобное совмещение не допускалось правилами яхт-клуба, Озаровский, застенчиво улыбаясь, добавил:

— Кажется, у меня за кормой ее называют «Летучим голландцем»? Так пусть и останется этот «Дракон» «Летучим голландцем».

Пожалуй, это был первый случай, когда он выдал себя в том, что не только терпит свое прозвище, но что оно в душе ему нравится, а возможно, даже льстит.

¹ УБП — принятое сокращение: учебно-боевая подготовка.

² Маркизова лужа — традиционное у балтийских моряков название мелководного района Невской губы, заключенного между линией Лисий Нос—Кронштадт—Ораниенбаум и устьем Невы. Происхождение этого названия относится к периоду управления Морским министерством Российской империи маркизом Жаном Франсуа де Траверсе (1754—1830), французским эмигрантом-роялистом, спасшимся от гильотины и обласканным Александром I. Для экономии маркиз, которого современники величали Иваном Ивановичем, отменил дальние плавания, вследствие чего кораблям Балтийского флота пришлось «топтаться» вокруг Кронштадта. Флот пришел в упадок. Маркиза ненавидели и увековечили его титулом опостылевший плес Невской губы.

³ Историческое название небольшого козша, врезанного в берег, со стенками, облицованными гранитом чуть не при Петре Великом; имеет выход в море через Лесную гавань.

⁴ Небольшая яхта международного класса «Дракон» с так называемым бермудским вооружением и кокпитом с козырьком. Рассчитана на три-четыре человека, но искусный яхтсмен может управлять «Драконом» один.

Предложение не прошло. Оказалось, что один из классов гоночных шверботов уже именовался «Летучим голландцем». Так некрещеный «Дракон» и остался «Драконом».

В отдельные дни по выражению лица капитана яхты нетрудно было догадаться, что он оставался один на один с ней для того, чтобы без помех обдумать и решить какой-то мучивший его сложный вопрос. Но это не всегда ему удавалось. Очевидно, против некоторых напастей судьбы даже «Дракон» был бессилен.

3

Этот оказавшийся злополучным день начинался тем чудесным утром первых чисел сентября, которые так хорошо знают ленинградские старожилы.

Погоду можно было назвать «прогулочной». И несмотря на то, что все небо плотно закрывал серый облачный покров, под ним установилась отличная видимость до самого горизонта, а теплый и сухой ветерок вычесывал в слегка золотеющих парках Стрельны, Петергофа и Рамбова¹ отдельные, рано увядшие листья. Краткие периоды подобных дней не избалованные природой старые балтийцы полунронически называют курортными. В этот период лето затягивается, рассчитывая свой срок по старому стилю, а осень торопится вступить в свои права, используя новый стиль. Даже административно-строевые отделы через СНИС² и комендатуры при такой погоде рискуют оповещать о разрешении ходить в белых кителях и форменках; конечно, до спуска флага, так как вечера уже становятся прохладными.

В отделе УБП это утро началось, как всегда, и Летучий голландец, обойдя окна и постучав ногтем по стеклу барографа, почти бесповоротно решил, что сегодня он по крайней мере часика два покувыркается на «Драконе». Уж очень был соблазнительен этот упругий и устойчивый норд-норд-вест от трех до четырех баллов.

Но во время обхода приборов, машинально набивая неказистую трубочку, Летучий голландец заметил, что в смежной комнате его верноподанные помощники не сидят на рабочих местах, а сбившись в группу, заговорщически шушукуются.

Оказалось, что ночью изъяли, как тогда принято было говорить, капитана 1-го ранга Н., об этом никто ничего толком не знает. Даже комиссар штаба.

Что оставалось делать Летучему голландцу?

— Не вижу оснований прерывать работу! Предлагаю немедленно заняться своими делами!

Про себя он решил, что когда явится к начальству с очередным докладом, то после служебных разговоров постарается убедить, что в подобном случае нельзя играть в молчанку, а надо разъяснять офицерам что к чему.

Но не успели шелкнуть замки распахнутых сейфов, зашелестеть складываемые карты и планы полигонов и прозвенеть первые телефонные контакты с другими штабами, как в кабинет вошел известный на всех флотах «артиллерийский бог» — Сергей Венкстерн. Начальник кафедры Высших офицерских курсов в Ленинграде, сейчас он больше месяца обретался на кораблях и фортах, руководил практикой своих питомцев, будущих высококвалифицированных пушкарей советского флота.

¹ Ныне Ломоносов, до 1918 года назывался Ораниенбаумом, на флотском жаргоне для сокращения именовался Рамбовом.

² СНИС — официально принятое сокращение Службы наблюдения и связи.

Визит тривиальный, так как математика и специалиста по теории вероятности связывала давнишняя дружба с Летучим голландцем, а, кроме того, планирование и утряска всех расписаний учебных стрельб осуществлялись именно в этом кабинете.

После штатного обмена приветствиями Венкстерн обстоятельно уселся в кресло перед столом и с привычной методичностью стал перезаряжать свою строгую, но изящную трубку среднего калибра. По манерам, мимике и голосу нельзя было заметить какого-либо уклонения от обычного настроения этого умного, но немного скептического друга, обладавшего исключительной выдержкой артиллериста.

Выждав, когда Летучий голландец прервет вычерчивание какой-то хитроумной схемы, Венкстерн произнес тихим, но вполне внятным голосом, смотря в потолок:

— Отвратительно себя чувствую. Понимаешь, как-то неловко... Кругом забирают, а ты должен себя чувствовать как ни в чем не бывало.

После паузы и первых клубов дыма из трубки:

— Может быть, завтра заберут... может, через неделю! А может, совсем не заберут? Такая неопределенность отнюдь не стимулирует охоту к работе...

Летучий голландец понимал, где кончалась поза его друга, а где начиналось подлинное смятение духа.

Заметив необычную тишину в смежном кабинете, друзья расстались, после того как Летучий голландец пообещал поделиться результатами разговора с начальством. Затем он с яростью окунулся в работу, не давая передышки ни себе, ни другим. В течение последнего времени у него выработалась манера работать до одури, чтобы утомлением, вернее — переутомлением, отгонять мрачные мысли и как-то заполнять гнетущую пустоту.

Однако ожидаемый разговор не состоялся, а по глазам начальника стало ясно, что он ничего не знает и сам не понимает происходящего.

Закончив служебный день и поработав еще сверх того, Летучий голландец, наскоро перекусив, нетерпеливо сбегал на набережную. Он боялся упустить возможность встряхнуться на «Драконе» — до спуска флага оставалось не более двух часов с минутами.

4

Яхта привычно рванулась от пирса в свою стихию и вся погрузилась в упругий ветер, чем-то напомнив морского льва или котика, бросающегося с камня в прибойную волну.

Проскакивая в Лесные ворота, Летучий голландец перекинул гик на другой борт для разворота на ост, к Малому рейду, и тотчас поймал себя на мысли, что, возможно, он не повел «Дракона» в сторону открытого моря под влиянием исповеди Венкстерна... чтобы не могли подумать о попытке удрать в Финляндию.

И тут же обозлился на самого себя, послав к черту «артиллерийского бога», так как вспомнил, что еще с утра мечтал взглянуть со стороны залива на Петергофский парк, великолепия которого в это время года обычно не знают ни экскурсанты, ни туристы, ни петергофские аборигены, восхищающиеся зеленым и золотым убранством парков только с суши.

Наступило некоторое примирение с собой.

Делая поворот через фордевинд, он успел заметить высокий столб дыма за кормой — очевидно, в Ленинград с веста приближается большой купец, еще невидимый за чертой горизонта. Но вообще ближайшие рейды и фарватеры были на редкость непривычно пустынными. Как будто свежий ветер сдул все плавающее с поверхности Маркизовой лужи.

Лавируя в сторону Морского канала, Летучий голландец никак не мог изменить ход своих мыслей и все время возвращался к событиям дня и к визиту Венкстера.

Он не испытывал той своеобразной неловкости, о которой говорил ему Венкстер; он трудился на полный ход, не оглядываясь в работе ни на одну из химер, выглядывавших из темных углов, не следовал дружеским предостережениям, открыто выступая против сомнительных начинаний или назначений, но все же самочувствие его было отвратительным.

Кто как, а уж Летучий голландец не раз попадал в переделки, во время которых выбывали товарищи из строя, а оставшиеся смыкались. Горестно было терять боевых друзей, трудно было воевать за двоих-троих, страшным казалось ослабление флотилии или дивизиона, когда убыль не восполнялась. Всякое было.

Больше того, видывал он даже, как тот, кого числил не только в списках, но и в душе товарищем, став предателем, перебежал к белым. Например, мичман Емченко в 1919 году под Астраханью.

Всякое было.

Но тогда он совершенно ясно сознавал, кто враг, а кто свой, то есть честный боец РККА или РККФ, боец за Советскую власть.

А сейчас?

Нет ли рокового недоразумения?

Ведь если изъяты виновны, то это трагично для флота, но если они не виновны — это трагично вдвойне, так как, кроме того, наносится удар по самому святому, по чести достойных людей, патриотов и коммунистов, дорожащих своим именем больше жизни.

...Самое страшное то, что, как яд, растлевают души взаимная подозрительность, недоверие к каждому, даже к лучшему другу.

А разве можно воевать вместе с товарищами, в которых сомневаешься? Больше того, как можно вообще жить без веры в людей?

Поворот яхты. Крутой, резкий, с предельным креном, так как дальше по курсу угрожающе торчат зазубрины камней вокруг островка, служащего основанием для большого маяка.

Поворот в мыслях.

Внезапно мелькнули в памяти растерянные глаза начальника и его бодрое напутствие: «Работайте, не задумываясь! Человеку с чистой совестью нечего волноваться за себя!»

Мало иметь чистую совесть. Надо еще, чтобы совесть была спокойна. А этого-то как раз и не было. На душе было невыносимо скверно от ощущения бессилия.

Свежий ветер до предела наполнял паруса. «Дракон» мчался красиво и задорно в крутой бейдевинд, наискось обгоняя хлопотливые и уже довольно крупные волны, весь в шипящей кружевной накидке, с пенным шлейфом за кормой. Летучий голландец, чуть запаздывая, делал развороты на предельных кренах, так что подозрительно поскрипывала у ступса мачта и на разные голоса подвывали струны фордунов и вантин. Но он почти ничего не видел, действуя привычно, машинально, почти бессознательно. Тем более, что упругий и устойчивый ветер, дувший с финских озер и лесов, играл честно, не преподнося никаких неожиданных каверз.

Вдали, справа по носу, уже можно было чуть различить полосы

крыш петергофских дворцов, а рулевой продолжал сидеть в неудобной позе. Он не перебирал шкоты, когда они глубоко врезались в кисть руки, не слышал журчания воды, омывающей борта, и шлепки ее под подзором.

Летучего голландца обдувало и продувало насквозь этим свежим ветром, но ему было душно. Мысли, мрачные мысли, одна хуже другой, обгоняли ветер, преследовали, пронизывали мозг, выворачивали душу.

Нет, сегодня курс лечения на яхте, бегущей по волнам, не давал никакого облегчения.

5

В такие дни, когда тяжелый облачный покров еле касается шпилей Адмиралтейства и ленинградских соборов, если не смотреть на часы и если не пробьется сверху случайный луч, положение солнца почти невозможно определить на глаз. Рассеянный свет распределяется равномерно, от горизонта до горизонта, тот насыщенный и рассеянный свет, при котором нет теней, но в то же время все вокруг отчетливо видно, а весь ландшафт почему-то напоминает гигантский аквариум.

Не скажешь сразу, утро или вечер, и день поэтому кажется особенно длинным, хотя белые ночи уже месяц-два как остались позади. И так до тех пор, пока заходящее солнце не пронизет это пространство почти горизонтальными лучами, даст краткий отблеск на тех же шпилях и быстро скроется где-то в водах Нарвского залива.

В такие дни сумерки кажутся короткими, как в тропиках, после чего наступает темнота. Звезд нет. Только разноцветные маячные и портовые огни, видимые на очень большом расстоянии, напоминают о прошедшем «курортном» дне не очень гостеприимной Балтики.

Летучий голландец отлично знал гидрологию Маркизовой лужи и обычно так искусно управлял своим «Драконом», что не нуждался ни в картах, ни в компасе, «кувыркаясь» где и когда хотел, учитывая нагон воды или ее убыль в зависимости от направления и силы ветра.

Вынужденный иногда ходить в Петергоф или к Рамбову по мелким местам, вне фарватеров, или преодолевать места старинных ряжей, невидимых глазу, он научился пользоваться особым приемом — «перепрыгивать» с ходу через неширокие банки и мели при помощи искусственно создаваемого сильного крена. Тем самым свинцовый фальш-киль как бы подбирался и осадка яхты значительно уменьшалась.

Но бывает и на старуху проруха.

В этот злосчастный день, приближаясь к входу в Морской канал, Летучий голландец, как всегда, помнил, что землечерпалки, подчищая ходовую часть фарватера, набрасывали вдоль его бровки, с обеих сторон, как бы вал из грунта, незаметный для мореплавателей.

Намереваясь пересечь ось канала, перейти на его южную сторону и двинуться к восточной части Петергофа, он, подходя к бровке, разогнал яхту и положил ее почти параллельно воде, чтобы наискось пересечь северную грядку.

То ли он рано выправил крен, то ли в этом месте землечерпальщики наворотили целую гору, но только яхта, вставая, с силой врезалась килем в грунт и резко осела, как взнузданный конь... Удар, сопровождавшийся треском, оказался настолько сильным, что чуть не вынес мачту за борт. Потеряв верхнюю часть стеньги и гик, выломанный у самой пятки, мачта, почти оголенная, косо торчала над водой.

«Дракон» так и не встал, а остался с большим креном. Три или четыре раза повторились удары о грунт и затем, в какое-то неуловимое мгновение, весь кокпит заполнился водой, и яхта затонула.

Неудачливый мореплаватель, выбираясь из-под накрывшего его гота и обрывков такелажа, так и не успел понять, залило его волной или в днище образовалась пробоина и разошлась обшивка. Собственно, в тот момент это не было так важно и представляло только профессиональный интерес. Летучий голландец, уже погружаясь в воду, успел взобраться на козырек над кокпитом и встал во весь рост, прижимаясь к мачте,— корабль, потерпевший крушение, почему-то оседал под его ногами и довольно быстро сползал на глубину.

Волна периодически перекатывалась через голову, с которой уже давно снесло фуражку.

Еще через минуту над рейдовой толчеей трех-четырёхбалльной волны торчала только скривленная мачта «Дракона» с остатком стеньги. Очевидно, яхта сползла в канал, зарывшись фальш-килем в ил у самой бровки.

Стоять по пояс в холодной воде, держась за качающуюся мачту, когда периодически обкатывает с головой, а продувает непрерывно, было не очень весело.

Близко — никого. Пока заметят и подойдут, хватит ли запаса тепла и силы в ногах и руках, чтобы выстоять?

Спокойный обзор показал, что в метре над головой качаются вместе с мачтой две пары металлических краспиц. И хотя их ванты противно обвисли и явно не работали, решение пришло сразу: влезть и сесть на нижние краспицы, обняв стеньгу; ведь неизвестно, сколько еще времени будет погружаться «Дракон» в ил днища канала.

И вот, затратив колоссальные усилия, Летучий голландец забрался на перекресток краспиц, оседлал их, навалился всем телом на стеньгу с наветренной стороны и обхватил ее руками.

Руки и ноги отдыхают. В первый момент холоднее, чем в воде, но все же появилось какое-то чувство удовлетворения — что-то сделано, увеличился кругозор, да и его самого лучше видно. На этом обнадеживающие мысли кончались, так как никакой помощи не было видно.

Привычка заставила машинально взглянуть, который час, хотя это и не имело никакого практического смысла. Оказалось, что ручные часы превратились в своеобразный ватерпас: под треснувшим стеклом была вода, и трепетно бегал большой воздушный пузырек.

Острый холод начинал все сильнее пронизывать тело, абсолютно мокрое и обдуваемое неутомимым норд-норд-вестом.

Этот сырой холод, от которого стучали зубы, становился главной пыткой, по сравнению с которой краспицы, врезающиеся в зад и непрекращающееся раскачивание казались пустяковыми неудобствами.

Отдельные волны почти с отчетливой периодичностью облизывали брюки до колен и сменяли потеплевшую воду в ботинках холодной.

Раскачивание мачты показывало, что яхта стоит на грунте нетвердо, а это угрожало неприятностями, если изменится или усилится ветер и волна. Но пока непрерывная качка так начинала убаюкивать, что появлялась новая опасность — задремать и свалиться.

Чайки, лающие иногда над самым ухом, не разгоняли дремоты, похожей на ту, что бывает у замерзающих в снегу.

Надо было осмотреть весь горизонт, но уже не хватало сил повернуть назад голову. Ведь не могли же не заметить затопления яхты на постах и маяках!

Интересно, откуда подоспеет первый катер?

Традиция и самолюбие побуждали подготовить шутливую фразу, которой он встретит спасителей. Невольно вспоминался лейтенант с «Абу-

кира», который, в третий раз будучи вытасканным из воды, изрек что-то вроде: «Благодарю вас, я уже принял свою утреннюю ванну»¹.

Но не получалось не только веселой шутки, но даже ее суррогата; оцепенение от холода уже сковало не только все тело, но и мысли.

Когда остекленевшие глаза на короткое мгновение опять начали различать гребешки волн, он сообразил, что гик вместе с гротом, распутав обрывки такелажа, оторвался и сдрейфовал по ветру. Когда и как, он не заметил.

С момента крушения прошло не менее получаса, даже с поправкой на кажущееся медлительным течение времени в подобных случаях. Да, не менее тридцати—сорока минут, хотя все клетки тела вопят, что это испытание холодом и водой длится более двух часов.

Но если за тридцать—сорок минут не подошел с базы или из Рамбова ни один катер, это означает, что аварию яхты не заметили, как не замечают его сейчас, в белом кителе на фоне белых гребней волны. Следовательно, остается рассчитывать только на рейсовый кронштадтский пароход, или на случайного рыбака, или яхтсмена.

Случай — вот что только может спасти.

Мысль эта была малоутешительной, так как до темноты оставалось около часа с минутами, а силы Летучего голландца слабели. Даже челюсти свело намертво, и зубы уже не стучали.

Все окрасилось в мрачные тона. Теперь уже было не до острот.

Холод пронизывал судорогой все тело, появились опоясывающие боли, сжимавшие стальными обручами грудь так сильно, что захватывало дыхание, и казалось — останавливалось сердце. Эти спазмы, сперва редкие, стали учащаться.

Но, пожалуй, самым опасным все же было нарастающее оцепенение. Ни голода, ни усталости. Ни одного звука. Неумолкающий шум волны, сначала заглушавший все, даже крики близких чаек, теперь перестал восприниматься. Мысль работала не непрерывно, а периодически, отрывочно, теряясь в каком-то невидимом тумане и вновь возникая из него.

Голова его упиралась в стенгу, в поле зрения были только пробегающие под ним волны с появляющимися и исчезающими барашками. Но это непрекращающееся мелькание временами сливалось в сплошной колеблющийся полог, сквозь который уже ничего разглядеть нельзя было.

Просвет в мыслях. И вдруг стала ясной горькая истина. Он вышел в море, чтобы проветриться и забыть о визите Венкстерна, но оказалось, что не смог далеко уйти от преследовавших химер.

Только час, а может быть, два, как он ни разу не вспомнил о мрачных происшествиях на берегу.

Но какой ценой! Нужно было крушение яхты, чтобы он забыл.

Тем более плохо то, что эта передышка кончилась. Раз бегло мелькнувшая, на одно мгновение, мысль уже не оставит его, и он, очевидно, не сможет отделаться от наваждения, пока не свалится в воду.

6

Теперь только отдельные, особенно высокие волны достигали колен Летучего голландца. Инстинкт подсказывал, что главное в данный момент заключается в том, чтобы, навалившись грудью на наклоненную

¹ 22 сентября 1914 года в Северном море немецкой подводной лодкой «U-9» были потоплены три английских крейсера: «Абукир», за ним «Хог», спасавший людей с первого, и «Кресси», спасавший команды с первых двух крейсеров.

и раскачивающуюся стеньгу, обхватив ее переплетенными руками, удержаться во что бы то ни стало, даже если совсем погаснет сознание.

А такое состояние полной прострации, очевидно, приближалось, так как слитный мучительный шум в голове возрастал, провалы памяти удлинялись, а открытые глаза периодически затягивались мутной пеленой или сквозь мелькание радужных кругов рождали какие-то бесформенные миражи.

В один из моментов просветления из-за левого плеча медленно вполз в поле зрения неподвижного Летучего голландца большой пароход и лениво стравил якорь всего в ста или в полторастах метрах.

Первая мысль — мираж, галлюцинация, обман застывающего мозга. Летучий голландец с трудом сомкнул веки и вновь открыл их.

Но мираж под норвежским флагом не рассеивался и начал спускать спасательную шлюпку. Тогда Летучий голландец вспомнил, что видел столб дыма далеко за горизонтом, когда выходил из Лесной гавани. Теперь источник дыма его нагнал.

«Спасен...» Эта мысль возникла в сознании как-то спокойно и уверенно. Ни для каких эмоций в застывшей душе не оставалось места.

Спасители гребли недружно, враздрай, как гребут на всех купцах мира.

По мере приближения неуклюжего и тяжелого вельбота Летучий голландец мобилизовал все духовные и физические силы и только сейчас обнаружил, что он настолько застыл, что не владеет ни руками, ни ногами и сам сойти с салинга не сможет. Попытка встретить спасителей улыбкой не удалась.

Норвежский боцман, стоя на кормовой банке, зажав румпель между ног и балансируя на качке корпусом и руками, орал в малый мегафон:

— Упа momenta!

— Ein moment!

— In a minute right now!¹

Он, видимо, считал необходимым подбодрить пострадавшего.

Когда матрос с носовой банки забросил фалинь вокруг мачты «Дракона», произошло нечто неожиданное. Седой человек в белом кителе, сидящий на стеньге, мокрый насквозь, отказался спускаться в шлюпку.

В уме Летучий голландец все повторял: «Спасен!» — но в то же время, стараясь кричать изо всех сил, сипел натужным голосом: «К черту... Ступайте, куда шли!.. Оставьте меня в покое!»

Никакие иностранные фразы не шли на ум; к тому же он лучше других знал французский, который сейчас был явно не к месту.

Вельбот подпрыгивал на волне, головы гребцов то достигали ботинок Летучего голландца, то проваливались глубоко вниз.

Советский лоцман, взятый в шлюпку то ли переводчиком, то ли свидетелем, попытался выяснить, в чем дело.

Почти по слогам, мучительно напрягаясь, Летучий голландец разъяснил:

— Скажите им, что я в своем уме... Заключил пари высидеть здесь три часа... после чего меня снимут... Пусть убираются к черту!

— Что он там плетет? — Ответ лоцмана не удовлетворил норвежца. Он выругался на всех портовых слэнгах мира и заревел: — Не понимаете, что он свихнулся? Какое там пари?! Его надо стащить и взять на судно... Разве вы не видите, что он без сил и свалится в воду?

¹ Сейчас, сию минуту! (Итал., нем., англ.)

Привыкший командовать, боцман развернул вельбот и, очутившись под Летучим голландцем, одной рукой удерживаясь за мачту яхты, другой схватил его за ногу и стал бесцеремонно стаскивать вниз. Однако в следующее мгновение спасаемый, сделав огромное усилие, дрыгнул ногой и припечатал каблуком кисть руки своего спасителя к мачте.

Боцман взвыл от боли и, отпустив руки, грохнулся на рыбины качнувшегося вельбота, проклиная «этого сумасшедшего русского».

А русский, истощив свои силы в ударе, замер в прежней позе, повторяя про себя: «Спасен... Спасен...»

Капитан «Святого Роха» навел, как пушку, свой большой мегафон на живописную группу у «живой вешки» и заорал:

— Боцман! Какого дьявола вы там возитесь?

— А он сопротивляется и не хочет.

— К дьяволу! Ташите его силой!

— Это офицер, сэр, и, судя по нашивкам, не меньше кэптэна, сэр!

— Тем лучше! Мы получим за него премию!

— Ничего вы не получите, сэр, так как он заключил пари и хочет еще сидеть.

— Тогда пошлите его к дьяволу и марш под тали!

Советский лоцман понимал все переговоры и в то же время ничего не понимал, но, взглянув еще раз на застывшую мучительную гримасу Летучего голландца и искренне беспокоясь за его судьбу, крикнул:

— Хватит у вас сил высидеть?.. Наблюдают за вами?

— Да, да! С большого маяка, что у меня за спиной... Там жюри...

Боцман-норвежец не мог больше вслух выражать свои мысли, он сидел, насупившись и засунув в рот ушибленный большой палец. Пропала мечта получить медаль «За спасение на море», поэтому он был вдвойне зол. Свободной рукой он сделал жест, чтобы отдали фалинь и навалились на весла.

Когда вельбот двинулся к «Святому Роху», с него последовал еще один вопрос:

— На какую сумму заключено пари?

Советский лоцман отрететовал вопрос и тем же порядком передал еле слышанный ответ:

— Тысяча рублей!

— Тысяча рублей! Это здорово, дьявол его забери!... Но я все же не согласился бы так рискнуть, если рядом не стояла бы все время спасательная шлюпка.— И после небольшой паузы: — А все-таки свинство, что мы не оставили этому полоумному фляжку с ромом... Впрочем, к дьяволу! Наверное, это невозможно по условиям состязания. С фляжкой рома значительно легче высидеть. А?.. Запишите все в вахтенный журнал, и пусть русский лоцман засвидетельствует, а то с ними, ну их к дьяволу, потом хлопот не оберешься. Еще оштрафуют за остановку в запрещенном районе...

Три-четыре минуты, а может быть, и все десять — и тяжело груженный «Святой Рох» медленно развернулся и, войдя в Морской канал, стал так же медленно удаляться в сторону Ленинграда.

Может быть, с ним уходила жизнь?

То ли потеря остатка сил от вынужденного напряжения, то ли первые признаки, подсказывавшие, что надвигаются сумерки, то ли вечернее похолодание беспощадного ветра, а вернее всего, безвозвратно удаляющийся силуэт парохода дали закрасться в душу Летучего голландца тоске и сомнению в исходе дня. Но, несмотря на сомнение, какой-то метроном механически отстукивал в мозгу слово «спасен».

Искусство наблюдения обстановки на море, так же как и в воздухе, требует, кроме выдержки и дисциплины, определенного комплекса навыков. Но как и во всяком другом деле, и в частности на примере гибели «Дракона», успех не всегда гарантирован. Возможны ошибки или просчеты даже при наличии многослойного наблюдения.

В данном случае решающую роль сыграли два фактора. Первый — психологический, так как сигнальщики больше привыкли смотреть на запад, в сторону подходов к Кронштадту, то есть в перед! В то время как пеленг, по которому последний раз были видны паруса «Дракона», оказался обращенным на восток, к Ленинграду, как бы н а з а д от плотной линии фортов, постов и маяков. Это не оправдывает просчета системы, но частично объясняет его. Второй фактор — чисто оптический: рассмотреть издали пятно белого кителя на фоне белых гребней волн, почти достигавших этого пятна, очень трудно. (Все посты были расположены выше пострадавшего, поэтому он проектировался не на горизонте, а на поверхности залива.)

Однако умение наблюдать — только полдела. Оно должно сочетаться с умением зафиксировать наблюдаемое событие, то есть записать и передать туда, где сосредоточивается и анализируется вся информация.

Наблюдение за «Святым Рохом» привлекло внимание к вельботу, а когда последний подошел к месту незамеченного потопления яхты, сигнальщики не могли не заинтересоваться возней с человеком на «вешке» — так представлялась мачта «Дракона» наблюдателям, рассматривавшим ее при помощи оптических приборов.

Остановка купца в неполюженном месте сразу вынудила зашевелиться на всех постах и маяках, вызвать подвахтенные смены и усиленно протереть глаза, визиры, трубы и бинокли. Однако не видевшие начала происшествия не поняли продолжения из-за его необычности. Вот почему немного погодя во многих «журналах наблюдений» постов, маяков и комендатур появились записи, различающиеся по синтаксису и стилю, но почти идентичные по содержанию:

18 ч. 15 м. Пароход «Св. Рох» под норвежским флагом, водоизмещением около 8.000 тонн, следуя с генеральным грузом в Ленинград, прошел траверз Кроншлота.

18 ч. 30 м. «Св. Рох» застопорил машину и стравил якорь в запретном районе, у входа в Морской канал. Спустил вельбот с подветренного борта.

18 ч. 40 м. Высадил человека на вешку у входа в канал.

18 ч. 55 м. Поднял вельбот, снялся и следует дальше.

.

Одновременно с записью в 18 ч. 30 м. начался перезвон многочисленных телефонов флота, крепости, пограничной охраны НКВД, охраны рейдов, морского пароходства и многих других органов, так как отдача якоря купцом в неполюженном месте являлась чрезвычайным происшествием.

Эта телефонная кутерьма шла по восходящей линии, через все инстанции, от сигнальщиков до начальников соответствующих штабов. Сперва с пометками «срочно», потом «весьма срочно» и, наконец, «вне всякой очереди!»

В дальнейшем механизм выполнения соответствующих инструкций сработал нормально.

В гавани Рамбова по пирсу бежала команда пограничного катера, и через десять минут затарaxтели по очереди запускаемые моторы.

В Кронштадте через Петровский парк промчался высокий лейтенант, на ходу застегивая кожаное снаряжение с кобурой. С ходу прыгивая в катер ОВРа¹, он крикнул старшине, пожилому боцману:

— Отваливай!

Еще спасательная шлюпка не была завалена на бот-дек удаляющегося норвежца, как от угла Военной гавани показался большой белый бурун рейдового катера ОВРа, спешившего к месту происшествия. К сожалению, этот очень мореходный и выдавший виды кораблик не мог выжать больше восьми-девяти узлов и оторваться от своего собственного чадавшего выхлопа за кормой, который преследовал катер, идущий по ветру.

Старый боцман катера не сразу сообразил, кто и почему посадил советского командира на своеобразный кол, но задачу свою он понял мгновенно и действовал точно и сноровисто, так, будто привык ежедневно снимать капитанов 1-го ранга с мачт, торчащих из воды.

Заметив, что открытые глаза застывшего ничего не видят, а уши ничего не слышат, боцман не спеша, но экономя каждое движение, сделал из бросательного конца нечто вроде лассо и, отойдя на корму своего катера, метнул конец так, чтобы запутать его на стеньге выше головы Летучего голландца. После этого боцман поманил пальцем лейтенанта и моториста, и они втроем стали осторожно пригибать стеньгу яхты к катеру, с таким расчетом, чтобы спасаемый не свалился мимо них в воду.

Когда стеньга, склонившись немного, остановилась, так как с этой стороны яхту, по-видимому, удерживало невидимое препятствие под водой, старик произвел перегруппировку.

Теперь катер развернулся в сторону Ленинграда. Тянули энергичнее, с неизбежными рывками из-за волны, на которой танцевал пузатый кораблик. Но... «раз-два-взяли» командовалось только в те моменты, когда Летучий голландец нависал непосредственно над кокпитом. Несмотря на свежий ветер, все трое распарились, взмокли от усилий и тяжело дышали.

Мачта в виде некой стрелки немыслимого подводного прибора спустилась еще градусов на пятнадцать—двадцать ниже к поверхности воды. Благодаря этому Летучий голландец вместе со стеньгой располагался почти параллельно воде и не падал только потому, что закоченел и застрял негнушимися ногами в краспицах.

Наконец, как перезрелый плод с дерева, он свалился на три пары рук и далее на рыбины катера, где предусмотрительным боцманом были подстелены два бушлата, пробковый матрац и кожаные подушки с сидений.

Необычная стрелка рванулась в прежнее положение, а пострадавший, белый и бледный, беззвучно лежал на боку под ногами своих спасителей, все еще сохраняя позу как бы сидящего и обнимающего уже выскользнувшую стеньгу «Дракона».

Истоивший остаток жизненных сил на диспут с иностранными оппонентами, Летучий голландец был почти без сознания. Вот почему первый строгий вопрос лейтенанта: «Отвечайте! Что вас побудило?» — остался без ответа.

— Чудак! Чего ты его пытаешь, когда он застыл, как сосулька? Убери свою пушку и лучше семафорь на пост, чтобы к пристани скорую помощь выслали.

— Когда ж он успел застыть, если десять минут как высажен с транспорта?.. Маскировка!..

¹ ОВР — сокращение: Охрана водного района.

Но боцман, по форме и полировке стеньги и наличию красниц уже давно сообразивший, что они спасают незадачливого яхтсмена и своего человека, со злостью огрызнулся:

— Дурак ты, да еще незамаскированный!.. Делай, что тебе говорят! Лучше бы аптечку с собой захватил!

Поскольку боцман не имел права так разговаривать с молодым офицером, последний начал соображать, что, по-видимому, происшествие не совсем похоже на то, которое родилось в его воображении на основе донесенных постов.

Изрядно раскисший бумажник, извлеченный из заднего кармана брюк спасенного, разогнал последние сомнения. Теперь лейтенант корил себя за то, что не сразу опознал искаженное лицо начальника БП, которого видел где-то на учениях. Почувствовав себя опять частицей большого механизма управления флотом, он стал торопить боцмана, ругал на все лады катер, его мотор и моториста за черепаший ход, как он делал это час назад, но уже по другим мотивам.

Тем временем то тут, то там стали зажигаться маяки и портовые огни. Хотя еще не наступила полная темнота, но по инструкции начали мигать, затемняться, делать проблески то белые, то зеленые, то красные огни. Жизнь шла своим чередом.

Из числа всех средств передвижения и должностных лиц, примчавшихся на пристань Петровского парка, оказались кстати только машина скорой помощи и доктор. После самого беглого обзора большого флотский медик с силой разжал его челюсти и влил порцию спирта, затем, закутав в два одеяла, настоял на немедленной отправке в госпиталь.

Да, настоял... так как предложения были разные, а очутившийся не-кстати какой-то чин, не осведомленный о событии, настойчиво требовал тут же, на земле, применить «к утопленнику» искусственное дыхание.

Действительно, мокрый насквозь и бледный капитан 1-го ранга больше всего походил на вытасченного из воды.

Не подозревая того, Летучий голландец в этот день выступал в ролях: беглого человека, заключившего сумасбродное пари, шпиона-диверсанта и, наконец, утопленника.

8

В это же время на фарватере Морского канала происходило следующее.

Катер пограничной охраны, мчавшийся на пересечку курса норвежского парохода, с грохотом подлетел с правого борта почти вплотную и, уравнив свой ход с нарушителем, держался против его мостика. С катера что-то крикнули в мегафон, но все заглушала пальба трех двигателей, отрабатывающих в воду, усиленная резонансом от громадного экрана, каким служил борт «Святого Роха».

Контролер, поднявшийся на судно вместе с лоцманом у приемного маяка и ни на минуту не сходящий вниз, не отрываясь от бинокля, смотрел на то, как снимали Летучего голландца со стеньги. Теперь он перешел на правое крыло капитанского мостика и рукой показал на бортовой выхлоп катера.

Через минуту включенные глушители позволили расслышать:

— Почему останавливались в запрещенном районе?.. Почему не подняли сигнал? — Это было сказано резким и повелительным тоном.

Пока старший помощник совместно с нашим лоцманом переводил капитану смысл грозного окрика, контролер спокойным голосом крикнул в малый мегафон:

— Слышь, браток, не бузи! Порядок! Топаи в Рамбов!

Капитан, злой, как фурия, так как потерял зря время и премию, о которой мечтал, а тут его еще допрашивают, заорал на помощника:

— Кристиан! Что наш ангел-хранитель передал на катер?

— Капитан, я ничего не понял!

— Так какого дьявола вы на все Осло треплетесь, что знаете русский язык? И даже за это получаете надбавку от какого-то ведомства? А?

Помощник беспомощно оглянулся, отыскивая глазами лоцмана, но тот счел за благо укрыться в рубке.

— Я полагаю, что он... говорит на каком-то южном диалекте, а я совершенствовался на северных говорах...

К счастью для знатока русского языка, пограничный катер, не ожидая ответа на свои вопросы, увалился в правую сторону на манер пристяжной, а затем, красиво описав половину циркуляции, рванулся назад, опять загрохотав выхлопом всех моторов. Увидя это, капитан сразу остыл, пробурчав себе под нос:

— Никогда не поймешь этих проклятых русских.

Обиженный помощник шепотом пожаловался вахтенному:

— Не прошу себе, что не сообразил сбежать в каюту за «лейкой»!.. Ведь за такой снимок можно было бы отхватить немало долларов от представителя американского журнала «Лайф»!

— А этот ангел-хранитель конфисковал бы вашу «лейку» вместе с пленкой!

— Нашли дурака! Я бы щелкнул из иллюминатора румпельного отделения.

9

Старший и очень старый врач Кронштадтского морского госпиталя так докладывал прибывшему флагману, пока они шли длинными коридорами двухвековой давности:

— Травматических последствий не обнаружено. Большая потеря сил. Временная перегрузка сердца. Но главное — в возможных последствиях переохлаждения, особенно для легких. Пока опасных симптомов не заметно. Однако приходится считаться с тем, что картина затемнена, так как еще до поступления в госпиталь больного начали лечить большими дозами спирта... Внутрь, конечно. Впрочем, возражать не приходится, ведь транспортировка была длительной, а каждая минута имела значение. Сейчас, после инъекций, обтираний, теплой ванны и других процедур, больной опять попросил коньяку, и я разрешил, поскольку он не имеет еще аппетита, а ему необходимо усиленное, стимулирующее питание.

— Правильно сделали!

Действительно, уже входя в небольшую палату, можно было убедиться, что в воздухе носятся не медикаментозные запахи, а аромат армянского коньяка, бутылка которого красовалась на столике между наивными пузырьками вместе с симпатичной мензуркой.

На подушке лежала белая косматая голова Летучего голландца с лихорадочно блестящими глазами. Улыбаться немного наискось и не совсем уверенно он уже научился, чем и выразил свое удовольствие при виде входящего начальника. На большее он пока не был способен.

Когда Летучий голландец остался вдвоем с адмиралом, произошел следующий диалог.

— Послушайте, Озаровский, зачем вы так рисковали здоровьем? Почему не позволили вас доставить до Ленинграда? Ведь на «Святом Рохе» вы получили бы и теплую ванну и такой же эликсир, ямайского происхождения. Пожалуй, покрепче «Армении».

Ответы Летучего голландца были еле слышны.

— Докладываю. Потому, что иногда очень трудно доказать, что ты не верблюд!

— Отнесем эту пожилую остроу к последствиям лечения. Но меня такой ответ не удовлетворяет.

— Уточняю! Мне во что бы то ни стало надо завтра утром, в обычное время, появиться на работе... Нельзя, чтобы от моей глупости страдало дело; а «срочное погружение» произошло из-за глупой ошибки... В отделе БП есть командиры моложе меня, они должны видеть, что служба, работа — прежде всего.

— Ну вернулись бы в Кронштадт к вечеру, в крайнем случае завтра. Не велика потеря — сутки!

— Вы плохо считаете, дорогой адмирал... Мне пришлось бы писать объяснение: когда и как было задумано это randevу с иностранными агентами, что именно да за сколько я продал из наших оперативных планов, пока транспорт двигался по каналу. Ни сегодня, ни завтра я не смог бы появиться на работе.

— Вы, конечно, преувеличиваете, но, пожалуй, на выяснение могло уйти время. Я об этом не подумал. Ну, ладно! Оставим эту тему. Но скажите честно, не слишком ли вы рисковали, отказавшись от помощи норвежца, учитывая потерю сил и наступающие сумерки?

— Нет, дорогой адмирал! С момента, как «Святой Рох» отдал якорь, несмотря на то, что голова работала плохо, я все же понял, что спасен... Для этого мы с вами достаточно хорошо знаем психологию и любопытство даже плохих сигнальщиков.

— Да! Все это происшествие не очень-то хорошо аттестует нашу СНИС. Скажите, а откуда появилась идея о заключенном пари?

— Сам не знаю. Еще за минуту до остановки норвежца ничего подобного в голове не было. Я сидел лицом по ветру, в сторону наклона стены. Он появился абсолютно внезапно, из-за спины. Очевидно, мысль о пари возникла также внезапно, пока приближался вельбот.

— Да! Это называется находчивостью! Ну что ж, если обойдется без воспаления легких, то, пожалуй, вы действительно выиграли это пари. Желаю здоровья. Запрещаю вам завтра появляться на службе. Да вас и не выпускают отсюда.

— Не забудьте, что здесь командуете не вы!

Летучий голландец глубоко уважал известного всему флоту старого доктора, и все же у них не получилось сердечного разговора, когда больной заявил, что утром, полдевятого, он поедет на работу.

— Помилуйте! Даже если не поднимется температура, мы предполагаем еще два-три дня применять теплые ванны, общий массаж, усиленное питание при непрерывном наблюдении за сердцем. Только после этого, и то при условии...

— Знаю! При условии, что выздоравливающий будет подогревать себе седалище паяльной лампой и смазывать поясницу и другие места каустической содой?! — со злостью выпалил больной.

Старик поднялся и с достоинством вышел из палаты.

Летучий голландец раскаивался в этой вспышке досады, но понял, что по-хорошему вряд ли ему удастся отсюда уйти.

Пока созрел план бегства, он начал учиться ходить по палате и делать легкую гимнастику.

Сестра, которой доверили уход за ним, очень гордилась своим романтическим «стационарным больным». Но после того как Летучий голландец проспал три часа и впервые плотно закусил, выяснилось, что он не считает себя ни больным, ни, тем более, стационарным.

Когда сестра официально уведомила его, что брюки и прочие принадлежности сданы в цейхауз, он вспомнил двукратный опыт бегства из гос-

питалей во время гражданской войны, причем в более сложных условиях, после чего все свое обаяние затратил на то, чтобы уговорить сестру позволить ему переговорить по телефону по служебной надобности.

Дежурному офицеру (учитывая любопытство сестры) он, пользуясь историческими прецедентами или аналогиями, вперемежку с безобидными фразами, дал указание, как проникнуть в его квартиру, забрать «форму № 2» и доставить ему к шести часам утра, до момента начала официального рабочего дня в госпитале.

— Скрытый прорыв блокады буду рассматривать как более эффективный, чем проход «Гебена» и «Бреслау» в тысяча девятьсот четырнадцатом году.

Наутро сестра возненавидела своего романтического больного, так как получила выговор за его исчезновение.

10

Да, Летучий голландец в обычный час вошел в свой кабинет, приветствовал подчиненных, после чего с подчеркнутой педантичностью выполнил всю ритуальную процедуру, прежде чем сесть за рабочий стол. Однако осипший голос, красные глаза и очень утомленное выражение лица, которое не удавалось скрыть, выдавали перенесенное напряжение.

Прошло изрядное количество дней.

«Дракона» подняли и отремонтировали. У его капитана начали исчезать следы жестокого бронхита, все же развившегося, хотя и с опозданием, и врачи не разрешали ему выходить на яхте, тем более, что балтийская осень вступила в свои права.

Изредка, когда для этого были основания, невольно вспоминался разговор с Венкстерном. Но Летучий голландец самозабвенной работой отгонял мрачные мысли.

И вот, когда казалось, что жизнь и работа вошли в свою нормальную колею, однажды утром выяснилось, что Летучий голландец исчез. Конечно, правильнее будет сказать, что исчез капитан 1-го ранга Озаровский.

Ошеломленным его помощникам начальство предложило спокойно работать — мол, «у человека, у которого чистая совесть...» и так далее.

Как дурной, кошмарный сон, как тяжелую болезнь с возможным смертельным исходом, перенес Летучий голландец происшедшее. Он вернулся хотя и постаревшим на много лет, но не усомнившимся ни на минуту в сознательно избранном в Октябре пути. Он вернулся согнутый, но не сломленный. Утомленный, слабый, но жадный к работе.

Еще не сменив истлевшего белья и протертого кителя, он явился с просьбой о назначении на флот, на корабль.

Ему повезло по сравнению с некоторыми другими, потому что он явился до 22 июня 1941 года. Вот почему, когда обрушилась на всех нас война, он с первых же дней нашел свое место. Как всегда собранный, Летучий голландец поднялся на мостик канонерской лодки «Буря».

Долгими и томительными ночами он готовил себя к смерти или к большой войне, так как у него оказалось более чем достаточно времени обдумывать свою судьбу и судьбу советской Родины.

Мобилизованная из технического флота шаланда «Буря», получив пушки, снаряжение, команду и капитана, вышла из Ленинграда вверх по Неве и включилась в состав соединения канонерских лодок в тот грозный период, когда фашистские броневые клинья пробивались к городу Ленина, чтобы раздавить, разрушить и уничтожить его.

Все знают о так называемой «Дороге жизни», которая спасала стой-

ких защитников и помогала эвакуировать раненых, слабых, лишних или более нужных на Урале. Но эта дорога через Ладожское озеро, героика творцов которой еще не воспета достойно, действовала только тогда, когда устанавливался прочный лед. И мало кто знает, что все остальное время года — сквозь осенние штормы и льды 1941 года, через весенние штормы и льды 1942 и 1943 годов — дорогой жизни служила та же, но не ледовая, а водная трасса. Муки и снарядов на баржах, буксирах, пароходах и на канонерских лодках было перевезено в сумме больше, чем мог перевезти автотранспорт.

Защищали эту коммуникацию канонерки во главе с «Буреей», очень часто из боевых кораблей превращавшиеся по совместительству в грузовые транспорты или плавучие госпитали, и тогда из-за тесноты очень трудно было работать у зенитных пушек и пулеметов.

Уже с первых дней войны Летучий голландец совмещал командование «Буреей» с должностью командира соединения канонерских лодок в составе Ладожской военной флотилии.

Вот уже за «Буреей» зачтен первый сбитый «юнкерс».

Вот уже первое «спасибо морякам» с берега от армейцев, после арт-огня, заказанного батальоном, выходящим из охвата у Рауталаhti.

Дважды высаживали с канонерок тактические десанты в помощь фланговым частям дивизии полковника Бондарева.

Первое ранение Летучего голландца в эту войну, первая перевязка с «оставлением в строю».

Заделаны первые пробойны в борту от осколков близко упавших бомб.

Благословения ленинградских матерей, благополучно доставленных и высаженных с детьми в Новой Ладоге.

Благодарность от начальника тыла фронта за баржу с мукой для осажденных, спасенную после гибели буксира... И много, много подобного, которое уже стало буднями и вошло в повседневность войны и часто даже не записывается в вахтенные журналы.

Но один эпизод не только сохранился в памяти, но и врезался в душу.

Когда в двадцатых числах августа 1941 года одна из наших дивизий, прижатая к берегу, выходила после многодневных тяжелых боев с значительными силами немецко-финской армии к урезу воды Ладожского озера, Летучему голландцу пришлось, удерживая своим огнем особенно рьяных егерей, выводить из боя и эмбаркировать¹ смертельно утомленных красноармейцев.

«Бурею» обстреливала не только финская артиллерия, но и батальонные минометы вырвавшихся вперед частей и штурмующие самолеты противника. Несмотря на все это, Летучий голландец действовал спокойно и методично, как на учении. Он принял на борт все арьергардные подразделения дивизии генерала Крюкова, не оставив врагу ни одного раненого и ни одного пулемета.

Переправленные затем на остров Валаам, части дивизии были позже высажены на ленинградской земле, недалеко от захваченного немцами Шлиссельбурга. Вот тогда-то произошла следующая сцена.

На причале, перед фронтом солдат, стоящих против «Буреи», и перед ее экипажем, выстроенным вдоль борта, взволнованный командир дивизии обнял и поцеловал Летучего голландца. Слов почти не было.

По положению он не мог сам наградить командира канонерской лодки. Но этого и не требовалось, потому что Летучий голландец застенчиво, но совершенно искренне до самой смерти уверял, что он никогда так не волновался, получая другие награды.

¹ Эмбаркация — обратная посадка войск на суда.

Есть мужество — и мужество.

Слава нашим командирам, показавшим искусство управления лидерами и эсминцами, которые сплошь в пене от собственных винтов, разрывающих воду, маневрировали так, что волны всплескивались на борт при крутых разворотах.

«Пошли бомбы!» — должен был крикнуть, не теряя хладнокровия, сигнальщик, следящий за моментом, когда маленькие капли-точки отделялись от отваливающегося в сторону германского самолета. И вот тогда весь смысл и величие единоличного командования, отвечающего своей жизнью за жизнь сотен людей и за целостность корабля, больше того — за флаг Советского Союза, вкладывались в секунды принятых решений. Тогда миноносец осаживал ход и начинал уваливаться в сторону, а немецкие бомбы с невыносимым воем и визгом чудовищными шлепками били по воде вплотную у борта или под кормой и дробным стуком осколков хлестали по мостикам, трубам и надстройкам. Кто забудет тот характерный, особый звук осколочных пробоев, который не могли заглушить даже свои зенитки или автоматические установки?

Через минуту — отворот от немца, атакующего с другого румба, и в промежутке голос из-под полубака: «Носилки!» или «Малый пожар на юте!»

Так было часто, утомительно часто на Северном флоте, на Балтийском; хотя возможно, что рекорд успешных отражений атак самолетов принадлежит эсминцам Черноморского флота, поддерживавших сообщение блокированного Севастополя с Кавказом.

Да, это море! Такое санитарно-гигиеническое, что с ним никогда не может сравниться земля. Оно поглощает очень быстро (иногда мгновенно) сбитые самолеты, взорванные корабли, залитые волной боты — и плотно смыкается. Без шва, без могильного холмика, так, что ни пузырьки воздуха, ни масляные пятна не дают возможности определить точку, в которой следовало бы поставить крест или обелиск большой братской могилы.

И их ставят, эти кресты или значки, довольно приближенно, но не на море, а на морских картах. А что касается самого моря, то оно может, после Трафальгара или Ютландского боя, быть очаровательным, красочным, а иногда и элегичным, как и подобает хорошему, благоустроенному кладбищу.

Есть мужество — и мужество.

Представьте себе Ладожское озеро, те же «Ю-88» и «Ю-87», с теми же скоростями, бомбами, навыками и обманными эволюциями, иногда группами не меньшей численности, чем в море, атакующими с разных румбов не могучие корабли, а старые озерные шаланды, после установки пушек переименованные в канонерские лодки.

Те же пятьдесят или сто товарищей (если нет на борту эвакуируемых); те же команды: «полный вперед» или «полный назад»; «лево на борт» или «право на борт».

Но только на Ладожском озере почти при том же водоизмещении и размерах кораблей сила машин была в сорок раз слабее; время перевода кулис с переднего хода на задний — в пять раз дольше, чем реверс турбин; и при почти одинаковой циркуляции поворотливость была сравнительно более медлительной из-за трудности перекладки руля. Люди принадлежали двадцатому веку, а техника — девятнадцатому¹.

¹ Канонерские лодки «Буряя», «Зея» и «Кама» были переоборудованы из землевозных шаланд в июне 1941 года. Они имели водоизмещение около 1200 тонн (эсминцы 1500—1800); силу машин около 1000 HP (эсминцы 40000) и максимальный ход 7 узлов (эсминцы более 35 узлов).

(Механик одной из канонерских лодок, призванный по мобилизации из землечерпательного флота, с самым серьезным видом просил командира заранее его предупредить о предполагаемом изменении хода, так как в противном случае он не ручался за возможность исполнения команды с переднего на задний ход.)

На озере так же предостерегающе кричали сигнальщики: «Пошли бомбы»; так же здесь перекладывали штурвал и звонили машинным телеграфом, но только в пять—десять раз медленнее. И вот почему здесь чаще требовали носилки, чаще тушили пожары и чаще заделывали пробоины.

Конечно, нечего и сравнивать такие канонерские лодки с современными кораблями (находились такие дурни, воспитывавшиеся на крейсерах, которые насмешливо называли их «лаптями», а то и «калошами»). Но одно верно: процесс отражения атак вражеских самолетов создавал тягостное ощущение страшного и безнаказанного избиения, особенно у тех, кто попадал в переделку на «Зее» или «Бурее» в первый раз. Так же казалось и со стороны, когда ожидающие погрузки, сжавшись в комок и остановив дыхание, следили за боем из щелей, вырытых на берегу. Казалось, что немцы издеваются как хотят над канонерками.

Казалось... Но только не Летучему голландцу и другим, ему подобным, храбрым командирам и их сподвижникам, которые совместно выработывали свои особые приемы маневрирования и огня, с тем чтобы путать расчеты «юнкерсов» и «хейнкелей».

Казалось... Но только не фашистским летчикам, которые удивлялись и не могли понять, почему они сами несут потери, почти и накрывают бомбами эти «лапти», но утопить их не могут!

Чтобы хладнокровно выдерживать атаки неприятельских самолетов на тихоходных и медлительных канонерках и сохранять ясную голову для расчетов и управления, надо было иметь какие-то особые нервы и необычное мужество.

Но раз об этом зашел разговор, то необходимо для объективности упомянуть о прикрытии канонерских лодок нашими истребителями авиации Ленинградского фронта и Балтийского флота. Без самоотверженной защиты «ястребков» все они лежали бы на грунте и не смогли бы выполнять боевых задач, из которых главной являлось поддержание коммуникации осажденного Ленинграда с Большой землей по трассе Осиневец — Новая Ладога¹.

И невольно вспоминается Каспий, где впервые обнаружилось не только особое мужество Летучего голландца, но и его тактическое искусство.

Будучи командиром бывшего волжского буксира, «тилипавшего» плицами бортовых колес, он никак не мог навязать боя англичанам, так как они блокировали подходы к Астрахани на лучших винтовых танкерах, переоборудованных во вспомогательные крейсера.

Командуя дистанцией, как это называется в учебниках морской тактики, британцы каждый раз отходили и держались за пределами огня советских морских пушек, а затем смыкались на прежней линии. Блокада оставалась блокадой.

И вот тогда Летучий голландец, этот скромный и тихий в жизни человек, стал применять такой прием. Ночью, в полной темноте, прижимаясь к берегу, он обходил блокадную линию противника, заходя ему

¹ Мало кто знает, что для перерыва этой коммуникации против нее действовали не только финские и германские боевые катера, канонерки и самолеты, но даже переброшенные из Средиземного моря итальянские торпедные катера.

глубоко в тыл. А с наступлением рассвета, накопив до предела пар в котлах, пускался самым полным ходом (то есть семи- максимум восьмизузловой скоростью) к себе домой, по кратчайшему расстоянию разрезая линию британского дозора. При этом всего три пушки стреляли беглым огнем с одного или с другого борта, распределяя свою «мощь» в зависимости от поведения неприятельских кораблей.

Интервентам волей-неволей приходилось отвечать на огонь, шараясь в обе стороны от безумца.

Два раза такой прием удался, и один из английских кораблей получил повреждение. Но во второй раз у канонерской лодки Летучего голландца был перебит штур-трос, и корабль начал описывать циркуляцию почти в окружении вражеских сил. Только дымовая завеса и страх британцев, заподозривших тут какую-то новую хитрость, позволили наспеш срастить привод к рулю и выскочить из боя.

Рисковать в третий раз, когда враг понял этот прием, было бы безрассудно. К тому же Летучий голландец вовремя заметил, что не у всех его товарищей нервы из трехпрядного смоленого троса.

Была, однако, принципиальная разница в положении Летучего голландца по сравнению с периодом войны с английскими интервентами и белогвардейцами. Тогда он оставался в тени, несмотря на большие дела. Сейчас на Ладожском озере, от господства на котором в значительной мере зависела судьба осажденного Ленинграда, не только Летучий голландец, но и остальные офицеры и матросы Военной флотилии, авиации, непобедимого Орешка и импровизированных портов (таких, как Осиновец, Морье, Кабона и другие) были известны в городе Ленина и на Большой земле. Поэтому их не только знали и любили вместе с их «лаптями», но и воздавали им должное.

Обычно, по традиции в некрологах — а что иное этот рассказ, как не запоздалый некролог? — под конец упоминается об орденах, заслуженных покойным. Скажем и мы, но не обо всех орденах и медалях, а только относительно тех, которые были заслужены после того, как капитан 1-го ранга Озаровский второй раз начал свою службу во флоте.

Два ордена Ленина и три ордена Боевого Красного Знамени — вот как высоко была оценена только с 1941 года боевая деятельность этого человека, посевшего в борьбе с врагами нашей Родины и надорвавшего свое верное, немного младенческое сердце.

Надломленный организм постепенно угасал, и он умер 1 декабря 1950 года, прожив неполных пятьдесят пять лет. Но за этот период Летучий голландец прожил несколько жизней, и каждая из них была полна приключений, боев, ран, кораблекрушений и ЧП, которых с избытком хватило бы на нескольких героев.

Помню, как много-много лет назад Летучий голландец просил, чтобы в случае смерти его похоронили в море, с точным соблюдением старинного обычая: зашить в брезентовую койку, к ногам ввязать ядро и дать соскользнуть с доски, наклоненной у гака-борта.

Вышло иначе. Не упало его тело в кильватерную струю, как он того хотел.

Хмурым декабрьским днем товарищи проводили Летучего голландца на кладбище в Шувалово, ставшее его последней гаванью.

По традиции впереди на подушечках несли ордена.

И невольной вспомнилась маленькая бумажка — выписка из постановления о том, что «гражданин Озаровский Н. Ю. освобожден из заключения, восстановлен во всех правах и полностью реабилитирован, так как пересмотр его дела показал отсутствие состава преступления». Не будь ее, этой маленькой бумажки, не было бы у Летучего голландца

возможностей доказать, насколько он любил свою Родину. Не было бы и подушечек с двумя орденами Ленина и тремя орденами Красного Знамени и всех остальных, показывающих, как много он сделал во имя этой любви и насколько она была для него выше личных интересов и благополучия.

И последняя мысль.

Он умер от инфаркта миокарда после Победы, в условиях мирной жизни, со спокойной совестью, в кругу семьи, на лэне природы, в окрестностях родного морского города, пользуясь общим уважением и любовью.

Сидя под деревом, на свежем воздухе, за простым столом, он писал воспоминания «На Ладожском озере», надеясь потом вернуться к пережитому на море начиная с первых дней, когда он был очарован, отравлен этим морем на всю последующую жизнь.

И все же больно думать, что Летучего голландца, этого моряка с чистой душой, нет среди нас.

Сегодня ему бы исполнилось шестьдесят шесть лет.

Разве это так много?



ГЕВОРК ЭМИН

★

В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ

В этом возрасте
гении уже умирали.
В жаркой битве смерть они находили.
Их любовь казнила. Их цари карали.
Или сами из жизни они уходили —
когда время их беспощадно било,
когда больше дышать невозможно было.

Этот возраст!..
Извечно и повсеместно
он влюбленного делал отцом семейства.
Чемпион,
уверенно шедший в гору,
становился тренером в эту пору.
И актер,
что вышел уже из моды,
режиссером делался в эти годы.
А поэт,
в безвестности прозябая,
превращался попросту в краснобая
и писал мемуары свои устало,
ибо все уже воспоминаньем стало.

В этом возрасте,
вечно гоним судьбою,
только тот оставался самим собою,
кто не кланялся головой седою,
свои краски не разбавлял водою,
кто свое вдохновенье,
свое призванье
не менял на почести
и на званье.
Для тех душ мятежных,
их дум тревожных
нет ни ложных мер,
ни оценок ложных.
Все дано им видеть —
добро ли, зло ли.
Так что возраст их
не играет роли.

Перевел с армянского Юрий Левитанский.

НА ПУТЯХ СЕМИЛЕТКИ

М. ПАНФИЛОВ

Главный специалист Свердловского совнархоза

★

СТАЛЬ

НА ОЧЕРЕДНОЙ СЛЕТ

В конце прошлого года сталеплавыльщики нашей страны съезжались на очередное совещание в Сталино — центр Донбасса.

Стало традицией — созывать такие всесоюзные совещания сталеплавыльщиков там, где расположены предприятия с лучшими достижениями. В 1946 году совещание проходило в Магнитке, следующее, в 1955 году, — в Запорожье, спустя два года — в Свердловске и, наконец, в 1960 году — в Сталино.

Магнитка есть Магнитка. В 1946 году ее первенство мог оспаривать разве только Кузнецк. Тогда гигант чугуна и стали в полную меру продемонстрировал участникам совещания накопленный в жестокие годы войны опыт по выплавке в большегрузных печах металла особого качества. К 1955 году положение круто изменилось. Теперь производственные новинки привлекали пристальное внимание специалистов к Запорожью. Запорожцы отличались широким размахом применения кислорода, работой мартенов необычно высокой производительности. Правда, магнитогорцы и кузнечане тоже имели полное право гордиться своими успехами, к тому же достигнутыми без применения кислорода. И все же выбор места совещания — Запорожье — был и на этот раз вполне оправдан.

В 1957 году сталеплавыльщики съехались в Свердловск, в город институтов и мощных предприятий. Уральцам было чем похвалиться — Нижне-Тагильский металлургический комбинат по съемам стали оставил далеко позади такие передовые комбинаты, как Магнитогорский, Кузнецкий и Запорожский.

К этому времени Советский Союз занимал второе место в мире по выплавке стали и первое — по количеству большегрузных печей. На совещании в Свердловске было принято решение строить печи в пятьсот тонн. Вспомним, что в 1926 году, на заре советской металлургии, самая крупная мартеновская печь была в семьдесят тонн.

Знаменательно, что предприятия, которые были базой для последних совещаний — Тагильский комбинат и завод «Запорожсталь», — передали эстафету Сталинскому металлургическому заводу с большим достоинством: тагильчане на трехсотсемидесятитонных, а запорожцы на стовосьмидесятипятитонных мартенах в 1960 году достигли мирового рекорда годовой производительности печей такой емкости.

Новаторские начинания металлургов города Сталино были широко известны. С их легкой руки испарительное охлаждение мартенов у нас применяется почти всюду. Советский опыт начали перенимать и за границей. Теперь на заводе изыскивается надежный способ сжигания природного газа.

Участникам совещания хотелось побывать в Сталино главным образом потому, что здесь была пущена установка для непрерывной разливки стали — установка такой мощности, какой мир еще не знал. По смелости технического решения и по значению для дальнейшего развития сталеплавыльного производства установка эта не имела равных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ И... ЗАВИДУЕМ!

Сталинский металлургический завод. Корпуса больших и малых цехов будто разбросаны рукой исполина. Там и тут — трубы, высокие и низкие, группами и в одиночку. По стальным линиям заводских путей паровозы перебрасывают грузы из конца в конец огромной территории...

Гости — производственники и ученые, конструкторы и технологи — направляются к длинному зданию.

С высокой площадки печей установка, расположенная с другой стороны разливочного пролета, показалась неожиданно маленькой, похожей на огражденный с трех сторон паром-плот... Но совсем по-иному представилась она, когда мы взобрались на ее верхнюю площадку. Установка оказалась широкой, и участники совещания сгрудились около перил, как на пароходной палубе. Вглядываясь в даль разливочного пролета, мы нетерпеливо посматривали на часы — нам сказали, что разливка скоро начнется.

Наконец с монотонным нарастающим гулом к площадке стал приближаться большой ковш, самый обыкновенный, каких много в мартеновских цехах.

— Посторонись! — послышался окрик.

Ковш, неся сто сорок тонн расплавленной стали, подошел к перилам площадки и, словно в нерешительности, остановился. Гул на мгновение стих. Потом ковш осторожно, но уверенно стал надвигаться на свое место.

Люди, много раз выдавшие разливку стали, ждали, что сейчас должно произойти нечто необычное. Однако ничего пока не происходило: промежуточный ковш с футерованной крышкой и огнеупорной воронкой еще обогревался. Но вот в него с легким треском ударила огненная струя, рассыпая веером искры, и сталь двумя ручьями стремительно полилась в углубление площадки, на которой собрались металлурги. Устремляясь вниз, ворчливо клокочет огненно-жидкая лава, она попадает в специальные холодильники и превращается в слитки — заготовки для прокатки листовой стали, так называемые слябы.

Два холодильника-кристаллизатора, укрытые под площадкой, заменяют десятки чугунных изложниц, расставляемых по-старому либо в цехе в специальные канавы, либо на железнодорожных вагонетках, сцепленных в длинный эшелон. Сложный процесс затвердевания стали протекает именно в вертикально опущенных кристаллизаторах. Они, как и почти все оборудование установки, смонтированы под землей, скрыты от глаз. Не терпится посмотреть, что делается там, на глубине около трех десятков метров.

Нас приглашают в лифт. Щелчок — и кабина стремительно несется вниз. Мы выходим и в изумлении останавливаемся.

Первое, что бросается в глаза, — величественное движение чего-то мощного, огненно-красного. Однако того изнуряющего пекла, какой сталевар испытывает у печей и разливочных канав наверху, здесь нет и в помине: от потока лучистой энергии, идущей от слитка, человек надежно защищен. Беловато-красная, метровой ширины полоса ползет меж обливаемых холодной водой валков, она медленно спускается, кажется, ей не будет конца. И тут происходит то, что мы все это время невольно поджидали: зорко стоящий на страже автомат включил резаки. Огненный жгут со свистом и треском вгрызается в сталь и отделяет сляб. Слиток обильно поливается водой и затвердевает, хотя остается еще раскаленным.

Мы снова наверху, на рабочей площадке. На полу цеха — слябы, отлитые изумительной машиной; из подземелья они подняты конвейером.

Чугунные изложницы, которые столько лет верой и правдой служат сталеварам, теперь кажутся безнадежно устаревшими.

При обычном способе разливки стали изложницы ставят на чугунные поддоны-плиты с огнеупорными проводками и наполняют сталью. Образуются долго не застывающие слитки. Потом изложницы со слитками увозят в другое место, где при нестерпимой жаре «раздевают». Затем еще красные слитки переправляют в прокатный цех, там вновь нагревают добела, пропускают через стальные валки и, наконец, получают слябы, подобные тем, какие только что на наших глазах выдала установка-комбайн.

Новая установка делает ненужными изложницы, открывшие сто лет назад замечательную страницу в истории производства стали. Она вмещает в себя процесс производства многих цехов, несравнимо облегчает труд, делает его во много раз производительнее.

Новинка Сталинского завода вызвала бурные разговоры. Пожалуй, больше всех горячились уральцы. Да это и понятно: на Урале уже не один год планируется постройка таких установок, но, увы, до сих пор не построено ни одной. А именно здесь они нужны до зарезу. На Урале есть немало цехов с канавной техникой разливки, обслуживаемых рабочими «отмирающей» профессии — «канавными». Если на Магнитогорском, Кузнецком, Ново-Тавгильском или на полностью реконструированных заводах сталь разливают на тележках (а эта техника считалась самой передовой сравнительно недавно, лет десять—пятнадцать назад), то в Северске, Ревде, Серове, Алапаевске, на Верх-Исетском заводе пользуются отсталой разливкой — канавной.

Однако могут сказать: по-хозяйски ли будет строить подобные уникальные установки в цехах с сомнительным будущим? Да и стоит ли всерьез говорить об этом, если удельный вес продукции таких цехов в союзном масштабе невелик?

Сомнения не без оснований. Но ведь речь идет главным образом о тех заводах, пути развития которых ясны. Можно ли на таких перспективных заводах терпеть отсталость? Нельзя!

По Северскому заводу это «нельзя» сказано лет пять назад. Раньше, чем в Сталино. Однако в Сталино установка уже работает, а на Северском заводе далеко еще до начала строительства. Это тем более непонятно, что обоснованная экономическая выгода должна составить свыше миллиона рублей в год (в новых деньгах). Прирост стали только за счет увеличения выхода годного металла определяется более чем в двадцать тысяч тонн в год. Рабочих же потребуется почти на сорок человек меньше, чем сейчас. Затраты на установку должны окупиться в течение двух лет.

Установка, предусмотренная для Северского завода, очень интересна в инженерном отношении. Сляб у нее при выходе из тянущих валков будет загибаться, значит потребует меньшего углубления. Это позволит сократить сроки строительства и расходы. Установку с загибом уже делают за границей, однако по масштабу северская должна быть самой мощной в мире. Возможно, она окажется и самой лучшей во всех отношениях. Тем более обидно, что этой установки все еще нет на Урале. Многие тут зависят не только от совнархоза, но и от Госплана.

Разумеется, вопрос не в пристрастии к Уралу. Среди металлургов можно услышать споры о том, какими должны быть заготовительные станы-блуминги. И это в то время, когда существует новый агрегат, который полностью их исключает. Как же можно терпеть поразительную медлительность с введением в строй таких установок?

То, что мы видели в Сталино, — результат подлинного содружества людей самых различных профессий. Впрочем, таков наш век. Объединенные усилия математиков и физиков, проектантов и строителей создают поистине чудеса техники.

Металлургический завод нашего завтра будет отличаться от громоздкого и разбросанного нынешнего завода своей компактностью и ошеломляющей производительностью. Такой завод в контурах уже рождается в изобретательном уме человека.

— Неужели для проектантов это не служит укором? — указывая на лежащий на полу сляб, сказал опытный сталеплавильщик Н. А. Вечер, обращаясь к Г. А. Гарбузу, крупному конструктору мартеновских печей. — Это ли не наглядный пример возможностей коренной перепланировки завода?

— Да, пожалуй, так, — согласился Гарбуз.

— Астрономы и астрофизики Луну рассмотрели с обратной стороны, а металлурги как смотрели десятилетиями на завод односторонне, так продолжают смотреть и сейчас. Что думает об этом Гипромез?..

Завтра металлургического завода волнует широкие круги металлургов. Именно «завтра». Слово «будущее» тут не подходит.

События последних лет круто ломают привычные представления и взгляды на вещи, толкают на смелые поиски и творческие дерзания. Советские воздушные лайнеры, космические ракеты, полет первого космонавта Юрия Гагарина дают ярчайшие

доказательства удивительной быстроты воплощения самой смелой мечты человека в действительность. А в металлургии? Перекачивание металла по трубопроводам, подача в сталеплавильные агрегаты шихты в жидком виде, непрерывная разливка стали, автоматизация процессов производства и многое другое — разве это не доказательство того, что уже приоткрываются двери в сказочное завтра этой отрасли промышленности? И мы не можем мириться со всем тем, что мешает смело шагнуть ему навстречу.

1961 год — год XXII съезда нашей партии, который примет величественную программу строительства коммунизма. Новые грандиозные задачи будут поставлены перед металлургами. И если год назад на совещании в Сталино раздавались еще робкие голоса о заводе нового типа, то теперь настала пора заговорить об этом решительно.

УРОКИ ДИАЛЕКТИКИ

В просторном фойе тесно и шумно. В центре внимания участников совещания — витрины с заводскими диаграммами. Каждое предприятие показывает свои достижения. «Съем стали возрос...» «Простой снижены...» И цифры. Простые цифры. Но как много они говорят!

Протискиваюсь к витрине Магнитки. Она больше других привлекает меня — незадолго до этого я побывал на комбинате, впечатления свежи, и приятно их воскресить. Вспомнилась история с «замком». Она началась с крупной неприятности: комбинат «сорвался» по выплавке стали. Производственная программа под угрозой. Корень зла, по общему признанию, в печах, которые рушились раньше положенного срока. Почему? Как всегда, сколько знатоков — столько и мнений.

Директор комбината Федосий Денисович Воронов отдает распоряжение:

— Повесить замок на подачу топлива!

Многих специалистов приказ привел в замешательство. Как же так: на комбинате прорыв, а тут — запрет, ограничения на мартеновские печи?

Воронова знали задолго до его приезда на Магнитку как видного металлурга, одного из зачинателей скоростной работы мартенов. Было известно и другое. На южных заводах, где Воронов работал много лет, тепловые нагрузки высокие, в Магнитке же таким печам топлива дают меньше. Приказ директора выполнялся, но сомнения не покидали. Они усилились, когда при переходе на новый режим печи снизили производительность. Однако это продолжалось недолго. Печи стали выдавать столько же металла, сколько и раньше, зато резко снизился их износ. Это отлично подтверждают диаграммы Магнитки.

Однако цифры рассказывают далеко не все. Они ничего не говорят, например, о другой, очень большой проблеме, вставшей во весь рост перед Магниткой и теперь успешно решенной.

Гигантским цехам не стало хватать топлива — газа. А потребители требуют от завода все больше и больше металла. Значит, нужны или дополнительные источники энергии, или же кардинальная перестройка. Она началась в мартеновских цехах. Испробовали несколько вариантов подачи мазута в печь — подавали его один, потом вместе с газом. Изменяли конструкцию печей. Наконец на помощь пришел природный газ. Но и тут пришлось затратить немало усилий, чтобы создать наиболее выгодные условия его сжигания.

Все это делалось в крупных масштабах, с невероятной быстротой и одновременным переучиванием сталеваров и всего обслуживающего персонала. Крупные эксперименты не в институтах, а прямо в цехах, на большегрузных печах и без снижения плана производства!

Опыт Магнитки важен и для других металлургических предприятий. Уже сейчас в Тагиле временами печам дают топлива меньше, чем хотели бы мастера сверхскоростных плавок. Несомненно, положение будет исправлено и здесь. Но это в значительной мере зависит от того, как тагильчане сумеют использовать опыт магнитогорцев.

Проблемой для металлургических заводов является не только недостаток газа, или, как говорят, отрицательный баланс топлива. Нередко «тылы» не поспевают за движе-

нием новаторов. Скоростники опережают возможности шихтоподачи, транспорта, уборки плавков. Вот в чем соль многих теперешних конфликтов на заводах!

Однако на пути решения проблемы «тылов» преградой стоит устаревшее представление о постоянстве построенного завода и предельных границах технически допустимого.

А как обстоит дело в действительности?

Небольшой завод прошлого, который десятилетиями оставался в первоначальном виде, и современный индустриальный колосс типа Магнитки различны между собой не только по масштабам производства. Если в прежние времена характерной чертой в основном была неизменность, статика производственного процесса, то в наши дни наоборот — непрерывный процесс, динамика, стремительность движения. А это обязывает к иным расчетам. К расчетам с перспективой развития.

Качественные изменения у нас естественны, закономерны. Но взгляды на завод с каких-либо давних позиций подчас меняются весьма медленно, сказывается консервативная сила привычки. Нередко и сейчас люди из научно-исследовательских институтов смотрят на завод свысока и упрощенно: мы — это, мол, наука, а вы — это лишь практика. Между тем на заводах жизнь заставляет решать одну задачу за другой, причем сложность их нередко такова, что не по силам иному институту. И там, где повседневные дела заслоняют большие думы над будущим производства, неизбежны упущения, крупные промахи...

Но я немного отвлекся. Вернемся к тем вопросам, которые особенно беспокоят сегодня металлургов.

В Тагиле вот-вот начнут строить мощные конвертеры. Это впервые в истории металлургии. И сразу же проблема: какой емкости целесообразнее их строить?

За свою столетнюю историю мартены превратились в пятисот- и шестисоттонных великанов. В СССР будут введены в строй печи еще большего объема. Конвертеры тоже росли, но гораздо медленнее: их объем увеличился до двадцати, максимум до сорока тонн. Сейчас не столь важно выяснять, почему это произошло. Важнее другое.

Если осторожность в увеличении емкости конвертеров в недавнем прошлом могла объясняться отсутствием достаточного опыта, то теперь она ничем не может быть оправдана. В условиях, когда применение кислорода дает конвертерам «зеленую улицу», робость ничем не может быть оправдана. Надо строить конвертеры в несколько раз большей мощности, чем это делали до сих пор.

Понятно, почему собравшиеся на совещание в Сталино буквально осаждали вопросы Сергея Гавриловича Афанасьева, крупного специалиста по конвертерам.

А вот обсуждаются пути улучшения мартеновского процесса.

В тесном кольце слушателей — пожилой человек в очках, с взъерошенными волосами. Его сильно поредевшие волосы, как видно, вниманием не избалованы: они стоят почти торчком, как бы говоря о колком характере их обладателя. Это академик Николай Николаевич Доброхотов. Говорит он неторопливо, но веско. Семидесятилетний ученый нетерпелив в стремлении к новому, беспощаден к ошибкам. Он громит кого-то за промахи, допущенные в переводе мартенов на природный газ. Потом вскидывает голову, поблескивая очками, всматривается в направлении витрин и решительно идет туда. Все устремляются за ним.

То, чего не рассказывают цифры, раскрывают люди. Какие-то незримые, но жизненно крепкие нити связывают людей с диаграммами, со всем тем, что создавалось на заводах, в лабораториях, на чертежных досках. Оборви эти нити — цифры останутся, но сияние их как бы померкнет.

Среди сталеплавильщиков возникла острая дискуссия. Вопрос был поставлен прямо: пора прекратить строительство мартенов и заменить их более производительными агрегатами — конвертерами. Это кажется парадоксальным, если вспомнить, что в 1957 году на совещании в Свердловске шел творческий спор о том, какие строить мартены, и был взят курс на строительство мартенов очень большой емкости.

Три года — и такие перемены в направлениях. Принципиальное расхождение? Нет, уроки диалектики.

Суть тут в правильном выборе средств, надежности действий, оперативности. Родная металлургия пословица говорит: куй железо, пока горячо. Решать вопрос медленно — значит упустить время. Но поспешные решения сложных задач, без достаточного осмысления и необходимых условий, обречены на неудачу. Отсюда и родился спор о судьбе мартенов: быть или не быть?

Из множества вопросов мартеновского производства один — емкость печи — наиболее примечателен.

В 1917 году самая крупная печь — в семьдесят тонн. В 1930 году Гипромез разработал проект мартеновского цеха с печами в полтораста тонн. Через пять лет на заводе «Азовсталь» построена первая качающаяся двухсотпятидесятитонная печь. В послевоенное время начали разрабатывать проекты печей гораздо большей емкости. Казаюсь, емкость мартенов беспредельна, увеличение ее шло без удержу.

И вот в тот момент, когда поговаривали о печах на девятьсот и более тонн, вдруг поставлен вопрос: надо ли строить мартены?

Дело в том, что достойным соперником сталеварения в мартенах явился совсем молодой конвертерный способ с кислородным дутьем. У него двойная выгода — дешевизна и быстрота. Конвертерный способ стал как бы наследником быстрого бессемеровского процесса (передела жидкого чугуна в литую сталь посредством продувки сквозь него воздуха), да еще с другими отменными задатками. Родившись раньше мартеновского на пять лет, бессемеровский способ с каждым годом уступал ему в своем росте. Точку поставил кислород. С его применением бессемеровское производство захирело и, можно сказать, закончило свою историю. Зато в сосуде прежней конструкции, но значительно большего объема, в грушевидных ретортах, получают сталь конвертерным способом еще быстрее, чем бессемеровским, и по качеству не хуже мартеновской.

Что новое зародилось — очевидно. Но то ли это новое? Мнения разделились.

Начал дискуссию А. Ф. Мырцимов. Основывая свои выводы на заводской практике и исследовательских работах, он доказал, что стотонный кислородный конвертер сможет давать стали значительно больше, чем мартеновская печь на кислороде емкостью почти в тысячу тонн (таких печей еще нет). В десять раз больше! А если учесть, что емкость конвертера сейчас реальна в двести—двести пятьдесят тонн, то какую же равновеликую по производительности надо иметь мартеновскую печь?!

Но спор есть спор, а тем более инженерный. Представитель Гипромеза А. М. Бродский привел веские доводы в пользу мартенов. Конвертеры, бесспорно, дают стали больше, их строительство действительно обходится дешевле на тридцать процентов. Но себестоимость стали снижается всего только на два процента, а что касается качества металла — это еще вопрос. Надо посмотреть! По его мнению, не наступила еще пора проявлять такую категоричность в пользу конвертеров, надо строить и конвертеры и мартены — где что выгодно.

Итак, у двух крупных специалистов две точки зрения: Мырцимов предложил немедленный переход к конвертерам, Бродский — за длительное испытание обоих способов.

Инженеру в предугадывании перспективы помогает чувство техники. Но как важны для него в этом случае расчет и анализ! Их-то для правильного решения вопроса о способах производства стали, очевидно, и не хватает.

Ясно одно: сталеплавильный агрегат должен быть другим. По-видимому, уже сейчас можно создать сталеплавильную печь, не похожую на мартеновскую, но с ее преимуществами и в то же время с хорошими особенностями конвертера.

РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

На совещании были рассмотрены десятки важных вопросов. Здесь их трудно перечислить. Многие из них уже нашли практическое решение.

В этих кратких заметках мне хотелось коснуться отдельных, имеющих весьма серьезное значение для дальнейшего развития черной металлургии проблем, которые вызвали острый спор или реализуются недопустимо медленно.

К совещанию в Сталино многие предприятия пришли с большими достижениями. В их числе два комбината нашего, Свердловского совнархоза — Нижне-Тагильский и Серовский, два первенца советской металлургии — Кузнецкий и Магнитогорский комбинаты, растущий великан — Череповецкий завод и гордость южной металлургии — завод «Запорожсталь». Здесь сталеплавильщики использовали агрегаты значительно лучше, чем на других предприятиях Востока и Юга страны, а простои оказались почти в полтора раза ниже. Но самых низких простоев по Союзу — немногим больше пяти процентов, что близко к пределу, — достиг Северский завод Свердловского совнархоза.

Этот опыт заставляет серьезно задуматься. Деятельность передовых предприятий показывает бесспорные возможности внушительного увеличения выплавки стали без дополнительных затрат. В масштабе страны — это миллионы тонн! Ведь только по одному металлургическому заводу средней производительности снижение простоев печей (по многим предприятиям они достигают четырнадцати процентов) до уровня названных показателей позволило бы дополнительно дать сто — сто тридцать тысяч тонн.

Что же мешает наиболее быстрому и полному использованию огромных резервов? Есть трудности организационно-технического порядка, подчас слабое техническое руководство. Но сейчас мне хочется сказать о другом.

Никита Сергеевич Хрушев указал труженикам сельского хозяйства верный путь крутого подъема производства — равнение на маяки, подтягивание всех до уровня передовиков. Это в равной степени относится ко всем отраслям народного хозяйства, в том числе и к металлургии.

Результаты изучения и распространения передового опыта в металлургии общеизвестны. Они поистине неоценимы. Однако сейчас перед нашей металлургической промышленностью поставлены такие задачи, что существующая система передачи опыта уже не может нас удовлетворить. Я имею в виду, например, межзаводские школы. К сожалению, они все чаще превращаются в чисто информационные, малоэффективные сборы. Дело сводится главным образом к констатации фактов, тогда как нужен практический показ примером, на рабочем месте.

Другой вопрос. Можно ли добиться повышения экономичности в работе мартеновских печей? Да, можно. Для этого металлический лом надо заваливать в печь не в твердом виде и не часами, а в жидком виде и почти мгновенно. Проблема эта имеет прямое отношение к увеличению производительности агрегата и комплексной автоматизации сталеварения.

Надо сказать, что подготовка лома для сталеплавильных печей имеет очень существенное значение, так как от этого зависит качество стали, завалка лома влияет на производительность мартеновских и электросталеплавильных печей.

Кто-то подсчитал, что из ста двадцати девяти выступивших за четыре дня совещания почти шестьдесят касались подготовки шихты. Каждый второй — о шихте!

Случайно ли это? Нет.

Утяжелять порцию металлического лома и, значит, меньшее число раз заезжать в печь, при большом газе загружать шихту быстрее — ведь это главнейшие условия работы скоростников. Вот где резервы! Лом надо резать ножницами с усилием в тысячу тонн и более, пакетировать прессами, но не в четыреста тонн мощностью, как сейчас, а в четыре-пять раз большей. Такие прессы должны быть в 1961—1962 годах. Но где? Только на гигантах металлургии — в Тагиле, Магнитке, Кузнецке и других. А этого мало. Очень мало. Требуется и другое оборудование. Нужны новые способы подготовки шихты.

Обслуживающие механизмы не соответствуют современным мартенам. Это несоответствие, возросшее за последние годы, резко выпирает. Емкость мартенов увеличилась поразительно — в десять и более раз, а завалочная мультя либо осталась прежней крохой, либо стала чуть-чуть побольше. Кормить великана микродозами просто неразумно, а происходит именно так. Сто, а то и триста раз въезжает машина в печь, чтобы загрузить ее шихтой. И только для одной плавки! На это уходит не час и не два. При этом даже такой сильный ускоритель плавки, каким является кислород, оказывается

почти бесцельным. Годовые потери производства на предприятии средней величины исчисляются десятками тысяч тонн.

Между проектантами печей и конструкторами машин и механиками явная неувязка. А ведь какая здесь замечательная точка приложения сил представителей науки и практики для огромного прогресса сталеплавильной техники!

Говоря о больших резервах мартенов, нельзя пройти мимо возможностей автоматизации. Они убедительно раскрыты в Тагиле. Тут еще в прошлом году большегрузные печи начали работать с комплексной автоматикой по оригинальной схеме. Автоматизированная печь сама настраивается на самые выгодные условия работы. Об этом речь будет идти ниже, а сейчас коснусь того, на что способна автоматика, что она дает.

При обычном обеспечении шихтой и топливом на автоматизированной печи съем стали с одного квадратного метра площади пода на кислороде достигает более одиннадцати тонн. Это высокий съем, если вспомнить, что на лучшем в стране заводе «Запорожсталь» он составляет десять с небольшим тонн, а в целом по СССР — немногим выше восьми. Но автоматизированная печь в Тагиле по большому числу плавок давала съем пятнадцать и даже больше тонн.

«Нехитрое дело, создали условия», — нередко слышатся голоса малOVERов.

Да, создали. Что тут порочного? А сама автоматизация, а механизация — разве это не создание условий? Не в том ли подлинная задача инженеров и ученых, чтобы создавать условия для предельно возможного использования агрегата?

Собственно говоря, суть в том, чтобы топлива дать в печь столько, сколько позволяют автоматы, а шихту загружать так быстро, чтобы тепло не пропадало даром. Иными словами, обеспечивать печь нормально, без перебоев.

И вот тут-то возникает резонный вопрос: что выгоднее — увеличивать производство стали за счет постройки новых мартенов или за счет обеспечения существующих такой быстроходностью, какой отличаются лучшие тагильские, запорожские, кузнецкие печи, а то и более высокой? Несложные расчеты показывают, что наиболее полное использование действующих комплексно-автоматизированных печей потребует сравнительно небольших затрат, а получаемый ежегодный прирост стали можно удвоить.

Люди наших заводов рука об руку с учеными поднимают такие пласты производства, какие десятилетиями оставались недоступными.

На Серовском заводе есть сталеплавильщик Г. И. Барышников.

— Еще недавно, — рассказывал он, — бытовало мнение: выплавлять сталь высоких марок и сохранить подину — невозможно. Мы разбили это мнение. Теперь подины стоят почти в два раза лучше, чем стояли три года назад...

Для этого требуется очень тщательно готовить подину (он рассказал, как это делают на Серовском заводе). Главное же — быстрота, хорошее качество очистки плюс применение наварочной смеси. Если раньше подину наваривали в двенадцать—шестнадцать слоев, затрачивая на это от восьмидесяти до ста двадцати часов, то теперь Барышников делает наварку всего лишь в два-три слоя максимум за двадцать—тридцать часов. Невиданное в истории металлургии дело!

Помню, сосед, с большим интересом слушавший Барышникова, спросил:

— Кто он?

В самом деле, кто он? Если судить по рассказу о собственных экспериментах — исследователь, работник института. Но эта догадка сразу отпала, когда Барышников обрушился на ученых с упреками в отсутствии научных обобщений. Многие в методах изготовления подин, заявил он, нашли заводы, а не научно-исследовательские институты.

Геннадий Иванович Барышников — инженер, обер-мастер нового покроя. Он неустанно ищет, творит новое, ибо знает, что чем больше металла будет получать страна, тем богаче и краше будет наша жизнь. Геннадий Иванович хорошо помнит, как до полного изнурения убивались сталевары, очищая деревянными гребками ямы на подинах. Он помнит и многое другое о тяжком труде металлургов, что в советское время безвозвратно ушло в область предания.

НУЖЕН ПРОЖЕКТОРНЫЙ СВЕТ ТЕОРИИ

Было время, и не так чтобы давнее, когда мартеновская печь подчинялась только сталевару-знатоку. Никаких приборов, все на глаз.

Наша техника далеко продвинулась вперед, однако попытки применить приборы на мартенах зачастую терпели неудачу. Причина — высокие (до двух тысяч градусов) температуры, огненная лава.

Так было в тридцатых годах. Тогда зачинатель скоростного сталеварения Макар Мазай еще только учился хорошо варить сталь. Ученые и инженеры сталеварам сочувствовали, но в управлении печью помочь могли немногим.

Но вот человек сумел обуздать и стихию огня. Печи автоматизировали, автоматика стала обычным явлением. Настал новый этап. Межпланетные ракеты, взметнувшись в небесную высь, как ураган, всколыхнули все отрасли знания, усилился натиск в поисках нового, более совершенного. Обострилось чувство неудовлетворенности и у металлургов.

До сих пор на мартенах приборы и автоматы работали порознь, а необходимо, чтобы отдельные узлы были увязаны в комплекс. Это надо сталевару коммунистического труда.

Если для простоты рассказа процесс сталеварения разделить на огонь и металлическую лаву, то окажется, что огонь, плохо или хорошо, покорен приборами, расплавленная же сталь и автоматизация — вещи как будто бы несовместимые. Во всяком случае, опыта автоматизации процесса сталеварения мировая практика не знает.

Но скоро узнает. Советский Союз выступит, по-видимому, и здесь пионером.

То, что рассказал об автоматизации сталеварения В. Н. Тимофеев из ВНИИМТа — научно-исследовательского института, который работает над вопросами теплотехники в металлургии, — не может не волновать воображение.

Плавка стали будет производиться с помощью вычислительных устройств и автодиспетчера. Подумайте только, автодиспетчер! Он будет задавать наивыгодный режим работы печи и регулировать ход плавки. Он же будет давать и сигналы о начале и конце отдельных операций сталеварения. ВНИИМТ вместе с другими институтами и Ново-Тагильским металлургическим комбинатом намерен эту работу выполнить не позже чем в 1962—1963 годах.

Возникает вопрос: а что дальше? Дальше — путь к полной автоматизации управления цехом. И если теория металлургических процессов всегда была нужна, то сейчас она до крайности необходима. С ней куда бы скорее пошли дела с автоматикой, и гораздо дешевле.

Как тут не вспомнить слова Н. С. Хрущева о том, что в вопросах техники нужен хороший прожекторный свет, чем по существу и являются исследовательские работы.

Процесс плавки мы хотим полностью подчинить человеку, заставить автоматы варить сталь, находить новые, сверхскоростные способы получения металла. А в этом случае надо иметь действительную теорию, знать подлинное строение главных составных частей металлургических процессов.

У металлургов с теорией явный затор. Возьмем, к примеру, теорию о шлаках.

Шлак, называемый обычно отходом производства, как более легкий располагаясь в печи над металлом, не остается безучастным. При высокой температуре он все время в активном взаимодействии. Его роль трудно переоценить. Издавна опытные сталевары говорят: каков шлак, таков и металл. Вопрос, каков шлак, — металлургов занимает давно. Спрашивали полуграмотные практики, спрашивали нынешние мастера-скоростники, допытываются ученые.

Из чего он состоит?

Из молекул, утверждали одни, основываясь на данных химического и петрографического анализов застывших образцов. Из ионов, говорят другие, руководствуясь в исследованиях более тонкими методами, в частности рентгеноструктурным анализом.

Представителей чисто молекулярной теории почти не осталось. Но имеются сторонники и решительные поборники ионной теории расплавленных шлаков. Между теми и другими возникают споры. Но разве это споры в большой науке и среди крупнейших авторитетов? Нет, чаще всего в кулуарах.

Мы, металлурги, с восторгом узнаем о потрясающих достижениях, скажем, ученых-физиков. Они ошеломляюще быстро ведут поиски. И что еще замечательно: у этих, по крылатому выражению, маяков технического прогресса — комплексность наук и профессий, редкостная сплоченность. Вот этого, к великому сожалению, недостает ученым-металлургам.

История науки знает множество примеров принципиальной и непримиримой борьбы теорий и мнений. Да и металлургия не бедна такими примерами. Многим известно, как теория металлургических печей освобождалась от неправильных, казавшихся, на первый взгляд, убедительными, представлений.

Академик Н. Н. Доброхотов — один из первых, кто начал громить теорию печей, созданную В. Е. Грум-Гржимайло, по тому времени одного из крупнейших знатоков металлургического дела. Теперь дико представить себе мартеновскую печь с позиции гидравлической теории. А ведь когда-то она господствовала. Очевидцы рассказывали, как Грум-Гржимайло спрашивал своего противника:

— По моей теории много печей построено и работает, а где ваши?

Действительно, Доброхотов тогда печей не имел, но в критике гидравлической теории был полностью прав. Эта теория рассматривала движение газов в печах как самопроизвольное. Печи, построенные на основе такой теории, работали, но отличались тихходностью.

На смену пришла энергетическая теория, основанная на современных представлениях о механике газов и предусматривающая принудительную подачу воздуха. Этим обеспечивалась интенсивная работа печей. Теперь можно с благодарностью вспомнить спор двух больших ученых, имевший очистительное значение на пути дальнейшего развития печного дела.

Что делается в мартеновской и электрической печах? Что происходит в конвертере? Каковы дальнейшие пути развития в сталеплавленном производстве? Разобраться во всем этом должна помочь теория.

Выражаясь языком биологов, теория металлургических процессов длительное время находилась в эмбриональном состоянии, пока превратилась в ребенка. И вот этот одаренный ребенок, на которого металлурги возлагают столько надежд, очень уж медленно растет и развивается.

Под впечатлением слов «завтрашний день», часто нами произносимых, невольно хочется представить, каково оно, это будущее металлургии. И воображение принимает зримые, захватывающие формы, ибо рождается оно нашими сегодняшними реальными делами.

У американских империалистов наши успехи вызывают тревогу. Еще бы! В то время как в США выплавка металла неудержимо падала, в СССР за 1957—1960 годы производство стали возросло на четырнадцать миллионов тонн и в прошлом году достигло внушительной цифры — шестьдесят пять миллионов тонн. Не за горами день, когда по выплавке стали Советский Союз прочно займет первое место в мире. Порукой этому — невиданный энтузиазм советских людей. Разведчики будущего, они творят чудеса. Вот всего лишь один пример: коллектив коммунистического труда мартеновской печи Нижне-Тагильского металлургического комбината, возглавляемый сталеварами Ю. М. Зашлипиным, Ю. П. Плосконенко, Н. М. Кальниченко и Т. Я. Образцовым, включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу XXII съезда Коммунистической партии, добился съема по двенадцати и более тонн стали с одного квадратного метра площади пода. В движение соревнующихся за досрочное выполнение семилетки вливаются все новые и новые силы.

Хочется отметить одну замечательную в нашем деле особенность, проявляющуюся все более ярко от совещания к совещанию. Это — творческое объединение профессий.

Если на первом, уральском, съезде мартеновцев, когда страна выплавляла всего лишь около трех миллионов тонн, предметом обсуждений была практика и собственно технология плавки, то на последующих совещаниях к технологам подключились специалисты-проектанты, завязался разговор о том, какие нужны печи и цехи. Позже небезуспешно давали знать о себе теплотехники с их большими исследованиями. Произошло весьма плодотворное объединение технологов, проектантов и теплотехников. В годы бурного развития скоростного сталеварения в помощь металлургам впряглись огнеупорщики. Теперь всем ясно — без них у сталеваров не было бы таких успехов.

На совещании 1960 года, когда СССР выплавил стали в двадцать с лишним раз больше, чем на заре своего развития, в зале заседаний собрались ученые и практики, технологи и теплотехники, проектанты и огнеупорщики и, обратите внимание, автоматчики. Ну, а на следующих совещаниях, несомненно, достойное место займут и теоретики металлургических процессов. Это будет пора радикальных перемен в сталеварении!

Это «будет» уже началось. Сталь в 1961—1965 годах будет и той, что была раньше, и иной, потому что почти вся она будет выплавлена в печах, полностью механизированных и оборудованных комплексными автоматами.

Металлурги, как и весь советский народ, готовясь достойно встретить XXII съезд Коммунистической партии, уверенно держат курс на выполнение и перевыполнение семилетнего плана по стали.



ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ПОПОВСКИЙ

★

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ

БЕСЕДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Днепропетровске, в библиотеке Всесоюзного института кукурузы, мне показали потрепанную брошюру пятидесятилетней давности. На порывевшей обложке с «ятями» и десятиричным «и» стояло: «Беседа о возделывании кукурузы». Книжку написал и издал в 1912 году здешний екатеринославский уроженец, участковый агроном Яков Федорович Торохтий.

В Днепропетровске еще кое-кто помнит старого Торохтия. Был он, как говорят, большой мастер в своем деле, а главное, человек, искренне болевший за судьбы русского пахаря. Эти личные черты его ощущаешь за каждой строкой «Беседы». Специальная тема не помешала автору откровенно толковать со своим современником, екатеринославским мужиком, о его житье-бытье.

Разговор получился невеселый, зато честный и прямой. «Возделывание одних только колосовых хлебов повело к тому, что земля наша сильно обессилела, выпалась... Отводя большие площади под посевы хлебов, хозяева лишились выпасов и сенокосов, необходимых для прокормления скота. Скот теперь имеет жалкий вид... Две главные отрасли хозяйства: полеводство и животноводство пришли в упадок, тяжелый труд земледельца остается без должного вознаграждения доходами хозяйства».

Что же делать? Чем поднять упавшее земледелие?

Агроном Торохтий не революционер. Он только грамотный сельский хозяин. Точно, по-хозяйски подсчитав, он советует землякам: хотите получить больше хлеба и хороших кормов — сейте кукурузу. Он приводит строго проверенные цифры урожая кукурузного зерна, сравнивает затраты с рыночными ценами и приходит к выводу — выгодно.

Страницы маленькой брошюры дышат деловитой убежденностью. Торохтий не только делится с читателем самыми передовыми для девяностых годов приемами возделывания кукурузы, но и горячо пропагандирует свою любимую культуру. На экземпляре, попавшем мне в руки, сохранилась надпись, сделанная рукой автора: «Председателю Екатеринославской уездной земской управы для ознакомления с покорнейшей просьбой оказать содействие распространению среди населения». Не знаю, была ли удовлетворена «покорнейшая просьба» Якова Федоровича Торохтия земским начальством, но только торжества кукурузы на полях Украины дожидаться ему так и не довелось. Большие перемены должны были совершиться в стране и в сознании множества людей, прежде чем возделывание кукурузы вошло в государственные планы, прежде чем культура эта заняла более двадцати миллионов гектаров и стала подлинным источником благосостояния народа. За кукурузу пришлось бороться, ее пришлось открывать заново. Да, заново, ибо то растение, о котором писал Торохтий, мало чем напоминает кукурузу наших дней. Нынешняя шагнула далеко на север, за пределы Украины, и плодоносит там, где о ней недавно еще и не слышали. Екатеринославский агроном прельщал своих современников урожаем в сто сорок пять пудов (двадцать три центнера с гектара). А ныне уже немало хозяйств, берущих по пятьдесят — шестьдесят

центнеров зерна и пятьсот — семьсот центнеров зеленой массы, идущей на корм скоту. Наука усовершенствовала древнейшую сельскохозяйственную культуру.

Как кукуруза получила высшее образование, об этом и пойдет наш рассказ. Но прежде несколько слов — почему и м е н н о кукуруза, почему в д р у г кукуруза.

«ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ СВОЮ РОДИНУ...»

О кукурузе говорят на пленумах Центрального Комитета партии, о ней много пишут в газетах и сообщают по радио. Лекции о кукурузе, фильмы и книги о кукурузе...

— Где это слышано, чтобы растению, пусть даже очень полезному, уделялось столько внимания? Кукуруза стала политикой. Никогда прежде этого не бывало, — недовольно заметил мой сосед по купе в поезде Москва — Харьков.

А на следующий день в Харькове старейший растениевод академик Николай Николаевич Кулешов вот что рассказал мне.

В библиотеке департамента земледелия США он разыскивал материалы по истории кукурузы. Библиотекари могли предложить два-три толстых, переплетенных в кожу тома испанских авторов XVI столетия, несколько более поздних книг по-английски и, к его удивлению, целую кипу сочинений, изданных во Франции. Странно: ведь в современной Франции кукуруза совершенно не распространена, откуда же такая обильная литература?

Оказалось, что времена Великой французской революции были одновременно периодом самых горячих симпатий французов к кукурузе. Современники и деятели революции, видные агрономы Вильморен и Парментье, рассматривали внедрение этой культуры как дело политической важности. Заключительные фразы Инструкции, изданной в Париже в 1796 году, звучат буквально словами наших дней: «Никогда не будет достаточно повторять жителям тех районов, где может возделываться кукуруза, что это зерновое растение в числе других... принесет им наибольшие выгоды, и что один удовлетворительный урожай кукурузы более ценен, чем самый обильный урожай ячменя или овса...»

Революция, освободившая и призывавшая к творчеству производительные силы Франции, не могла пройти мимо растения, в котором передовые агрономы века видели культуру больших возможностей. И нет ничего странного, что член Конвента агроном Парментье свое серьезное научное руководство по кукурузе заключил призывом к патристическим чувствам соотечественников. «Французы, — писал он, — если вы любите свою родину, возделывайте кукурузу в каждом кантоне, где почва и климат не препятствуют культуре этого растения».

Сто двадцать пять лет спустя, голодной и холодной осенью 1921 года, председатель Совета Народных Комиссаров и вождь первой в мире пролетарской революции Владимир Ильич Ленин в письме к Г. М. Кржижановскому возвращается к этой же проблеме: «Преимущества кукурузы... в целом ряде отношений, видимо, доказаны. Раз это так, надо принять меры более быстрые и более энергичные». Ленин требовал от Совета Труда и Оборона срочно «...выработать ряд, очень точных и очень обстоятельно обдуманных мер для пропаганды кукурузы и обучения всех крестьян культуре кукурузы, при наличных скудных теперешних средствах».

Указание Ленина возымело свое действие. В следующем, 1922 году площади под кукурузой по сравнению с 1916 годом почти утроились.

Нет, он глубоко ошибался, мой сосед по купе. Не раз и не два, а многократно в истории человечества кукуруза оказывалась растением первостепенной важности.

Система земледелия, основанная на возделывании кукурузы, вскормила древние американские государства доколумбовой поры. Ацтеки Мексики, индейцы майя Центральной Америки, инки Перу, Эквадора и Боливии, народы, построившие замечательные дороги и храмы, самым почетным занятием считали выращивание маиса — кукурузы. Их главный бог Тлалок был божеством кукурузы. Майя называли маис «питающей благодатью» и считали его даром неба.

Правда, Колумб, впервые открывший маис для жителей Восточного полушария, не придал своей находке большого значения. Но зато его продолжатели — испанские и английские колонизаторы Нового Света — смогли освоить американский континент только благодаря кукурузе. Европейские хлеба поначалу не прижились в Америке, пришельцам из-за океана грозил голод. Спасла их индейская кукуруза. «Маис был тем мостом, пользуясь которым, английская цивилизация продвигалась вначале с трепетом и неуверенно, а затем уверенно и смело к своему укреплению в Америке и колонизации этой страны», — писал впоследствии один западный историк. Если расшифровать эту «дипломатическую» формулу, то окажется, что все происходило очень просто: сначала англичане, высадившись на американском берегу («с трепетом и неуверенно»), крали маис у индейцев, а потом («уверенно и смело») начали его отнимать силой, заставляя самих индейцев сеять кукурузу для порабощенных. Колониальные войны в Америке были первоначально войнами за маис.

Впрочем, довольно примеров. Сегодня кукуруза у нас вновь призвана к большим делам. «Через кукурузу лежит путь увеличения производства мяса и молока, а следовательно, повышение материального благосостояния народа», — подчеркивает Н. С. Хрушев.

На наших глазах завершилась новая волнующая эпопея: ученые-биологи по существу переделали кукурузу, заставили ее давать значительно более высокий урожай, превратили южанку в обитательницу северных районов. В руках науки древнее растение помолодело, обрело небывалые прежде качества.

Что же это за победа?

ДАР НЕБЕСНЫЙ? НЕТ — НАУЧНЫЙ!

В науке мало что было открыто сразу и окончательно. Большие открытия — своеобразный слоеный пирог, над которым независимо друг от друга трудится множество поваров. Здесь гениальное прозрение нередко соседствует с самыми абсурдными ошибками и право первооткрывателя зиждется подчас лишь на слабой памяти потомков. Гибридная кукуруза не исключение. Открывателей у нее было не меньше, чем у парового котла, лампочки накаливания и Американского континента.

Первыми внести свой вклад в практику гибридизации (скрещивания) пастухи библейских времен. Они вывели мула — помесь осла и лошади. Уже тогда, две-три тысячи лет назад, эти не очень-то искушенные в науках люди могли заметить то, что мы сейчас называем гибридной силой. Гибридное животное — мул — обладает большей жизнеспособностью, чем организмы, порожденные родственным размножением. Мул, о котором говорят, что он «лишен гордости за своих родителей и надежды на потомство», тем не менее значительно сильнее, чем его отец — осел, и несравненно долговечнее матери — лошади.

У растений гибридную силу удалось обнаружить намного позже. Честь этого открытия принадлежит двадцатисемилетнему адъюнкту Российской Академии наук ботанику Йозефу Кёльрейтеру. В 1760 году в Петербурге после многочисленных тщетных опытов ему удалось опылить цветы перуанского табака пылью русской махорки. Гибрид, полученный от скрещивания, поразил ученого мощью листы и высоким ростом. Всеми качествами потомок явно превосходил родителей. «Это растение, — писал Кёльрейтер, — является в полном смысле слова... первым искусственно полученным ботаническим мулом».

Впоследствии, будучи уже почетным членом Российской Академии, Кёльрейтер несколько раз предлагал использовать открытую им гибридную силу в сельском хозяйстве. Но предложения его вызывали лишь недоверчивые улыбки. Получать путем скрещивания новые, не известные прежде растения? Это пахивало алхимией с ее превращением свинца в золото. Просвещенный XVIII век отвел и вскоре забыл «абсурдную» идею Кёльрейтера.

Не станем чрезмерно строго судить ученых прошлого. Наука — дитя своего века. Быть слишком дальноруким в науке так же опасно, как и слишком близоруким.

Разгадка и использование гибридных сил, гибридизации затянулось на десятилетия. Даже шестьдесят лет спустя после опытов Кёльрейтера прусская Академия наук все еще брала под сомнение возможность скрещивать растения разных видов. Изрядная премия в 1819 году была предложена тому, кто ответит на вопрос: «Может ли происходить гибридное оплодотворение в растительном царстве?»

Тем временем кукуруза (та самая обычная, которую привез в Европу Колумб) потихоньку расселялась по свету. В XVII веке она попала в Грузию и Молдавию, с XVIII века оказалась на Украине. Украинские хлеборобы принимали американский злак дружелюбно, но скорее как огородное растение, годное на то, чтобы полакомиться молодыми, вареными в соленой воде початками. Американские фермеры более серьезно отнеслись к маису, видя в нем отличный корм для скота. Но как бы то ни было, в начале XX столетия во всем мире земледельцы разводили лишь чистые сорта кукурузы. Считалось даже, что сорт тем лучше, чем он чище, чем более однообразны составляющие его отдельные растения.

Только в начале нынешнего столетия земледельцы вспомнили притчу о муле и обратились к искусству скрещивания. Они попытались получить потомство от двух разных сортов кукурузы и убедились: межсортовые гибриды, если хорошо подобрать их родителей, оказываются как бы новым растением, более рослым и дающим зерна на добрых десять — двенадцать процентов больше.

У нас межсортовыми гибридами успешно занимался энтузиаст кукурузы профессор Виктор Викторович Таланов. В начале века он привез из Америки лучшие сорта кукурузы и на опытной станции в Синельникове, на Екатеринославщине, создал первые удачные скрещивания. «Кукуруза, несомненно, является одним из главнейших растений, которому принадлежит будущее в хозяйстве юга России», — писал Таланов в 1911 году, в то время, когда этот злак занимал в посевах страны ничтожные площади — полтора-два процента.

Сегодня, пятьдесят лет спустя, оценивая это научное предсказание, поражаешься прозорливости и, я сказал бы, фантазии ученого. Для ржаной и пшеничной России 1911 года пророчество о судьбе кукурузы должно было звучать примерно так же, как если бы сегодня кто-нибудь предрек великое будущее горчице или ревеню. Но Таланов не просто мечтал. Он много экспериментировал и наблюдал. Межсортовые гибриды не случайно привлекли его внимание. Ученый-демократ, близкий нуждам деревни, Таланов, как и Климент Аркадьевич Тимирязев, был глубоко убежден, что «истинный кормилец крестьянина — не земля, а растение, и все искусство земледельца состоит в том, чтобы освободить растение, и следовательно, и земледельца от «власти земли». Научить крестьянина умело управлять гибридной силой, возникающей от скрещивания растений разных сортов, значило подарить ему некоторую прибавку урожая, как бы независимую от капризов земли. Это ли не высшее достижение биологической науки?

К тому времени, когда в России вспыхнула революция, Таланов уже имел несколько удачных межсортовых гибридов. Но испытать их на крестьянских полях ему так и не удалось. Пожар гражданской войны на Украине разметал драгоценные плоды талановских опытов.

Межсортовые гибриды — это уже был принципиально новый этап в тысячелетней истории кукурузы. Добытый мужественным Гайаватой «зеленый маис — дар небесный» отныне должен был потесниться, уступая на полях место маису, созданному рукой человеческой. А вскоре затем новые, еще более значительные открытия окончательно сделали маис даром науки.

Мне уже приходилось однажды описывать удивительные последствия опытов американского ботаника Джорджа Шелла с кукурузой (книга «Второе сотворение мира». «Молодая гвардия», 1960). Но здесь придется вкратце повторить эту историю.

Однако, чтобы понять суть открытия, совершенного Шеллом («мечтательный ботаник» — назвал его американский писатель Поль де Крайф), необходимо напомнить, как устроена у кукурузы система оплодотворения.

В отличие от пшеницы и любого другого хлебного злака мужские и женские органы маиса находятся не внутри одного цветка, а расположены отдельно в разных частях растения. Пышный султан, венчающий вершину стебля, несет мужское начало.

Здесь две с половиной тысячи цветков запасают к брачной поре до двадцати миллионов пыльцевых зерен. А ниже, в пазухах листьев, по одному сидят массивные початки, завернутые в плотные зеленые обертки. Из-под оберток выбивается пучок нежных зеленых шелковинок — нити рылец завязи. Это они на июньском рассвете, когда утренний ветерок поднимает с тысяч султанов и несет над кукурузным полем золотой дождь пыльцы, воспримут ее и доставят в глубь початка. А вслед за тем под грубыми обертками зародятся, нальются соком и силой ряды зерен — янтарных, белых, а у некоторых сортов даже красных и черных. Каждое стоящее в поле растение кукурузы является, таким образом, детищем бесчисленных скрещиваний.

Надо сказать, что, когда в 1904 году Шелл начал свои опыты, он вовсе не интересовался ни урожаями кукурузы на полях фермеров, ни гибридной силой. Его занимал узкий научный вопрос: как передаются по наследству признаки родителя, если очень долго, несколько лет подряд, растение будет опыляться только собственной пыльцой, то есть каждое предыдущее поколение будет для своих потомков одновременно и отцом и матерью? Все было случайным в этой серии экспериментов. Для опытов Шелл случайно избрал кукурузу, как мог бы, вероятно, избрать любое другое перекрестно опыляющееся растение. И наследственный признак, за которым следовало наблюдать, ученый выбрал совершенно случайно: он решил проследить, как станет изменяться от поколения к поколению количество рядков зерен в початках.

Три года продолжались опыты. Биолог терпеливо сеял кукурузу и, едва на стеблях появлялись початки и метелки, надевал на них бумажные мешочки-изоляторы, чтобы не допустить переопыления с другими растениями. Потом он искусственно наносил пыльцу подопытного растения на его же собственное рыльце и снова надевал мешочки-изоляторы. На следующий год полученные от самоопыления семена снова высевались, и все начиналось сначала. Так продолжал Шелл род нескольких самоопыленных линий кукурузы. И чем дольше длился опыт, тем явственнее становилось, что эти чистокровнейшие потомки чистокровнейших предков вырождаются. С каждым поколением самоопыленная кукуруза вырастала все более чахлой, а початки все более мелкими.

Шелла едва ли удивляло это вырождение. Он читал Чарлза Дарвина и знал мнение великого эволюциониста относительно того, что самоопыление вредно для растений, а перекрестное опыление поднимает их жизненную силу. Особенно мощные растения, писал Дарвин, возникают в тех случаях, когда скрестятся неродственные сорта.

Все это имело самое непосредственное отношение к опытам Шелла. Но он продолжал каждую осень осматривать свои початки, считать на них рядки зерен и оставался в счастливом неведении относительно того, как близко его научный корабль проходит от чудесной земли крупного открытия.

Интересуясь только законами наследственности (речь шла все о тех же злополучных рядках зерен в початке), Шелл задумал скрестить между собой две чистые линии несколько лет самоопыляемой кукурузы. Он взял пыльцу растения одной линии и перенес ее на початок кукурузы другой линии. Этот насильственный брак состоялся летом 1906 года, а следующей весной из полученных семян поднялись первые ростки гибридной кукурузы. И чем ближе к августу продвигалось время, тем все более необычно выглядели эти странные гибриды. Они почти в полтора раза переросли своих родителей и выбросили мощные початки, ничуть не похожие по размерам на те, из которых сами появились на свет.

К осени 1907 года Шелл написал статью, где объявил миру чудесную новость: если кукурузу несколько лет подряд самоопылять, а потом скрестить между собой две линии, то в первом поколении можно получить урожай на двадцать — тридцать процентов более высокий, чем от обычных сортов. Так называемые межлинейные гибриды Шелла давали в два-три раза больше зерна, чем известные до него гибриды межсортовых. Гетерозис — гибридная сила, — вот что это такое.

Собственно, с открытия Шелла и началась кукурузная наука. Работы «мечтательного ботаника» подхватили ученые США и других стран. Со временем в Америке, а потом в Европе возникли специальные хозяйства по производству самоопыленных линий и гибридных семян.

НЕЛЕГКИЕ РОДЫ

Уровень научных знаний в современном мире подобен уровню жидкости в сообщающихся сосудах — он очень скоро уравнивается, если... если на пути научного потока не возникают искусственные препятствия.

В двадцатые годы мы «обожглись» на кукурузе. Посеяли ее довольно много, но при этом не учли указания, которое Владимир Ильич в своем письме к Кржижановскому подчеркнул тремя жирными чертами. Не позаботились относительно «обучения всех крестьян культуре кукурузы». Когда собрали урожай, то земледельцы тех районов, где кукурузу прежде не разводили (Нижнее и Среднее Поволжье, Центральная Черноземная область), попросту не знали, что с ней делать. Крахмало-паточные заводы еще стояли, разоренные недавней войной, винокуренная промышленность только восстанавливалась, скармливать початки и стебли на корм скоту крестьяне толком не умели. «Кукурузой топили во многих случаях печи, так как она сделалась дешевле всякого другого топлива», — писали в своей книге два видных экономиста того времени.

Однако случайная неудача не подорвала веру в кукурузу у тех, кто знал действительно безграничные возможности этой культуры. Душой нарождающейся у нас кукурузной науки стал крупнейший советский биолог академик Николай Иванович Вавилов.

Президент Сельскохозяйственной академии имени Ленина, директор Всесоюзного института растениеводства (ВИР), Н. И. Вавилов все свое влияние направил на то, чтобы поднять разоренное двумя войнами сельское хозяйство страны, подкрепить усилия земледельцев силами науки. На Пятом съезде Советов Н. И. Вавилов поставил вопрос о том, что в нашем континентальном климате, только используя такие культуры, как кукуруза, можно реконструировать социалистическое сельское хозяйство. «Те неудачи, которые были у нас с кукурузой, — случайного организационного порядка, сравнительно легко преодолимые, — утверждал ученый. — Создание сбыта, переработки зерна, внедрение кооперации в это дело... несомненно создадут благоприятные условия для культуры кукурузы, которая в свою очередь придаст значительную прочность, значительную устойчивость нашему земледелию».

Это было не только декларацией, Всесоюзный институт растениеводства к началу тридцатых годов стал центром серьезных исследований по кукурузе. Вавилов и его сотрудники пользовались каждой поездкой за рубеж, чтобы пополнить знаменитую вировскую коллекцию семян. Число образцов маиса, собранных во всем мире, они довели до тринадцати тысяч! Возвращаясь в 1932 году из научной командировки в США, Николай Иванович заметил своему спутнику, профессору Н. Н. Кулешову:

— Нам, россиянам, надо поторапливаться. Американцы-то — видали? — на кукурузу табуном навалились.

Действительно, в Америке после большого перерыва селекционеры и генетики снова взялись в это время за опыты с гибридной кукурузой. Дело в том, что фермеры не обратили поначалу никакого внимания на открытие Джорджа Шелла. И не случайно. Самоопыленные линии, которые Шелл предлагал скрещивать между собой, чтобы получить семена простых межлинейных гибридов, давали слишком мало этих самых семян. Игра не стоила свеч: выращивать линии надо несколько лет, а семян от них — кот наплакал. Фермеры предпочитали сеять свои старые сорта. Урожай получался, может быть, и не такой высокий, как гибридный, зато возни с семенами куда меньше.

Почти двадцать пять лет прошло, пока блестящая биологическая идея — использование гибридного «взрыва» — снова привлекла к себе интерес земледельцев Америки. За это время другой американский биолог, Джонс, значительно улучшил метод Шелла. Он предложил получать гибриды кукурузы не от двух самоопыленных линий, которые, как уже говорилось, дают мало семян, а от четырех. Делал он это так. От двух разных пар самоопыленных линий путем скрещивания Джонс получал два простых межлинейных гибрида. Шелл на этом останавливался, а Джонс на следующий год снова скрещивал между собой двух этих здоровяков и получал семена третьего поколения, так называемые двойные межлинейные гибриды. Такой брак давал уже вполне достаточно семян, и ими можно было засеивать большие площади.

Двойные межлинейные гибриды — вот высшее практическое достижение кукурузной науки тех лет. И надо сказать, советские ученые не отставали от своих американских коллег в решении этой большой научной и практической проблемы (которая, конечно, несравненно более сложна, нежели здесь описано).

Тридцать лет назад те, кто сегодня составляет гордость нашей селекционной науки, тогда еще молодые люди — Борис Павлович Соколов на Синельниковской селекционной станции возле Днепропетровска, Василий Евсеевич Козубенко на опытной станции ВИРА неподалеку от Армавира, Михаил Иванович Хаджинов в Ленинграде, — взялись за работу с кукурузными гибридами. Общим «крестным отцом» этой группы оставался академик Н. И. Вавилов, а дом на Исаакиевской площади в Ленинграде — Всесоюзный институт растениеводства — стал главным штабом проблемы гибридизации. Именно здесь (а не на родине маиса, в США!) профессор Н. Н. Кулешов, собрав и изучив все известные в мире формы маиса, описал и классифицировал кукурузу в масштабах всей планеты. Сюда же, в ВИР, осенью 1935 года пришла радостная весть: Василий Козубенко создал первый в СССР двойной межлинейный гибрид кукурузы и передал его в сортовое испытание. (Гибрид Козубенко Кубанский-135 занял потом на Кубани десятки тысяч гектаров.) А еще раньше в Ленинграде узнали, что Борис Соколов, унаследовавший не только опытные делянки профессора В. В. Таланова, но и его идеи, вывел два простых гибрида по методу Шелла, тоже вполне пригодных для передачи в производство.

Да, все шло тогда к тому, что гибридная кукуруза с опытных участков должна была вот-вот перешагнуть на поля колхозов и совхозов. Повторяю: это происходило в начале тридцатых годов, в то время, когда в Соединенных Штатах Америки, по признанию видных американских селекционеров Г. Уоллеса и Е. Брессмана, «гибридными семенами» были засеяны только доли процента от общей площади посевов кукурузы, то есть по существу лишь несколько сотен гектаров. По уровню кукурузной науки мы не только не уступали заокеанским ученым, но кое в чем имели перед ними преимущество. И все же ни в 1935 году, ни десять, ни пятнадцать лет спустя гибридная кукуруза, добытая с таким трудом советской наукой, так и не попала на колхозные поля. Наоборот, на многие годы этой культурой у нас вообще перестали заниматься.

«Если посмотреть статистические данные, характеризующие состояние животноводства за 15—20 лет, предшествовавших сентябрьскому Пленуму ЦК КПСС (1953 год), то легко убедиться, что движения вперед по существу не было: один год производство мяса и заготовки молока на несколько процентов увеличивались, а другой год они падали», — пишет в книге «Кукуруза» (1960 год) академик ВАСХНИЛ А. С. Шевченко. Кормов — вот чего не хватало животноводству все эти годы. Тех кормов, которые в избытке могла бы дать кукуруза.

А с ней в это время произошло вот что.

Начиная с 1934 года группа биологов предприняла атаку на теоретические взгляды школы академика Вавилова. Не вдаваясь в суть этих давних споров, скажу только, что особую неприязнь противников Н. И. Вавилова вызвал метод самоопыления, так называемый инцухт, тот самый метод, без которого немислимы самоопыленные линии, невозможно получить сильный «взрыв» гибридной силой и в конечном счете недостижимы урожайные межлинейные гибриды кукурузы. В специальных журналах и на совещаниях враги инцухта требовали запретить этот «антибиологический» прием. Они божились при этом именем Дарвина. Разве не говорил великий эволюционист, что самоопыление вредно? Говорил! Разве нет в его книгах указаний на то, что перекрестное опыление, опыление чужой пылью, поднимает жизнеспособность растения? А виловцы годами самоопыляют кукурузные линии, доводят их до плачевного состояния и еще надеются получить от этих полуживых растений хороший гибрид! Сорты, хорошие сорта — вот что должен выводить селекционер! В крайнем случае можно создавать гибриды между сортами. И только!

— Помилуйте, — возражала противоположная сторона. — Но ведь хорошие кукурузные гибриды уже созданы. И созданы они именно благодаря самоопыленным линиям. Зачем, сидя в зале, спорить о теории, когда плодоносная урожайная практика стучится в дверь? Поедем лучше в поле и посмотрим на межлинейные гибриды. Сорты?

Прекрасно. Будем работать и над сортами. Но будущее кукурузы и всего нашего сельского хозяйства не в сортах, а в межлинейных гибридах, дающих двадцать пять—тридцать процентов добавочного зерна.

Однако последнее слово осталось все же за противниками инцухта. На «бесплезные» опыты с самоопылением перестали выделять средства. Даже тему эту выбросили из планов научных учреждений.

...Я снова перечитываю ленинское письмо о кукурузе, адресованное Г. М. Кржижановскому. Не такой уж важный, казалось бы, документ в гигантской переписке главы Советского государства. Но в каждой строке ощущаешь ленинский стиль руководства. Владимир Ильич абсолютно убежден в необходимости посева кукурузы, но, заканчивая письмо, он все-таки просит «немедленно провести... обсуждение этих вопросов с обязательным привлечением всех оттенков мнений насчет кукурузы».

Всех! Это слово Ленин подчеркнул в письме дважды.

ПОБЕДИТЕЛИ

Читатель, возможно, посетует: мол, зачем ворошить события двадцатипятилетней давности? Ведь ошибка исправлена, гибридная кукуруза ныне триумфально шествует по полям страны.

Думаю, что вспоминать об ошибках прошлого никогда не вредно. И не только потому, что история научных ошибок служит продолжением самой науки. Кстати, события, о которых идет речь, отнюдь не столь уж давние. В Днепропетровске я читал любопытный документ, помеченный сентябрем 1948 года. То был протокол Ученого совета института, где черным по белому написано: «Ученый совет требует от т. Соколова (того самого Б. П. Соколова, что один из первых вывел у нас межлинейные гибриды.— М. П.) прекратить работу по получению гибридов кукурузы от самоопыленных линий». Так и сказано: прекратить! И запрет этот, касавшийся далеко не одного только Соколова, действовал еще и в 1950-м и в 1951 годах.

И все же к чести наших ученых надо сказать — они проявили подлинное мужество, отстаивая необходимые стране исследования. Нет, не прекратил работу с самоопыленными линиями Борис Соколов. Не бросил своих гибридов Василий Козубенко, поселившийся на Буковине. Не оставил мечты о гибридной кукурузе Михаил Хаджинов, осевший в Краснодаре. А под Армавиром продолжал испытывать самоопыленные линии Василий Кожухов.

В годы войны этим людям не раз приходилось оставлять на разграбление врагу собственное имущество, но в самые тяжелые и дальние эвакуации они в первую очередь увозили заветные мешки и мешочки с кукурузными семенами: гибриды, линии. А потом, вернувшись на старые места, снова высевали на делянках это богатство, предчувствуя, как пригодится оно вскоре родной стране...

Но как ни велика стойкость, проявленная учеными-селекционерами в борьбе за гибриды, скажем прямо: едва ли ее достало бы, если бы у кукурузы не нашелся еще один большой и искренний друг.

— Перед войной,— рассказывает академик Б. П. Соколов,— нас, украинских селекционеров, нередко приглашали в Киев. Секретарь ЦК КПУ Никита Сергеевич Хрущев любил советоваться с учеными по различным вопросам сельского хозяйства. Кукуруза уже тогда была его любимой культурой. Интересовали Хрущева и гибриды. А у меня как раз к этому времени широко пошел в производство гибрид Первенец. На совещании по вопросам урожайности кукурузы и проса — было это в ноябре сорокового — я горячо ратовал за посев гибридными семенами. Выступил, однако, один человек, не шибко грамотный по части биологии, но весьма решительный в своих выводах, который обрушился на наши методы. Я отбивался, как мог, но позиция гибридизаторов, тем не менее, была сильно поколеблена. В своем заключительном слове Никита Сергеевич коснулся нашего спора. В разгар речи он взял со стола початок моего Первенца и, внушительно помахав им в воздухе, произнес слова, которые запомнились мне надолго.

«Прав Соколов,— сказал он.— А гибриды пойдут, видимо, в производство тогда, когда мы огреем этими гибридами кое-кого по затылку».

Н. С. Хрущев давно приглядывался к кукурузе. В 1952 году, вспоминает академик ВАСХНИЛ А. С. Шевченко, Никита Сергеевич «пригласил министров и заведующего Сельхозотделом ЦК, показал им участок подмосковной кукурузы. Тут же было подсчитано, сколько животного масла в расчете на гектар можно получить, если в хозяйстве вырастить такую кукурузу. Цифра оказалась внушительной — пятьсот килограммов масла».

Постепенно крепла и росла мысль, ставшая ныне политической задачей всего социалистического сельского хозяйства: кукуруза — главная полевая культура современности. В сентябре 1953 года на Пленуме ЦК КПСС эта идея получила свое окончательное выражение в докладе Н. С. Хрущева.

Чтобы сдвинуть с мертвой точки животноводство, надо обеспечить скот кормами. Кормов нужно много, хороших, сочных, а главное — для всех районов страны, для средней полосы, Урала, Сибири, Казахстана. Откуда их взять? Н. С. Хрущев предложил план смелый и многим казавшийся в те годы нереальным: сеять кукурузу везде, где сеют колосовые. Конечно, под Москвой и на Алтае она не дозреет, зерно не дойдет до полной спелости, но и без того кукуруза даст большое количество зеленой массы на силос. А кукурузный силос вместе с початками в стадии молочно-восковой спелости — отличный корм. Пятьсот-семьсот килограммов зеленой массы с гектара — никакая другая известная у нас культура не даст больше. Короче говоря, надо использовать кукурузное растение целиком, с листьями и стеблем, а не только на зерно, как делалось до сих пор.

План этот ломал все представления растениеводов о возможностях кукурузы. Вспомним: на учебной карте, опубликованной в 1952 году, северная граница возделывания этого злака проходила от Черновцов, южнее Киева, через Полтаву, Ворошиловград, на Махачкалу. Огромные пространства Украины, средней полосы РСФСР, Белоруссия, Прибалтика, не говоря уже о Сибири и Средней Азии, признавались непригодными для разведения кукурузы.

— Может быть, действительно севернее границы, помеченной на карте, кукуруза не растет? — бросил реплику Н. С. Хрущев на январском Пленуме ЦК (1955 год). И сам же ответил, вкладывая в ответ весь свой богатый опыт руководителя: — Не верно это!

Жизнь показала, что это было действительно не верно.

Едва ли есть на свете другая сельскохозяйственная культура, которая была бы способна так быстро и щедро отплатить земледельцам за их заботу, как древний маис. В 1959 году колхозы смогли заложить свыше ста пятидесяти миллионов тонн силоса вместо тридцати двух миллионов в 1953 году. Такого количества кормов Россия не заготавливала за все время своего существования. И как звенья общей цепи, эта цифра тянет за собой другие. Оправдывая старинную поговорку о том, что молоко у коровы на языке, колхозы в том же 1959 году произвели молока и масла почти в два раза больше, чем в 1953-м.

А как же гибриды?

Они тоже дождались своего торжества. Первого марта 1956 года в газетах появился правительственный документ, который для ученых-кукурузников прозвучал, вероятно, подобно победным фанфарам. Двадцать восемь миллионов гектаров под кукурузу — в семь раз больше, чем в самые «кукурузные» времена прошлого. И в ближайшие годы вся эта гигантская площадь должна быть засеяна гибридными семенами. Вот где размах для большого селекционного дела!

Постановление правительства привело в движение мощный механизм науки и производства. Сорок научно-исследовательских учреждений приступили к производству самоопыленных линий, шестьдесят пять семеноводческих совхозов взялись выращивать простые гибриды, а более двух тысяч других хозяйств — создавать двойные межлинейные гибриды, те, что пойдут в колхозы и совхозы.

СТРЕЛКА КОМПАСА ПОКАЗЫВАЕТ НА СЕВЕР

Разводить кукурузу в СССР оказалось намного труднее, чем в Соединенных Штатах Америки. Совершенно разные природные условия существуют в так называемом кукурузном поясе Америки и у нас. Там высокие температуры и обилие влаги сопутствуют растению от посева до уборки. А у нас даже на Кубани летних осадков значительно меньше, чем в Айове, а под Харьковом земля за лето получает в два раза меньше дождей, чем в окрестностях города Де-Мойн. Несравнимы и температуры. Чтобы южная кукуруза поспела, ей нужна, как говорят специалисты, сумма активных температур порядка 2 500—2 700 градусов. Под Москвой же, если сложить летние температуры воздуха, едва наберется в обычный год две тысячи градусов. Однако новые массивы кукурузы располагаются именно в таких и даже более прохладных районах. Вырастить при этих температурах растения на силос с полужрелыми початками еще, пожалуй, можно, но спелого кукурузного зерна ни под Москвой, ни в Белоруссии, ни в Прибалтике получить не удастся.

Да и семеноводство вести у нас нелегко. Кукуруза на севере семян для посева не дает. Их каждый год завозят с Кубани, Дона, с Украины. Перевозки, погрузка, разгрузка, тысячекilометровый пробег вагонов, семена то опаздывают к севу, то оказываются не совсем приспособленными для района, куда их доставили... Что и говорить: американцам больше повезло с климатом.

И тем не менее мы вовсе не собираемся отказываться от кукурузы. «Скверный» климат не помешал советским селекционерам в свое время развести овощи в Норильске и Хибинах, продвинуть пшеницу в район, где искони сеяли только рожь. Поиски северной кукурузы уже начаты, и начаты широким фронтом.

Как и всегда в науке, взгляды на то, как получить эту самую лучшую, самую урожайную северную кукурузу, различны.

О северной кукурузе развернулась сейчас в нашей научной прессе целая дискуссия.

Спор ведут «северяне» — ученые Москвы и подмосковных институтов — и «южане» во главе с Б. П. Соколовым. Опыта у южан несравненно больше. Кукурузой они занимаются десятилетиями, зато на стороне москвичей настойчивость и энергия, присущие новому большому начинанию. Так что силы у обеих «армий», можно считать, равные.

План Б. П. Соколова прост. Так как главное для северных районов — получить кукурузный силос непременно с початками в молочно-восковой спелости, то надо любой ценой заставить кукурузу давать на севере эти полужрелые початки. Еще в начале нынешнего века любители-растениеводы вывели в Сибири несколько сортов кукурузы. Получились низкорослые, но очень скороспелые растения. Белоярое пшено, Сибирячка и другие неспособны, правда, дать высокие урожаи зеленой массы, зато в течение короткого северного лета они, как правило, успевают вырастить початок. Академика Соколова прельщает именно это качество северных сортов. Он предлагает скрещивать скороспелку с рослыми, хотя и позднеспелыми кукурузами юга и добиваться, чтобы потомство унаследовало лучшие признаки обоих родителей: початок с зерном от матери, а мощный рост и обилие зеленых листьев от позднеспелого отца.

Если сеять в северных районах страны только первое поколение таких гибридов, говорит ученый, то мы выгадаем, кроме всего прочего, также за счет проявления гибридной силы: в первом поколении такие растения получатся особенно рослыми, с крупными початками. И еще один подарок сулит днепропетровский селекционер колхозникам севера. Скрещивание по его методу можно будет вести на родине скороспелок, то есть в Сибири, на Алтае, в средней полосе. А раз так, то завозить с Кубани и Украины нужно только отцовские семена, то есть половину того, что завозят сейчас. Семеноводство северной кукурузы приблизится, таким образом, к месту основных посевов, а перевозка семян сократится вдвое.

Нынешней весной, беседуя с Борисом Павловичем Соколовым в Днепропетровске, я был поражен масштабами его исканий. На рабочем столе в своем кабинете селекционер разостлал широченный, мелко разграфленный лист, на котором он отмечает каждый шаг вновь выведенных гибридов. В 1961 году более пятидесяти новичков с гордым именем Днепровский разосланы для испытания в сто двадцать областей и

республик страны, на тысячу с лишним сортоучастков. Поистине на столе передо мною лежала генеральная карта наступления гибридов. И стрелка главного удара указывала прямо на север. По этой «карте» селекционер, подобно полководцу во время сражения, следит за каждым успехом и неудачей своих отрядов, рассылает подкрепления, выводит с поля разбитых — тех, что не выдержали атак холода. Уже наметились первые победители. Гибриды Днепровский-33а и Днепровский-98, испытанные под Москвой, принесли самый большой урожай зеленой массы с початками молочно-восковой спелости среди всех сортов и гибридов, распространенных в средней полосе. Кто знает, может быть, это им предстоит в ближайшее время взять штурмом поля Нечерноземной полосы, Сибири, Алтая. Что ж, в добрый час!

Выслушаем, однако, и противную сторону. Владимиру Ивановичу Балюре, сотруднику Научно-исследовательского института сельского хозяйства центральных районов Нечерноземной полосы, будущее северной кукурузы видится совсем по-другому. Но прежде чем рассказывать об экспериментах и замыслах селекционера Балюры, я позволю себе сделать маленькое отступление.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое селекция? Со школьной скамьи мы знаем, что слово это происходит от латинского *seligere* — отбирать; что тысячелетиями неведомые селекционеры прошлого отбирали в природе лучшие растения, сеяли их и таким образом создали большинство современных сельскохозяйственных культур. Но что такое селекция сегодня? Искусство? Наука? Ремесло?..

Ответить, оказывается, не так-то просто. Обычно говорят и пишут, что в нашей действительности единственно мыслима селекция научная. Когда я повторил это одному из своих знакомых, пожилому ученому, создателю многих ценных сортов, он не без юмора спросил меня:

— А у вас, у литераторов, бывают заместители?

В вопросе звучало лукавство, но я ответил всерьез:

— Нет, немисливо сочинить за другого рассказ или написать картину. В иных руках получится иное сочинение, иное полотно. Искусство неповторимо и неотделимо от личности творца.

— То-то,— удовлетворенно кивнул головой старый селекционер.— Я вот тоже не могу поручить моему помощнику вывести вместо себя сорт. Он-то, может быть, и выведет, только другой это будет сорт, не тот, который бы создал я.

Мой собеседник не одинок в своих взглядах. И надо сказать, немало отличных сортов получило наше хозяйство из рук таких вот умельцев селекции, превративших создание новых растительных форм в высокое личное искусство. Зоркий глаз, большой жизненный опыт, хорошая память, интуиция — без этого успешная селекция действительно немислива. Но кто сочтет, сколько селекционеров проработали весь свой век без всякого проку, так и не создав ничего? Да что селекционеры! Целые селекционные учреждения годами иногда не дают никакой продукции. Таланта, искусства маловато? Допустим. Но может ли страна, планирующая в государственных закромах каждый центнер, в таком важнейшем деле, как сотворение новых урожайных сортов, надеяться только на случайный успех, на удачу отдельной личности?

Один из создателей плановой государственной селекционной работы в Советском Союзе, академик Н. И. Вавилов, так определил взаимоотношения между искусством и наукой в этой области: «Мы не отказываемся от селекции, как искусства, но для уверенности, быстроты и преемственности в работе мы нуждаемся в твердой, разработанной конкретной теории селекционного процесса. Коллектив не может работать по интуиции на случайных удачах... Только сильная теория позволит в короткое время переделать сорта в соответствии с требованиями социалистического хозяйства».

С тех пор, как написаны эти строки, прошло двадцать семь лет. Время подтвердило убеждение Н. И. Вавилова. Сегодня без знания генетики, новейших достижений цитологии, без глубокого проникновения в эволюционное учение Чарлза Дарвина нельзя надеяться на крупный выигрыш в селекционной лотерее. Селекция наугад, отбор и скрещивание наобум в надежде на то, что кладовые природы богаты — авось что-нибудь да и вытащу,— уходят в прошлое. И меньше всего можно надеяться на селек-

цию как искусство в работе с кукурузой, самой «научно обоснованной» из современных сельскохозяйственных культур.

Владимир Иванович Балюра, селекционер из Немчиновки, что под Москвой, относится к той самой молодой (не по возрасту, а по идеям) поросли творцов новых растительных форм, для которых селекция неотделима от самых последних достижений биологии. На знании физиологии кукурузы, на основе мировой статистики этой культуры строит он свой план продвижения маиса в наши северные, лишенные чернозема просторы.

Как развивается мысль ученого?

Нечерноземная зона, где сейчас на миллионах гектаров кукуруза выращивается в качестве только зеленого корма для скота, может и должна стать зоной спелого кукурузного зерна. Для кукурузы Подмосковье — север. Это верно. Но ведь совсем недавно к далекому «кукурузному северу» относили и Центральную Черноземную область, а чуть раньше даже лесостепную часть Украины. Север — вещь относительная. В сельском хозяйстве он послушно «отодвигается» всякий раз, когда селекционер выводит растение, приспособленное к нашему короткому лету.

Как и академика Соколова, Балюру привлекают раннеспелые сорта кукурузы. Конечно, он видит, что они низкорослы и листья на них мало. Не сравнишь какую-нибудь Сибирячку метрового роста с ее десятком листьев на стебле и красавца Лиминга, у которого, как говорится, косая сажень в плечах, а число листьев доходит до двадцати. А впрочем, почему бы и не сравнить?.. Селекционер Балюра обращается к Тимирязеву. «Количество солнечной энергии, усвояемое нашими культурными растениями, служит лучшей, в сущности единственной точной мерой производительности этих культур», — пишет знаменитый физиолог. Казалось бы, ясно: кто больше усваивает солнечной энергии, тот и продукции даст больше. В первый момент кажется, что Лиминг со своим двадцатью листьями, у которых площадь достигает семи тысяч квадратных сантиметров, далеко позади оставляет Сибирячку с ее тысячей квадратных сантиметров листовой поверхности. Так считалось до сих пор, так пишут в руководствах и инструкциях по кукурузосеянию. Поэтому на север каждый год завозят семена довольно позднеспелых сортов и гибридов, но мощных по своему росту и листу. Расчет простой: не дозреет початок — это ничего, зато будет больше зеленой массы.

В. И. Балюра решил сопоставить достоинства низкорослых северных скороспелок и южных зеленых богатырей несколько по-другому. Он срезает перед уборкой скороспелую и позднеспелую кукурузу и высушивает ее. Его интересует, сколько сухого вещества накопили за лето и те и другие: ведь сухое вещество, в конечном счете, и есть то, из-за чего стоит разводить культурное растение. Обыкновенные весы в руках ученого раскрыли неожиданную закономерность. Оказывается, худенькая, низкорослая Сибирячка на один дециметр своей листовой поверхности накапливает семь-восемь граммов сухого вещества, а позднеспелый Лиминг со своими девятнадцатью листьями набрал на квадратный дециметр всего два-три грамма. Вот так Сибирячка! Выходит, что именно она, а не гигант Лиминг усваивает больше солнечной энергии на каждую единицу площади листа.

Но откуда у Сибирячки такая прыть? Очень просто: у нее последний лист появляется уже в середине июля, и весь десяток ее не очень больших, но работающих листьев напряженно «трудится» до сентября. А Лиминг все лето продолжает выбрасывать новые и новые листья, и каждый лист его работает не только меньшее количество суток, чем у Сибирячки (они ведь позже родились), но и день ото дня все менее интенсивно: в конце августа, в сентябре солнце уже не то.

Опыты Балюры, без сомнения, интересны. Труженица-скороспелка реабилитирована. Но что с того? Скороспелые кукурузы дают зерно, однако продуктивность листьев на гектар у них ничтожна; южане, наоборот, успешно «гонят лист», не заботясь о початке. Что же лучше?

У Балюры на это запасен вполне определенный ответ. На севере надо непременно сеять скороспелые кукурузы, говорит он. Но сеять их надо несравненно гуще, чем обычно сеют выходцев с юга. Это нужно для того, чтобы низкорослые и малолиственные скороспелки смогли сравняться на каждом гектаре со своими южными конкурен-

тами общей площадью листьев. И когда так называемая ассимиляционная поверхность листьев на гектаре у южан и северян будет равной, тогда можно сравнивать их урожай. И сравнение это, как мы уже знаем, не в пользу мощных позднеспелых гостей с юга.

Такие опыты-сравнения В. И. Балюра предпринимал уже не раз. Он сеял под Москвой на соседних делянках скороспелый гибрид кукурузы Немчиновская-2 и южный Стерлинг. Для того чтобы уравнивать площадь листьев того и другого, Немчиновской-2 высевали значительно гуще. И что же? Скороспелый подмосковный гибрид выиграл соревнование с крупным счетом. Он накопил на десять центнеров сухого вещества больше, а если считать в кормовых единицах, то обогнал своего позднеспелого соперника на тридцать центнеров с одного гектара! Это и не удивительно: ведь немчиновская кукуруза дала тридцать три центнера спелого зерна.

Вывод из опытов Владимира Ивановича напрашивается сам собой: селекционерам надо в ближайшее же время дать побольше скороспелых сортов и гибридов на север, а агротехникам поскорее научиться сеять эти сорта и гибриды по-новому, густо, чтобы восполнить недостающую скороспелкам площадь ассимиляции. Зеленое зеркало кукурузных листьев на каждом гектаре возрастет, а вместе с ним возрастет и окончательный, высший продукт кукурузного растения — початок с рядами налитых янтарных зерен. «Хорошо бы кукурузу, вызревающую на зерно, продвигнуть в более северные районы», — сказал Н. С. Хрушев в феврале нынешнего года на совещании передовиков сельского хозяйства Северного Кавказа. Опыты, о которых мы здесь рассказали, дают твердую уверенность: быть Нечерноземной зоне житницей кукурузного зерна.

БУДУЩЕЕ ТВОРИТСЯ СЕГОДНЯ

— Какой вы представляете себе кукурузу будущего?

Этот вопрос я задал виднейшим мастерам кукурузной селекции в нашей стране: в Харькове — «патриарху» кукурузы академику Н. Н. Кулешову и создателю первого в Советском Союзе межлинейного гибрида В. Е. Козубенко; в Днепропетровске, в Институте кукурузы, — академику Б. П. Соколову; в Краснодаре — М. И. Хаджинову, а на Кубанской опытной станции на мои вопросы отвечал самый младший из кукурузников, продолжатель дела покойного Ивана Васильевича Кожухова — Гай Саввич Галеев.

Будущее? Они, пожалуй, с улыбками восприняли мой вопрос. Лишь постепенно я понял смысл этих улыбок. Селекционер всегда работает для Завтра. Заглядывать в будущее — его профессиональное занятие. И, может быть, поэтому будущее не окружено для людей этой специальности ореолом неожиданного: они сами творят его каждый день.

Много лет на маленькой селекционной станции в Черновцах работал Василий Евсеевич Козубенко. Не числился он ни в сильно знаменитых, ни в очень удачливых. Селекционер как селекционер, правда, искренне преданный гибридной кукурузе. Внешне флегматичный, не очень разговорчивый, он мало общался в печати о своих опытах. И вдруг, как из рога изобилия, «посыпались» козубенковские гибриды: Буковинский-1, Буковинский-2, Буковинский-3. Они заняли поля Буковины, заполнили белорусское Полесье, появились на полях Прибалтики, Подмосковья, шагнули на Алтай и оставили свое наступление только у берегов Тихого океана.

Когда Василий Евсеевич рассказывал мне историю создания гибридов, я обратил внимание на то, что он затеял эти опыты задолго до того, как в стране прозвучал лозунг: «Кукурузу на север!»

— Ну да, — неторопливо ответил Василий Евсеевич, — ведь мы и всегда так работаем: с опережением. Сорт за год не создашь, гибрид — тем более. Начинать надо с заглядом.

Для него то, что мы называем творческим прозрением, лишь обычная «технология» профессии селекционера. Примерно так же рассуждает большинство коллег Козубенко.

Кукурузу грядущего создают сегодня опыты Б. П. Соколова и В. И. Балюры. На наших глазах превращают они древний маис Центральной Америки в плодоносящую культуру севера. А разве не заглядом в будущее звучат решения январского Пленума

ЦК КПСС — собрать в нынешнем году на огромной площади в пять миллионов гектаров по пятидесяти центнеров кукурузного зерна, а на многих тысячах гектаров даже по шестидесяти центнеров? Речь идет о миллиарде пудов товарного зерна — миллиарде, которого стране не хватало до сих пор и который непременно будет получен в нынешнем и в последующие годы.

Что обязаны предпринять люди науки во имя этого насущно необходимого миллиарда?

— Выращивать кукурузу мы уже научились, — сказал мне Николай Николаевич Кулешов. — Пора задуматься над тем, как сохранять то, что дает природа. Главное сейчас — наука сбережения.

Академик Кулешов прикидывает: на Украине кукурузу обычно сеют по сорок тысяч растений на гектаре. В среднем початок весит сто граммов. Если сохранить в се растения на гектаре и получить от каждого растения по одному только початку, то хозяйству обеспечен верный урожай в сорок центнеров. Но, увы, этот урожай, даже тогда, когда он готовый стоит в поле, мы не всегда собираем полностью. Для уборки кукурузы на зерно не создано пока еще достаточно совершенных механизмов. А тех машин, что есть, мало. Из-за этого кукуруза вместе со своими початками нередко остается в поле до глубокой осени. При температуре плюс одиннадцать градусов она перестает расти. Такая температура под Харьковом устанавливается обычно в третьей декаде сентября, а в Днепропетровске — в начале октября. После этого качество зерна и листьев начинает резко ухудшаться. Колхозы теряют прекрасный корм для скота, а у заводов ломается график сушки и калибровки кукурузных семян, часть зерна остается невысушенной и гибнет. Так что будущее кукурузы во многом зависит сегодня не только от биологов, но и от конструкторов и строителей сельскохозяйственных машин.

Множество дел, однако, остается и на долю селекционеров.

Селекция не может ставить перед собой только одну задачу — повышать урожай. Уже создаются растения, которые будут вызревать на севере. Нужна кукуруза, устойчивая к болезням. А впереди новая важная проблема: селекционным путем увеличить количество белка в початке. В кукурузном зерне много углеводов, но белка мало, примерно десять процентов. Чтобы кукуруза стала полноценной кормовой культурой, нужно увеличить количество белка не менее чем вдвое. Возможно ли это? Длительным отбором, который продолжался несколько десятков лет, американцам уже удалось получить высокобелковую кукурузу. Нам такие темпы, конечно, не подходят. Советским селекционерам предстоит потратить: этого ждет социалистическое сельское хозяйство, этого требует честь отечественной науки.

...К Михаилу Ивановичу Хаджинову я попал в разгар посевной. Весна нынче была ранняя, жаркая. Невысокого роста, очень подвижный и шумный, селекционер целыми днями носился по знойным полям, вникал решительно во все, и все его волновало. Ученого нетрудно было понять: посев закладывал основу всего научного года.

В молодости, как рассказывают, Хаджинов был любимым учеником академика Н. И. Вавилова. Шестидесятилетний ученый и сейчас остается общим любимцем коллег-кукурузников. В нем ценят сердечность, правдивость и ту беспредельную преданность избранному делу, которую иначе и не назовешь как хаджиновская.

Когда садилось солнце и накал посевной несколько спадал, он водил меня по своим делянкам. Их было множество — то больших, то совсем крошечных участков, где надо всякий раз посеять как-то особенно. В конце года селекционеру предстоит проанализировать урожай тысячи семисот выращенных порознь образцов. Кроме того, он обследует и оценит на корню то, что вырастет еще на шести тысячах делянок. За лето ему предстоит произвести более пятнадцати тысячи скрещиваний кукурузы.

— Да, работы хватает, — заметил Михаил Иванович. — И ведь проклятая работа! Памятник нужно бы поставить тому, кто придумает, как сэкономить труд селекционера. Мне приходится проделывать десятки скрещиваний всякий раз, пока выясно, стоит ли чего-нибудь такая-то самоопыленная линия или ее попросту надо выбросить на помойку. А у меня таких линий тысяча! Я работал бы во много раз более рационально и плодотворно, если бы мне дали простой и надежный способ заранее предсказывать, какие две линии надо скрестить, чтобы сразу получить наилучший гибрид

с наибольшим проявлением гибридной силы. Пусть это будет не предсказание, а только намек, общая тенденция, и то хорошо.

Дело в том, что далеко не всякая пара сортов, гибридов или самоопыленных линий способна при скрещивании ярко проявить в потомстве гибридную силу. Ученым приходится годами искать растения с высокими так называемыми комбинационными способностями, то есть пригодными для удачного скрещивания. Великое благо селекционной науке принес бы тот, кто нашел возможность «угадывать» ценность самоопыленных линий до скрещивания!

Слушая жалобу Хаджинова, я думал, что предсказание гибридной силы относится пока к разряду прекрасных, но малодостижимых пожеланий. Однако две недели спустя, в Харькове, обстоятельства свели меня с физиологом растений профессором Федором Филипповичем Мацковым, и фантастическое «предсказание» гибридной силы, о котором мы говорили в Краснодаре, оказалось вдруг совершенно реальным фактом науки.

Доктор биологических наук Ф. Ф. Мацков попытался заглянуть в тонкий внутренний механизм гибридной силы. Как физиолог он прежде всего задался вопросом, чем отличается физиология чахлах самоопыленных родителей от жизненных отправлений мощного гибридного потомка. Почему так велик гибрид? Потому ли, что у него более крупные, чем у родителей, клетки, или оттого, что нормальные по размеру клетки эти особенно быстро размножаются? Оказалось, что у кукурузных гибридов деление клеток действительно идет значительно быстрее, а рост их продолжается дольше. У гетерозисного растения эта скорость значительно больше, чем у негетерозисного. Отчего это зависит?

Науке известны вещества, влияющие на рост клеток. Это так называемые фитогормоны и витамины «группы В» (Ф. Ф. Мацков считает, что в комплекс «группы В» входит также физиологически активное вещество биотин). Родились первые контуры гипотезы происхождения гибридной силы. В теле наиболее удачных, мощных гибридов, по мнению Мацкого, фитогормоны «группы В» представлены, очевидно, лучше, чем у самоопыленных линий. Они-то и активизируют рост клеток у гибридных растений.

Так выглядела первая в истории науки попытка разобраться, в чем разнятся между собой гибриды и их родители. И надо сказать, что маленький коллектив ученых во главе с профессором Мацковым (кроме него, в лаборатории сотрудничали еще два исследователя) внес немалый вклад в эту новую область знания. Три физиолога измерили активность комплекса «В» у гибридов и самоопыленных линий. Все было именно так, как предполагал Мацков: комплекс гормонов и витаминов оказывался всякий раз активнее в тех организмах, у которых сильнее проявлялась гибридная сила. У самоопыленных линий активность веществ «группы В» падала очень низко.

И снова гипотеза движет мысль ученого. Видимо, предполагает Мацков, самоопыленные родительские формы имеют неполный, некомплектный набор биологически активных веществ. А в их потомках — гибридах — происходит как бы восполнение, укомплектование набора веществ, необходимых для активного развития. Сила гибридного «взрыва» зависит от того, насколько полно в «ребенке» соединился, укомплектовался набор ростовых гормонов и витаминов, полученных от родителей. Если «папы» и «мамы» при скрещивании не передали по наследству полного набора, то гетерозис у потомка проявится слабо, гибрид получится не на много более мощный, чем породившие его линии.

А нельзя ли заранее предсказать, какие две самоопыленные линии составят наиболее удачную родительскую пару и дадут наиболее мощное потомство?

Физиологи сменили белые лабораторные халаты на полевой наряд. Они посеяли несколько десятков удачных и столько же неудачных, по их мнению, линий кукурузы и на следующий год перекрестили несколько пар. В восьми случаях из десяти взошедшее на их делянках зеленое потомство оправдало предвидение ученых. Количество точных прогнозов в опытах Мацкого достигает, правда, пока лишь восьмидесяти процентов. Очевидно, родители не всегда передают по наследству полный набор своих гормонов и витаминов. Но дело не в двадцати процентах несовпадений. Важно другое. Наука сделала еще один шаг вперед.

Джордж Шелл повстречался на своем поле с гибридной силой как с приятной неожиданностью; следующие поколения селекционеров разыскивали этот подарок природы как некую, все время «пропадающую грамоту», которая появляется и исчезает по неведомым для людей законам. И вот наконец наступает время, когда ученый по своему разумению может предсказать свойства еще не родившегося на свет организма. Как ни велика заслуга Шелла, мне думается, опыты профессора Мацкова и его сотрудников достойны не меньшего восхищения. Ибо если Джордж Шелл нашел гибридную силу, то Федор Мацков предсказывает и, таким образом, предопределяет ее появление. Не та ли между ними разница, что между человеком, впервые увидавшим в лесу зажатое молнией дерево, и нашим современником, нажимающим выключатель настольной электрической лампочки?

Можно было бы еще много рассказывать о том, каким образом наука превращает маис инков и майя в великолепную сельскохозяйственную культуру середины двадцатого столетия. Я остаюсь в долгу, вероятно, у многих исследователей — физиологов, биохимиков, селекционеров, которых не успел помянуть добрым словом.

Когда я думаю об этих талантливых и скромных людях, работающих чаще всего весьма далеко от административных и научных «центров», мне вспоминается случайный разговор на одной опытной станции.

— Если вы взвесите сто зерен кукурузы,— сказал мне один экспериментатор, — то большая часть из них будет иметь одинаковый или близкий между собой средний вес. Некоторое количество семян окажется щуплыми и более легкими. Мы, селекционеры, называем такие минус вариантами. И только небольшая горсточка семян будет состоять из тяжелых, увесистых, крупных зерен. Это самое лучшее, что есть в вашей сотне,— элита, плюс вариант.

Сугубо биологическая закономерность, о которой говорил селекционер, думается мне, может быть приложима не только к качеству семян. Мне хочется перенести эту зависимость в мир науки. Нередко еще в институтах и лабораториях приходится видеть эти минус варианты — легковесные работы, лишённые большой идеи, истинных знаний и принципов. Вот что тянуло назад пашу кукурузную науку, на годы задержало появление советской гибридной кукурузы. По счастью, минус варианты, как правило, нежизнённы. Время разоблачает и отбрасывает их. Будущее за другим, за тем, что доказало свою научную весомость. Будущее в науке — за плюс вариантами!



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ГЛАДКОВ

★

МЕЙЕРХОЛЬД ГОВОРИТ

Я провел рядом со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом три года. Три года я встречал его почти ежедневно, а иногда дважды в день. Бывали дни, когда, встретившись с ним утром, я не расставался с ним до ночи. Уйдя из театра его имени, я продолжал время от времени с ним встречаться. Иногда он звонил мне и приглашал зайти; чаще я напрашивался сам. Это были последние годы его жизни. Он работал над «Борисом Годуновым» Пушкина, водевилями Чехова, «Наташей» Сейфуллиной, инсценировкой «Как закалялась сталь», возобновлял и переделывал свои старые спектакли: «Горе уму», «Лес», «Ревизор» и другие.

Все самое интересное, что я видел рядом с ним и слышал от него, я старался записывать. Вот они передо мной — эти старенькие, истрепанные блокноты, с которыми я не расставался в те годы. Часть этих записей была опубликована в журнале «Театральная жизнь» (№ 5, 1960).

В. Э. Мейерхольд великолепно владел словом. Правда, на своих репетициях он предпочитал длинным объяснениям выразительные «показы», но многие замечания, брошенные им актерам, были точны, остры, почти афористичны. Сказанные им на лету две-три фразы в непринужденной «крылатой» форме, выражали огромный творческий опыт, являясь итогом глубоких раздумий. Случалось, увлекаясь, он начинал рассказывать о своих встречах со многими замечательными деятелями театра, писателями, художниками, музыкантами. На протяжении своей большой жизни он дружил, сотрудничал, спорил со Станиславским, Комиссаржевской, Блоком, Маяковским, Есениным, хорошо помнил Толстого, Чехова, Серова, Дузе, Ленского. Мои блокноты 1934—1939 годов сохранили множество дословных записей отдельных беглых замечаний В. Э. на самые разнообразные темы и некоторые его рассказы. Журналистская школа научила меня записывать быстро и более или менее точно. Большинство этих записей делалось во время репетиций, остальные — после разговоров с В. Э., иные представляют собой ответы В. Э. на мои вопросы. В те годы я был очень молод и любопытен. Он относился ко мне доверительно-дружески, и я пользовался этим, чтобы расспрашивать его о многом. Иногда он отвечал мне шуткой, но никогда не отмалчивался.

Вот часть этих записей...

Известное выражение Чехова о висящем в первом акте на стене ружье я бы перефразировал так: если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем должен быть пулемет...

У театра есть одно удивительное свойство: талантливому актеру почему-то всегда попадается умный зритель.

Мастерство — это когда «что» и «как» приходят одновременно.

Не старайтесь! Доверяйте зрителю! Он гораздо умнее, чем мы большей частью о нем думаем.

Чтобы заплакать на сцене настоящими слезами, надо испытать творческую радость, внутренний подъем, то есть то же самое, что нужно, чтобы искренне рассмеяться. Психологическая природа сценических слез и сценического смеха совершенно одинакова. За ними радость художника, его артистический подъем, и только. Все прочие способы вызывать слезы — невращения и патология, противопоказанные искусству.

Добивайтесь получения удовольствия от выполнения сценического задания. Это аксиома номер один!

Не кричите так! Все гораздо тише! Когда актеры так кричат, невозможно нюансировать. Когда я в молодости работал с Константином Сергеевичем, он меня тоже считал ужасным крикуном и все заставлял говорить тише, а я не понимал и сам себя обкрадывал...

В искусстве трагическом все сцены идут на подъем, а в искусстве сентиментальном — все вниз.

Вы хорошо играете по-коршевски и плохо по-мейерхольдовски! Вы играете только на себя, забывая общий композиционный план. У Корша тоже не полагалось загоразживать партнеров, но это была программа-максимум, а у нас вы нарушили на полметра планировку, и все пропало. Должна быть артистическая дисциплина ощущения себя в общей композиции, или уж меняйте меня на Корша! Одно из двух!

Каждый спектакль играйте этот кусок по-разному! (Исполнителю роли Кречинского в сцене пробуждения Кречинского с пистолетом.)

Основная проблема современного театра — это проблема сохранения импровизационности актерского творчества в сложной и точной режиссерской форме спектакля. Обычно тут бывает, как в басне: нос вытащишь — хвост увязнет... Я недавно говорил с Константином Сергеевичем: он тоже об этом думает. Мы с ним подходим к решению одной и той же проблемы, как строители туннеля под Альпами: он движется с одной стороны, а я с другой, но где-то на середине должны обязательно встретиться.

Именно возможностью импровизации драма и отличается от оперы, где дирижер не дает раздвинуть временный отрезок и где можно только раздвигать темпы. Шаляпин, подлинный актер, чувствующий потребность в импровизации, намереваясь ее на темпах. От этого все его конфликты с дирижерами, когда он пытался раздвигать темпы. Я никогда не откажусь от права толкать актеров на импровизацию. В импровизации важно только, чтобы второстепенное не захватило места у главного, и проблема времени и взаимоотношения временных кусков на сцене.

Отсутствие у актера в роли импровизации — доказательство остановки его роста.

Самоограничение и импровизация — вот два главных условия работы актера на сцене. Чем сложнее их сочетание, тем выше искусство актера.

Режиссерский театр — это есть актерский театр плюс искусство композиции целого.

Актер в каждой роли приобретает для себя новые краски, и они остаются ему навсегда. Допустим, вы сыграли Армана Дюваля, а потом еще ряд ролей — через три года вы будете уже и Армана Дюваля играть не так, как раньше, а в какой-то мере приплюсовав к нему и эти новые красочки.

Актер не должен в своих личных дружеских связях замыкаться в узкопрофессиональной среде, как это до сих пор водится. Замкнутая актерская среда — страшное профессиональное зло. Щепкин дружил с Герценом и Гоголем, Ленский с Чеховым. Я тоже стараюсь всю жизнь дружить с писателями, музыкантами, художниками. Это расширяет горизонт, выводит из консерватизма цеховых интересов.

Расцвет настоящего актера-мастера — сорок — сорок пять лет. К этому возрасту профессиональный опыт подкрепляется богатством жизненных накоплений.

Хороший актер отличается от плохого тем, что он в четверг играет не так, как играл во вторник. Радость актера не в повторении удавшегося, а в вариациях и импровизации в пределах композиции целого. Самоограничиваясь в обусловленной временной и пространственной композиции или в ансамбле партнеров, актер приносит жертву целому спектаклю, а режиссер приносит такую же жертву, допуская импровизацию. Но эти жертвы плодотворны, если они взаимны.

Я много раз замечал, что когда талантливый актер нарушает установленный мною рисунок, я не то что смотрю на это сквозь пальцы: обычно я попросту этого не замечаю. Иногда мне потом говорят: «В. Э., вот Х. там-то нарушил установленный рисунок», — и я искренне удивляюсь: «Разве?» Мне даже почти всегда кажется, что это я так установил или придумал.

Я бы строжайше запретил актерам пить вино, кофе и залерьянку. Это все расшатывает нервную систему, а нервная система у актера должна быть самая здоровая. Один поэт написал Флоберу, что он сочинял свою поэму, рыдая, и Флобер его высмеял. В противоречии с общепринятым мнением, С. Есенин никогда не писал стихи пьяным: я это знаю. Актерское и всякое творчество — это акт ясного и веселого сознания, здоровой, ясной воли. В начале века появился тип актера, которого звали «героем-неврастеником» (Орленев и др.), но характерно, что никто так быстро профессионально не дисквалифицировался, как актеры этого типа. Почти все они к сорока пяти годам были духовными и физическими развалинами, а ведь этот возраст — зенит драматического актера.

Самое ценное в актере — индивидуальность. Сквозь любое, самое искусное перевоплощение индивидуальность должна светиться. Был актер Петровский, обладавший поразительной техникой перевоплощения, но он так и не стал большим актером: у него не было индивидуальности. Может быть, она и была когда-то в зачатке, но он не только не развил ее, но совершенно стер. Мне кажется, что индивидуальность есть в исходной точке у всех: ведь все дети не похожи друг на друга. Любое воспитание индивидуальность стирает, конечно, но актер должен защищать свою индивидуальность и развивать ее. У меня есть привычка — когда я знакомлюсь с новым человеком, я всегда в своем воображении прикидываю: каким он был ребенком? Попробуйте, это очень интересно и поучительно. Так вот, у нас в труппе есть один актер, которого я при всем своем воображении не могу представить в детстве. Он, как луковица: за одним образочком — другой, и еще другой, и еще, и так до конца... Он начисто стер свою индивидуальность и при отличной технике во всех ролях посредствен... Вы хотите знать, кто это? Ну да, так я вам и скажу!..

Наблюдательность! Любопытство! Внимание! Вчера я спросил подряд нескольких наших молодых актеров, какой формы фонари стоят на улице перед театром; и никто не ответил правильно. Это ведь ужас! И из классиков в первую очередь читайте тех, у кого вы можете научиться наблюдательности. Чемпион наблюдательности — Гоголь в «Мертвых душах»!

Костюм — это тоже часть тела. Посмотрите на горца. Казалось бы, бурка должна скрывать его тело, но на настоящем кавказце обычно она так сшита, что она вся живая,

вся пульсирует, и через бурку вы видите ритмические волны тела. Я увидел в балете Фокина и нарочно пошел потом за кулисы посмотреть, как шит его костюм: на нем было много толстого сукна, ваты и черт-те чего, а на спектакле я видел все линии тела. Станиславский изучал в Париже кройку, чтобы понять природу сценического костюма.

Стоп! (Актеру К., сидящему на высокой лестнице.) Перемените позу! Сядьте прочнее, удобнее! (Актер: «Мне удобно, В. Э.») А мне не так важно, чтобы вам было удобно. Мне гораздо важнее, чтобы зритель не беспокоился за вас, не боялся, что вам там неудобно! Эта забота не по существу может отвлечь его от сцены, которую мы играем... Вот так! Хорошо! Спасибо!

«Белые нитки режиссуры...» Уберите белые нитки режиссуры!.. Спрячьте белые нитки моего задания!.. (Актрисе Т.) Я просил вас тут сесть, но вы делаете это слишком ясно, открывая мой рисунок. Сначала присядьте чуть-чуть, а уж потом усядьтесь плотнее! Скройте мой режиссерский план, мои белые нитки!

Не помню, кто сказал: «Искусство относится к действительности, как вино к винограду». Сказано превосходно!

В жизни шарлатаны обычно симулируют болезни, а в искусстве они симулируют чаще всего здоровье.

Когда я вижу на улице скандал, я всегда останавливаюсь и смотрю. В уличных скандалах и сценках вы можете подглядеть самые разнообразные и сокровенные человеческие черты. Не слушайте милиционера, когда он вам говорит: «А ну, пройдите, гражданин!» Обойдите толпу, встаньте с другой стороны и смотрите. Когда я в молодости впервые приехал в Италию с планом осмотреть максимум музеев и дворцов, то я скоро это бросил, так как меня захватила оживленная жизнь миланской улицы. Я бродил, разинув рот, и упивался ею. Если я как-нибудь опоздаю на репетицию, а вы увидите в окно, что на улице Горького какое-нибудь происшествие, так и знайте — Мейерхольд обязательно там.

Я не люблю грим. В молодости любил, а потом это прошло. Теперь терпеть не могу. Актеры часто со мной об этом спорят, когда я перед премьерой начинаю снимать им гримы, а я молчу, так как знаю: придет время и они разлюбят. Грим должен быть минимальным. Гениально делал минимальный и вполне убедительный грим Ленский. Было много сочинено георгиев по поводу того, что у меня в «Рогоносце» почти не было гримов; я и сам их тоже сочинял, но ларчик открывался просто: не люблю грим — и все! И зачем бы молодым Ильинскому, Бабановой, Зайчикову грим? Все великие актеры мало гримировались: им это только мешало. Увлечение гримом — это детская болезнь актера.

Актер должен обладать способностью все время мысленно себя зеркалить. В зачаточной форме этой способностью обладают все люди вообще, но у актеров она должна быть развита.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему в цирке во время акробатических номеров всегда играет музыка? Вы скажете — для настроения, ради праздничности, но это будет поверхностный ответ. Циркачам музыка нужна как ритмическая опора, как помощь в счете времени. Их работа строится на точнейшем расчете, малейшее отклонение от которого может привести к срыву и катастрофе. На фоне хорошо знакомой музыки расчет обычно бывает безошибочным. Без музыки он уже труден, но еще возможен. А если оркестр вдруг сыграет не ту музыку, к которой привык акробат, то это может привести к его гибели. В какой-то мере то же самое и в театре. Опираясь на ритмический фон музыки, игра актера приобретает точность. В восточном театре служитель

сцены стучит в кульминациях по дощечке: это тоже делается для того, чтобы помочь актеру точно сыграть. Музыкальный фон нужен актеру, чтобы приучить его прислушиваться на сцене к течению времени. Если актер привык работать с музыкальным фоном, то он без него будет совсем по-иному слушать время. Наша школа наряду с развитием способности к импровизации требует от актера развития дара самоограничения. Ничто лучше не помогает самоограничению игры во времени, как музыкальный фон.

Игровая пауза очень соблазнительна для хорошего актера, владеющего мимической игрой, но у актеров, не чувствующих времени, она может быть невыносимой. Вот тут-то и нужна развитая способность к самоограничению. Я от спектакля к спектаклю делал в режиссерской партитуре опыты по нахождению приемов самоограничения. В «Учителе Бубусе» музыкальный фон помогал исполнителям добиваться самоограничения во времени. В «Ревизоре» выдвинутая маленькая площадка имела целью добиться самоограничения в пространстве. Эти оба спектакля были для актеров огромной школой самоограничения. Я заметил, что те, кто прошел ее, сразу резко выросли в своей профессиональной квалификации.

Однажды в Константинополе я попал в мусульманскую школу при мечети, и меня там поразило, что, уча наизусть коран, ученик держал учителя за руку, и они оба ритмически раскачивались. А потом я понял, что строгий ритм сосредоточивает ученика и способствует лучшему запоминанию. Ритм — великий помощник!

Хорошие актеры всегда импровизируют; даже в пределах самого точного режиссерского рисунка. Еще до того как я увидел Михаила Чехова в Хлестакове, я уже по рассказам знал, что он в одном месте роли пародирует зияющий на сцене портрет Николая I, и, идя на спектакль, предвкушал эту талантливую подробность. Но на спектакле я этого не увидел, хотя Чехов был в ударе и играл прекрасно. Больше того — на спектакле я совершенно забыл про свое ожидание этого куска. В тот вечер Чехов сыграл это место иначе, и это было его право, которое у него никто не мог отнять. Он не «забыл» — он заменил это чем-то другим, и отсутствие этой талантливой детали заметили только те, кто смотрел спектакль несколько раз подряд. А когда потом мне говорили: «А Чехов-то как играет с портретом!» — то я говорил: «Да, да», но вовсе не чувствовал себя обкраденным...

Актер может импровизировать только тогда, когда он внутренне радостен. Вне атмосферы творческой радости, артистического ликования, актер никогда не раскроется во всей полноте. Вот почему я на своих репетициях так часто кричу актерам: «Хорошо!» Еще нехорошо, совсем нехорошо, но актер слышит ваше «хорошо» — смотришь, и на самом деле хорошо сыграл. Работать надо весело и радостно! Когда я бываю на репетиции раздражительным и злым (а всякое случается), то я после дома жестоко браню себя и каюсь. Раздражительность режиссера моментально сковывает актера, она недопустима, так же как и высокомерное молчание. Если вы не чувствуете ждущих актерских глаз, то вы не режиссер!

Актер-мастер должен уметь играть и на большом пространстве, на широких планах (как в моем «Дон Жуане»), и также (Варламов и Давыдов) долго сидя на диване (чего я добивался в «Ревизоре»). В одном спектакле (забыл название пьесы) Варламов почти двадцать минут играл один, неподвижно лежа в постели, и это было блестяще. Так полагалось по пьесе, но это было и виртуозным примером актерского самоограничения. Без самоограничения нет мастерства.

На сцене не бывает ничего случайного. В одном спектакле я видел, как актер, уходя, нечаянно обронил цветок. Оставшаяся актриса незаметно его подняла. Кажется, что такое, — пустяк! А я смотрю, зрители уже перешептываются. Они уже бог знает что заключили о взаимоотношении этих персонажей и ждут чего-то от них в дальнейшем.

Старые суфлеры на генеральной репетиции всегда отмсчали в своих экземплярах, сколько должен идти акт: допустим, первый — 34 минуты, второй — 43 минуты, третий — 25 минут... Я видел эти пометки в сохранившихся старинных суфлерских экземплярах пьес и долго не понимал, зачем это делалось, пока театральные старожилы мне не объяснили. Оказалось, что хороший, опытный суфлер обязан был контролировать, сколько шел спектакль. Мы сейчас говорим о хронометраже и думаем, что открыли Америку, а это уже делалось в старину. Суфлер, после спектакля был обязан докладывать: акт сегодня шел столько-то, потому что такой-то разыгрался во второстепенной сцене, или такая-то гнала такую-то сцену, или сценариус опаздывал выпускать на выхода... Это была важнейшая функция. Затянув или заторопив акт, мы можем совершенно исказить спектакль. Сыграйте быстро Метерлинка — и вы получите водевиль. Сыграйте медленно «Соседа и соседку» — и вам покажется, что это Леонид Андреев.

Режиссер должен иногда уметь хитрить во имя результата. Когда я ставил в Александринском театре «Шута Гантриса», то у меня была там большая сцена с массовой, которую мне все время срывали неумеренно разыгравшиеся статисты, воспитанные Саниным. Они старались всюду: каждый из них стремился поразить своей игрой знакомую, сидящую по контрамарке в тринадцатом или пятнадцатом ряду. И я ничего не мог с ними сделать. Тогда я заставил всех участников массовой взяться за руки. Не помню уж, как я им это мотивировал (это была толпа «стражников»), но, как только они взялись, я их уже не умерял, а даже покрикивал: «Энергичней! Живей!», а сам про себя улыбался. А скажи им я категорически: «Тише! Сдержанней!» — то стояли бы дубами, и все...

Я считаю, что время пороха в искусстве еще не прошло, а порох сыреет от слез. Вот почему я не люблю сентиментального искусства.

Звание советского актера должно быть так же почетно, как и звание красноармейца.

Я никогда не любил Персимфанса (существовавший в двадцатых годах симфонический оркестр, игравший без дирижера). Жест дирижера помогает мне понимать ритмические тонкости партитуры.

Мы справедливо гордимся нашим театром, но, когда я бываю за границей, я всегда стараюсь углядеть и там что-нибудь хорошее, что нужно позаимствовать. Да, ничтожные пьески, отсталая режиссура, но в актерах меня там всегда покоряет своеобразная музыкальность, высокий профессионализм, подтянутость, пропадаящая у нас ответственность за каждый рядовой спектакль. В парижском театре «Мадлэн» я был восхищен одним актером, и меня повели к нему за кулисы. И вообразите, после сложнейшего спектакля он не отдыхал, не торопился удрать ужинать, а варил себе на спиртовке кофе и репетировал одно место в спектакле, которое, как ему казалось, ему сегодня не очень удалось. Никто не заставлял его это делать, но он сам это понимал. С профессиональной подтянутостью у нас слабовато, все больше распускаемся, становимся индифферентами, на спектакли и репетиции не идем, а тянемся, чтобы не сказать более резкого слова. Я считаю, что обломовщина внутри наших трупп — это враг номер один. Нужна постоянная подтянутость, вздернутость, энергия в работе! Наши спектакли должны быть насыщены волей! Главное назначение театра, как и музыки, — быть стимулом к активной жизни. Условия? Бросьте! В двадцатом году полуголодный, с туберкулезной дырой в плече, я чувствовал себя превосходно и даже влюбился...

Перечитывал «Записки» Ленского и думал: понятны ли они так, как мне, и тем, кто Ленского на сцене не видел? Я в них многое понимаю с полуслова, но боюсь, что если я вычитываю из них двести процентов содержания, то большинству они понятны на двадцать процентов. Увы! Это судьба большинства театральных мемуаров!

Нельзя брать за одни скобки Ленского и Сумбатова и восклицать: «Ах, Малый театр!» Ленский — одно, а Южин-Сумбатов — другое.

Вы спрашиваете о лучшем актере, которого я видел в своей жизни? Да, я видел всех великих актеров почти за полвека, но я не стану мямлить: с одной стороны, с другой стороны... Отвечу сразу, потому что думал над этим: лучшим актером, которого я знал, был Александр Павлович Ленский. Он обладал всеми данными, которые я ценю в актере, и был подлинным художником.

Ленский обладал драгоценным даром легкости, что совсем не то, что легковесность или легкомыслие. Он легко играл и такие «тяжелые» роли, как Фамусов или Гамлет. Он умел самые сложные вещи, самые графические положения передавать поразительно легко, без всякого видимого напряжения, но передавая все нюансы, все время находясь в движении, легко достигая поразительной глубины. Он, как никто, мог быть одновременно серьезным, трагическим, глубоким и — легким. Даже Станиславский не приближался к нему в легкости передачи текста Фамусова. Что бы он ни играл (а я видел его в двух десятках ролей, наверно), я никогда не видел в нем актерского труда, и даже казалось кощунством допустить, что он этот труд искусно спрятал. Легкость, праздник в трагедии, в комедии, в бытовой драме — везде. Я думаю, что это объясняется большой школой водевиля: это хорошая школа для комедии; нет, это и для трагедии школа также И Орленев, и Москвин, и Станиславский, и Комиссаржевская тоже прошли эту школу.

Работа актера, в сущности, начинается после премьеры. Я утверждаю, что спектакль на премьере никогда не бывает готов, и не потому, что мы «не успели», а потому, что он «доспевает» только на зрителе. По крайней мере за свою практику я не видел спектаклей, готовых к премьере. Сальвини говорил, что он понял Отелло только после двадцатого спектакля. Наше время — время других темпов, и поэтому, сократив вдесятеро, скажем критикам: судите нас только после двадцатого спектакля. Только тогда роли у актеров зазвучат, как нужно. Я слышал, что В. И. Немирович-Данченко недавно утверждал то же самое. Но можем говорить это мы с В. И., К. С. Станиславский, Гордон Крег, Мэй Лань-фан и Моисси, все равно театральным администраторам хоть кол на голове теши — будут приглашать критиков на премьеру...

Я на своем веку видел пятнадцать — двадцать разных Гамлетов, и все они были друг на друга непохожи: общего было только то, что все были в черном.

Школа и творчество — разные вещи. Не всегда тот, кто получает пятерки в актерском училище, будет потом великим актером. Я даже боюсь, что он никогда им не будет. Уроки чистописания нужны вовсе не затем, чтобы писать потом каллиграфическим почерком. Так пишут только полковые писаря. Впрочем, это не значит, что уроки чистописания вовсе не нужны. Каллиграфия, не создавая почерка, дает ему правильную опору, как всякая школа. Но прав был Серов, который говорил, что портрет хорош только тогда, когда в нем есть волшебная ошибка. Я разговаривал со многими людьми, с которых Серов писал портреты: меня интересовал процесс их создания. Любопытно, что каждый из них считал, что именно с его портретом у Серова произошло что-то неожиданное и необычное. Но так как это неожиданное происходило со всеми, то значит таков был метод работы Серова. Сначала долго писался просто хороший портрет, заказчик был доволен, и его теща тоже. Потом вдруг прибежал Серов, все смывал и на этом полотне писал новый портрет с той самой волшебной ошибкой, о которой он говорил. Любопытно, что для создания такого портрета он должен был сначала набросать «правильный» портрет. Забавно, впрочем, что некоторым заказчикам «правильные» портреты нравились больше.

Щукин неплохо играет Ленина, но его подражатели будут невыносимы. Он Ленина несколько сентименталит, а они сделают его слащавым. Мне кажется, что Штраух играет вернее: мужественнее и умнее.

Вы знаете, мне однажды рассказали о том, как Ленин во время очень серьезного политического спора (а вы представляете, как он умел спорить?), слушая противника, ласкал под столом собаку. По этой детали я впервые до очевидности ясно понял силу внутренней уравновешенности Ленина, его душевного спокойствия. Для актера такая деталь — драгоценность. Услышал это — и готово, роль сделана. Для актера-мастера, конечно...

Обращали ли вы внимание на то, как похоже кончаются два драматических шедевра Пушкина — «Борис Годунов» и «Пир во время чумы»? Молчанием: «Народ безмолвствует» и «Председатель остается погружен в глубокую задумчивость». Ясно, что это же не просто пауза, а музыкальный знак для режиссерской ремарки. В эпоху Пушкина еще не существовало искусства режиссера, но он его гениально предчувствовал. Вот почему я прав, когда говорю, что драмы Пушкина — это театр будущего.

Мне всю жизнь везло на учителей. Станиславский, Федотов, Немирович-Данченко, мастера старого Малого театра, Чехов, Горький, Далматов, Варламов, Савина, Головин, Блок, Комиссаржевская — у всех у них учился, как умел. Могу, пожалуй, еще прибавить десяток имен. Никогда не станешь сам мастером, если не сумел быть учеником. Я был жаден и любопытен. И вам посоветую одно: будьте любопытны и благодарны, научитесь удивляться и восхищаться!

Мастер-пианист думает пальцами, но все же думает, а не бренчит, черт возьми!

У Врубеля есть рисунок, называющийся «Бессонница». Это просто измятая перина, смятая подушка. Человека нет, но все ясно — так это нарисовано. Человека нет, но он есть...

Прочтите этюд Бернарда Шоу об Э. Дузе и С. Бернар! Вот что такое театральная критика!

Комиссаржевская была изумительной актрисой, но от нее хотели, чтобы она была одновременно Жанной д'Арк. Она, в сущности, умерла вовсе не от оспы, а от того же, от чего умер и Гоголь, — от тоски. Организм, измученный тоской из-за несообразности силы призвания и реальных художественных задач, вобрал в себя инфекцию оспы. Ведь и у Гоголя была там какая-то болезнь с длинным латинским названием, но разве в ней дело? Комиссаржевскую помнят больше по драматическим ролям, но она была и прекрасной Мирандолиной и замечательно играла водевили. Она обладала огромной артистической жизнерадостностью, но в то время это никому не было нужно. У нее было богатство красок. Она была в высшем смысле музыкальна, то есть не только сама хорошо пела, но и роли строила музыкально. У нее был дар естественной координации телесного аппарата: на понижениях тона никли руки — вообще говоря, редкое свойство. Ее техника как актрисы была не ремесленной, а индивидуальной, и поэтому казалась, что у нее и нет никакой техники... Молодые люди моего поколения считали своим любимым писателем Гаршина; сейчас это почти непонятно. Вот и я переименовал свое нерусское имя на Всеволода в честь Гаршина. Гаршин нес в себе музыку своего времени... Не знаю, почему я, говоря о Комиссаржевской, вспомнил вдруг Гаршина. Должно быть, не случайно...

У нас самый лучший зритель в мире. Я это утверждаю! И читатель у нас самый лучший! Не сравнить с западными странами и с прежней средней русской интеллигенцией тоже. Поверите ли вы, что в дни моей юности, по общему мнению, Боборыкин, например, считался более «серьезным» писателем, чем Бальзак? Бальзак казался чем-то вроде Поля де Кока. Шпильгагена ценили больше, чем Стендаля. Чехову ставили в пример Шеллера-Михайлова, и до своей смерти, которая поразила читающую Россию, он в

широчайших кругах котировался наравне с Потапенко. Не мудрено, что от этого повального безвкусыя мы шарахались в декадентщину.

Маяковский как-то сказал: «Чтобы смеяться, надо иметь лицо». Хорошо сказано! Очень хорошо!

Вы, знающие Станиславского только в старости, и представить не можете себе, каким актером он был. Если я стал чем-нибудь, то только потому, что годы пробыл рядом с ним. Зарубите это себе на носу! Если кто из вас думает, что мне приятно, когда о Станиславском говорят дерзости, то он ошибается. Я с ним расхотел, но всегда глубоко уважал его и любил. Актером он был замечательным, с поразительной техникой. Ведь то, что мы называем профессиональными данными, у него было не очень выгодным. И рост великоват, и голос глуховат, и в дикции заметные недостатки, и даже усы не хотел сбрасывать из наивного кокетства. Но все это забывалось, когда он выходил на сцену. Бывало, вернусь в свою каморку после спектакля с ним или после репетиции и всю ночь не могу заснуть. Чтобы чего-то добиться, надо сначала научиться восхищаться и удивляться!

В двадцатые годы я воевал с Малым театром, а в годы своего студенчества почти каждый вечер торчал там на галерке. Меня и моих товарищей так хорошо знали в лицо капельдинеры верхних ярусов, что, даже в бане встречаясь, здоровались. Мы восторгались Ермоловой и Федотовой, Ленским и Музилем, старшими Садовскими. Чтобы позволить себе осуждать, надо прежде всего з н а т ь. А я спрашиваю, знают ли все те, кто порочит меня, мои спектакли? На поверку почти всегда выясняется, что они видели один-два спектакля или даже одного недосмотрели, были и такие случаи...

Очень жалею, что не поставил «Дом, где разбиваются сердца» Шоу. Много думал об этой замечательной пьесе и с хорошими актерами мог бы сейчас поставить ее в три недели. Что вы улыбаетесь? Мало беру времени? Молодой Станиславский не удивился бы. Мы обленились, разучились интенсивно работать, работать напряженно... Да, да, и я тоже...

Художнику совсем не обязательно знать про себя, кто он — реалист или романтик. Да ведь и под этими понятиями все разумеют разное. Надо нести в искусство свое видение мира, каково бы оно ни было, а после тебя поставят на определенную полочку, да еще иногда переставят несколько раз с одной на другую. У нас часто этими определениями не столько объясняют, сколько одаривают. Когда про меня как-то написали, что-де я поставил наконец реалистический спектакль, то я обрадовался, правда не потому, что это верно, а потому, что понимал, что мне хотели сказать приятное. Ну, вроде как: был генералом от кавалерии, а произвели в полные генералы...

Вы спрашиваете, был ли натурализм в «Чайке» Художественного театра, и думаете, что задали мне «коварный» вопрос, потому что я отрицаю натурализм, а там с трепетом играл свою любимую роль. Должно быть, отдельные элементы натурализма и были, но это неважно. Главное, там был поэтический нерв, скрытая поэзия чеховской прозы, ставшая благодаря гениальной режиссуре Станиславского театром. До Станиславского в Чехове играли только сюжет, но забывали, что у него в пьесах шум дождя за окном, стук сорвавшейся бадьи, раннее утро за ставнями, туман над озером неразрывно (как до того только в прозе) связаны с поступками людей. Это было тогда открытием, а «натурализм» появился, когда это стало штампом. А штампы плохи любые: и натуралистические и «мейерхольдовские»...

Пьесы Ибсена кажутся спокойными только плохим режиссерам. Вчитайтесь внимательно, и вы найдете там движение, как на американских горах.

Всю жизнь мечтал поставить греческую трагедию в Ленинграде на площадке перед Казанским собором. Даже в самой Греции нет такого удобного и, я бы сказал, даже идеального места: замкнутые колоннады, двумя крыльями оцепляющие среднюю площадку, большая глубина между колоннами, дающая возможность исполнителям прятаться до выхода.

Водевиль всегда построен симметрично. Поэтому любая асимметрия в водевиле недопустима. Вот мы дважды повторяем вальс в «Юбилее». и у зрителя возникает ощущение композиционного равновесия — так сказать, музыкальное восприятие водевильной структуры.

Люблю драматургическую форму старого испанского театра с ложным финалом в конце второго акта и убыстренным движением третьего акта, равными по событийному наполнению двум первым. Удивительно — в этой трехчленной формуле учтены законы зрительного восприятия. Я многому у нее научился, хотя я и не драматург.

Пушкин был учеником Шекспира, и это было достаточно революционно для театра, отягощенного наследством лжеклассицизма, но дух его «Бориса Годунова» еще революционней, чем формальная структура пьесы. Когда он по требованию цензуры заменил возглас народа «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует», то он перехитрил цензуру, так как не уменьшил, а усилил тему народа. Ведь от народа, кричащего здравицу то за одного, то за другого царя, до народа, молчанием выражающего свое мнение, — дистанция огромная. Кроме того, Пушкин тут задал русскому театру будущего интереснейшую задачу необычайной трудности: как сыграть молчание, чтобы оно вышло громче крика? Я для себя нашел решение этой задачи, и я благодарю глупую цензуру за то, что она натолкнула Пушкина на эту изумительную находку.

Самое сценичное в драме — это зримый процесс принятия героем решения; это куда сценичнее подслушиваний, пощечин и поединков. Именно поэтому «Гамлет» — любимейшая пьеса всех времен и народов. Это гораздо сильнее, чем «узнание», хотя в «Гамлете» есть и «узнание». В «Гамлете» есть все, а для самых неискусных и наивных он еще к тому же прекрасная мелодрама. «Привидения» — хорошая пьеса, но сравните «Гамлет» и «Привидения», и вы увидите, насколько богаче «Гамлет».

Сюжет драмы — это система закономерных неожиданностей.

Карло Гоцци не потому победил в борьбе с Гольдони, что он возродил (правда, ненадолго) народную комедию масок, погибавшую под напором литературного театра, а потому, что он заставил эти маски говорить языком его современности. Реставраторские и стилизаторские задачи чужды настоящему искусству.

Водевиль не терпит неприятных образов. В водевиле и злодеи приятны. Это закон жанра.

Гениальный «Театральный разъезд» Гоголя — это трагический разговор автора со зрительным залом. Я несколько раз хотел его поставить, но для этого требуется одно условие: самые маленькие роли должны играть лучшие актеры. Я мог бы поставить это, но только силами всех театральных трупп Москвы и Ленинграда.

Когда я сидел в Новороссийске во врангелевской тюрьме, то у меня там был томик Пушкина в издании «Просвещения» с его драмами. Я так привык к нему, что когда потом снова начинал работу над «Борисом» или «Каменным гостем» и «Русалкой», то мне почему-то обязательно хотелось иметь для работы именно это издание, такое компактное и удобное. А может быть, оно просто для меня было окутано моими фантазиями. Там, в тюрьме, я придумал сценарий пьесы о самозванце, идя по пушкинским следам.

Я уже начал сочинять ее в голове, но в город ворвалась Красная Армия, и я очутился на свободе. Потом я предлагал разработанный мною сюжет Сергею Есенину и Марине Цветаевой, но поэты — люди гордые и любят выдумывать сами. А вы заметили, что в известном составленном Пушкиным списке его драматических замыслов рядом стоят: «Антоний и Клеопатра» и «Димитрий и Марина»? Вы думаете, это случайно? Нет, по моему, тут есть какая-то гениальная пушкинская ассоциация, с которой мы обязаны считаться...

Перечитывая Белинского Вот что он пишет в статье «Русская литература в 1843 году»: «Искусство смешить труднее искусства трогать...» Как вы думаете, верно это? Пожалуй, со всеми оговорками, все-таки верно! И живет в веках комедия дольше, чем драма. Жив еще Фонвизин, живы Грибоедов и Гоголь, даже Шаховской еще идет на наших сценах, а современные им драмы мертвы. Кому нужны пьесы Озерова, Полевого, Кукольника или «Бедная Лиза»? Комедия полнее вбирает в себя правду своего времени. Парадокс? А вы подумайте!..

Маяковский был почти на двадцать лет моложе меня, но с самой первой нашей встречи между нами не было дистанции, как между «старшим» и «младшим». С первых минут знакомства он начал относиться ко мне без всякой почтительности, и это было естественно: ведь мы сразу сошлись на «политике», а в 1918 году это было главное: для нас обоих Октябрь был выходом из интеллигентского гупика. И когда мы начали работать над «Мистерией-буфф», между нами не было ни одной секунды непонимания. Маяковский и в молодости обладал удивительной политической зрелостью, которой я, «старший», учился у него. Кроме того, он обладал изумительным тактом, несмотря на свою репутацию грубияна. В очень сложной ситуации, когда мы начали работать над пьесой Сельвинского «Командарм 2» и когда литературные шавки стремились сравнить Маяковского с Сельвинским, я хотя иногда и чувствовал его невысказанную, молчаливую ревность, но держался он предельно корректно, несмотря на то, что «Командарм 2» ему не очень нравился.

Леконт де Лиль говорил: «Строго этимологически не существует понятия формы. Форма — это наиместественнейшее выражение мыслей». Целиком подписываюсь!

В моей биографии, написанной Н. Д. Волковым подробно и точно, есть все же пробы. Так, например, там не отмечен такой важный момент моего созревания, как знакомство в Италии в мае, в 1902 году с ленинской «Искрой» и с только что вышедшей за границей книжкой Ленина «Что делать?». Я приехал в Милан, чтобы посмотреть соборы и музеи, и целыми днями шлялся по улицам, любуюсь итальянской толпой, а вернувшись в гостиницу, утыкался в нелегальные газеты и брошюры и читал, читал без конца. Тогда уже в воздухе носилось что-то о разногласиях Ленина с Плехановым, и знакомые студенты-эмигранты, захлебываясь, спорили о тактике РСДРП. Термины «большевик» и «меньшевик» еще не существовали, если не ошибаюсь, но дифференциация уже чувствовалась...

Конечно, Достоевский был прирожденным драматургом. В его романах угадываются фрагменты ненаписанных трагедий. Мы имеем право, несмотря на все ошибки его инсценировщиков, употреблять выражение «Театр Достоевского» наряду с «Театром Гоголя», «Театром Пушкина», «Театром Островского», «Театром Лермонтова». Я жалею, что мне не пришлось поработать над материалом Достоевского, потому что мне кажется, я понимаю, что такое его «фантастический реализм».

Нельзя одними и теми же приемами играть Маяковского и Чехова. В искусстве нет универсальных отмычек ко всем замкам, как у взломщиков. В искусстве нужно искать к каждому автору специальный ключ.

Что вам сказать об отношениях с Блоком? Они были очень сложными и все время менялись, особенно с его стороны. После «Балаганчика» наступил разлад, потом мы не

раз снова сближались вплоть до отношений интимной дружбы и опять расходились не столько лично, сколько принципиально... Когда я читал переписку и дневник Блока, я поражался разнообразию оттенков его отношения ко мне: уважение и колкости, симпатия и холодок. Я думаю, объяснение здесь в том, что, критикуя меня в чем-либо, Блок сражался этим с какими-то чертами в себе самом. Очень много у нас было общего, а ведь никогда собственные недостатки не бывают так противны, как увиденные в другом. Все, за что Блок иногда осуждал меня, было в нем самом, хотя он и желал от этого избавиться. Впрочем, я тогда этого не понимал и досадовал, потому что любил его. Спорили мы редко. Спорить Блок не умел. Скажет свое, выношенное, и молчит. Но он умел замечательно слушать — редкая черта...

В действующих лицах пьес Маяковского всегда частичка самого Маяковского, как и во всех героях Шекспира — частичка Шекспира. Если мы хотим представить себе легендарную личность Шекспира, нам нужно не в старых церковных записях рыться, не в родословных, а изучить его персонажей. Я даже голос его могу представить, как всегда слышу голос Маяковского в действующих лицах его комедий.

Я первым поставил все три пьесы Маяковского, но я очень хотел бы вернуться к работе над ними. По какому-то зловещему совпадению все три раза я должен был спешить, подгоняемый производственными обстоятельствами в театре. Поэтому мои постановки я считаю только первыми режиссерскими редакциями, как «Горе уму» — опус 1928 года. Думаю, что больше других мне удалось «Баня». Мечтаю вернуться к ним и на этот раз поработать не спеша.

Чехов меня любил. Это гордость моей жизни, одно из самых дорогих воспоминаний. Я с ним переписывался. Ему нравились мои письма. Все советовал мне самому начать «писать» и даже записки рекомендательные в редакции давал. У меня довольно много писем от него было — штук восемь-девять, кажется, но все пропали, кроме одного, которое я дал напечатать. В других было больше для меня лестного, и я стеснялся их показывать. Уезжая из Ленинграда, я дал их на хранение в один музей, а когда приехал, то оказалось, что тот человек, которому я их дал, умер. Простить себе этого не могу. То, что не берег, сохранилось, а над чем дрожал — потерял. Так часто бывает в жизни.

Когда я в первый раз пришел к Чехову в гости, меня удивил в его комнате совершенно пустой стол. Несколько листочков бумаги, чернильница и больше ничего. Я даже подумал, не собираются ли здесь накрывать для обеда, и поспешил из застенчивости заявить, что я уже обедал. Но оказалось, что Чеховы тоже уже обедали, а пустой стол необходим Антону Павловичу для работы: это сосредоточивает его внимание.

У Чехова была привычка во время рассказа собеседника совершенно неожиданно смеяться в совсем не смешных местах. Это сначала ставило в тупик; лишь потом собеседник понимал, что Чехов, слушая рассказ, параллельно уже мысленно видоизменял его, переделывал, усилил, дополнял, вытаскивал юмористические возможности и радовался им. Он слушал, думал и воображал быстрее своих собеседников. Параллельная работа его мозга питалась разговором, но была гораздо стремительней и эффективней. Он внимательно слушал и одновременно творчески преображал слышимое. Эту удивительную черту я встречал еще у И. Ильинского, часто поражавшего меня в разговоре своим неожиданным смехом. Я иногда даже останавливался, пока не привык, что он, как и Чехов, смеется не моим словам, а параллельной работе собственного воображения. Это черта душевного здоровья, интенсивности напряженной творческой мысли.

Льва Толстого я увидел близко впервые, когда учился в Московском университете. Как и вся молодежь, мои товарищи кидались от одной доктрины к другой, а так как толстовцев правительство преследовало, то мы им инстинктивно симпатизировали, не задумываясь глубоко. Время было такое, что в компании из трех студентов один уж

обязательно был толстовцем. И вот однажды с несколькими приятелями я пошел к Толстому в его дом в Хамовниках. Позвонили. Вошли. Нас пригласили подождать в гостиной. Сидим, волнуемся. До этого я Толстого еще никогда не видел. Отношение к нему было такое... вот хотел сказать, как к Горькому или Ромену Роллану... Нет — больше... Ждали довольно долго — помню, даже ладони вспотели. Смотрим на дверь, в которую сейчас войдет Толстой. И вот дверь отворяется. Толстой входит... И сразу приходится взгляд перевести ниже. Я почему-то невольно смотрел на верхнюю планку двери, а он, оказывается, совсем маленький. Вот такой... На полметра ниже. Помню свое мгновенное разочарование. Совсем маленький старичок. Простой, вроде нашего университетского швейцара. Нет, еще проще! А потом он заговорил, и все сразу переменялось. И снова удивление. Барский голос, грассирующий, губернаторский. Так теперь белогвардейских генералов изображают. С нами говорил сурово и почти недружелюбно. Поразило полное отсутствие в нем заигрывания с молодежью, которым мы были избалованы тогда. И в этом я почувствовал вскоре больше уважения к нам, чем в шуточках и улыбочках, с которыми неизменно разговаривали со студентами прочие «властители дум». Ну конечно, те, кто побойчее, стали задавать вопросы о смысле жизни и прочем. Я молчал. Мне все казалось, что он скажет нам, что это все чепуха, и позвонит лакею, чтобы нас проводили. Но он терпеливо, хотя и не очень охотно, отвечал. Когда он сидел, было незаметно, что он маленький, а когда встал, прощаясь, я снова удивился: совсем маленький старичок... Через несколько лет я еще раз был у Толстого, но первое впечатление всегда сильнее.

Когда я работал с Вишневым, мне очень нравилось, что он как бы боится слов. Дал нам великолепный сценарий «Последнего решительного», а потом приходил на репетиции и по горсточке подсыпал слова. Мы просим: «Всеволод, дай еще слов», — а он держит их за пазухой и бережливо отсыпает. И это вовсе не потому, что у него их мало — у него грандиозный запас, а потому, что он экономен по чутью вкуса и ощущению истинного театра. По-моему, лучше выпрашивать у драматурга нужные слова, чем марты страницами тех, у кого эти слова дешевы.

Пушкин стремился подражать Шекспиру, но он лучше Шекспира. Он прозрачнее и душистее. Самое главное в Пушкине, что он всего достигает малыми средствами. Это и есть вершина мастерства.

Критики очень хотели бы, чтобы созревание художника происходило бы где-то в лаборатории с занавешенными окнами и запертыми дверями. Но мы растем, созреваем, ищем, ошибаемся и находим на глазах у всех и в сотрудничестве со зрителем. Полководцев тоже учит кровь, пролитая на полях сражений. А художников учит собственная кровь... Да и что такое ошибка? Из сегодняшней ошибки иногда вырастает завтрашняя удача.

У Горького есть мудрейшие заметки о людях наедине с собой. Когда я в 1925 году был у него в Сорренто и он мне их сам прочитал, то я был поражен их тонкостью и остротой. В них очевиднее игровая природа человеческой жизни, чем в позерских и витиеватых трактатах Евреиннова. В каждом человеке есть такое свойство, которое делает его актером. Последите за собой дома: вот вы вернулись с собрания, где говорили речь, с любовного свидания, с реки, где помогли вытаскивать тонувшего ребенка, — вы и у себя дома будете некоторое время оратором, любовником, героем. Люди не любили бы так актеров, если бы все сами не были немножко ими.

В моей жизни перед каждым новым подъемом были трагические паузы, полные раздумий и сомнений, иногда почти на грани отчаяния. Только два (и важнейших!) решения своей жизни я принял, не колеблясь: это когда после окончания филармонии отверг выгодные и лестные предложения двух крупных провинциальных антрепренеров и пошел на маленькое жалование в открывающийся Художественный театр (с обывательской точки зрения это был риск!) и еще когда я сразу понял значение Ок-

тябрьского переворота и ринулся в революцию. К принятию этих решений я был подготовлен всем своим внутренним развитием, и они мне дались естественно и просто. Но никогда не забуду своей душевной бури осенью и в начале зимы 1905 года. В стране сильнейшее революционное брожение, а мы готовим к открытию студию на Поварской. Скандальная премьера «Детей солнца» в Художественном театре. Станиславский принимает решение не открывать студию. Я у разбитого корыта. По предложению Константина Сергеевича, я некоторое время снова играю Треплева в возобновленной «Чайке» в Художественном театре. Это было чем-то вроде моста к моему возможному возвращению в МХАТ, на что К. С. мне намекал. Но были и препятствия: Владимир Иванович относился к этому более чем прохладно. А я тогда и сам не знал, чего я хочу, совершенно потерял ориентировку. Но мне не пришлось самому ничего решать, все за меня решил факт полного отсутствия у меня товарищеского контакта с моими бывшими коллегами — участниками «Чайки», — с которыми я встречался, когда шел спектакль, за кулисами: меня раздражали они — я казался странным им. Московское вооруженное восстание. Я жил в районе, покрытом баррикадами. Никогда не забуду страшных впечатлений тех дней: темную Москву, израненную Пресню. Трагедия разбитой революции тогда как-то заслонила все личное, и боль от смерти неродившегося театра прошла очень быстро. Вскоре я искренне перестал жалеть об этом. А затем поездка в Петербург, новые встречи и знакомства, попытка возродить в Тифлисе Товарищество новой драмы и, наконец, неожиданное письмо от Комиссаржевской...

Когда у меня происходит очередной крах, я теперь уже знаю: надо спокойно и терпеливо ждать чуда — спасительной дружеской руки. После закрытия студии на Поварской — письмо от Комиссаржевской, после ухода от нее — тоже сначала тупик, и вдруг внушительное Головинным письмо Теляковского, и сейчас, после закрытия Гостима, — звонок Константина Сергеевича... (Записано в 1938 г.).

Когда вы осенью видите дерево, теряющее листву, оно вам кажется умирающим. Но оно не умирает, а готовится к своему обновлению и будущему расцвету. Не бывает деревьев, цветущих круглый год, и не бывает художников, не испытывающих кризиса, упадка, сомнений. Но что вы скажете про садовников, которые будут осенью рубить опадающие деревья? Неужели нельзя к художникам относиться так же терпеливо и бережно, как мы относимся к деревьям?

Так называемый «успех» премьеры не может быть главной целью театра. Иногда приходится с открытыми глазами идти на провал, которого ждешь. Когда я ставил «Командарм 2» Сельвинского, я был уверен в неизбежном «провале», но это не влияло на мою решимость. Кроме близких тактических целей, у меня были стратегические дальние цели. Мне хотелось, чтобы великодушный поэт Сельвинский понюхал театрального пороха, и я надеялся, что он в будущем даст нам новую замечательную пьесу. В «Командарме 2» были сильные сцены и энергичный стих, но там была и одна роковая ошибка: главное действующее лицо — Оконный — не мог быть героем советской трагедии, он слишком мелок для нее. Но я все же не жалею, что поставил эту пьесу. Без «провалов» не бывает и побед. В спектакле были находки, которые я очень ценю, и несколько первоклассных актерских работ. Разве этого мало? Я считаю, что бывают такие обстоятельства, когда театр должен смело идти на «провал», но не отступать. Это был именно такой случай.

Золя говорил, что храбрость нужна писателю так же, как генералу. И режиссеру — тоже!

Меня часто спрашивают о моем отношении к спектаклям Охлопкова, где зрители сидят вокруг сцены и проч. Я не видел этих спектаклей, но думаю, что режиссер-художник имеет право и на такое размещение мест в зале, если это ему нужно. Меня только несколько смущает то, что этот опыт делается в маленьком зале. С моей точки зрения такая планировка требует большей кубатуры воздуха над сценической площадкой, осо-

бого размещения оркестра, специальных акустических данных зала. Хорошая мысль при осуществлении в крошечном помещении, где нет этих условий, может быть практически скомпрометирована. (В. Э. имел в виду помещение на площади Маяковского, где шли тогда спектакли Реалистического театра, возглавлявшегося Н. П. Охлопковым, — ныне там помещается Кукольный театр под руководством Образцова.)

Когда я смотрю спектакли, поставленные самыми молодыми моими учениками, у меня начинает кружиться голова от непрерывных перемен мизансцен и переходов. И я с испугом спрашиваю себя: неужели я этому их научил? А потом я себя утешаю: «Нет! Это их юность и неопытность преувеличивают мои недостатки, которые они усвоили на пять с плюсом». И мне после этого хочется ставить спектакли еще спокойнее и сдержаннее. Так я учусь у своих учеников.

Считается, что полюсами театральной Москвы является мой театр и МХАТ. Я согласен быть одним из полюсов, но если искать второй, то, конечно, это Камерный театр. Нет более противоположного и чуждого мне театра, чем Камерный. У МХАТа одно время было четыре студии. Я могу дать разгуляться воображению и допустить, что мой театр — тоже одна из студий МХАТа, но только, конечно, не пятая, а, скажем, учтя дистанцию, нас отделяющую, — 255-я. Ведь я тоже ученик Станиславского и вышел из этой альма матер. Я могу найти мостки между моим театром и МХАТом, и даже Малым, но между нами и Камерным театром — пропасть. Это только с точки зрения гидов Интуриста Мейерхольд и Таиров стоят рядом. Впрочем, они готовы тут же поставить и Василия Блаженного. Но я скорее согласен быть соседом с Василием Блаженным, чем с Таировым.

Я люблю Оскара Уайльда, но я терпеть не могу тех, для кого Оскар Уайльд является самым любимым писателем.

Неопытность режиссера чаще всего чувствуется в невнимании к ясности экспозиции пьесы. Если вы не «доложите» с предельной ясностью экспозицию, зритель ничего не поймет в дальнейшем или будет еще только догадываться, когда он уже должен быть захвачен.

Неверно противопоставлять театр условный театру реалистическому. Условный реалистический театр — вот наша формула.

Читайте больше! Читайте без усталости! Читайте! Читайте с карандашом в руках! Делайте выписки! Оставляйте в своих книгах листочки с выписками всех мест, остановивших ваше внимание! Это необходимо. У меня на все книги моей библиотеки есть такие листочки и заметочки. Например, я прочел всего Вагнера на немецком языке. Его все знают как композитора и автора текстов либретто, а он еще написал десять томов интереснейших статей. Они у меня все проштудированы. Вы можете достать из этих томов исписанные мною листочки и сразу поймете, что меня заинтересовало. Не жалейте книжных полей! Исписывайте их. Исписанная мною книга для меня вдвастеро дороже новой.

Для меня было личной драмой то, что Станиславский закрыл в 1905 году студию на Поварской, но в сущности он был прав. По свойственным мне торопливости и безоглядности я стремился там соединить в одно самые разнородные элементы: символистскую драматургию, художников-стилизаторов и актерскую молодежь, воспитанную по школе раннего Художественного театра. Каковы бы ни были задачи, это все вместе не соединялось и, грубо говоря, напоминало басню «Лебедь, рак и щука». Станиславский, с его чутьем и вкусом, понял это, а для меня, когда я опомнился от горечи неудачи, это стало уроком: сначала надо воспитать нового актера, а уж потом ставить перед ним новые задачи. Такой же вывод сделал и Станиславский, в сознании которого тогда уже зрели черты его «системы» в ее первой редакции.

Новая техника театра была продиктована драматургом. У Метерлинка есть в «Смерти Тентажиля» акты, которые идут на сцене по 10—12 минут, а действие происходит в средневековом замке. Но чтобы поставить декорацию замка, надо делать антракты вдвое длиннее актов, а это абсурд. Поневоле пришлось выдумывать «условный замок». Так драматург толкнул театр на новую технику.

Нет, не люблю работать за столом! Не люблю, и все! Вот говорят — и Константин Сергеевич тоже последнее время разлюбил...

За столом может быть сговор режиссера с исполнителями, и только. Нельзя с самочувствием, найденным за столом, уверенно выходить на сцену. Все равно почти все придется начинать сначала. А часто на это времени уже остается мало: дирекция торопит. И появляются спектакли, полные ритмической и психофизической фальши. И все только оттого, что пересидели за столом и прочно привыкли к найденному там. У режиссеров типа Сахновского актеры по существу делают роль дважды — за столом и на сцене, и эти два образа толкаются и мешают друг другу. Советую молодым режиссерам: старайтесь с самого начала репетировать в условиях, приближенных к условиям будущего исполнения. У меня бы провалился «Маскарад», если бы я согласшался с просьбами дирекции начинать репетиции в маленьких фойе. Я должен был с самого начала приучать актеров к ритмам широких планов. Такой мудрый мастер, как Юрьев, прекрасно это понимал и поддерживал меня.

У меня часто творческим побуждением является злость. Так, «Пиковую даму» мне захотелось поставить после того, как я увидел и услышал в Германе Печковского. Я так был зол на него, что если бы мы ночью встретились в темном переулке, то ему пришлось бы плохо. Позлился, побрюзжал, стал думать и мечтать, и так пришел к спектаклю.

Я всегда сам знаю, где я потерпел неудачу. Вот, например, «Предложение» из чеховского спектакля явилось экспериментом, которого зритель не принял, хотя мы все работали с удовольствием и любовью. Но мы перемудрили и в результате потеряли юмор. Надо смотреть правде в глаза — в любом самостоятельном спектакле на «Предложении» больше смеются, чем смеялись у нас в театре, хотя играл Ильинский, а ставил Мейерхольд. Прозрачный и легкий юмор Чехова не выдержал нагрузки наших мудрствований, и мы потерпели крах. Никогда не надо себя обманывать. Критиком можешь не признаваться, а сам себе говори все...

В первой редакции «Горе уму» я наделал множество ошибок, правда, в этом мне здорово помог художник Шестаков. В спектакль просочился лжеакадемизм. Отдельные эпизоды непропорционально разрослись и не соединялись один с другим. В 1935 году я сделал новую редакцию, в которой исправил некоторые свои ошибки. Переделка почти не коснулась актерских образов (не считая естественной шлифовки). Тут мы были на верном пути и в 1928 году. За ошибки этого спектакля несем ответственность только я и Шестаков, а актеров я не виню совершенно.

Бойтесь с педантами говорить метафорами! Они все понимают буквально и потом не дают вам покоя. Когда-то я сказал, что слова — это узор на канве движения. Это была обычная метафора, каких рассыпаешь много, говоря с учениками. Но педанты поняли это буквально, и вот уже два десятка лет научно опровергают мой легкокрылый афоризм. Так, на Гордона Крега давно уже вешают всех собак за то, что он сравнил актеров с марионетками. Гёте (которого я, кстати, не люблю) сказал однажды, что актеры должны уподобиться канатным плясунам. Но разве это значит, что он советовал исполнителю Гамлета ходить по проволоке? Конечно, нет! Просто он хотел посоветовать на сцене добиваться такой же безошибочной точности в каждом движении.

Я был актером широкого диапазона: играл и комические и трагические роли и чуть ли не женские. Имею музыкальное и хореографическое образование. Кроме того, изучал юридические науки, писал в газетах и переводил с иностранных языков. Считаю себя литератором и педагогом. И все это мне пригодилось в занятиях режиссурой. Если бы знал еще какие-нибудь специальности, и это пригодилось бы. Режиссер должен знать многое. Есть выражение: «узкая специальность». Режиссура — самая широкая специальность на свете.

На фронто́не нового здания нашего театра я попрошу высьечь слова Пушкина: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической».

Режиссер должен знать все области, из которых складывается искусство театра. Мне приходилось видеть Эдварда Гордона Крега на репетиции, и меня всегда покоряло, что он не кричит: «Дайте мне голубой свет!», — а указывает точно: «Включите третью и восьмую лампы!» Он и со столяром мог разговаривать профессионально, хотя сам, может быть, и не сделал бы стула. Надо просидеть часы в будке осветителей, чтобы иметь право ими командовать. Когда костюмеры принесут сшитые костюмы, режиссер не должен мямлить: «Тут поуже, а тут пошире», — а кратко указать: «Распорите вот этот шов, а сюда вставьте проволочку». Только тогда ленивые сотрудники не станут возражать, что переделать ничего невозможно, как это бывает обычно, и вы не станете им верить на слово. Станиславский изучал в Париже кройку, чтобы понять природу сценического искусства.

Режиссер обязан уметь ставить все. Он не имеет права уподобляться врачам, специализирующимся только на детских болезнях, или на венерических, или на ухе, горле и носе. Режиссер, который будет претендовать ставить только трагедии, не умея поставить комедии или водевиля, обязательно провалится, потому что в настоящем искусстве высокое и низкое, горькое и смешное, светлое и темное всегда стоят рядом.

Вы и не представляете, как на моих глазах изменилась восприимчивость зрительного зала. Даже в «Балаганчике» зритель еще не принимал быстрой смены сцен и световых эффектов. А эпизод, подобный «Пенькам дыбом» в «Лесе» (с бросанием стульев), вызывающий в наши дни бурные аплодисменты, в начале века просто вызвал бы недоумение.

Режиссер должен чувствовать время, не вынимая часов из жилетного кармана. Спектакль — это чередование динамики и статики, а также динамики различного порядка. Вот почему ритмическая одаренность кажется мне одной из важнейших в режиссуре. Без острого ощущения сценического времени нельзя поставить хороший спектакль.

Кажется, Скрябин назвал ритм «заколдованным временем». Это гениально сказано!

Когда я разделил текст «Леса» на эпизоды, все закричали, что я подражаю кино, и никто не вспомнил, что так построен пушкинский «Борис Годунов» и почти все пьесы Шекспира.

Режиссер должен уметь верно прочесть пьесу, которую он ставит, но этого мало — надо уметь построить в своем воображении то, что я для себя называю «вторым этажом пьесы». Как ни толкуй, а пьеса для театра только материал. Я могу прочесть пьесу, не изменяя в ней ни буквы, в противоположном автору духе только одними режиссерскими и актерскими акцентами. Поэтому борьба за сохранение и воплощение авторского замысла — это не борьба за букву пьесы.

В первой половине девятнадцатого века в России были случаи, когда цензура снимала с репертуара пьесу, которая в чтении не вызывала никаких опасений и была разрешена. Но актеры-художники типа Мочалова вносили в свое исполнение то, что

шло помимо текста: в мимической игре, паузах, остановках, в жесте, ракурсе, в различных акцентах. Зал это прекрасно понимал и на это реагировал. Вот это и было тем, что я называю «вторым эгажом пьесы». И это еще было случайно, полумимовизионно, так как искусства режиссуры не существовало. Увидев такой спектакль, цензоры хватались за голову, и пьеса, считавшаяся до того разрешенной, после представления запрещалась. Они в этом случае понимали природу театра лучше, чем иные наши критики, которые все еще апеллируют к букве текста.

Основной закон биомеханики очень прост: в каждом нашем движении участвует все тело. Остальное — разработка, упражнения, этюды. Скажите, что здесь такого, что могло возмущать, вызывать протесты, казаться еретическим, неприемлемым? Вероятно, это мое личное свойство — даже самые простые вещи, утверждаемые мною, почему-то кажутся парадоксами или ересью, за которую следует жечь на костре. Я уверен, что если я завтра заявлю, что Волга впадает в Каспийское море, то послезавтра от меня начнут требовать признания моих ошибок, которые в этом утверждении содержались.

Мои любимые ассоциации... Ищите ассоциативных ходов! Работайте ассоциативными ходами! К пониманию огромной силы образных ассоциаций в театре я еще только приблизился. Тут непочатый край возможностей.

Вы слушаете «Пиковую даму» и вспоминаете вдруг какой-то эпизод из Стендаля, или даже не то что вспоминаете, а рядом с вашим сознанием проходит мгновенное полувоспоминание. Образ Германа и герон Стендаля — это верная ассоциация. Верные ассоциации укрепляют спектакль, бесконечно расширяют силу его воздействия, а неверные — разрушают. В спектакле все может быть точно по букве пьесы — и парики надеты, и носы приклеены, и текст правильно произносится, но возникающие у зрителя ассоциации чужды замыслу автора и духу произведения. Единственный путь прочтения классиков — это брать их не в одиночку, а вместе со всей библиотечной полкой, на которой они стоят. Пушкин мог почти не знать Стендаля, и, кажется, Байрон, будучи хорошо знаком с ним лично, так и не подозревал, каким Стендаль был писателем, но для современного человека Герман, герои прозы Лермонтова, герои Стендаля, герои Байрона стоят рядом, и в его представлении невольно мелькнут ассоциативные воспоминания о всем ряде, если мы сами не закроем путь этим ассоциациям. Пользуясь ассоциациями, мы можем не договаривать до конца — сам зритель договорит за нас.

Насколько власть образных ассоциаций сильнее буквы текста пьесы, можно доказать двумя примерами из репертуара Художественного театра. «Доктор Штокман», по замыслу автора, — консервативнейшая и антиобщественная пьеса, проповедующая социальное одиночество, но, эмоционально раскрывающая мотив борьбы одиночки с большинством, в революционной ситуации России накануне 1905 года, в зрительном зале, начиненном революционной взволнованностью, имела огромный революционный успех. Зрительские ассоциации совершенно переакцентировали весь сюжет пьесы. То же самое случилось с пьесой «У врат царства» Гамсуна. Зритель совершенно не желал вслушиваться в текст монологов Карено, проповедующих нищезанятость, и властью своих ассоциаций, связывающих борьбу активного меньшинства с большинством, с началом революционным, воспринимал борьбу Карено с либералами, которая у автора была борьбой с более «правых» позиций, как борьбу революционную, и окрашивал его своей собственной левизной. Я это очень хорошо помню, так как сам много раз сыграл роль Карено.

Гротеск — это не что-то таинственное, это просто-напросто сценический стиль, играющий острыми противоположностями и производящий постоянный сдвиг планов восприятия. Пример — «Нос» Гоголя. В искусстве не может быть запрещенных приемов: есть лишь неуместно и некстати примененные приемы.

Зрительское впечатление богаче, когда оно воспринимается подсознательно. Некоторые свои приемы я сам прячу от зрителя. Ходы Ильинского — Присыпкина в сцене

«Общежитие» в «Клопе» как бы служат натянутой струной во всей сцене, создают необходимое напряжение, но я вовсе не хочу, чтобы зритель это заметил.

Недавно я видел один спектакль, где режиссер грамотно построил мизансцены, художник сделал отличные декорации, участвовали прекрасные актеры и пьеса была неплохая, но зрители отзывались сочувственным смехом на все реплики персонажа-пошляка, которого вопиюще неверно играл хороший актер, и равнодушно выслушивали монологи положительных персонажей. И я сказал себе: гнать надо такого режиссера из театра — это бездарность и тот самый опасный дурак, который хуже врага! Вы хотите знать, какой это был спектакль? А разве мало подобных спектаклей?

Я очень боюсь, что мы приучили зрителей к бездумному, глуповатому смеху — смеху во что бы то ни стало. Не слишком ли много смеются сейчас в наших театрах? Не наступит ли завтра такой момент, когда зрители, развращенные нашими ухищрениями обязательно рассмешить их, встретят гоголом или холодным молчанием тонкую, сложную, умную пьесу? Именно поэтому я всегда так страстно нападаю на драматурга Х. Может быть, он и способный человек, но он активно участвует в развращении зрителей неумным смехом. Только за это я его нечавижу всеми силами своей души!

Если вы начали читать пьесу — не делайте перерыва, а если уж он получился, то, взяв ее снова в руки, опять начинайте с первой страницы. Я заметил, что верно оцениваешь пьесу, только когда читаешь ее всю подряд залпом, в один присест.

Мне представляется крайне наивным спор, который все еще ведется на страницах театральных журналов: кто является в создании спектакля ведущей фигурой — режиссер или драматург? По-моему, ведущей является мысль, кому бы она ни принадлежала. У кого из обоих членов дуумвирата (автор — режиссер) мысль значительнее, активнее, острее, тот и является в данном случае «ведущим». По отношению к Файко и, пожалуй, Эрдману я был «ведущим», а по отношению к Маяковскому, надо честно сказать, картина была иная... Но я не вижу тут ничего обидного ни для драматурга, ни для режиссера как в первом, так и во втором случае.

Перед премьерой «Дамы с камелиями» я находился в страшной тревоге. Еще бы: спектакль на генеральных репетициях шел около пяти часов. Администраторы смотрели на меня волками. Кое-что я наспех сократил, но все равно было длинно, и, что сложнее всего, это качество спектакля соответствовало его стилистике. Попытка чрезмерного сокращения походила бы на американские выжимки из великих романов Толстого, эти беллетристические консервы. Я ждал встречи со зрителем с необычайным волнением. Согласится ли он слушать мой неторопливый рассказ? И я был на премьере тронут до слез (эти «слезы» вовсе не риторический оборот, а факт!), когда увидел, что зритель смотрит и слушает без всякого видимого напряжения. Это была минута моей величайшей радости и торжества. А потом ко мне пришли вот такие мысли: торопящийся зритель — враг театра. Горькое лекарство мы глотаем, но вкусное блюдо смакуем. Не стоит злоупотреблять терпением зрителя, но и не нужно угождать такому зрителю, которому всегда «некогда». Если театр не может заставить зрителя забыть про это «некогда», то имеет ли такой театр право на существование?

Я люблю театр, и мне иногда бывает грустно, что эстафета мастерства актерской игры начинает переходить к актерам кино. Я не говорю уже о Чаплине — с каким-то волшебным предчувствием мы его полюбили еще раньше, чем увидели. Но вспомните Бестера Китона! По тонкости исполнения, остроте сценического рисунка, тактичности характеристики и стилистической выдержанности жеста — это явление совершенно исключительное...

Когда я узнал в Кисловодске от Ливанова о смерти Станиславского, мне захотелось убежать одному далеко от всех и плакать, как мальчику, потерявшему отца.

Современный самолет, легкий, обтекаемый, как бы сделанный из одного куска, на первый взгляд кажется менее сложной машиной, чем прежние «фарманы» и «блерио». То же и в искусстве. Прекрасное создание мастера кажется простым и элементарным по сравнению с громоздкой работой сгорающего любителя.

Я сейчас скажу как бы парадокс: для исполнения маленьких ролей мне иногда бывают нужны актеры более высокой квалификации, чем для исполнения ролей центральных. «Пиковая дама» так удалась, потому что я настоял на том, чтобы роль графини, у которой всего один романс, или роль Елецкого пели лучшие артисты и певцы, которые в других спектаклях могут исполнять главные роли. Меня недавно глубоко задело, когда у нас в театре мне про роль Луки (в «Медведе» Чехова) кто-то сказал, что это даже и не роль, а так — служебно-сюжетная функция. Да если бы я уже не отстал давно от актерского дела, я сам бы мечтал сыграть Луку, и тогда бы я показал вам всем, роль это или не роль! Секрет исполнения «Бориса Годунова» — в распределении так называемых маленьких ролей.

Руководящую идею в плане сценического решения «Горе уму» мне дало письмо Пушкина Бестужеву после прочтения им «Горя от ума». Его плохо помнят: отсюда удивление, которое вызвали данные мною сценические характеристики Софьи, Молчалина, Чацкого и др. Я осуществил то, что сто лет назад говорил Пушкин, а меня обвинили в оригинальничании!

Неверно, что современному режиссеру не нужно понятие «амплуа». Вопрос лишь в том, как этим понятием пользоваться. Вот, хотите, еще один парадокс: я должен знать, кто у меня в театре «любовник», для того чтобы не поручать ему ролей «любовников». Я много раз наблюдал, как неожиданно интересно раскрывается актер, когда работает в некоей борьбе со своими прямыми данными. Ведь они все равно никуда не денутся, но как бы проаккомпанируют созданному им образу. Нет ничего скучнее провинциальной героини, играющей Катерину. Прелесть Комиссаржевской была как раз в том, что она играла героинь, совершенно не будучи «героиней». Актер так устроен, увы, что, получая роль по своему прямому амплуа, он вообще перестает работать, словно считая, что его вывезет звук или фигура. Чтобы толкнуть актера на труд, надо иногда сознательно дать ему парадоксальную задачу, решая которую, он должен будет сам опрокинуть свои «нормы». В моей практике такой метод распределения ролей почти всегда оправдывал себя. Не люблю слашаво декламирующих Фердинандов, Катерин с грудными голосами и Хлестаковых со скороговоркой!

Я убежден, что актер, ставший в верный физический ракурс, верно произнесет текст. Но ведь выбор верного ракурса — это тоже акт сознания, акт творческой мысли. Ракурсы могут быть неверные, приблизительные, близкие, почти верные, случайные, точные и так далее. Диапазон отбора громаден. Но как писатель ищет точное слово, так и я ищу точнейший ракурс.

Мизансцена — это вовсе не статистическая группировка, а процесс: воздействие времени на пространство. Кроме пластического начала, в ней есть и начало временное, то есть ритмическое и музыкальное.

Когда вы смотрите на мост, то вы видите как бы запечатленный в металле прыжок, то есть процесс, а не статику. Напряжение, выраженное в мосте, — это главное в нем, а не тот орнамент, которым украшены его перила. То же и мизансцена. Употребляя сравнения другого рода, могу еще сказать, что если актерская игра — это мелодия, то мизансцены — это гармония.

Режиссер не должен бояться творческого конфликта с актером на репетиции, даже вплоть до рукопашной. Крепость его позиции в том, что он в отличие от актера всегда

знает (должен знать!) завтрашний день спектакля. Он одержим целым, поэтому он все равно сильнее актера. Не бойтесь же ссор и схваток!

Очень плохо, когда режиссер работает с шорами предварительного плана на глазах и не умеет воспользоваться тем, что иногда случайно приносит течение репетиции. Часто какая-нибудь случайность может подсказать совершенно непредвиденный эффект, и надо уметь это использовать. В моей практике такие вещи бывали постоянно. Приведу два примера из работы над нашими последними спектаклями. На одной из генеральных репетиций «Дамы с камелиями» во второй сцене первого акта актеры случайно стали так высоко подбрасывать карнавальный серпантин, что он не упал обратно, а повис на тросах, и это было так неожиданно красиво, что среди присутствующих пробежал шепоток восхищения. Строго говоря, это была «накладка», но она дала нам чудесный штрих. Исполнитель роли Гастона воспользовался этим и без моих указаний взял концы серпантинных лент в руки, рассеянно перебирал их в сцене с Маргерит. Мне оставалось только одобрить это и немного развить и усложнить. На репетиции сцены «В ресторане» и во «Вступлении» такой непредвиденной случайностью явился тяжелый прыжок на пол одного из свободных от репетиции актеров, сидевших за кулисами на конструкции. Удар этого прыжка так ритмически совпал с люфт-паузой в музыке танца, написанного В. Я. Шебалиным, что я почувствовал возможность перестроить задуманный мною заранее ход Гуго Нумбаха из глубины сцены вперед и направо и поставил Свердлину танец, который на спектакле в его исполнении всегда вызывает аплодисменты.

Позволю себе сказать вам, моим соратникам и ученикам, что тезис о режиссерском театре — это полный вздор, которому не следует верить. Нет такого режиссера — если только это подлинный режиссер, — который поставил бы свое искусство над интересами актера как главной фигуры в театре. Мастерство режиссуры, искусство построения мизансцены, чередования света и музыки — все это должно служить замечательным, высококвалифицированным актерам!

Не понимаю, почему до сих пор в наших оперных театрах сохранился такой нелепый анахронизм, как размещение оркестра перед сценой. Ведь это заставляет певцов форсировать голоса и лишает пение тонкостей нюансировки. Певцам страшно трудно пробивать мощную музыкальную завесу оркестра. В Байретском театре оркестр расположен гораздо глубже, чем в наших театрах, и эффект от этого огромный. Вагнер, когда ставил в своих партитурах от четырех до шести знаков форте, конечно, имел в виду подобное размещение оркестра, а наши дирижеры в иных условиях слепо следуют этим знакам и, позволяя оркестру дубасить, создают невыносимый звуковой кавардак. Я терпеть не могу в опере крика и поэтому перестал ходить у нас на Вагнера. В б. Мариинском театре певцы из-за этого драли горло до изнеможения, калечили свои связки, а Ершов раньше времени ушел на пенсию. Оперное дело требует многих реформ. Архитекторы должны найти другое место для оркестра, а певцы так учить свои партии, чтобы им не приходилось неотрывно смотреть на дирижера. Я дал себе слово: если буду еще ставить оперу — разобьюсь в лепешку, но посажу оркестр иначе!.. (Записано в 1936 году. В начале 1939 года я спросил В. Э., который начал работать в Оперном театре имени Станиславского, намерен ли он еще провести эту реформу, — и В. Э. ответил: «Да, обязательно, только дайте мне немного укрепить там свои позиции».)

Набросок предисловия к «Борису Годунову» Пушкина — гениальный программный документ на века. Насколько оно выше и глубже знаменитых предисловий к драмам В. Гюго! Пушкин требовал «вольного и широкого изображения характеров». Разве это требование устарело в наши дни? Могу перечитывать это без конца и все нахожу новые глубины!

Простота — самое дорогое в искусстве. Но у каждого художника свое собственное представление о простоте. Есть простота Пушкина — и есть простота примитива. Не су-

существует некой общедоступной и общепонятной простоты, как не существует в искусстве «золотой середины». Художник должен добиваться достижения своей собственной простоты, которая будет вовсе не похожа на простоту его товарища. Высокая простота искусства — это то, к чему приходят, а вовсе не то, от чего отталкиваются. Это вершина, а не фундамент.

Мое кредо — простой и лаконичный театральный язык, ведущий к сложным ассоциациям. Так бы я хотел поставить «Бориса Годунова» и «Гамлета».

Наверно, никого из режиссеров всего мира не бранили столько, как меня, но поверьте ли вы, если я вам скажу, что никто так строго не судит меня, как я сам. Правда, я не очень люблю публичные самоунижения. Я считаю, что в конце концов это дело нас двоих: меня и еще одного меня... Но внутренняя самокритика — штука странная. Бывают победы, которых почти стыдишься, и неудачи, которыми гордишься.

Когда мне говорят: «Вы мастер!» — мне в душе смешновато. Ведь перед каждой премьерой я волнуюсь, как будто снова сдаю конкурсный экзамен на вакансию второй скрипки.

Критические попадания в меня были редки не потому, что не было охотников пострелять, а потому, что я слишком быстро движущаяся цель.

Сейчас в «Лесе» кое-что является грубоватым, примитивным, прямолинейным, подчеркнуто тенденциозным. Но сравните лист газеты 1924 года, номера тогдашних «Крокодила» и «Безбожника» с нынешней газетой и сегодняшним «Крокодилом». Рабфаковцы двадцатых годов тоже не похожи на вузовцев тридцатых годов. Наш «Лес» был направлен целиком современному зрителю, то есть зрителю середины двадцатых годов. И не удивительно, что спектакль в чем-то устарел. Можно удивляться другому — тому, что он сравнительно мало устарел и по-прежнему вызывает бурный прием зрительного зала. Но это объясняется уже другим: тем, что, кроме установки на современность, спектакль в себе несет влияние изучения традиций лучших театральных эпох. Давайте же уберем из спектакля все то, что шло от «злобы дня» и перестало быть доходчивым. По моим наблюдениям, после многих переделок спектакля за более чем десять лет он становится все менее сатирическим и все более романтическим. Это произошло почти эволюционно и, видимо, вполне закономерно. (Записано в 1936 году.)

Знаете ли вы, что Сальвини и Росси играли «Гамлета» почти каждый раз по-разному, то опуская философские монологи, то снова вводя их, в зависимости от состава зрительного зала!

Самое трудное в постановке пьесы — распределение ролей. Когда мне нужно распределять роли, то я не сплю несколько ночей и почти заболеваю. Но если я с этим справился без явных компромиссов, то дальше я уже смотрю вперед уверенно.

Я не люблю начинать работу над пьесой с первого акта. Мне нравится, как это делали некоторые французские драматурги, начинавшие работу с конца, бравшие кульминации и потом подводящие пьесу от экспозиции к нарастанию, брать для начала самые трудные эпизоды, а потом переходить с них к более легким. Большую часть своих работ я делал именно так.

У меня был период, когда я ставил пьесу небольшими кусками и долго каждый из них отделявал. Потом я заметил, что от этого все разрастается и непропорционально разбухает. Теперь возвращаюсь к тому, как работал давно: стремлюсь, решив две-три главные кульминационные сцены и начерно поставив все остальное, скорее прогонять все акты подряд. Когда гонишь все одно за другим, быстрее вырисовывается целое. Я не знаю технику работы Вагнера, но убежден, что она не была мозаичской работой

над кусочками — иначе не родилась бы его «бесконечная мелодия». Целое спектакля легче всего найти в динамике.

Лучшее из придуманного мною заранее, то есть не на самой репетиции, всегда все-таки придумывалось не за письменным столом, как говорится, а на людях, в шумe, в движении, когда казалось, что вовсе и не думаешь о работе. Не надо забывать, что художник работает непрерывно. Об этом прекрасно написал Маяковский в «Как делать стихи?», этой тоненькой книжечке, где весь его опыт. Когда соберусь написать о режиссуре, буду стараться написать так же емко и кратко.

Если проживу еще немного, попробую решить средствами театра то, что в литературе называют «внутренним монологом». Есть у меня к этому кое-какие зацепочки. Нет, пока еще ничего не могу рассказать... Да и пьесы подходящей нет! А инсценировки — это всегда паллиатив!

Кто говорит, что я старик? Мне хочется пойти в Совнарком и сказать: «Раз я вернулся после лечения из-за границы не в свинцовом гробу — воскурите мне сегодня фиамм, который прибегается для некрологов». Маяковский в некрологе Хлебникову писал: «Хлеб живым! Бумагу живым!» Я бы добавил: и уважение живым!

Кто не отдал искусству всего, тот ничего ему не отдал.

Самое прекрасное в искусстве — это то, что в нем на каждом новом этапе опять чувствуешь себя учеником.

Жизнь всякого подлинного художника — это жизнь человека, постоянно раздраемого недовольством самим собой. Всегда довольны собой и ничем не терзаются только любители. Мастер же всегда строг к себе. Ему несвойственны самодовольство и зазнайство. Обычно, когда художник кажется довольным и уверенным в себе, — это только поза самозащиты, искусственная броня от ранящих его прикосновений. Таким был Маяковский. Со стороны он иногда казался самоуверенным, но я хорошо знал его и понимал, что внешний апломб и грубоватость Маяковского были только броней, и броней бесконечно хрупкой. Жизнь настоящего художника — это ликование одного дня, того дня, когда на полотне брошен последний мазок, и величайшее страдание многих других дней, когда художник видит только свои ошибки.

(Одному молодому актеру в перерыве репетиции.)

Не попали вчера на «Пиковую даму»? Контрамарку не дал администратор? Ай-ай-ай! А перекупщики дорого за билеты драли? Ого! А денег, конечно, не было? Ну да, до зарплаты далеко! Так и ушли? А без билета проходить не умеете? А мы вот в молодости еще как умели. Когда-то меня из Малого театра почти каждый вечер выводили. В один вечер первые два акта посмотришь, в другой еще два... Конечно, стыдно, когда выводят при честном народе, но, чтобы посмотреть Ермолову, на что не пойдешь!.. А вот вам не дали контрамарку, вы и пошли себе... Что — домой пошли? Ах, на каток!.. Ну, это другое дело! Это даже, пожалуй, лучше, чем «Пиковая дама». Это правильно! Это вы молодец!..

На столе В. Э. лежит раскрытая книжка Р. Роллана о Бетховене. Перелистывая, вижу подчеркнутую фразу Бетховена: «Нет правила, которого нельзя было бы нарушить ради более прекрасного...»



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. РУНИН

★

ЛОГИКА СПОРА И ЛОГИКА ИСКУССТВА

(Необходимые реплики)

Практика наших редких литературных споров, к сожалению, такова, что негативная сторона в обсуждении какой-либо проблемы приобретает обычно куда больший удельный вес, нежели позитивная. Последись за иной журнальной полемикой, и создается такое впечатление, будто весь свой темперамент, все остроумие, всю находчивость, все знания и старания участники дискуссии тратят на ниспровержение зачинщика разговора, а на стройное изложение собственной концепции у них уже не остается ни сил, ни места.

Разрозненных кавалерийских наскоков — сколько угодно. Выхватывается из контекста оспариваемой статьи один абзац, или одна фраза, или одно выражение (отнюдь не самое существенное, но зато вне контекста уязвимое) и возводится вокруг этого бокового замечания целая хитроумная система опровержений и нападок. Возможно, рядышком в той же оспариваемой статье приводится довод более важный и веский, но он-то как раз оставлен без внимания, словно искусство спора в том и заключается, чтобы не заметить главного, доказательного и проскочить мимо существа дела.

И тогда спор сбивается на частности, сворачивает на боковые тропинки, превращается в серию булавочных уколов. Стремление к истине уступает место всяческим обвинениям, уличению в злом умысле, в невежестве, в идеализме, в чем угодно, лишь бы ущипнуть инициатора дискуссии побольнее, дискредитировать его в глазах читателя полнее.

В конце прошлого года в «Новом мире» была опубликована моя статья под назва-

нием «Спор необходимо продолжить», где я пытался на материале лирической поэзии рассмотреть некоторые вопросы логики и психологии художественного творчества, выяснить, так сказать, роль личности и субъективного начала в творческом процессе.

На статью откликнулись многие критики: В. Назаренко в «Звезде» (№ 3), С. Пермяков в «Вопросах философии» (№ 5), Б. Платонов в «Новом мире» (№ 6), Б. Соловьев в «Октябре» (№ 6), А. Дымшиц и А. Метченко в газете «Литература и жизнь» (№ 140 за прошлый год и № 75 за этот год). Все указанные авторы высказали несогласие со многими моими положениями и доводами, кто вскользь, между прочим, кто уделив полемике со мной немало места, а иные и вовсе перечеркивая содержание моей статьи.

Что ж, на то и спор. Давайте выслушаем возражения, давайте посмотрим, как представляют себе творческий процесс мои оппоненты. Но, странная вещь, ни у одного из перечисленных авторов, даже у тех, кого не лимитировали размеры выступления, я не нашел сколько-нибудь последовательного, стройного изложения иной концепции творчества. Возражений, замечаний, иронических реплик, ехидных предположений, просто отрицаний и несогласий по отдельным поводам сколько угодно. Но даже С. Пермяков и Б. Соловьев, склонные рассматривать проблему творчества в философском плане, почему-то не попытались противопоставить моим взглядам свое понимание творческого процесса.

Нет, этого я в упомянутых статьях не на-

шел. Как видно, их авторы задались целью лишь опровергнуть меня, а на большее и не претендовали. Так я и не знаю, как движется творческая мысль художника в понимании Б. Соловьева, хотя он уделил спору со мной более семи журнальных страниц.

Жаль. Процесс художественного творчества действительно мало изучен, и каждая положительная попытка проникнуть в его сущность, понять его закономерность, вскрыть «механизм нашей задумчивости» (И. П. Павлов), порождающей искусство, принесла бы пользу. Конечно, в любом отрицании содержатся элементы утверждения, но все же простым ниспровержением и несогласием здесь не обойтись.

Одним из первых заявил о несогласии со мной В. Назаренко. Он с налету объявил затейный разговор бесцельным на том основании, что свойства личности часто (заметьте — часто!) не имеют никакого отношения к правде времени. И тут В. Назаренко приводит неотразимый довод. Он пишет: «Бред душевнобольного безусловно выражает «правду его личности». Но при чем тут «правда времени?»»

Спешу согласиться с В. Назаренко — моему, тоже ни при чем! И душевнобольной ни при чем, и его бред тоже. И чем ломиться в открытую дверь, да еще прибегая к столь сокрушительным аргументам, только путающим читателя, не проще ли признать очевидное: если для человека наиболее характерны такие качества сознания, такие интересы, которые не имеют отношения к правде времени, к жизни народа, то и говорить о нем как о художнике не приходится. Он не поэт, пусть даже он пишет стихи. Пусть даже он пользуется каким-то успехом. Время очень быстро развенчает его. В своей статье я пытался доказать это, сопоставляя творческий облик Блока и Северянина.

Нет, тут спор явно не получился.

Куда более содержательна статья Б. Платонова «По поводу «самовыражения». Она достаточно обстоятельно аргументирована и, что особенно важно, продиктована поисками истины. Так по крайней мере мне кажется. Кстати сказать, она как бы вобрала в себя многие возражения, которые встречаются и у С. Пермякова, и у Б. Соловьева, и у А. Дымшица, и у других авторов. Поэтому на ней я остановлюсь подробнее.

В чем мы расходимся с Б. Платоновым? Какие он выдвигает доводы? Прежде всего он, как и все остальные мои оппоненты, считает, что я отдаю дань субъективизму. Кроме того, он убежден, что «выражением себя» творческий процесс лишь завершается, что «выражение себя» является только следствием познания действительности.

Словом, как это уже бывало не раз, у Б. Платонова вольно или невольно получается так, что личность поэта не столь уж для нас важна. Гораздо важнее то, о чем он пишет. В концепции творчества, предлагаемой Б. Платоновым, определяющими моментами, по сути дела, являются не общественный и нравственный опыт автора, не строй его чувств, а тема, сюжет и даже жанр.

Не увлекайтесь пейзажем или натюрмортом — жанрами чересчур лирическими, для того чтобы выполнять главную функцию искусства. Эту мысль Б. Платонов развивает особенно подробно, причудливо перемежая здравые суждения с явными заблуждениями и крайностями.

«Васильки в вазе на столе — красивы и, несомненно, не только украшают комнату, но и способствуют эстетическому воспитанию ее обитателей. В принципе то же самое можно сказать и о любом произведении пейзажной лирики. Они воспитывают в человеке ценнейшие свойства эстетического характера: любовь к природе, чувство красоты родной земли». Так пишет Б. Платонов. Абсолютно с ним согласен. Но вывод озадачит многих. «Однако, — продолжает он, — для выполнения задач идеологического воспитания такие картины, разумеется, ничего или почти ничего не дадут».

Пусть перед нами даже самое замечательное произведение пейзажной живописи, пусть оно обладает качествами, нужными и ценными для воспитания человека, мы все равно должны отнести его к второстепенным явлениям искусства. Почему? Потому, говорит Б. Платонов, что «эти очень нужные, ценные для воспитания гармонически развитого человека качества все же имеют весьма отдаленное отношение к таким важнейшим требованиям эстетического воспитания, как понимание борьбы двух идеологий в искусстве и эстетическое утверждение социального идеала».

Остается заключить, что, по мнению Б. Платонова, пейзажная лирика хотя и обладает некоторыми достоинствами (краси-

во!), должна быть вынесена за пределы идеологии. Оказывается, пейзажная лирика не в состоянии выразить общественные идеалы и социальные чувства. Оказывается, эстетическое может быть безыдейным.

Надо отдать справедливость Б. Платонову: при всех своих заблуждениях и крайностях он прямо говорит о наличии самовыражения художника не только в лирике, но и в эпосе, что совершенно верно. Но, к сожалению, он делает это лишь для того, чтобы решительно противопоставить эпос лирике как роду искусства заведомо более ограниченному по своим возможностям.

«Разве... художник перестает быть самим собой, когда он изображает тружеников колхоза, а не пейзаж?» — задается вопросом Б. Платонов. И отвечает вполне резонно: «Конечно, нет. И в той и в другой картине сказалося «самовыражение» художника».

Мысль, несомненно, справедливая: и в той и в другой картине сказался сам художник. Однако, как и в предыдущем рассуждении, наше единомыслие немедленно сменяется расхождениями, ибо Б. Платонов пишет следующее:

«Но художник — субъект искусства — отнюдь не способен заменить «собой», «выражением самого себя» еще и человека — объект искусства! Вот в этом, думается, и заключена общая несостоятельность концепции «самовыражения» — в том виде, как она истолковывается в статье Б. Рунина...»

Аргументация тут такая. Когда художник хочет нарисовать букет васильков на столе или картину бушующего моря, он может и не «пририсовывать» человека. «Но когда он хочет отобразить героический подвиг советского народа в Отечественной войне, — он должен, кроме «самовыражения», нарисовать еще и Василия Теркина или других героев великой битвы».

Так прямо и сказано: «кроме «самовыражения», нарисовать еще и Василия Теркина». Иначе говоря, самовыражение художника для Б. Платонова существует само по себе, а его герой — сам по себе. И вот тут корень его заблуждения. Ведь если Василий Теркин — художественный образ, то есть создание поэта, то и в нем поэт выразил себя. А иначе — что же такое самовыражение?

«Художник выражает себя в искусстве — это закон социалистического реализма, — решительно высказывается Б. Платонов. —

Но выше всего для него право народа на выражение себя в искусстве».

Надо сказать, что это «но» имеет давнюю традицию. Еще наши классики в ответ на аналогичные заявления отвечали: «А мы что же, не народ разве?» В социалистическом обществе и вовсе странно звучат эти призывы; можно подумать, что наши поэты, как правило, противопоставляют себя народу и живут в особой нравственной атмосфере. Будто их личные помыслы, волнения и страсти никак не соответствуют и не могут соответствовать помыслам, волнениям и страстям всех остальных граждан.

Нет, в творчестве нельзя отрешиться от себя. Стремясь всем своим существом к объективной истине, художник всегда остается самим собой. Нет ничего хуже, когда народность, партийность, общественные идеалы понимаются не как органические свойства личности художника, не как естественное проявление его таланта, а как его расчетливое намерение рассказать, кроме своего, личного, кровного, необходимого, насущно важного для себя, еще и о чем-то вневличном, но, как говорят, важном для других.

Но дело не только в этом. Представим себе реальный случай. Художник пишет пейзаж. Обычный, ничем вроде бы не примечательный вид, характерный для средней полосы России.

Вот он сидит с кистью в руке, то и дело поглядывая на пустынную, уходящую куда-то в синюющую даль дорогу, на темные перелески, на хмурое небо. Чем он сейчас занят? Неужели лишь тем, что хочет получить у себя на полотне тот же ландшафт, только поменьше размером, чтобы иметь его у себя дома? Нет, для этого он не стал бы так утруждать себя, а воспользовался бы фотоаппаратом. Очевидно, у него побуждения иные — он хочет эстетически познать представший перед ним кусочек объективного мира. Для того-то он и пишет картину, создает художественный образ увиденного.

Что значит для него создать художественный образ? Это значит привести к единству все представления, так или иначе связанные у него с тем, что он видит, все чувства, переживания, впечатления, ощущения, которые этот вид у него вызывает. И не только те, которые он непосредственно испытывает, глядя на расстилающийся перед ним ландшафт, но и те, которые возникают у него в сознании по ассоциации, потому что

их подсказывает ему память. Его цель — использовать все это богатство представлений, отобрать из них самые важные и создать из них целостный образ, воплотить их в образ, во-образить их.

Человек, который пишет пейзаж, художник не потому, что изображает увиденное, а потому, что эстетически познает предмет всем своим человеческим опытом, всем содержанием своей личности. И чем активнее, чем полнее художник раскрывает во время творчества себя, то есть выявляет свои знания, свои чувства, свои идеалы, тем больше накоплений его опыта участвует в познании, а следовательно, тем богаче его воображение, тем насыщеннее, тем выразительнее его картина, тем она правдивее и тем она идейнее.

Вот почему самораскрытие художника вовсе не следствие творческого процесса, как уверяет Б. Платонов, а познавательная необходимость. Иначе художник не сможет реализовать, применить тот опыт, которым он уже располагает, и те чувства, которые он сейчас испытывает. Иначе его жизненные цели, его общественные стремления, его партийные интересы и убеждения останутся ни при чем.

При этом надо помнить, что художник далеко не всегда пишет непосредственно с натуры, далеко не всегда ее изображает.

В одном из величайших творений русского гения, в Шестой симфонии Чайковского, никто не изображен. Но неужели тот огромный и неповторимый мир чувств и переживаний автора, который в ней выражен, значит для нас меньше, чем любая опера того же Чайковского, только потому, что оперный жанр позволяет вывести на сцену людей и передать характеры действующих лиц? И неужели на этом основании Б. Платонов откажет Шестой симфонии в идеологическом воздействии на слушателей, а зачислит ее по какому-то безыдейному или внесоциальному разделу «воспитания гармонически развитого человека»? А существуют ли они вообще, эти внесоциальные эстетические категории?

Представим себе, что тот художник, пишущий пустынный пейзаж с уходящей в даль дорогой, — Левитан, а картина его — «Владимирка». По градациям Б. Платонова, это «пейзаж» без людей» (затерявшаяся в этом просторе одинокая, едва заметная фигурка странницы-богомолки не в счет), а следовательно, он «весьма мало связан с

привычными человеку мерами времени, тем более с конкретно-исторически увиденным временем общественной жизни». Неужели критик откажет этой картине в эстетическом утверждении социального идеала? Или усмотрит идейное содержание «Владимирки» именно в фигуре странницы-богомолки?

Б. Платонов считает, что, если художник хочет отобразить героизм советского человека на войне, он обязательно должен, кроме «самовыражения», нарисовать еще и героев великой битвы. Так вот, представим себе, что эти самые герои великой битвы сами же и рассказывают в стихах о своих военных переживаниях, что они сами после войны стали поэтами. Таких примеров в реальной жизни сколько угодно. Разве, рассказывая о себе, выражая свой душевный опыт, свои личные фронтовые впечатления, А. Недогонов или С. Гудзенко не отразили героический подвиг советского народа в Отечественной войне? Неужели Б. Платонов станет отрицать, что и они в своей лирике передали героике борьбы?

В том-то все и дело, что в лирике человек как субъект познания и человек как объект познания выступают в одном лице. Да, лирик типизирует свои чувства, свои переживания, свои волнения. И они обладают объективным общественным содержанием в той мере, в какой он сам является передовым представителем своего общества и обладает при этом даром художественной типизации.

Примем на минуту логику движения творческой мысли, предлагаемую Б. Платоновым: «выражение себя» является лишь следствием познания действительности и завершает творческий процесс. Допустим, это верно. Но тогда нам волей-неволей придется признать, что художник, создавая произведение искусства, движется от объективного к субъективному. Понимаете, что получается?

Да, «истина всеобща, она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем, она владеет мною, а не я ею. Мое достоинство — это форма, составляющая мою духовную индивидуальность». Очень хорошо, что Б. Платонов привел это высказывание Маркса. Но пусть он, приводя эти слова, задумается над тем, что художник-то как раз и творит во имя истины. Он хочет познать объективную жизнь и для того именно обращается к творчеству. Он хочет открыть истину, и именно для того, чтобы она стала всеобщим достоянием. У Б. Платонова же получается так, что художник берет готовую, всем изве-

стную истину и лишь придает ей свою индивидуальную форму.

Надо сказать, что такое представление о творчестве до сих пор, к сожалению, не изжито до конца. Мы получили его в наследство от тех времен, когда личность художника действительно иногда не принималась в расчет критикой, ибо от него она требовала не самостоятельного мышления, а лишь «художественной интерпретации» чужих мыслей.

При таком понимании дела творческий процесс утрачивает свое познавательное содержание и превращается в простую иллюстрацию идей. Берется какой-нибудь бесспорный тезис и заворачивается в образную упаковку. Желательно в свою, в особенную. И тогда вы получаете тот же тезис, но в более привлекательной, более общедоступной форме.

Нет, такое занятие никому не нужно. Наша литература всегда будет, следуя заветам Ленина и партии, оплодотворять собой революционную мысль, будет прокладывать пути, будет ставить и решать насущные проблемы нашего бытия, будет литературой открытий. Русская литература потому и стала великой русской литературой, что всегда была литературой проблемной и вела народ за собой, открывала ему глаза на истину.

Как мне кажется, недооценка субъективного начала в наших суждениях о литературе и искусстве — следствие разобщенности, удаленности современной критики от теории, от науки. И хотя за последнее время этот разрыв стал заметно сокращаться, получилось как-то так, что бытовое понимание слова «субъективность» распространилось и на его философское значение и поглотило его. Мы просто привыкли считать, что все субъективное — плохо, а все объективное — хорошо.

Однако не будем бояться слов, лучше будем остерегаться догматизма и вульгаризации науки об искусстве и по мере сил бороться с предрассудками, которых в этой области еще немало, ибо они паразитируют на действительных истинах.

Марксистская наука никогда не стремилась свести к минимуму значение и реальность субъективного фактора в познании, да и в общественной жизни тоже, а, наоборот, всячески подчеркивала его роль в становлении общества. Для Маркса, например, главный недостаток всего предшествующего ма-

териализма заключался именно в том, что философы рассматривали предмет, действительность, чувственность лишь в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческую чувственную деятельность, «не субъективно».

Многие наши теоретические заблуждения проистекают из того, что берется какое-нибудь совершенно справедливое положение материалистической философии и возводится в абсолют. Так случилось и с проблемой познания в художественном творчестве. Искусство отражает окружающий мир. Верно? Верно. Но окружающий мир объективен, он существует вне и независимо от нашего сознания, а наше сознание субъективно. Как же быть, ведь без него не обойдешься? Остается свести участие сознания художника, его личности до минимума. Чтобы чувства он выражал не субъективные, а объективные.

Между тем объективных чувств в познании нет и быть не может. Ленин однажды со всей решительностью сказал: «Иных чувств, как человеческих, т. е. «субъективных», — ибо мы рассуждаем с точки зрения человека, а не лешего, — не бывает». А нам говорят, что у настоящих лирических поэтов идейное самовыражение носит отнюдь не субъективный характер. (Например, так утверждает А. Дымшиц.) Остается предположить, что идейное начало проявляется в лирике помимо чувств. Так, что ли?

В том-то и дело, что всякая сознательная, целенаправленная деятельность есть субъективная деятельность, но ее источником является объективная действительность. Вот что упускают из виду мои оппоненты. А ведь умаляя роль самораскрытия в художественном мышлении, они тем самым невольно умаляют идейность творчества, хотя ведут спор как раз во имя идейности.

По мере приближения к коммунизму субъективный фактор как начало созидательное приобретает все большее и большее значение. Инициатива масс, самостоятельность и активность каждого члена общества, самодеятельность всех граждан становятся условием нашего движения вперед. Мы же в своей критической практике продолжаем относиться к субъективности как к понятию заведомо нехорошему, в чем-то сомнительному, ошибочному. И точно так же всячески привлекаем даже заведомо декларативную объективность как нечто обязательно добро-

порядочное, благонадежное. Исходя из того, что все субъективное вторично, мы как-то незаметно стали считать, что все субъективное порочно. Тогда как порочна не субъективность — порочен субъективизм. И, между прочим, ничуть не меньше, чем объективизм.

Все мы, наверно, не раз читали о том, что в процессе познания субъективное вступает в единство с объективным и оказывает на него обратное воздействие. Но в сложном механизме наших теоретических построений быстрее всего почему-то выходит из строя именно эта «обратная связь». А когда она отказывает, кончается познание, кончается творчество. Горько сознавать, что мы, современники умнейших электронных машин, в области проблем творчества все еще довольствуемся элементарными правилами школьной премудрости. Даже присутствуя при яркой вспышке искусства, мы без устали твердим нечто вроде того, что угол падения равен углу отражения, и лишь очень редко отваживаемся проникнуть в личную, индивидуальную природу этого свечения.

С нарушенной «обратной связью» и радиоприемник перестанет звучать, а человек — тем более. Нарушение «обратной связи» в наших рассуждениях о творчестве мгновенно отбрасывает нас из царства живой диалектики в царство унылой метафизики. И уж там объективное лучше субъективного, содержание лучше формы, причина лучше следствия. Ну, а если так, то ничего не стоит перейти к следующему ряду противопоставлений типа: жанровая живопись лучше пейзажа, эпос предпочтительнее лирики, на чем так настаивает Б. Платонов.

Вряд ли человек, занимающийся наукой, позволит себе сказать, что, к примеру, учение о мироздании предпочтительнее для нас учения о высшей нервной деятельности или география значит для нас больше, чем психология. Но в литературной критике, когда она отрывается от науки, подобное случается. Впрочем, если воспользоваться приведенным выше методом категорических противопоставлений, то, наверно, окажется, что наука предпочтительнее литературы.

Нет, если художник исключает себя, свою личность из творческого акта, если он полагает свою обязанность в том, чтобы отражать нечто, по возможности не выражая своих чувств, своей идейности, то его

куда с большим успехом заменит какое-нибудь механическое приспособление.

Весь наш внутренний мир есть субъективное отражение объективного мира. И это справедливо в отношении каждого человека. Значит, вот где начало всех начал противоречивого процесса познания. Значит, суть во все не в том, что художник переносит (неизвестно, каким путем!) на свою картину из окружающего мира готовый объективный материал и лишь прикладывает к нему свое самовыражение.

Советский человек ощущает себя неповторимой индивидуальностью. Это — с одной стороны. А с другой — он все отчетливее осознает себя общественным созданием, участником могучих социальных процессов и массовых действий. Новая лирика чутко откликнулась на обе эти тенденции, неразрывные по своей сути, стихом Маяковского.

Личные переживания поэта с той же необходимостью присутствуют в его поэме о Ленине, с какой черты общественного сознания получили свое выражение в его стихах о любви. В его лице величайшая субъективность творчества проявилась в виде величайшей объективности искусства.

Защищая лирику, которую невольно приписывает Б. Платонов, я меньше всего склонен уподобиться ему и объявить эпические формы менее содержательными, нежели лирические. Лирика и эпос — совершенно равноправные роды творчества. Они отличаются друг от друга лишь формой типизации.

Но разве не знаменателен тот факт, что из четырех книг, удостоенных в этом году Ленинской премии, три посвящены современности и все три представляют собой лирическое раздумье над явлениями жизни? Я уже не говорю о том, что премии удостоены и те пейзажи М. Сарьяна, на которых человек так и не «пририсован».

Вместо того чтобы противопоставлять эпос лирике, гораздо полезнее было бы заняться уяснением их единства и взаимопроникновения, что мы все чаще и чаще наблюдаем в современной литературе. Собственно говоря, это единство ощутимо в каждом истинном произведении искусства, независимо от его рода и вида. Когда-то Горький сказал об этом такими словами:

«Литература — сердце мира, окрыленное всеми радостями и всем горем его, мечтами и надеждами людей, отчаянием и гневом их, умилением человека перед красотой

природы, страхом пред ее тайнами; это сердце неуугомонно и бессмертно бьется жаждой самопознания: как будто в нем все вещества и силы природы, создавшие в лице человека высшее выражение своей сложности и разумности, стремятся уяснить сущность и цель своего бытия».

Итак, не будем бояться субъективности лирики, не будем бояться в лирике самопознания. Но тут же возникает вопрос: а где же пролегает граница, за которой начинаются субъективизм и самокопание? За какой чертой лирические признания перестают удовлетворять общественную потребность и становятся частным фактом из биографии самого поэта? Ответить на этот вопрос не так-то легко, и не случайно многие попытки установить для поэзии некую тематическую нормативность не оправдали себя.

Видимо, самое разумное — решать этот вопрос каждый раз применительно к данному случаю, помня, что субъективность выраженных чувств вовсе не порок. Иными чувства и не могут быть. Все дело в том, что, охотно выкладывая нам их, поэты далеко не всегда озабочены их типизацией. Переживания, казалось бы, налицо, а объективное содержание их уловить не всегда удается.

Иную книгу лирики прочитаешь и никак не можешь разобраться в своих впечатлениях. Да, говоришь себе, переживаний и ассоциаций действительно много, но что они означают, складывается ли из них характер современника, какие черты поколения в них проявились, каково их подлинное соответствие реальным противоречиям эпохи?

Речь, разумеется, идет не о том, чтобы каждое стихотворение содержало в себе какую-то сформулированную мораль. Но без стремления осмыслить свою душевную жизнь незачем предъявлять ее читателю, незачем выражать себя. Ведь тем и дорого чувство в лирике, что поэт мыслит им.

Дарование поэта в том и заключается, что он умеет художественно додумывать свои чувства, а не в том, что он их просто испытывает и высказывает. Переживания в лирике драгоценны не сами по себе, а тем, что мы вместе с поэтом постигаем их скрытую суть, их высокое значение, открываем в них логику жизни, а тем самым — красоту, гармонию, поэзию. Пожалуй, никто точнее Блока не опреде-

лял эту задачу поэта: «Строй находить в нестройном вихре чувства».

Должен признаться, что с Б. Соловьевым спорить гораздо труднее, чем с Б. Платоновым. Не потому, что его позиция более обоснована, а потому, что вся его логика отлично приспособлена к тому, чтобы незаметно перекрасить белое в черное и наоборот. Б. Платонов, полемизируя со мной, прямо говорит, с чем он согласен, с чем не согласен и почему не согласен. И хотя, на мой взгляд, он во многом заблуждается, но спор ведет открыто, без задних мыслей.

Вникая же в рассуждения Б. Соловьева по поводу моей статьи, я не мог отделаться от такого чувства, будто спор идет вовсе не со мной, столь произвольно препарировал он мои взгляды в своих целях.

Б. Соловьев не останавливается даже перед откровенными передержками. Например, он пытается изобразить дело так, будто я высмеиваю нашу литературную политику.

В моей статье есть такая фраза: «Пока тридцатый век обгонит стан сердце раздиравших мелочей» (Маяковский), мы будем писать и читать о них, какими бы мелкими по теме они ни казались ревнителям грандиозного в лирике». Речь идет о критиках, которые высокомерно относятся к повседневной жизни человека. На этом основании Б. Соловьев позволяет себе следующий пассаж: «Б. Рунин с иронией говорит о «ревнителях грандиозного в лирике», подразумевая под «грандиозным» большие задачи, стоящие перед нашей литературой».

Стремление подогнать оппонента под политический криминал — таков пафос статьи Б. Соловьева. Мол, говорит Б. Рунин одно, но думает при этом совсем другое. Однако от пронзительности Б. Соловьева ничто не укроется — он-то хорошо знает, что подразумевают под невинными словами его оппоненты на самом деле.

Не менее беззастенчиво извращает мою мысль Б. Соловьев, говоря, что я пытаюсь «умалить значение больших тем нашей современности», на том лишь основании, что я привожу всякую тему в прямую связь с личностью автора. При этом, касаясь «любовных и других личных переживаний нашего человека», Б. Соловьев сам же готов признать, что тут действительно все зависит от того, кто берется за тему: «мелкими такие темы становятся только в руках мелких и неодаренных людей».

Так как же прикажете понимать? Выходит, одни темы мельчают под рукой недаренного человека, а другие остаются глубокими, кто бы их ни коснулся,— так, что ли? А может быть, лучше согласиться со мной, когда я говорю, что «в художественном творчестве всякая тема как бы множится на личность автора, и только произведение есть смысл мерить «на глубину». И тут уже будут существенны оба множителя, ибо эстетическое качество возникает из их единства, из того, как, обратившись к той или иной теме, поэт ответил на запросы и потребности современников».

В другом месте я подчеркиваю, что «талант отзывчивости и богатый личный опыт всегда ставят истинного художника перед необходимостью ответить на самые насущные вопросы современности, творчески осознать происходящие вокруг процессы».

Но для Б. Соловьева все это лишь рассуждения «в сфере самых общих и пустых абстракций».

В моей статье говорится, что «какую бы тему ни взял художник, какие бы явления жизни ни легли в основу его произведения, оно всегда будет отвечать нашим интересам и целям, если только автор действительно носит в своем сердце коммунистические идеалы и благо народа ему дороже всего на свете».

Б. Соловьев берет эту мысль и начинает вертеть ее так и этак, всячески стараясь как-нибудь незаметно обкорнать ее, чтобы она стала порочной. И вот она уже звучит совсем по-другому — оказывается, для меня вообще все лишено значения, мне якобы даже «неважно, какую тему изберет художник и какие явления жизни лягут в основу его произведений», а следовательно, я расхожусь с линией партии, которая призывает писателей к активному сближению с жизнью народа.

Так проделывается очередной вольт. Между тем, если бы Б. Соловьев внимательно прочел известный партийный документ «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», то он бы там нашел следующую совершенно четко выраженную мысль: «В отображении действительности все зависит от автора». Или еще более существенную для нашего спора: «Если борьба за идеалы коммунизма, за счастье своего народа является целью жизни художника, если он живет интересами народа, его ду-

мами и чаяниями, то какую бы тему он ни брал, какие бы явления жизни ни отображал, его произведения будут отвечать интересам народа, партии и государства».

Вот оно как получается! «Какую бы тему он ни брал, какие бы явления жизни ни отображал»

А если бы Б. Соловьев перечитал речь Н. С. Хрущева на митинге в станции Вешенской, то он нашел бы там и другие высказывания, которые несколько снизили бы его благородное негодование по поводу того, что я непосредственно связываю партийность лирики с самовыражением поэта. Например, Н. С. Хрущев сказал там: «У писателя, который стоит на партийных позициях, партийность органически вытекает из его собственных убеждений и настроений».

Вот Б. Соловьев разыскал у Оскара Уайльда весьма соблазнительную фразу: «Цель жизни — самовыражение». Цитатка так и просится в статью: Оскар Уайльд, Дориан Грей, лорд Генри... Да, но у Б. Рунина прямо и недвусмысленно сказано, что самозъявление художника не цель, а средство, ступень в творческом процессе. Ну-ка, как там у него сказано? Ага, вот: «Нет никакого сомнения, что художник для того и творит, для того и воссоздает в образах жизнь, чтобы постигнуть ее правду и красоту. Но вот вопрос — может ли он это сделать помимо самовыявления? Ведь оно не самоцель, а необходимое и неизбежное условие познания».

А немного дальше опять, к сожалению, прямо и отчетливо говорится о том, что поэт «для того и воссоздает в поэтических образах свои субъективные переживания, чтобы постигнуть таким путем объективную истину».

Как же быть? Не совпадает. У Оскара Уайльда самовыражение — цель жизни, а у Б. Рунина — всего лишь условие художественного познания, «предпосылка творчества», этап на пути к объективной истине. Да еще в одном месте добавляется, что наличие самовыявления ни от чего не гарантирует, что познание истины при этом не всегда удается, ибо «все зависит от того, кто раскрыл нам свою душу, какова эта личность».

Что же делать? Ведь так хочется, чтобы и Оскар Уайльд... Ну-ка, полистаем еще статью Рунина — может быть, найдется уязвимая фразочка, чтобы зацепиться. Мо-

жет быть, вот эта: «Поэтом как личностью движет стремление познать и исполнить в стихах веление времени как закон своей жизни». Нет, нет, дальше, ведь тут у Рунина как раз идет разговор о том, что самовыражение вовсе не панацея от всех бед, оно, например, не помогло Игорю Северянину стать истинным поэтом, потому что «тут мало одного желания, тут важна гражданственность характера».

Может быть, вот это место... Нет, тут Рунин как раз подчеркивает, что самовыражение графоману ничего не даст: «Он испытывает необходимость излить свои переживания, но испытывает ли он необходимость их осознать?» Тогда, может быть, вот это: «Конечно, пустое самолюбование, бессельное «выбалтывание» себя в стихе не может стать поэзией, не может стать художественной истиной». Нет, и это не годится... А это: «Каждый раз совершенно необходимо установить объективную ценность выраженной субъективности, наличие в ней смысла, важного для каждого».

Нет, Рунин, оказывается, всюду задает вопрос, во имя чего художник выявляет себя, с какой целью он раскрывает нам свой внутренний мир. Неужто отказаться от цитатки? Нет, будь что будет!

И вот Б. Соловьев «подготавливает» читателя к Оскару Уайльду. Начинает он исподволь, осторожным поучением: «Самовыражение» нельзя рассматривать как цель и назначение творчества...» Немного дальше говорится уже более агрессивно, что Б. Рунин «сводит основное и главное в творческом процессе» к самовыражению. Потом уже со всей определенностью как нечто очевидное и не требующее доказательств говорится, что у этого Б. Рунина «цель творчества сводится к такой «извечной» категории, как «самовыражение».

Ну, а дальше — пошло! Вот к чему «критик пытается свести суть, смысл и назначение художественного творчества». «Таким образом, все сводится к «выявлению» художником своей личности». Нехорошо «представлять область художественного творчества только как «самовыражение», игнорируя искусство как способ познания...» Рунин только и знает, что ошибается, «сводя и самый процесс создания произведения к выражению художником «лишь своих» переживаний и ощущений». «Б. Рунин к этому субъективному «вздоху» и сводит, в сущности, задачи создания

художественного произведения». «Какое бы произведение ни создавал художник, везде в равной мере проявится его «молекулярный состав», к которому Б. Рунин и сводит суть художественного произведения». «Согласно логике Б. Рунина получается, что «самовыражение» само по себе является безусловной мерой вещи и, стало быть, полной гарантией значительности и жизненности произведения». «Суть рассуждений Б. Рунина о «молекулярном составе» произведения объективно (тут почему-то Б. Соловьеву впервые стало неловко, и появилось декорирующее грубую подтасовку фактов словечко «объективно!» — Б. Р.) сводится к тому, чтобы уравнивать и «микромир» замкнутого в себе человека и тот большой мир, в котором живут, борются, творят наши люди». (Разрядка всюду моя.— Б. Р.)

После такой «подготовки» можно выпускать на сцену и Оскара Уайльда. Теперь пройдет!

Таким способом Б. Соловьев возмещает недостаток аргументации. Так он сводит концы с концами. Так он сводит на нет пользу от дискуссий. Так он выражает в творчестве себя.

Многие мои оппоненты ссылаются на цитату из Маяковского, который действительно сказал однажды, сетуя на отсутствие стихов в газетах: «В поисках самовыражения, лирической сущности своей собственной души литератор оторвался от самого главного: быть активным бойцом, активным работником на фронте нашего социалистического строительства». А. Метченко, возражая мне, приводит эту цитату даже в качестве главного своего довода.

Однако чем же эти слова Маяковского противоречат моей статье? По-моему, ничем. Да, в поисках самовыражения своей души поэт может уйти от самого главного. Больше того, может даже вообще не найти этого главного. И я таким случаям уделю достаточно много места. Но закон ли это? Я утверждаю, что нет. Все зависит от того, с кем мы имеем дело. Клюев, например, выражая свою лирическую сущность, ушел от народа, а Брюсов и как поэт и как гражданин стал активным работником на фронте социалистического строительства.

«Позволительно спросить, — продолжает А. Метченко, — если «самовыражение» — основа лирического творчества, как утверж-

дает Б. Рунин, то в чем же тогда различие между поэтом, сравнивавшим лирика с глухарем на току, который никого и ничего не слышит. оглушенный собой, себя заслушивается, и поэтом, гордившимся тем, что он находится «в центре дел и событий?»»

Отвечаю. Мне это тем легче сделать, что ответ уже содержится в самой постановке вопроса. Они отличаются друг от друга мировоззрением, идейной позицией, гражданскими идеалами, всем общественным содержанием своей личности, которую они и выражают, стремясь познать правду жизни. Наконец, различным пониманием назначения поэта, различными побуждениями, приводящими к творчеству. Неужели А. Метченко не уловил этого из моей статьи, с которой он полемизирует? Ведь я посвятил этому вопросу целую главу — «Личность поэта».

«Прежде всего надо отметить ряд очень серьезных неточностей, противоречий и натяжек, которыми изобилует статья Б. Рунина», — пишет А. Метченко. Каков же этот ряд? Кроме того, что я не привел упомянутую выше цитату из Маяковского, никаких других противоречий А. Метченко мне так и не предъявил.

Но вот я читаю статью самого А. Метченко и не могу скрыть удивления. В начале своей статьи он утверждает именно то, что утверждаю и я (но против чего, кстати сказать, так яростно возражает Б. Соловьев). «Партийность, в конечном итоге, — пишет А. Метченко, — это личность писателя...». Там же он говорит, что партийность советского писателя — «это его боевая жизненная позиция, выражение его «художнической»... натуры».

Золотые слова. Значит, если говорить о лирике, то партийность — это выражение личности поэта, его художнической натуры. Почему же в конце статьи А. Метченко неожиданно приходит к несогласию со мной, когда я говорю о самовыражении как о форме проявления партийности в лирике? Что же получается? Партийность как выражение личности художника устраивает А. Метченко. А как самовыражение художника — уже не устраивает. И притом — никаких аргументов. Что означают эти зигзаги мысли? Откуда эти капризы логики?

Возражая мне, А. Метченко пытается представить дело так, будто «спор идет о том, что считать главным источником творчества». Нет, об этом спорить бессмысленно,

источником всякого познания является окружающая жизнь, объективно существующая реальность. Как-то даже неловко такие вещи говорить, настолько они общеизвестны и непреложны. Все мы уже давно не дети, чтобы тратить время на выяснение этой очевидной для всех нас истины.

Нет, спор идет совсем о другом — о роли субъективного начала в художественном творчестве, о необходимости его проявления, о понимании логики и психологии творческого процесса. Я утверждаю, что в искусство может войти лишь то, что стало достоянием внутреннего мира художника и затем было выражено как содержание его личности.

А что утверждают мои оппоненты? «Никто не «отменял» и отменить не может самовыражение, как одну из существенных форм поэтического творчества», — говорит под конец А. Метченко.

Ради такого куцевого итога, честное слово, не стоило вступать в спор. Во-первых, «отменяли», да и теперь еще изредка пытаются «отменить». А во-вторых, что это значит — «самовыражение, как одна из существенных форм поэтического творчества»? Каково реальное содержание этих слов? Что они объясняют? Одна из форм! А какие еще есть формы? Очевидно, без самовыражения? Нет, сказать так — значит уйти от спора, прикрыв отступление общей, ничего не говорящей фразой.

В том-то и особенность нынешней полемики о самовыявлении в отличие от дискуссии пятидесятих годов, что теперь уже все, хотя и стыдливо, половинчато, признают, что самовыражение художника действительно «имеет место» в творческом процессе. Но какова суть этого явления, что оно собой представляет, в чем заключается его роль, какое оно занимает место в творческом процессе — над этим никто из моих оппонентов пока еще не дал себе труда задуматься.

А жаль. Если бы Б. Соловьев, который настойчивее всех подчеркивает, что художественное творчество — процесс познавательный, попробовал бы себе уяснить, как этот процесс протекает, то, может быть, от его полемики со мной была бы реальная польза.

Б. Соловьев, как, впрочем, и С. Пермяков в «Вопросах философии», усматривает прямую связь между самовыявлением худож-

ника и модернистской эстетикой. Мол, все пошло от декадентов, к реализму же, тем более к социалистическому реализму, выявление художником своих личных, субъективных впечатлений и представлений имеет лишь косвенное отношение. Недаром Б. Соловьев, опровергая меня, часто апеллирует к «лучшим художникам прошлого».

Но так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, как эти «лучшие художники прошлого», да и настоящего тоже, рассматривали и рассматривают выражение своей субъективности в творческом процессе.

Вот высказывания художников самых разных, но, надеюсь, ни Б. Соловьев, ни С. Пермяков никого из них не назовут модернистами или субъективистами. И прошу мне поверить, что я привожу их свидетельства не для того, чтобы спрятаться за спину авторитетов, а для того, чтобы действительно проникнуть в психологию творческого состояния художника, в логику его познания.

Вот что говорят классики.

«Все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы».

Это — Гоголь.

«Важно в литературном... да, впрочем, я думаю, и во всяком таланте,— говорил Тургенев,— то, что я решился бы назвать своим голосом. Да, важен свой голос. Важны живые, особенные, свои собственные ноты, каких не найдется в горле у каждого из других людей... В этом и есть главная отличительная черта живого оригинального таланта».

«Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя». Таково признание Льва Толстого.

«Пусть в его произведениях как можно полнее отражается личность автора, его мировоззрение, его способ восприятия внешнего и внутреннего мира и его стиль, пусть его сочинение имеет как можно больше живой крови и нервов. Только тогда это будет живое и современное произведение, подлинный документ самых тайных движений и чувств современного человека... Но этот триумф индивидуального в современном литературном творчестве придает творчест-

ву вместе с тем величайшее социальное значение».

Это слова классика украинской литературы Ивана Франко.

Послушаем наших современников.

«Нужно обладать опытом переживаний,— говорит Константин Федин.— Помню, однажды это соображение очень смутило одного инспектора, присутствовавшего на занятиях моего семинара в Литературном институте,— ему в разговорах о переживаниях почудился какой-то опасный «изм»... Но без опыта переживаний литератору делать нечего. Его личный опыт, его радости и страдания — это одно из драгоценнейших богатств литературы, без которого в искусстве нельзя сделать и шага».

«Я убедился,— свидетельствует К. Паустовский,— в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи... и тем самым выразить свое время и свой народ... Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоём сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагаешь».

«Насколько дано мне понимать,— говорит Леонид Леонов,— каждый большой художник, помимо своей главной темы, включаемой им в интеллектуальную повесть века, сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он и развязывает на протяжении всего творческого пути. Мне представляется даже, что это у них бывает сплетено воедино, причем наличие одного непременно свидетельствует о присутствии другого,— так по кимберлитовым образованиям узнается месторождение алмазов».

Такой предстает перед нами диалектика внешнего и внутреннего мира в процессе художественного творчества. Неужели все привлеченные к разговору свидетельства ошибочны и толкуют творческий процесс в превратном, мистифицированном, виде? Неужто эти люди не ведали, что творили, и не ведают, как творят?

Как бы мы ни относились ко всем этим высказываниям, с ними приходится считаться. Я нарочно подобрал «свидетельства» самых разных художников. Их объединяет «только» приверженность к реалистическому изображению жизни, и ничто другое.

А. МЕНЬШУТИН, А. СИНЯВСКИЙ

★

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Статья «За поэтическую активность (Заметки о поэзии молодых)», опубликованная нами в № 1 «Нового мира» за этот год, была встречена в штыки. Поэты и критики В. Бушин, Д. Стариков, С. Смирнов, К. Лисовский, В. Федоров и Б. Соловьев¹, подвергли наши заметки такому разбору, что от них, кажется, не осталось камня на камне. К сожалению, тон и стиль полемики, принятые некоторыми из оппонентов, исключают возможность объясниться с ними «по всем пунктам». Отвечать «в соответствующих выражениях» как-то не хочется. Средства юмористики, к которым охотно прибегают названные авторы, также не возбуждают желания полемизировать, а скорее расхолаживают, морально обезоруживают. Можно ли защититься от такой, скажем, ядовитой стрелы в наш адрес, как «тонкое» наблюдение В. Бушина: в то время как критик П. Выходцев (с которым мы спорим) «употребляет русское слово направление», в нашей статье употреблено «заграничное слово тенденция». Сказано мимоходом, вскользь, но до чего метко! Ведь одно это «заграничное слово» (хоть и «тенденция») нас с головой выдаст. О чем же тут спорить, на что надеяться?!

¹ В. Бушин. Фиалки пахнут не тем. «Литература и жизнь» от 17 февраля 1961 г.

Д. Стариков. Спорить по существу! «Литература и жизнь» от 24 февраля 1961 г.

С. Смирнов. Метнуло! Реплика двум критикам. «Огонек», № 9, 1961 г.

К. Лисовский. Куда-то не туда... Заметки о «сибирских» стихах А. Вознесенского. «Сибирские огни», № 4, 1961 г.

В. Федоров. Весенняя встреча. «Молодая гвардия», № 5, 1961 г.

Б. Соловьев. Легкий несессер и тяжелая кладь. «Октябрь», № 6, 1961 г.

И все же спорить приходится, потому что в этой полемике затронуты, как нам кажется, некоторые существенные вопросы современной поэзии и критики, и они важнее, чем престиж того или иного автора, чем обычные вкусовые разногласия. При этом нам хочется не «выяснять отношения», не заниматься комментированием собственной статьи и всех поступивших возражений, упреков и передержек (что было бы довольно длинным и утомительным для читателя делом), а высказаться по поводу тех возникших в этом споре расхождений, которые представляются наиболее принципиальными и превышают всякого рода личные обиды и словесные недоразумения.

О том, что поэзия должна вторгаться в жизнь, а жизнь — в поэзию, спора у нас нет. Это положение общепризнано в нашей литературе и критике. Но бывает так (и довольно часто), что молодой автор, воодушевленный на этот счет самыми благими намерениями и обладающий определенным жизненным опытом, пишет, тем не менее, плохие стихи — декларативные, серые, штампованные, имеющие лишь видимость поэзии и лишь внешние признаки современной темы. Тогда, естественно, встают вопросы о таланте, умении, мастерстве, поэтическом кругозоре, эстетической цельности и т. д. Почему-то весь этот ряд вопросов иной раз в нашей критике презрительно именуется «сугубо профессиональным», «внутрилитературным» занятием (Б. Соловьев). Если врач или электротехник работает неквалифицированно, то это всех возмущает, огорчает и выносит на суд общественности. Для поэта же допускается исключение, и его безграмотность оказывается «внутрилитературным» делом. Странное преимущество.

Поэт С. Смирнов, возмущенный нашей статьёй, в которой критикуются некоторые недостатки молодой поэзии, заявляет: «Не повезло в статье и другому интересному поэту, В. Кузнецову, который сам был лесорубом и создал немало взволнованных и правдивых стихов. Критики приписали Кузнецову странную скованность, однообразие сюжетов, узость подхода к теме, бег на месте, бутафорность, унылое самоуглубление, отсутствие авторского «я» и все такое прочее... А маловразумительные стихи Окуджавы, где рифмуются «езда — стал», «отворив — твои», «кому-то — комода», выдаются чуть ли не за шедевр лирики наших дней».

Оставим в стороне оценку стихов Окуджавы (чьи рифмы, приведенные здесь, не так уж плохи, как это кажется С. Смирнову), и обратим внимание на такой существенный аргумент в защиту В. Кузнецова, как его биография: «сам был лесорубом». С этим аргументом безусловно необходимо считаться, и, между прочим, в нашей статье отмечается как положительный факт, особенно важный для молодого поколения поэтов, стремление многих авторов (в том числе Кузнецова) опереться в поэтической практике на конкретный жизненный опыт, на свою трудовую биографию. В этой связи приводятся примеры удачного использования в художественном творчестве автобиографического материала (стихи Р. Казаковой, В. Сергеева). Вместе с тем говорится, что этот материал всегда нуждается в поэтическом освоении, без которого никакая тема не вывезет, и что такое освоение, претворение жизни в поэзию, является очень сложным и ответственным делом. Вот это последнее обстоятельство почему-то и вызывает яростные нападки наших оппонентов, которые расценивают слова о необходимости поэтического освоения трудовой биографии как отрицание этой биографии. В нарушение элементарной логики поэт В. Федоров утверждает, ссылаясь на нашу статью: «... Хотя в статье о его (В. Гордейчева.— А. М., А. С.) стихах поначалу сказано будто бы доброжелательно, но только поначалу, а потом его стихи вместе с другими отнесены к разряду декларативных, потому что в них звучит гордость поэтов за свои рабочие биографии. «Поэт вправе гордиться своей трудовой биографией,— меланхолически заявляют критики,— но сделать ее достоянием стихов

не так-то просто». В доказательство они ссылаются на книгу Вал. Кузнецова «Просека». Конечно, поэта есть за что упрекнуть, но, во всяком случае, не за то, что у него есть трудовая биография. Иногда поэт скован, но зачем же торопиться с выводами».

Удивительное дело! Мы говорим, что стихи о труде не должны быть декларативными, и слышим в ответ: вы отрицаете за поэтом право гордиться трудовой биографией. При этом тут же цитируются наши собственные слова: «Поэт вправе гордиться своей трудовой биографией...»,— которым произвольно приписывается «меланхолическая» интонация и из которых В. Федоров делает самостоятельный «вывод»: мы, оказывается, критикуем Кузнецова «за то, что у него есть трудовая биография».

Откуда это нежелание считаться с фактами? Вероятно, уже то обстоятельство, что нам хотелось бы видеть в Кузнецове не только человека с трудовой биографией, но и поэта, автора живых, настоящих стихов на трудовую тему, повергает В. Федорова и С. Смирнова в такую раздражительность, что они готовы черное называть белым — лишь бы еще и еще раз подчеркнуть, что у Кузнецова «есть биография» и тем самым его творчество гарантировано от неудач. Но допустим на минуту, что мы ошиблись в оценке качества поэзии Кузнецова (мы так не считаем, а лишь делаем допущение). Как же в таком случае полагается поступать авторам, которые придерживаются другой точки зрения и желают отстоять полюбившего им поэта? Вероятно, им следовало бы раскрыть, в чем состоит прелесть его стихов, и, опровергнув нас по всем пунктам, доказать конкретными примерами, что он в своем творчестве не скован и не однообразен, а, напротив, очень свободен и многообразен, что вопреки нашему мнению он обладает ярким авторским «я» и т. д. Так нет, В. Федоров даже согласен, что поэт «иногда скован», что его «есть за что упрекнуть». Но, добавляет он, у Кузнецова есть трудовая биография, и за это упрекать его не следует. Помилуйте! Да кто же упрекает его за это? Ему (как и многим другим молодым авторам) говорят, что это очень хорошо — трудовая биография, но этого еще мало, этого еще недостаточно, чтобы быть настоящим поэтом, что поэт обязан художественно освоить свою

биографию, претворить ее в стихи, имеющие эстетическую, а не только биографическую (для самого автора) ценность. Кажется бы, простая, банальная мысль: помимо навыков лесоруба (или инженера— все равно), художник должен обладать кое-какими другими навыками. Но как трудно, оказывается, провести эту мысль, которая критикуется у иных критиков по «внутрилитературному» разряду.

Все это очень напоминает методы полемики, которые применялись иной раз в начале двадцатых годов. Когда кто-то осмелился упрекнуть И. Филипченко за то, что тот пишет слабые стихи, критик Г. Якубовский, являвшийся почитателем этого автора, сослался на революционные заслуги Филипченко, на его биографию: разве может поэт с такой биографией писать плохие стихи?! Этот курьезный эпизод вспомнился не случайно. Ведь многие поэты-пролеткультовцы, не оставившие заметного следа в нашей литературе, обладали чрезвычайно богатым жизненным опытом и гордились своими биографиями, на что имели все права. Но им часто не хватало умения, вкуса, мастерства, поэтического профессионализма, и все это, естественно, сказалося на их творчестве. Над этим печальным фактом следует задуматься некоторым нынешним противникам «сугубо профессионального» подхода к проблемам советской поэзии.

К несчастью, в нашей критике не перевелись еще любители приклеивать к поэзии ярлыки. Стоит какому-нибудь автору в чем-то «проштрафиться», и вот он уже попадает в разряд «критикуемых», и его ругают из номера в номер, из статьи в статью, аж небу жарко. Похвалить этого опального, подлежащего «разносу» автора уже никак нельзя, ибо даже скромная похвала в его адрес именуется «панегириком», а похваливший — «апологетом». Больше того, даже критика этого злополучного автора, отличающаяся по тону «от принятого», объявляется «вредной», «непоследовательной» и в свою очередь подвергается последовательному «разносу» из номера в номер, из статьи в статью в одних и тех же примерно словах и выражениях.

В последнее время у нас принято ругать поэта А. Вознесенского. Особенную склонность к этому выказал в «Сибирских огнях» поэт К. Лисовский, обвинивший Вознесенского в человеконена-

вистничестве и порнографии, а его творчество называющий не иначе как «злой карикатурой» на нашу действительность, «чистейшим надругательством над целомудрием, возвышенной силой нашей русской классической поэзии», его стихи и книги — «смакующими и любовно воспевающими самые низменные, самые темные стороны человеческой души, принижающими человека, ставящими его на четвереньки», и т. д. и т. п.

Мы не принадлежим к числу поклонников А. Вознесенского. Но выступления, подобные статье К. Лисовского, не могут не вызывать у нас чувства протеста. Правда, В. Бушин считает, что мы сами испровергли «целый легион» (!) молодых авторов и нам следует помалкивать, когда орудуют другие критики. Дескать, живи и жить давай другим. Однако, по нашему убеждению, критика критике рознь, и нельзя расправляться с человеком по принципу «все дозволено».

Конечно, нелегко начинающему автору выслушивать, что его стихи слабы, бессодержательны, банальны и т. д. Но такое «исповрежение», горькое для авторского самолюбия, не касается гражданского и человеческого достоинства. Даже прямое указание на бесталанность писателя, которым крайне редко пользуются наши критики, не безнадежно: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Та же критика, которую ведет Лисовский по адресу Вознесенского, носит характер прокурорского обвинения и одновременно личного оскорбления, возрождает методы и нравы, решительно осужденные нашей общественностью.

Лисовский, например, утверждает, что если бы о поэме «Бой» «узнали якуты... то Андрею Вознесенскому, скажем прямо, явно не поздоровилось бы!» Что же заставило его предъявить поэту столь серьезный иск и даже прибегнуть к физическим угрозам? Какое преступление совершил А. Вознесенский? Мы увидели, что в его поэме речь идет о борьбе «за Человека», представленной в широком символическом плане как некий «бой», который ведут наше общество, партия со всем темным, что принижает человеческий разум, с пережитками прошлого:

Чтобы эта слеза — последняя,
Бой, бой!

Чтобы больше ни лжи, ни сплетни —
Бой.

Альфа времени и омега —
Бой.
Против зверя — за Человека.
Бой.

И поэту в ночах не спится...
Его сердце трубит трубой.
Не патрицием,
а партией —
В бой, в бой!

И этот пафос поэмы Лисовский квалифицирует как «воспевание животных инстинктов» и «напраслину на целый народ».

Пересказав жизненный случай, отраженный в сюжете произведения, он заключает: «Допустим даже, что это так и было. Допустим... Но разве в этом — характерные черты советской, социалистической Якутии, ее людей? Разве поэт, идущий вперед, станет выискивать в нашей жизни, в нашей действительности, самые темные, самые отвратительные пятна?..» Ему и в голову не приходит, что долг советского поэта, помимо всего прочего, состоит в том, чтобы видеть в действительности и «самые темные пятна» и смело идти «на бой», выжигая эти пятна из нашей жизни средствами художественного разоблачения.

Но в искаженных представлениях К. Лисовского о творчестве Вознесенского повинны, нам думается, не только ложные «общетеоретические» установки, но и некоторые существенные недостатки его «сугубо профессионального» взгляда. А именно — поэт Лисовский плохо понимает стихи, специфику поэзии. Посмотрите, как он комментирует образы Вознесенского, которые нам отнюдь не представляются шедевром поэтического искусства, но все же, как любое поэтическое иносказание, предполагают не буквальное, протоколно-точное, «любое» понимание стихотворного текста, а присутствие некоторых широких ассоциаций и допущений, условности и воображения. Лисовский же поэзию проверяет линейкой, циркулем и всякий раз возмущается, если «размеры» не совпадают. Приведем образец этого литературно-математического анализа, который начинается цитатой из произведения Вознесенского о Сибири:

«Здесь гостям наливают
Так, что вышибут дух.
Здесь уж если рожают,
Обязательно двух!»

Если сучья — так бивни,
А уж если река,
Влещут, будто турбины,
Белых рыбин бока.

Что ни строчка (пишет далее К. Лисовский), то развесистая клюква. Почему именно в Сибири наливают так, что «вышибут дух»? Почему здесь рожают «обязательно двух»? Можно подумать, что сибиряки — это какая-то особая порода людей, особая национальность, отличная от русских, что сибиряки этакие Ильи Муромцы, а женщины — под стать им. Даже рыбы в реке — не рыбы, а «турбины». Кстати сказать, где мог увидеть автор «белых рыбин», величиной с турбины? Самая крупная рыба в сибирских реках — осетр, но он никогда не был белым.

Отдадим должное точным знаниям К. Лисовского сибирской природы. Но вот о метафоре и гиперболе он, видимо, имеет весьма смутные представления. Он забыл, что лучшее и поэтически достоверное (не географически, а поэтически достоверное) описание Днепра содержит, например, такую «неправдоподобную» деталь: «редкая птица долетит до середины Днепра». Но, конечно, никому и в голову не придет писать по этому поводу о «развесистой клюкве», если воспользоваться терминологией Лисовского.

Однако недавно в «Октябре» появилось стихотворение самого К. Лисовского «на сходную тему»:

Стояла
Девочка нагая,
Густую распустив косу.
И влага синяя, морская,
На бедрах каплями сверкала,
Была похожа на росу.

Как видно, в изображении «обнаженной натуры» поэты отправляются от разных, так сказать, традиций: Вознесенский, например, пишет в сочной и грубоватой манере, а у К. Лисовского в данном случае пристрастие к «изысканному», к этакому «салонному» пониманию красоты. Об этих вкусах можно спорить. Не надо только в «непохожей», чуждой вам манере видеть что-то криминальное.

Впрочем, не только в трактовке стихов дает себя знать эта прямолинейность. Характерен следующий пример. Безусловно записав нас в панегиристы Вознесенского и, далее, процитировав то место нашей статьи,

где говорится, что Вознесенский в короткий срок приобрел довольно широкий круг читателей «и, что называется, вошел в моду», К. Лисовский иронически заключает: «Решив сделать комплимент Вознесенскому, критики даже не заметили, что он прозвучал издевкой». В действительности, конечно, никакого комплимента в данном случае мы делать не собирались и не делали. Это во-первых. А во-вторых, за иронией нашего оппонента довольно отчетливо сквозит категорическое требование: необходимо строго придерживаться одной линии, одного ряда оценок, либо «комплиментарных», либо «издевательских».

В этом смысле показательна и позиция В. Федорова. В отличие от К. Лисовского, он объективнее излагает нашу точку зрения на поэзию Вознесенского, признавая, что мы весьма далеки от ее сплошного захваливания. Но здесь же следуют решительные возражения: «А. Меньшутин и А. Синявский в начале статьи объявили, что намерены защитить молодого поэта, которого якобы ниспроверг П. Выходцев. Прочитав защитительную речь двух критиков, я был поражен их непоследовательностью... О недостатках сказано в десять раз больше, чем сказано у П. Выходцева. За каждой сомнительной похвалой стоит оговорка».

Но, спрашивается, почему же надо обязательно работать «в одну краску»? Разве не бывает явлений противоречивых, в которых сильное и слабое причудливо переплетается, переходит одно в другое? Но нам упорно навязывают некое железное правило: коль взялся хвалить, так хвали до конца, без всяких там оговорок, указаний на срывы и т. д. И эта искусственная альтернатива выдвигается не только в связи с Вознесенским. Точно так же подходит В. Федоров к творчеству В. Цыбина, И. Григорьева, А. Поперечного, В. Гордейчева и ряда других авторов.

Об эстетической платформе этих поэтов мы, по замечанию В. Федорова, «не стыдятся». говорим следующее (идет цитата из нашей статьи): «В первую очередь — это

преклонение перед «земляной силой», своеобразное «почвенничество», которое предстает в трактовке обоих авторов (А. Поперечного и В. Цыбина) как кровная связь с родным краем и отчим домом, с поэзией земледельческого труда и «казацкой вольницы». Даже (начинается комментарий! — А. М., А. С.) при вольном и примитивном толковании этой платформы читатель понимает, что она, эта платформа, настоящая. Прекрасная народная платформа!.. А ведь А. Меньшутин и А. Синявский пытаются изобразить ее «среднячком». Опротечливо!» Нетрудно, конечно, заметить, что приведенная выше и принадлежащая нам характеристика А. Поперечного и В. Цыбина выдержана в сочувственных тонах, а попытка Федорова придать ей иной, уничижительный, смысл отличается большой «вольностью».

Нас упрекают в одном случае, что мы изображаем эту платформу «среднячком», а в другом — даже в стремлении ее «опрокинуть» (!). Но нельзя ли поточнее? Ведь речь шла совсем о другом: о том, что молодые поэты в своем стремлении освещать большие темы часто остаются на некоем среднем, нивелированном уровне, то есть как раз своего-то решения не добиваются. Вряд ли надо доказывать, что без осмысления этих слабостей никакого серьезного разговора о путях нашей поэзии получиться не может...

Понятно, что без споров и полемики не обойтись. Важно, однако, чтобы эти споры сдвинулись с мертвой точки, вышли из того заколдованного круга, где все вертится вокруг перетасовки имен, или выдвижения слишком общих категорий, или угрожающе ставит перед выбором однотипных оценок и «сплошных» характеристик. С помощью этих критических методов трудно вплотную приблизиться к живым и интересным процессам, которые происходят в нашей поэзии, в том числе в поэзии молодых. Только изменив характер разговора, сделав его более конкретным, более квалифицированным, мы, критики, сможем внести свою посильную помощь в развитие поэзии.



ОТ РЕДАКЦИИ

В этом номере нашего журнала мы заканчиваем обсуждение вопросов развития лирической поэзии, начатое выступлениями Б. Рунина, а также А. Меньшутина и А. Синявского («Новый мир» № 11 за 1960 год и № 1 за 1961 год). Оба эти выступления вызвали много различных откликов. Часть из них была напечатана в «Новом мире», некоторые появились на страницах других журналов и в газете «Литература и жизнь». Обилие откликов подтвердило, что в статьях затронуты вопросы, которые при всей своей важности для развития советской поэзии все еще остаются не вполне проясненными. И вместе с тем некоторые из откликов показали, что в литературной критике еще продолжают существовать предвзятость и односторонние пристрастия, проработки и запугивания, способствующие лишь разобщению литераторов, делающих, каждый в меру сил своих, общее и нужное дело. (Впрочем, в иных статьях газеты «Литература и жизнь», это, кажется, называется «выходить на стрежень литературно-критической мысли».) И, что хуже всего, некоторые участники дискуссии продолжают отстаивать ту точку зрения, будто добрые намерения поэта могут возместить отсутствие полноценного художественного результата: была бы, мол, тема хороша, а решение ее — дело второе. Именно против такого подхода к явлениям литературы, и в частности к лирической поэзии, была направлена статья Б. Рунина. Потому мы и выбрали ее как толчок к продолжению важного спора.

Эта статья утверждает значение творческой индивидуальности поэта, значение его активности, самобытности, инициативы и ставит вопрос о личной ответственности поэта за литературу, за дело партии и народа. Статья направлена против безликой, стандартной, иллюстративной, избыточно-

шей общими местами поэзии, поэзии без души и сердца. Она направлена и против критики, с недоверием взирающей на всякое проявление самобытности поэта, урезающей и ограничивающей возможности поэзии социалистического реализма.

Нам казалось, что в период, когда во всех областях нашей жизни бьет ключом созидательная деятельность советских людей, когда партия призывает к смелой творческой инициативе тружеников нашей страны, когда необычайно возросла личная ответственность каждого строителя коммунизма,— выступление Б. Рунина будет своевременным.

При этом следует оговориться. Печатая статью, мы отдавали себе отчет в том, что некоторые ее положения требуют дальнейшего уточнения и что, правильно утверждая права и обязанности творческой личности, то есть в данном случае «субъекта», Б. Рунин, быть может, должен был еще полнее и категоричнее обрисовать силу и роль «объекта» — действительности. Но точка зрения автора была ясна, и недочеты статьи не могли заслонить в наших глазах ее куда более существенные достоинства. К тому же на то и дискуссия, чтобы в споре искать истину.

Попытаемся выявить основные предметы дискуссии.

Оставим при этом в стороне споры вокруг конкретных оценок. Тут главным оружием спорящих чаще всего становится перелицовка хорошего и емкого слова «вкус» в бранное словечко «вкусовщина». Опираясь на цитаты из корифеев критической мысли и запальчиво требуя при этом «безусловности» суждений, спорщики не удосуживаются припомнить, что и у тех, кого они цитируют, конкретные оценки отнюдь не всегда бывали безусловными и бесспорными. Обвинения во «вкусовщине» не заменят полез-

ного спора о вкусах. Так, из реплик А. Метченко и Б. Соловьева по адресу А. Меньшутина и А. Снявского можно заключить лишь, что первым в отличие от вторых нравится В. Журавлев и не нравится Б. Окуджава. Обоснованием своих мнений оппоненты молодых критиков не затрудняются. А. Метченко ограничивается тем, что уличает обоих в «ехидстве», а Б. Соловьев — в «острячестве», «предвзятости». «литкружковом уровне разговора», «блохоискательстве», конечно же, во «вкусовщине» и еще невесть в скольких смертных грехах. Суть же спора топится в трясине абстрактных эпитетов, превосходных степеней и в общих местах, весьма удаленных от конкретного предмета дискуссии.

Спор о вкусах будет вестись всегда. Если поэзия разнолика, многообразна (а она и должна быть такой), то каждый способ поэтического выражения, несомненно, будет иметь и сторонников и противников, причем и те и другие готовы отстаивать свою правоту. Считая это закономерным, мы не помешали А. Меньшутину и А. Снявскому высказаться в ходе обсуждения статьи Б. Рунина их отношение к поэзии А. Вознесенского, Б. Ахмадуллиной и Б. Окуджавы, несмотря на то, что сами относимся к их творчеству куда более сдержанно (хотя и не в духе заменивших литературный спор набором «крепких выражений» А. Метченко и К. Лисовского). Для нас ясно также, что профессиональный разговор о поэзии только в том случае приобретает необходимую глубину, если ему сопутствует открытый и глубокий анализ идейной направленности творчества того или иного поэта. И все же статья «За поэтическую активность», несомненно, интересна и ценна тем, что в ней делается попытка (чуть ли не единственная) осмыслить некоторые тенденции в творчестве молодых поэтов. При этом авторы правильно подчеркивают возросшую активность «молодых», делают ряд тонких и верных наблюдений, зовут к полному и своевременному спору. Самая закономерность таких споров не может вызывать возражений. Поэтому мы и оставим в стороне эту часть дискуссии, высказав лишь пожелание, чтобы в дальнейшем споры по поводу творчества тех или иных поэтов велись оружием мысли и обдуманых доказательств.

Помимо же несогласия в конкретных оценках, предметом спора остались прежде

всего проблема и самый термин «самовыражение», отстаиваемый в статье Б. Рунина.

Большинство оппонентов видит в нем попытку оживить поэтику декаданса, которой якобы (и якобы только ей) принадлежит этот термин. С. Пермяков, например (включив свой спор с Б. Рунным в статью «О субъективистских тенденциях в эстетике», напечатанную журналом «Вопросы философии» также в отделе дискуссий), прямо пишет, что стремление выразить себя и заставить зрителя увидеть то, что желает художник, — это свойство лишь модернистского искусства. Притом именно то свойство, «на которое опираются и драматургия сюрреалиста Ионеско, и произведения пресловутого Кафки, и вся модернистская живопись». Оставляя право на самовыражение исключительно за модернистами и отказывая в нем художникам социалистического реализма, С. Пермяков оперирует марксистской терминологией, не вникая в сущность произносимых им терминов. Он противопоставляет понятия «открытие объективного» и «выражение субъективного», изображая дело так, будто в искусстве понятия эти антагонистичны. Однако стоит обратиться к творчеству любого из крупнейших художников всех времен, чтобы убедиться, что высшие вершины искусства достигались именно в успешных поисках слитности этих мнимо антагонистических понятий.

Ведь открытие объективного также становится для художника переживанием субъективным, и это переживание ищет своего выражения. В таком случае одни пишут «Я помню чудное мгновенье» или «Мертвые души», другие изображают на полотне «Мону Лизу» или «Боярыню Морозову», третьи komponуют «Аппассионату» или «Богатырскую симфонию». Отражение объективного мира становится таким образом и самым полным выражением мира субъективного — личности художника. О таком именно роде самовыражения и говорится в предложенной нами для обсуждения статье Б. Рунина.

Модернистское же «выражение субъективного» изолировано от постижения объективной действительности. Тут связи между одинокой личностью и окружающим ее реальным миром оказываются разорванными. Изолированное от окружающего, равнодушное к объективности действительности внутреннее «я» художника превращается в пуп мироздания и самоцель искусства. Именно в таком отношении к объектив-

ному выражается убогая эстетика модернизма. Не будем сейчас разбираться в том, какие именно социальные причины породили возможность такой эстетической позиции. Отметим лишь, что намеренная изоляция стала подлинной трагедией многих художников прошлого и нынешнего века — порой даровитых, нередко бесталанных. Это и причина того, что модернистское искусство не смогло стать «школой жизни» для широких масс, обращающихся к искусству ради того, чтобы полнее и глубже постичь действительность. Но это отнюдь не единственная форма «самовыражения» и не резон для того, чтобы утверждать, будто модернисты первыми выдумали, что художник должен выразить себя в своем произведении и что поэтому должно быть отнято право на самовыражение у людей, которых вдохновляют в искусстве самые прогрессивные идеи и самые человеческие задачи. А ведь именно к такому отказу и сводится смысл статьи С. Пермякова при всех оговорках, признающих — правда, лишь очень ограниченно, — творческую субъективность.

Еще более странно положение, каким С. Пермяков заканчивает свою статью. Многообразие искусства, утверждает он, «возникает из жизни, а не из «самовыражения» художника». Склонность к конструированию мною антагонистических понятий, снова проявившаяся в этом категорическом «а не», приводит к тому, что из области материалистического мышления мы переносимся в сферу чистой мистики. Ведь тут автора статьи можно понять лишь в том смысле, что жизнь создает произведения искусства сама, помимо художника. Активный творческий процесс оказывается исключенным. Художник изображается как фотографическая камера, шелкающая, когда на спуск нажимает некая внешняя сила. Это звучит столь же странно, как и последующее утверждение, будто теория самовыражения непременно «открывает дорогу абстракционизму». Выходит, автор подозревает, что в каждом художнике сидит некое скрытое и зловерное «я»: только позволь ему «самовыразиться» — и во что бы то ни стало объявится абстракционизм. Но зачем же так уж?!

Вот и Б. Соловьев тоже видит изначальные корни самовыражения в декадентских теориях. Поэтому он предлагает заменить этот термин «самобытностью», словно бы и не замечая, что речь идет вовсе не о двух

словах-синонимах, способных без ущерба заменить друг друга. Признаемся, мы и сами не считаем, что слово «самовыражение» с идеальной точностью передает вкладываемое в него содержание. Оговаривал это в своей статье и Б. Рунин. Взаимодействие между субъективным и объективным не вытекает из самого термина. Но многолетние споры достаточно уже прояснили, что именно подразумевается под «самовыражением», когда речь идет о художнике, руководствующемся в своем творчестве эстетикой социалистического реализма. К тому же разговор затевался не о литературоведческой терминологии, но творческий — о существовании советской лирической поэзии.

Каждый непредубежденный читатель легко убедится в том, что статья Б. Рунина вовсе не игнорирует объективную действительность и задачи, которые она выдвигает перед литературой. Но когда дело доходит до этого главного предмета, Б. Соловьев принимается старательно его затушевывать, симулируя непонимание того, что, говоря о самовыражении, Б. Рунин противопоставляет его прежде всего общим местам в поэзии, бесстрастной декларативности — тому ремеслу зарифмовывания элементарной статейной прозы, которое, будучи выдаваемо за поэзию, в лучшем случае оставляет читателя равнодушным, а в худшем — жестоко калечит его эстетические представления.

Мы помним, однако, что и сам Б. Соловьев писал в своей книге «Поэзия и жизнь»: «Затрагивая важнейшие темы и вопросы современности, иные поэты исходят из крайне ошибочного предположения, что «вывезет» тема, а все остальное приложится к ней само собой, словно бы в порядке некой обязательной функции. Вот почему появляется так много стандартных, шаблонных, обезличенных стихов о строительстве, преобразовании природы, борьбе за мир во всем мире — стихов, зачастую ни в малейшей степени не обогащающих затронутую тему и не способных увлечь читателя, вдохновить его на преодоление испытаний и трудностей».

Отнюдь не расходясь с Б. Руниним, Б. Соловьев писал также и о том, что «все типические, характерные факты и явления объективного мира полновластно входят в нашу литературу, нашу поэзию, но лирикой они становятся только в том случае, если они выражают живое, активно развивающееся,

неповторимо индивидуальное чувство, которое и становится внутренним стержнем, живой основой лирического повествования».

«Только в том случае...» Вот ведь как категорически сказано!

Почему же теперь Б. Соловьев столь же категорически обрушивается на выражающие ту же мысль слова Б. Рунина: «Тема — это о чем, но еще далеко не что и не как»? Почему те же тезисы о неповторимо индивидуальном чувстве как об основе лирики превращаются Б. Соловьевым в мишень для смертоубийственных критических стрел? Почему, наконец, возражения авторам, полагающим, будто значительная тема способна «вывезти» сама по себе, заставляют теперь Б. Соловьева пускаться в сомнительное чтение чужих мыслей, усматривать в таких выражениях попытку внушить читателю, будто бы «неважно, о чем говорит художник, важно лишь его «самовыражение», и обрушивать вслед за этим на Б. Рунина беспочвенные политические обвинения? Вот и полемизируй после этого с Б. Соловьевым и ему подобными критиками. Это совершенно невозможно. Чтобы ты ни писал и ни утверждал, все равно такой критик не услышит того, что ты хочешь сказать, и найдет лишь то, что захочет найти, — иначе разговаривать он не хочет и, пожалуй, не умеет.

Б. Соловьев то и дело становится в позицию обремененного скептической памятью старца, вещающего, что «все это уже было прежде». Было «самовыражение» в декадентских манифестах, были темы Бориса Слуцкого в стихах Владимира Нарбута, а Зинаида Гиппиус опережала Ю. Панкратова и И. Харабарова в поисках необычных рифм. Известно, что искать подобные аналогии — дело нехитрое. Стоит лишь захотеть, и корни любых литературных явлений, в том числе теории самовыражения, можно протянуть до времен аристотелевых.

Нам, однако, хотелось бы в обсуждении вопросов поэзии не столько оглядываться назад, сколько помочь движению в завтрашний день. И конечно же, разговор о лирике был затеян не ради защиты «мелкотемья», как почему-то захотели предположить А. Метченко и Б. Соловьев, но именно ради того, чтобы еще раз напомнить, что самые большие и важные темы современности должны решаться лишь с полным уважением к ним, то есть на самом высоком художе-

ственном уровне, с безграничной отдачей всех творческих сил художника, со всею истинной страстью и на высоте совершенной поэтической формы.

Что касается определения важнейших тем, раскрывающихся художнику в окружающей его действительности, тут в дискуссии разногласия быть не могло. Эти темы определяются нашим движением к коммунизму; об этих темах ясно и настоятельно говорят обращенные к писателям и ко всем деятелям искусства партийные документы последних лет, и прежде всего выступления на эту тему Никиты Сергеевича Хрущева.

«На XX съезде КПСС отмечалось, — напомнил Н. С. Хрущев, — что деятели нашей литературы и искусства являются верными помощниками Коммунистической партии в осуществлении великих задач строительства нового общества и коммунистического воспитания трудящихся».

Эти великие задачи очень широки. Решать их можно и должно при помощи всего богатого арсенала нашего искусства, во всех без исключения его жанрах. Однако в некоторых статьях теоретиков литературы задачи строительства нового общества трактуются чересчур однолинейно и узко. Такая узость нашла отражение и в ходе дискуссии о лирической поэзии.

Смущение, с которым в большинстве статей говорилось о «пейзажной лирике», о живописном натюрморте или о лирике чувств, как раз и отражает такую узость понимания широких воспитательных задач. Пожалуй, наиболее показательна в этом смысле статья Б. Платонова, напечатанная в шестой книге нашего журнала. Признавая, что лирический пейзаж или живописный натюрморт «воспитывают в человеке ценнейшие свойства эстетического характера: любовь к природе, чувство красоты родной земли», Б. Платонов тут же оговаривается, утверждая, будто «для выполнения задач идеологического воспитания такие картины, разумеется, ничего или почти ничего не дадут». Но как же можно не понимать, что «воспитание ценнейших свойств эстетического характера» является в нашем движении к коммунизму непременной составной частью идеологического воспитания, которое формирует будущего члена коммунистического общества как человека гармонического, разностороннего, с самым совершенным духовным строем, а следовательно, и с вы-

сокоразвитым чувством прекрасного. Это, конечно, не означает, что лирический пейзаж может в нашем искусстве получить какой-либо приоритет по отношению к другим — эпическим — темам, отражающим дела эпохи борьбы за коммунизм во всей их грандиозности. Но это значит, что каждый жанр следует рассматривать в соответствии со всеми его специфическими особенностями, помня, что в решении главной задачи искусства для всех жанров находится свое почетное место. Разговор о любом из них не должен вызывать ни спиходительности, ни неоправданного смущения. Еще менее уместны попытки навязать какому-либо из этих жанров не свойственные ему формы и функции, либо вывести его во «второй эшелон». Все это не помогает развитию поэзии, а лишь наносит ущерб нашему литературному делу.

Ко всем жанрам литературы и искусства

относятся слова Никиты Сергеевича Хрущева:

«В политике партии, в ее идеологии советские писатели, композиторы, художники, работники кино и театра находят неисчерпаемый источник творческого вдохновения. Идеи партии они воспринимают как свои собственные идеи. Всем своим творчеством не по приказу, а по своему убеждению они защищают марксистско-ленинские идеи, борются за их осуществление. В этом они видят свое истинное призвание и ничем не ограниченное проявление свободы творчества, создавая высокохудожественные произведения, проникнутые духом социалистического реализма. Свобода творчества в ленинском понимании состоит в том, чтобы идти вместе с народом, создавать духовные богатства для народа, в интересах народа».

В этих словах ясно и сжато выражены цели советского поэта, его символ веры и суть его высокого призвания.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Шитова. О вещественном и необходимом.— **В. Лакшин.** Робкие мужчины.— **Л. Аннинский.** Все глубже, все сложнее.— **А. Асаркан.** Мир Вишнью-Пука.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Слуцкий, кандидат философских наук. Наука и производство.— **Л. Барон,** профессор, доктор технических наук. Книга о курском железе.— **Д. Заславский.** За кулисами английской прессы.— **А. Бельская.** Всевластные монополии США.

★

Литература и искусство

О ВЕЩЕСТВЕННОМ И НЕОБХОДИМОМ

Юрий Казаков. Северный дневник. «Знамя», №№ 3, 4, 1961.

Очерк Юрия Казакова «Северный дневник» может показаться поначалу разбросанным, фрагментарным, лишенным внутреннего единства. Но если не обмануться внешними приметам, если пойти вглубь, тогда любой его отрывок, который, будучи взятым сам по себе, представлялся всего лишь зарисовкой, обнаружит свою естественную связь с общей лирико-философской темой, скрепляющей все повествование.

Тогда, к примеру, и рыбак Титоз, словоохотливый любитель «пуншика» — крепкого чая, смешанного с доброй порцией водки, — промышляющий семгу где-то на Белом море, окажется не просто встречным на пути, а одним из «тихих героев», из-за которых писатель взялся за перо.

Тогда рассказы Титова о ветрах, сортах семги, возрастах и повадках тюленей, тогда описания поморской избы с хорошей печью, ловли рыбы, берега обретут иной смысл, важный для автора.

Север открывается писателю в молчании белых ночей, когда «трудно заставить себя спать: все время кажется, что пропустишь что-то очень редкое, счастливое», в «глухом мощном и постоянном волнении при мысли об обилии дорог», открытых здесь человеку, в «титаническом шевелении» портовых кранов у причалов Архангельска и в «деревянной музыке», которая слышится Казакову в линиях изгородей, дворов, бань, домов, гатей и мостков на двинском берегу... «Хорошо писать под разговоры, под гомон быстрой север-

ной речи, в табачном дыму, в запахе рыбы, острого рассола... Можно слушать и не слушать, можно бросить недописанную фразу на полдороге, чтобы прислушаться к другой... Мысли мои гуляют далеко, пока наконец я не поражаюсь вдруг радостью и удивлением, что я здесь, на Белом море, в этом кубрике, среди этих людей...»

Казаков начинает именно такой — звонкой, восторженной — нотой радости и удивления. И что бы дальше ни последовало — бесстрастные ли цитаты из бухгалтерских книг колхоза «Освобождение» или описание вполне прозаического, но в то же время таинственного процесса копчения рыбы, рассказ ли о матче между матросами парохода «Юшар» с футболистами пристани Каменка или панорама архангельской лесной биржи, где разом увидишь столько досок, сколько их не видал за всю свою жизнь, — всюду продолжает звенеть отголосок все того же ликующего «я здесь, на Белом море... среди этих людей».

Но у писателя это не только и не просто радость путешественника. Казаков чувствует так потому, что его окружает жизнь, наполненная и очень настоящая, потому, что он среди людей, которых истинно уважает и которых считает вполне достойными звания человека.

«...Вечерами в теплом доме на Оке я вспоминаю Север. В дом ко мне как бы приходят... все, кого я упомянул в своих записках и кого не упомянул, все тихие герои, всю жизнь свою противостоящие жестокостям природы. Они приходят, и кивают мне, и зовут опять туда, к ослепительным небесным чертогам, на мрачные берега, в высокие свои дома, на палубы своих кораблей. Жизнь их не прошла с моим отъездом, она идет, неведомая в эту минуту мне, и когда они уходят к себе, мои тихие герои, я знаю: они уходят работать, уходят трудами рук своих и напряжением душ творить семилетку и приближать наше великое будущее».

Есть одна особенно дорогая Казакову тема, которая улавливается и в «Северном дневнике». Речь идет о теме призвания, о геме осуществления этого призвания.

Трагедийно и зловеще звучала она в рассказе «Отщепенец»: стихия таланта мучительно потрясала неосвещенную ясной мыслью, замкнутую в себе самой душу бакинского Егора, гнала его на высокий берег, вырывалась наружу томительной песней.

Теперь в «Северном дневнике» эта очень существенная для писателя тема решается спокойно-утверждающе и просветленно.

Форма и интонация дневника впервые сделали повествовательную манеру Казакова открытой, разбили ту в прошлом неприменную замкнутость его рассказов, которая одновременно и собирала и не в меру сгущала их сюжеты. Ту замкнутость в себе, которая сообщала образам писателя их законченность и укупленность и в то же время делала их неподвижными и словно отделенными от жизни.

Теперь Казаков повернул свою излюбленную проблему призвания в иное русло: он смотрит, как она решается жизнью в общем ее потоке, а человеком — в трудовом и житейском содружестве с другими людьми. Вот почему он ушел от исключительности судеб двух своих прежних персонажей. Вот почему он на северных своих дорогах искал и находил людей, которые осуществляют самих себя так же естественно, но при этом обща, уверенно и незатрудненно.

«Северный дневник» может показаться «бесконфликтным», даже идиллическим: всякий, кто побывал в местах, о которых пишет Казаков, легко назовет множество злых бед, забот и тревог, которых писатель даже не коснулся. Но дело в том, что у него свой особый угол зрения, да и очень своеобразный жизненный материал.

Казаков пишет о крае, где природа стала моральным фактором, благодаря которому произошел суровый отбор людей, крепких и стойких. О крае, где с самого начала было — да и теперь приходится — трудно лентяю, трусу и дураку, настолько высок здесь с каждого спрос на мужество, выдержку, сметку, постоянство в рабочих усилиях и рабочее мастерство. И в то же время Казаков не впадает в сусальность «поморской экзотики», не соскальзывает на легкую и слащавую сказительскую стезю. Никакой поэтизации «кондовости», которой, к слову сказать, на Севере вовсе и нет. Веками стоят на берегах моря и рек могучие двухэтажные избы, но живут в них люди, которые много плавали, многое повидали, многое знают. Отсюда уходили и уходят в Атлантику, в Арктику, на полюс. Сюда привозили и привозят рассказы о жизни всей нашей земли. Здесь женщины работают шкиперами, матросами, мастерами на земснарядах. Здесь старики расскажут вам не только о прошлом, но и о будущем.

Тут редко наткнешься на самодовольство, но всегда почувствуешь спокойное сознание собственного достоинства, за которым тяжелый, опасный труд рыбака, лесоруба, сплавщика, речника. Тут не услышишь мешанской скороговорки — торопливой, полной недоброжелательства, зависти и всяческих претензий, — а услышишь живую, умную и ясную речь.

Вот откуда идет та особая взволнованность, тот светлый колорит, который окрашивает «Северный дневник»: писатель имеет дело с жизнью, героической уже в самом укладе быта. С жизнью, которая, по его словам, «поэтична в самом изначальном значении этого слова», с людьми — «тихими героями, всю жизнь противостоящими жестокостям природы».

Но почему Казаков называет своих героев «тихими»? Пожалуй, само определение выбрано им неудачно, но за ним стоят наблюдения правдивые и непредвзятые. «Жизнь человека полна подвигов, и это слово очень полюбилось нашим литераторам. Но, странно, я никогда не слышал его от людей, творящих эти самые подвиги. Наоборот, с непонятной мне хвастливостью люди рассказывали о количестве выпитого ими вчера, об ощущениях своих в драке и никогда не рассказывали как о подвиге о своей трудной работе, полной иногда смертельных опасностей», — рассуждает Казаков. И тут его определение приобретает вполне конкретный смысл: «тихие» — значит скупые на громкие фразы, не склонные к размышлениям о собственной героичности, слишком для этого занятые делом и вообще не привыкшие думать о том, как они выглядят со стороны.

Но писатель, знакомя нас с этими людьми, сам видит в них героев — видит хотя бы в «простой» способности человека дать все, что спросят с него обстоятельства. Вот почему, не рассказав ни об одном чрезвычайном происшествии, ни об одном шторме или аврале, он сумел убедить нас, что, случись любой шторм или аврал, люди эти — механик Попов, капитаны Жуков и Поташев, безногий рыбак Котцов или тихая рыбацкая Пульхерия Еремеевна — сделают то, что будет нужно и что окажется героизмом, а ими самими так не поймется и уж во всяком случае не назовется. Постоянное и прекрасное ощущение человека на своем месте и при своем деле, де-

лающее бытие этих людей полным и счастливым, даст им силу для подвига.

Так рождается в «Северном дневнике» его главная, утверждающая тема: уверенность в том, что «люди — народ хороший», что на них можно положиться в великом деле строительства коммунизма.

«Что-то здесь присутствует, какая-то сила в этих домах и людях, в этой природе, которая делает Север ни на что не похожим, — древность ли живет здесь и властвует над всяким приезжим, или века, которые здесь как бы и не текли, новгородская ли жизнь, которая у нас давно прожита и забыта, а здесь отдается еще, как эхо, или белые ночи и море, раскинувшееся за холмами?..» Да, не покажутся эти, такие понятные каждому, кто видел Север, слова оторванными от нашего стремительного и деловитого «сегодня».

Казаков видит Север в движении, но он понимает, что это движение имеет свое «вчера», так же как у него есть свое «сегодня» и будет свое «завтра». Отсюда идет эпическое начало этого дневника, слитое с его откровенным лиризмом.

«Не знаю отчего, но меня охватывает вдруг острый приступ застарелой тоски, — пишет Казаков, — тоски по жизни в лесу, по грубой, и значальной (разрядка моя. — В. Ш.) работе... Давно, давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными дымом потолочными балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа — ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке... Разве это не проше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче, ароматнее и достоверчей. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить, или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда — вещественные и такие неохотимые (разрядка моя. — В. Ш.), гораздо необходимей всех рассказов!»

Итак, и для Казакова наступил тот момент, когда он не только со всей страстью ощутил непререкаемую силу «вещественного», то есть сделанного руками человека, но и преклонился перед этой силой. Конечно же, как и другие до него, Казаков пошел

слишком далеко: ему показалась чем-то малым надежда на то, что «изначальная работа» поможет его писательскому делу. В этом своем запале он будто бы даже решил, что плоды этой «изначальной работы» вообще и всегда «гораздо необходимей всех рассказов».

Как мы знаем, время давно и окончательно разрешило спор о сравнительной полезности Венеры и печного горшка. Но сколько бы ни существовало искусство, эта дилемма, должно быть, станет возникать перед художником вновь и вновь. И, возникая, всякий раз будет обновлять и обострять

чувство его ответственности перед людьми, умеющими создавать это самое «вещественное», знающими «пот и соль работы». Должно быть, здесь все дело именно в этом поте и в этой соли: если они ведомы и художнику, то сделанное им окажется не менее вещественно и не менее необходимо.

Так путешествие на Север стало для Юрия Казакова путем открытия каких-то важных истин. Так «тихие герои» увиделись ему в прямом сопоставлении с его писательской судьбой.

Настоящее путешествие — это всегда еще и дорога к самому себе.

В. ШИТОВА.

★

РОБКИЕ МУЖЧИНЫ

Виктор Конецкий. Завтрашние заботы. Повесть. «Знамя», № 2, 1961.

Если вы попросите перечислить имена молодых талантливых писателей, вошедших в литературу в самые последние годы, вам непременно назовут и Виктора Конецкого. Его рассказы печатались в журналах, выходили отдельными книжками и имели успех, а недавно появилась большая повесть «Завтрашние заботы», повторяющая и развивающая уже знакомые по рассказам мотивы.

Герои В. Конецкого — немногословные и суровые полярные капитаны, старики боцманы, которых «тянет море», восторженные юнги, впервые вкушившие романтику корабельной службы в Арктике. Что греха таить — даже вполне сухопутному человеку трудно удержаться от необъяснимого волнения при звуке таких слов, как штуртрос или бейдевинд. А когда читаешь В. Конецкого, да еще знаешь, что ему, в недавнем прошлом северноморскому моряку, это все известно не понаслышке, невольно поддаешься обаянию темы и личности рассказчика, так коротко знакомого с суровой стихией.

Рискуя разрушить для себя эти чары, я все же не могу не задать себе вопрос: что представляют собой как люди эти «морские волки» Конецкого? Не повторение ли они с детства знакомых героев Джека Лондона и Станюковича, лишь чуть подцвеченных современным колоритом?

Признаюсь, такая мысль и пришла мне сначала в голову, когда я прочел первые страницы повести, где молодой герой, на-

званный в духе светски-романтической традиции Глебом Вольновым, вернувшийся было на берег, чтобы учиться в мореходном училище, вдруг, после несколько таинственного посещения его дома старым моряком Битовым, бросает все свои дела и, ничего толком не объяснив беспокоящейся о нем матери, уходит в рейс. Но навеянное этими первыми страницами представление о характере героя оказалось ошибочным, и дальше я объясню почему, а пока скажу коротко о сюжетной канве повести.

В. Конецкий рассказывает о перегоне от Петрозаводска к Камчатке Северным морским путем маленькой флотилии сейнеров, небольших рыболовных суденышек, одним из которых командует Глеб. Автор не забывает расставить вехи на этом пути: «Впереди ждали шлюзы Беломорканала, смиренное лето Белое море, его ветренное, бурливое гирло, сизое и холодное море Баренца, Югорский шар — мрачные ворота Арктики...» Через несколько страниц: «После этого прошло десять дней, позади остались шлюзы Беломорканала и половина Белого моря». Еще немного спуска: «Это было уже пятое море, которое оставалось у них по корме. Позади были Белое, Баренцево, Карское море и море Лаптевых». Пльвем, не задерживаясь, дальше: «Чукотское море. По правому борту прошли последние арктические мысы: Сердце-Камень, коса Двух Пилогов, мыс Отто Шмидта, Ванкарем...» и наконец — берег! Берег!

В пути героев встречают штормы, туманы,

им грозит сжатие льдов. Автор рассказывает несколько драматических эпизодов, рисующих трудности плавания в Арктике, и говорит о том, какого мужества это требует от людей. Но главное внимание писателя отдано психологическим переживаниям Глеба Вольнова и больше всего его воспоминаниям и мечтам — словом, вчерашним и завтрашним заботам и лишь в самой малой мере настоящему. Молодой полярный капитан оказывается при этом человеком несколько иного сорта, чем можно было подумать.

У себя на сейнере Глеб выглядит мужественным и уверенным в себе, просоленным всеми морскими ветрами ветераном Севера. Он немного свысока смотрит на свою молодую команду и не боится «утруждать себя беспощадностью». Его уважают, да и как не уважать. «Я, брат, все знаю»,—роняет он как бы невзначай пораженному его пронизательностью боцману. Он не скрывает чувства превосходства над стариком Битовым, отцом своего погибшего друга, взятым им в качестве механика на судно. Напрасно тот пытается скрыть что-нибудь от Глеба. «Вольнов видел старика насквозь»,—замечает автор. Глеб Вольнов учит молодых, подает мудрые советы флагману, проявляет порой находчивость в трудные минуты. Поражение приходит к нему с другой стороны — он оказывается тряпичным и беспомощным в любви.

Подружившийся с нашим героем другой капитан сейнера, Левин, приводит Глеба в Архангельске в ресторан и знакомит со своей приятельницей Агнией. Глебу нравится Агния, и он старается при ней выглядеть «грубее и «мужчиннее», нежели был на самом деле». Предупредив события, скажу, что Агния сама-то не очень человечески привлекательна, но хоть позволяет себе быть искренней. «Вылезайте скорее из шкуры сдержанного и волевого морского волка»,—приглашает она героя. Вольнов же, слушая эти речи, постепенно расходится и сам начинает учить героиню, как ей поступать в ее неудавшейся личной жизни. «Бросайте институт и улетайте, если вам это нравится, честное слово! Это прекрасно, когда женщина летает в воздухе»,—храбро советует он под хмельком. И вдруг спохватывается: «Я уже начал говорить глупости?..» «Нет, глупостей вы не говорили, Глеб,—напрасно утешает его Агния.— Вы

славный, Глеб. И я, наверное, послушаю вас, и брошу все, и улечу. Мне только никак не решиться. Кто-то должен помочь, наверное».

Улететь героиня хочет и в прямом и в переносном смысле. В прямом — потому что она работала некогда бортпроводницей и мечтает вернуться в авиацию. В переносном — потому что она собирается улететь от опостылевшего ей мужа. Но ей нужен «кто-то», ее избавитель. Тут бы герою и сообразить, какая роль выпадает на его долю, но наш моряк робок и недогадлив.

Растроганный и влюбленный, он идет провожать Агнию белой архангельской ночью, и у порога ее дома происходит такая сцена:

«— Все это, наверное, глупо... Мне уходить? — с отчаянием пробормотал он.

«Я просто должен взять ее на руки,— подумал он.— Я должен взять ее на руки — и все. Но я никогда не решусь сделать это, если она сама не поможет мне решиться. Я повернусь и уйду, и останусь один, и буду стискивать кулаки от тоски по тебе. И весь рейс мне будет пусто и плохо от тоски по тебе. Ну, помоги, помоги мне!.. Я не могу ни на что решиться сам...» Героине ничего больше не остается, как помочь герою сладить со своим смятением и чуть не за ручку ввести его к себе в дом. Нет, как хотите,— это мало похоже на морских бродяг Джека Лондона. Скорее наш моряк напоминает «русского человека на rendez-vous».

Ранним утром Агния провожает Глеба, который опаздывает на свой сейнер. Они замечают на улице пустое такси и рассчитывают занять его, но видят, что их опередили. «Поздно, черт возьми! — сказал Вольнов». «Бежим! — крикнула Агния. И сама побежала впереди него». Как и нужно ожидать, Агния приводит нашему герою машину. Уже сидя в такси, она пытается объяснить с Глебом, но этот джентльмен слушает ее в пол-уха и поглядывает на часы, так как боится получить выговор за опоздание. Расставаясь, героиня клянет в душе слабохарактерность и безволие своего спутника, а он лепечет жалкие просьбы о прощении, пенароком ставя себя в смешное и неловкое положение.

И это морской витязь, капитан северных морей! Он, откровенно говоря, способен лишь завидовать энергии и решительности Агнии, подобно тому как завидует женщи-

нам лирический герой одного из недавних стихотворений Е. Евтушенко:

Я люблю вас нежно и жалеюше,
но на вас, завидуя, смотрю.
Лучшие мужчины — это женщины.
Это я вам точно говорю!

Почему это молодые мужчины так охотно стали признаваться в своей немужественности? Нет, это не только шутка. Справедливо ли относить к сильному полу тех, кто сохраняет лишь внешние атрибуты мужественности, скажем, суровость, внушительный вид, зычный начальственный голос? Для нас мужественность — это прежде всего внутренняя серьезность, зрелость, сознание своей нравственной ответственности, решительность поступков. А Глеб Вольнов трусит перед жизнью и путается на каждом шагу. Сам того не замечая, он признается в шаткости своих понятий. «Я никогда не смогу понять, как женщина может жить с мужчиной, которого не любит... Когда такие штуки вытворяем мы, я это понимаю, а когда они — нет», — сыто философствует он.

Сказанного как будто достаточно, чтобы составить себе представление о том, с каким робким и мелким героем знакомит нас автор. И, однако, мы вовсе не склонны отрицать жизненную правдивость такого лица. В частности то, что литература последнего времени не так уж редко показывает его, свидетельствует, что он занимает свое место в жизни. Все дело в том, как относиться к этому типу немужественного мужчины. Мы видим заслугу автора в том, что им затронут любопытный характер, но на беду писатель не находит верного отношения к нему.

Для Виктора Конечного, как можно понять, несимпатичные черты Глеба Вольнова — это легко извинимые слабости, частные недостатки милого его сердцу героя. Легко представить, откуда мог родиться замысел такого характера. Вместо легендарной героической Арктики Конечный хотел показать обыкновенную Арктику, героизм, ставший бытом. И в пик традиции изобразить полярным капитаном обыкновенного неплохого молодого человека. Но так уж получилось, что вместо задуманного образа вышел характер отрицательный, едва ли не комический, а инерция сочувственного отношения к нему автора осталась и спутала все карты.

Вторая, и главная, половина повести проходит под знаком воспоминаний, легкого флера рефлексии и мечтаний героя об Агнии, которая в отдалении стала вдруг особенно дорога и необходима Глебу Вольнову. Автор окружает эти воспоминания романтической дымкой, прибегает к лирическим перебоям сюжета — от поэтических снов к прозаической яви, а главное, говорит о страданиях героя всерьез, без тени улыбки. Но улыбаться хочется, особенно когда читаешь, что Глеб на каждой стоянке шлет Агнии письма и телеграммы, требует каких-то объяснений, предлагает поехать вместе в Крым, где «будет тепло и все будет зеленое». Как чеховский Рябовский, он твердит ей: «Я устал». Кстати, этот мотив — естественный у «слабого мужчины» — автор варьирует не раз. «Он уставал от непрерывного общения с людьми. На сейнере не было отдельной каюты даже для капитана». И потом: «Сколько еще до Камчатки? — подумал Вольнов. — Я просто слишком устал за этот перегон. Все дело только в моей усталости». Герою сладко думать, как он утомлен, как нужен ему отдых на юге, где «будет маленькая отдельная комнатка, пепельница из ракушек на столе... А на спинке кровати будет висеть ее платя».

Тут выясняется еще одна особенность героев того типа, о котором мы говорили. Волевая активность, живая жизнедеятельность подменяются у немужественного мужчины нервической экзальтацией. Резкая и порой сентиментально-слезливая чувствительность, оказывается, как раз сопутствует угасанию сильных желаний, атрофии чувств. Другой бы герой, если бы и любил, наверно бы страдал, мучился, действовал; этот — вяло философствует о природе любви и меланхолично мечтает о Крыме, о тепле и маленькой отдельной комнатке.

Из мужской дружбы, дружбы Вольнова с Яковом Левиним, тоже как-то ничего не выходит, хотя автор и скрепляет ее таким прочным цементом, как социалистическое соревнование. («Капитаны успели подружиться. И, как часто бывает в таких случаях, их экипажи сблизилась тоже. Был подписан договор о социалистическом соревновании. Куда спокойнее подписывать такой договор между приятелями!») Но даже социалистическое соревнование не спасает дружбы героев, оказавшихся в некотором роде соперниками в своих симпатиях к Агнии

Вспышек страсти при этом, однако, не наблюдается, капитаны взаимно вежливы и едва ли не уступают право любви к этой женщине один другому. Так что в дружбе Вольнов апатичен и вял, как и в любви. Да что там! Даже трагедия смерти близкого человека не в силах по-настоящему встряхнуть его. Поплакав немного над телом погибшего механика Битова, Глеб тут же по привычке начинает философствовать и утешает себя: «И нет ничего особенного в том, что он умер».

Зато в иные минуты вместо мужественной сдержанности герой срывается в истерическую крикливость. И в этом смысле понятно, чем, вероятно, хотелось бы автору, воспринимавшей сцены, в которых Глеб Вольнов, «утруждая себя беспощадностью», грубо орет на матросов и без снисхождения вытряхивает на палубу укачавшегося новичка Корпусула.

Писатель, так внимательно следивший за интимными переживаниями Вольнова, почти не показывает его в сфере общественно значимой. А это могло бы составить немалый интерес. Есть такой закон: вялость души, слабохарактерность, воспитанная привычкой подчинения чужой воле, зачастую ведет к общественной робости, пассивности, к утере чувства собственного достоинства, а порой к очевидной фальши.

Впрочем, и у Конецкого есть одна сцена, которая кое-что поясняет нам в типе слабого мужчины с этой стороны. Вольнова приглашают на совет в кают-компанию флагмана, где обсуждается вопрос, зимовать ли каравану посередине пути или попытаться пробиться сквозь льды. «Мнения разделились, когда слово взял Вольнов. Он говорил очень яростно. Про тысячи и тысячи тонн рыбы, которые страна недополучит, если караван зазимует. Про то, что сейнеры прекрасно ведут себя во льду... Он сам удивлялся, откуда в нем взялась такая прыть и такое ораторское искусство». Обратите внимание: это фатальная черта в характере слабого мужчины — его обязательно заносит на громкую фразу, особенно в людном собрании. И его молодой задор удивительно идет в лад с последней мудростью начальства. Наедине с самим собою, он может, впрочем, не теряя благородной позы, рассудить и откровеннее: «Ему было немного стыдно. Слишком много громких слов. Но все это чепуха. Он сделал правильно. Они пройдут без зимовки. И он вернется»

в Архангельск в конце октября или к Седьмому ноября, к празднику. И они поедут на юг. На юге будет еще тепло и все будет зеленое». Мечты героя сворачивают в знакомую колею и соскальзывают с общественной почвы на уже известную интимную. Как, однако, тонко и гармонично сбалансированы у этого «очень чистого человека, робкого мужчины», как называет его мать, личные и общественные интересы!

Любопытно, что Глеб, хотя и самый характерный, но не единственный представитель племени робких мужчин в повести «Завтрашние заботы». Муж Агнии — Гелий (ох, эти имена в повести Конецкого!) — почти не появляется на страницах книги, но один из героев выразительно характеризует его: «Ненавижу, когда здоровый мужик, спортсмен, грозит женщине самоубийством, чтобы удержать ее около себя!» Да, Агнии в самом деле не повезло. Как мало мужественности в тех людях, с которыми сталкивала ее жизнь! К их числу надо прибавить еще одного полярного капитана, Левина, которому Глеб и был обязан своим знакомством с Агнией. Этот бравый моряк, соединявший в своей внешности «легкое разгильдяйство с элегантностью», испытывает смутное недовольство своей семейной жизнью, женой и детьми, и вяло ухаживает за Агнией — видно, никак не может определить характер своего отношения к ней. Одна деталь хорошо рисует этого героя: он бросает курить, «чтобы продемонстрировать самому себе свою выдержку и волю». Если выдержка и воля старого морского волка нуждаются в такой проверке, то взаправду дело худо. Досадно, что автор не видит этого и, как раз то, что ему так нравится в его капитанах, читателя нередко удручает.

Толкуя до сих пор о героях Конецкого как о живых лицах, мы допускали некоторое насилие над своим воображением, потому что даже с точки зрения чисто литературной эта повесть мало правдива. Диалоги героев часто вычурны и ложномногозначительны, психологические состояния не мотивированы, описания природы полны изысканной красотости.

Мы помним первые рассказы В. Конецкого, вошедшие в сборник «Камни под водой». В них, при всех недостатках, было гораздо больше точности, зоркости глаза, художественной собранности. Здесь же, в повести, автор словно бы опустил поводья, приняв гуманность, приблизительность, а

то и романтическую выдумку за подлинную поэтичность. Боюсь ошибиться, но, может быть, именно неопределенно-лирический характер переживаний основных героев Конечкого — робких мужчин — сыграл здесь свою роль? Ведь не зря сказано, что материал диктует стиль. Во всяком случае, отсутствие мужественной простоты, капризная небрежность стиля дают повод так думать.

Как это ни будет неожиданно, но даже о море, о льдах Конечкий пишет часто неточно и с каким-то жеманством: «Была белая ночь, была серая листва деревьев, их черные морщинистые стволы и запах сырости и опилок. И, как во всех портовых городах, ощущение того, что где-то близко море — длинный (?) и широкий простор». Или еще: Вольнов «на миг прикрыл глаза. И сразу замельтешили перед ним ледяные блины и шуга, и несяжки, и торосы, и все вообще виды льдин в арктических морях». А вот герой борется с морским ветром на палубе: «Вольнов прикрыл глаза, лицо согнутым локтем и повернул назад. Ветер выдавливал слезы и тут же сдувал их с глаз, отгибая мокрые ресницы. Не помогал даже локоть». Мы уж не говорим об общем колорите стиля, но пробовали ли сам автор когда-нибудь прикрывать глаза локтем? И в самом деле ему это удавалось?

Герои Конечкого, даже наедине друг с другом и с самими собой, часто рисуются, позируют. Автор помогает им в этом, вводя в повествование наплывы воспоминаний, обрывочные, чуть-чуть загадочные разговоры, многозначительные изречения и недоговоренность — привычные украшения «новой» прозы. Особенно любит писатель бытовую философию, домодельные афоризмы — этот упрощенный способ придать вещам смысл, какого они не имеют. «Отъезды и приезды подводят черту под кусками жизни, — заявляет, например, Яков Левин. — С этих рубежей яснее видно прошлое

и больше хочется от будущего». «..Всегда право только море, — утверждает Вольнов. — Оно знает все». «Точно, — сказал Левин. — Никто на этом свете ни бельмеса не знает». Привычка несколько обще и туманно рассуждать, сентиментальная болтливость не оставляют героев и в положениях, совсем мало для этого подходящих. Вот, скажем, Глеб дарит Левину приبلудного пса:

«— Я, если хочешь, могу подарить тебе его, — сказал Вольнов. — Я быстро привыкаю к зверью, а потом тяжело расставаться.

— Спасибо. Не отказываюсь. Я, наверно, уже привык к тому, что в жизни часто приходится расставаться».

Автору хочется быть интересным, необычным, увлекательным, и в погоне за красотой он теряет главное — правду. С ним случается нечто подобное тому, что происходит с его героем Глебом, который во сне, в поэтической грезе, видит наконец себя вместе с Агнией в каком-то поезде, в одном купе: «Они молчали, глядели в окно на березовые леса, за стеклом летел дым. Потом она сказала, что очень хочет малинового льда. И на первой же остановке он сошел, бросился искать мороженщицу, нашел ее, и залил лед малиновым экстрактом, и принес его, но поезд уже ушел». Робкий мужчина Глеб Вольнов хочет потчевать Агнию суррогатом мечты — малиновым мороженым. И это еще понятно. Но разве не чувствует Конечкий, что и сам он пытается подмешать ко льдам Арктики некий малиновый экстракт?

Писателю не хватает смелости быть простым и естественным. Он надевает чужой наряд, тешит туманными романтическими настроениями и придуманной поэтичностью. А хотелось бы увидеть настоящего Конечкого, узнать, от чего ему бывает горячо и холодно, во что он ценит свет, что у него за душой.

В. ЛАКШИН.

ВСЕ ГЛУБЖЕ, ВСЕ СЛОЖНЕЕ

Анатолий Кузнецов. Биение жизни. Женщина. Старый инструмент. Рассказы. «Юность», № 5, 1961.

Мрачный и злой водитель Вахрушев («Биение жизни») ночью везет в соседнюю деревню доктора — шуплого парня в очках. Вынужденный рейс, непрощеный, силой навязанный пассажир... Вахрушев напоминает мрачного и злого шофера Горлова (из недавнего рассказа А. Кузнецова «Юрка, бесштанная команда») — Горлов против воли вез в город мальчика Юрку.

«Женщина» — это рассказ о старой учительнице, потерявшей во время войны мужа и единственного сына. Евг. Винокуров писал:

А где-то в людном мире
Который год подряд,
Одни в пустой квартире,
Их матери не спят...

«Женщина» — рассказ о такой матери.

Наконец, «Старый инструмент» — зарисовка, почти этюд о девочке, у которой открыли музыкальный талант и которую ее мать, измученная работой женщина, поклялась не пустить «к легким хлебам»...

Рассказы Анатолия Кузнецова, появившиеся недавно в журнале «Юность» и в других изданиях, открывают нам вторую страницу его писательской биографии. Это тем более интересно, что первая страница — дебют Анатолия Кузнецова, состоявшийся несколько лет назад, — не была явлением заурядным: Кузнецов выступил тогда автором повести о молодом человеке, ищущем место в жизни. А Кузнецов оказался представителем довольно продуктивного направления в нашей молодой прозе. Интерес, с которым и сейчас встречают читатели произведения В. Аксенова, В. Московкина, Э. Ставского и других, показывает, что время «Продолжения легенды» еще не прошло и что окончание еще отнюдь не следует. Молодой человек, родившийся в тридцатые годы и вступивший сейчас в зрелую пору, прошел в юности через стадию удивления перед жизнью. Это удивление — важный факт его биографии, им порождена своя литература, и весьма понятно, что молодые писатели по сей день отдают ей дань.

Но юноша — их герой (как правило, вчерашний школьник или студент, попавший в первый жизненный переплет, мужающий в

первых жизненных столкновениях), — юноша этот взрослеет. Вместе с ним идут дальше и молодые писатели — его биографы.

А. Кузнецов одним из первых описал молодого героя, одним из первых он делает и следующий шаг.

В «Биении жизни» случай сводит в кабине бульдозера двух противников. Вахрушев убежден, что «везде в жизни мягкотелым крышка», что надо уметь «прежде всего постоять за себя», что «любовь человека к себе все равно всегда сильнее любви к другим...» На одном полюсе — человек для людей, добрый, великодушный, внутренне красивый; на другом — одиночка, индивидуалист. Эгоизм и то, что в человеке противостоит ему — одиночество и преодоление его, — вот сквозная тема рассказов А. Кузнецова,

Что в этом нового? Разве пять лет назад в «Продолжении легенды» молодой писатель не решил уже этой проблемы? Вспомните письма Виктора: «Люди — волки, шакалы. Если ты зазеваешься или пойдешь наперекор, тебя попросту сгрызут. Лучшей вой по-волчьи, хапай и не зевай...» И разве тогда же не был посрамлен скептик Виктор, которому автор не без красоты ответил устами главного героя: счастье — «это битва, это — солнце в сердце, которого хватит и для других, и для себя»?

Почему же вернулся А. Кузнецов к этой проблеме, что нового увидел он в ней теперь, через несколько лет, и в чем его теперешнее писательское открытие, если, казалось бы, продолжается старый разговор?

В новых рассказах А. Кузнецов, как справедливо писала критика, отказался от нарочитой броскости «Продолжения легенды», от формальных выдумок, от деления повествования на «тетради», от стилизации под речь героя и т. д. И хотя написаны рассказы как будто более «традиционно», мы находим здесь следы не меньшей, а, пожалуй, даже большей художественной отделки. Сегодняшнего А. Кузнецова отличает от автора «Продолжения легенды», пожалуй, другое «направление» формальной отделки. С большой долей условности это переложение рулей можно охарактеризовать так: от яркости, броскости, от напряженного диспута —

к тонкостям психологического анализа, к фиксации настроения, изменчивых движений души. Вот А. Кузнецов-рассказчик проследживает, как последовательно меняется отношение Вахрушева к доктору, которого он вынужден везти. «Сопля какая!..» — не столько с презрением, сколько с изумлением и жалостью думает Вахрушев, увидев впервые этого паренька в худом пальтишке... «Слышь, какого ты года?» — спрашивает он через час, потрясенный решимостью, с которой этот хлюпик тащил из ледяной воды бульдозер. А наутро, когда доктор уже спас новорожденного, а он, Вахрушев, измученный дорогой, запутавшийся в своих мыслях о докторе, выпался, — он впервые любуется человеком, с которым свел его случай. «За дверью бубнили голоса и квакала лягушка. Удивившись, Алексей осторожно заглянул в щель. На никелированной кровати, покрытая одеялами, лежала восковая, измученная женщина — только скулы да нос... У окна стоял, заслоняя свет, доктор и очень серьезно — мальчишка этакый! — убеждал ее в чем-то, а она упрямо качала головой. По комнате расхаживала сердитая, растрепанная сестра, с квакающим свертком в руках.

«Ага! — подумал Вахрушев. — Ну, ладно...»

Он был рад, что все кончилось, и кончилось хорошо. Хоть недаром перли. Вот, значит, пришел в свет какой-то новый человек».

Эта сцена — кульминация рассказа «Биение жизни». Вникая в переживания Вахрушева, автор стремится понять: когда, как, под влиянием чего происходит перерождение этого тяжелого человека, в душе которого эгоцентризм и себялюбие отступают перед человечностью.

Нет, неспроста обратился А. Кузнецов к «традиционному» психологическому реализму — этот поворот сопряжен с глубоким, содержательным изменением в его творчестве.

«Хапай и не зевай...» В «Продолжении легенды» этот принцип был уничтожен, осмеян, отброшен. Его защитник Виктор был разоблачен, так сказать, заочно и — во многом декларативно. Теперь А. Кузнецов стремится не только опровергнуть принцип, но и понять, что толкает человека к таким убеждениям, что делает его эгоистом и что может «выпрямить» его — в смысле не абстрактного опровержения тезиса, а действительного жизненного опыта. Уже одно это —

показатель безусловного возмужания А. Кузнецова как писателя.

Собственно, лучший рассказ А. Кузнецова («Женищина») как раз тем и привлекает, что правда человеческой судьбы оказывается в нем сильнее тех рациональных схем, в которые ее можно затиснуть.

Учительница Карелина любит свое дело, свой класс, она человек мужественный и хорошо владеющий собой. И все же ей нелегко живется. Слишком много трудного выпало ей в жизни, и слишком трудно все забывается. Сорок с лишним лет назад, она, растерянная выпускница педучилища, пришла в эту школу. Школу открыли в старом барском доме. Сам барин и молодой сын его погибли во врангелевских войсках, а барыня сошла с ума. Потом построили новое здание школы. Потом у молодой учительницы было много счастливых дней. Потом пришла война, смерть мужа, смерть сына... И хоть пошел уже пятнадцатый год после победы, и, кажется, время должно бы умерить боль потери — вдруг опять видит во сне Татьяна Сергеевна сына, и, проснувшись среди ночи, глухо и жутко плачет старая учительница, ощутив свое одиночество.

«Если бы стены могли, подобно магнитофону, хранить в себе звуки, если бы всплыло все, что происходило в этих стенах, хотя бы этот «набор рабочей силы в Германию», этот какой-то невероятный скачок социальной истории вспять, возврат к эпохе рабства, или ржанье лошадей в классах, или эта казарма, стоны раненых и умирающих, грохот обваливающихся перекрытий, крики потревоженных галок, писк семилетних «восстановителей», — одного этого было достаточно, чтобы свести человека с ума...»

Но разве история на этом кончилась? Что будет еще? И какое?»

Татьяна Сергеевна потрясена кажущейся фаталистичностью этих несчастий, она ужасается тому, как бесследно исчезли в войне близкие ей люди, она ищет оправдания пережитому, она хочет подвести итог своей жизни. И тут жизнь подбрасывает ей «советчика». Это старик Шубман, школьный математик.

«— Парадокс какой-то: изобретаем средства уничтожения, а не продления! Старик Бернард Шоу говорил: что вы мне толкуете о прогрессе? За последние три тысячи лет я что-то не могу припомнить никакого прогресса. Так, или примерно так, он говорил,

да! Всегда люди хотели жить, всегда любили, страдали и умирали, независимо, обладили ли они атомными бомбами.

— Не надо, Михаил Исакович!..— попросила Татьяна Сергеевна...

— Если по воле каких-нибудь новых выродков разразится война и все человечество полетит вверх тормашками, разбирайтесь тогда, что к чему! — выкрикнул Шубман.

— Этого не будет.

— Кто вам гарантировал?

— Я не знаю, не знаю... Но этого не должно быть... Положительное, подавляющее большинство людей... уже пришло к мысли о необходимости такой жизни. Значит, все-таки есть смысл, был смысл...»

Татьяна Сергеевна с негодованием отвергает «откровения» Шубмана. И все же мучительные мысли не покидают ее: что же вынесено из жизни к шестидесяти годам, какой след в жизни оставлен? В тяжкую минуту вспоминает Карелина старую, выжившую из ума барыню, которая тоже ведь была когда-то не ведьмой, а женщиной «и — как странно — у нее тоже были муж и сын, которые погибли...»

«— То смотря за что погибать», — наивно и мудро говорит Татьяне Сергеевне бабка Феня, соседка. «Вы себя с ними на одну доску не ставьте...» И верно, соглашается Татьяна Сергеевна: «нехорошие люди были...», «За золото за свое...» погибли. Да, этого нельзя забывать; у истории тяжелая арифметика: они — нас, мы — их... Всем разумом своим, всеми убеждениями оправдывает учительница принесенные жертвы... А дальше?

А дальше? — спрашивает писатель. Дальше — пенсия? Редкие письма бывших учеников, ставших взрослыми, чужими людьми? И одиночество? И старость, с утешением, что все было правильно? А Кузнецов делает попытку решить не просто умственную проблему (конечно, Шубман заблуждается, а бабка Феня тысячу раз права!), он пытается понять нечто большее — человеческую судьбу. И реальная судьба, жизнь человека оказываются сложнее, и серьезнее, и ценнее предлагаемых схем; и никогда не проходит по земле бесследно настоящий человек, и жертвы не бывают напрасны. В этом мужественном гуманизме, в глубоком заинтересованном проникновении в человеческую судьбу — главное завоевание А. Кузнецова.

Критика уже успела упрекнуть Кузнецова

за фальшиво-благостные финальные нотки в предыдущих рассказах — и справедливо. Когда шофер Вахрушев, взволнованный тем, что привезенный им доктор спас новорожденного, созерцает в финале щедрую весну, чистое небо и костры, где символически сгорают прошлогодние листья, — то мы слишком хорошо понимаем, что этот пейзаж подсунут шоферу Вахрушеву его просвещенным автором. Когда пьяница и ругатель Горлов, размягченный беседами с Юркой, требует себе многозначительный стакан сигаро — то нам остается ему только позавидовать. И уж если следовать социальным закономерностям, то случай, который выпал Горлову, — везти Юрку, а Вахрушеву — везти доктора, вряд ли «перекочевал» бы этих людей, выросших такими, каковы они есть. В судьбе Татьяны Сергеевны тоже счастливая развязка: неожиданно объявляется женщина, на которой незадолго до гибели женился ее сын (Татьяна Сергеевна знала о снохе лишь из писем и тщетно много лет разыскивала ее). А вместе со снохой приезжает к старушке ее внук, сын ее сына, поразительно на него похожий. Татьяна Сергеевна счастлива. Но она понимает (и мы вместе с ней), что внука-то могло и не быть, что «это ей одной так улыбнулась судьба, а скольким миллионам — нет. Что страшно подумать, как шли и гибли живые люди, хотя и важно, за что они гибли...»

Нет, определенно не в «счастливых концах» дело. И не ими питается гуманизм и оптимизм автора, и не от них то ощущение веры в человека, которым пронизаны рассказы А. Кузнецова.

Ощущение это от внутренней духовной стойкости его любимых героев. От той решимости, с которой стремится в ночь к больному доктор — щуплый парень в очках. От той уверенности, с какой хочет «доказать» свой музыкальный талант девочка из маленького домика на окраине маленького городка. От того мужества, с каким преодолевает горечь одиночества старая учительница.

А еще больше ощущается эта внутренняя сила в самом авторе — точнее, в том жизненном типе, который стоит за ним. Он видит жизнь все глубже, все сложнее, он становится трезвее и опытнее, он ставит новые вопросы и ищет новые ответы.

Это начало зрелости.

Л. АННИНСКИЙ.

МИР ВИННИ-ПУХА

А. А. Милн. Винни-Пух и все остальные. Пересказал Борис Заходер.
«Детский мир». М. 1960. 146 стр.

Ну вот, перед вами Винни-Пух. Как видите (там есть картинка — в книге, о которой пойдет речь), он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робинном, головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком: бум-бум-бум... Иногда ему, правда, кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но — увы! — сосредоточиться-то ему и некогда.

Вот и все, что уместилось на первой странице книги Алана Милна в пересказе интересного детского поэта Бориса Заходера «Винни-Пух и все остальные».

Винни-Пух пришел из Англии, автор книги — Алан Александр Милн (названный в выходных данных по ошибке Артуром). На русском языке уже есть его пьеса — «Мистер Пим проходит мимо» — про одного старого чудака, который отнюдь не проходит мимо, но делает это до такой степени мимоходом, что никто ничего не замечает, а человеческие судьбы меняются, хорошим людям становится хорошо, а плохие тоже делаются немного лучше. А кроме того, Алан Милн написал переведенную С. Я. Маршаком «Балладу о королевском бутерброде» — целую историю про то, что король сказал королеве, что королева сказала молочнице, что молочница сказала корове, что корова ответила молочнице, и как все это рассердило короля, поскольку он просил подать ему к завтраку масло, а корова дала понять,

Что нынче очень многие
Двуногие-безрогие
Предпочитают мармелад.
А также пастилу,—

и таким образом король рисковал получить не ту пищу, которую ему хотелось, а ту, которую навязывают разные ленивые коровы. Но все окончилось благополучно и превосходным проездом короля на перилах королевской лестницы («Никто, никто,— сказал он, намывлив руки мылом,— никто, никто,— сказал он, съезжая по перилам,— никто не скажет, будто я тиран и сумасброд за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд»).

Винни-Пух (по-английски Winnie-the-Pooh) — это плюшевый медвежонок. В голове у него вместо мозгов опилки, и это иногда омрачает ему существование. Ему кажется, что он многого не понимает. Но потом оказывается, что все главное он в общем-то понял и даже может сочинить про это стихи. Мир, в который вводит книга, принадлежит мальчику Кристоферу Робину и его друзьям — Винни-Пуху, поросенку Пятачку, тигру по имени Тигра, кролику по имени Кролик, ослику Иа-Иа, Сове, которая живет в Савешнике (так там написано), и в некотором роде даже Слонопотаму, хотя он нигде не живет, потому что его никто не видел и заманить его в Очень Глубокую Яму не удалось. Да, еще там есть мама Кенга и ее сын Ру, они появились позже других. Другим это ужасно не понравилось. И они сначала решили выгнать Кенгу и Ру из Леса. Но пока они их выгоняли, они с ними очень подружились. И тогда уже стало жалко их выгонять.

Когда Кристофер Робин хочет, чтобы папа рассказал ему сказку, он просит ее не для себя, а для Винни-Пуха: «Ему очень хочется». А когда Кристоферу Робину в восемнадцатой главе пришла пора уходить... туда... ну (он запинается, Кристофер Робин, говоря об этом с Винни-Пухом) туда, «где я уже не буду ничего не делать», где предстоит узнавать, «как Рыцарей посвящают, и какие товары мы получаем из Бразилии», — он прощается со своим плюшевым медвежонком, расставаясь с миром игры, фантазии, счастливого и такого насыщенного ничегонеделания («когда просто гуляешь, слушаешь то, чего никто не слышит, и ни о чем не заботишься», — объясняет Кристофер Робин). Прощается навсегда. Так ему кажется...

Итак, приключения Винни-Пуха, если верить первой главе, — это сказки, рассказанные Кристоферу Робину папой, возможно даже, с назидательной (в некоторых случаях) целью. Но сказкой там и не пахнет. Это серьезная книга, и в ней нет чудес, а происходит только то, что действительно может произойти с такими героями в меру их возможностей, по логике их ха-

ракторов и при условии, что все они друзья маленького мальчика и их жизнь — это его жизнь.

Характеры же героев очерчены в книге очень наглядно, и про каждого рассказаны разные вещи и истории, в которых эти характеры раскрываются. Ничего такого нет только про Кристофера Робина, но есть глухой намек (вы его все-таки уловите в конце концов), что Кристофер Робин — это во многих отношениях Винни-Пух (который много думает, любит сладкое, сочиняет песенки про себя и своих друзей и для всего может придумать серьезный повод);

безусловно в чем-то поросенок Пятачок (который часто многого боится, но если сказать ему, что он может оказаться полезным, то он так обрадуется, что способен совершить Великий Подвиг, как это и случилось);

наверняка наделен некоторыми особенностями Тигры (который ни на кого не насккивает, а просто такой прыгучий, и потом, когда дело доходит до еды, насчитывает слишком много вещей, которых Тигры не любят, и непонятно, говоря словами Винни-Пуха,

Что делать с бедным Тигрой,
Как нам его спасти?
Ведь тот, кто ничего не ест,
Не может и расти!
А он не ест ни меду,
Ни вкусных желудей —
Ну, ничего, чем кормят
Порядочных людей!);

и, возможно, бывает временами похож на меланхолического ослика Иа-Иа (который, в общем, чувствует, что все его любят, но если на него найдет, вздыхает, что «всем наплевать; никому нет дела», и испытывает особое мрачное удовольствие от этого «душераздирающего зрелища»).

Не все понимают, что можно быть деятельным и не делая ничего определенного. Деятельность — это особое состояние души, и на него расходуется столько же энергии, сколько на любое Дело. Если говорить об энергии, то у героев «Винни-Пуха» ее масса, и расходуют они ее очень щедро. То есть разумно, поскольку щедрость (никто не станет этого отрицать) — очень хорошее качество. Частично эту энергию поглощают «исспедиция» к Северному Полулюсу, операция по похищению Крошки Ру и укромному Тигры, строительство дома для Иа-Иа, но если ничего такого на сегодня не запланировано, Винни-Пух все равно

придумает что-нибудь на пригорке, специально предназначенном для таких раздумий. «Пух даже придумал специальный стишок про это место...

Здесь любит Медведь
Порой посидеть
И подумать:
«А чем бы такое заняться?»
Ведь он же — не Слон,
Поэтому он
Не может все время
Без дела слоняться!»

На худой конец, можно пойти навестить «всех-всех», например «потому, что сегодня четверг... и мы всех поздравим и пожелаем им Очень Приятного Четверга. Пошли, Пятачок!»

И они идут. Они проходят по страницам этой книги, классической для нескольких поколений англичан, и они пришли теперь к нам с помощью Бориса Заходера, что было не так-то просто, признается он в своем предисловии, «потому что и Винни Пух и все его друзья-приятели умели говорить только по-английски, а это очень-очень трудный язык, особенно для тех, кто его не знает».

Для работы, которую проделал Борис Заходер, мало было знать английский язык. Нужно было заставить звучать в самом себе ту особую интонацию Зачарованного Места, которую взрослые забывают как первые детские впечатления.

(«Они шли, думая о Том и о Сем, и постепенно они добрались до Зачарованного Места, которое называлось Капитанский Мостик, потому что оно было на самой вершине холма. Там росло шестьдесят с чем-то деревьев, и Кристофер Робин знал, что это место зачаровано, потому что никто не мог сосчитать, сколько тут деревьев — шестьдесят три или шестьдесят четыре, даже если привязывал к каждому сосчитанному дереву кусочек бечевки.»)

Зачарованное Место, где мы оставляем Кристофера Робина и Винни-Пуха, где мы оставили когда-то своих плюшевых медвежат и где мы «видели все-все на свете — во всяком случае до того самого места, где, как нам кажется, небо сходится с землей», — оно может исчезнуть вместе с ними, но может и остаться. Остаться не как приятное, но смутное воспоминание о наших первых годах, а как стойкое ощущение на всю жизнь, на все годы умных поступков и горьких недоумений, неизбежных страданий и не-

чайных радостей,— ощущение, которое не даст взрослому отдалиться от себя-ребенка и оглядываться на свое детство как на период первобытной дикости. С этим ощущением он не сможет уже относиться к Винни-Пуху менее серьезно, чем к Жану Кристофу или Дон Жуану, детский мир будет для него не игрушечным, а человеческим и человечным, со всеми последствиями, вытекающими отсюда для мирвосприятия в самых что ни на есть взрослых ситуациях. А для писателя, если он талантлив,— со всеми возможностями, вытекающими отсюда для создания настоящих книг, таких, как эта.

Итак, Кристофер Робин расстается с первой порой своего детства, расстается навсегда — так ему кажется. Он уходит, и медвежонок бежит за ним, но уже не попевает, как показано на картинке, заключающей книгу.

«Но куда бы они ни пришли и что бы ни случилось с ними по дороге — здесь, в Зачарованном Месте на вершине холма в Лесу,

маленький мальчик будет всегда, всегда играть со своим медвежонком».

Автор повести «Когда я снова стану маленьким», Януш Корчак, писал в предисловии к другой своей книге — «Король Матиуш Первый»: «Взрослые не должны читать мою повесть, так как в ней есть главы для них неподходящие, они не поймут их и будут высмеивать. Но если уж они непременно хотят, пусть попробуют...»

Попробуйте прочитать «Винни-Пуха». Возможно, вас поставит в тупик Пятнистый или Травоядный Щасвирнус или вы не до конца поймете, чем так уж особенно прекрасна мудрая фраза Пуха: «Мы поплывем в твоём зонтике», которая заставила Кристофера Робина вытаращить глаза и открыть рот,— но попробуйте. Винни-Пух проходит мимо; остановитесь поболтать с ним немного.

Эта книга для всех, у кого есть свое Зачарованное Место.

А. АСАРКАН.

★

Политика и наука

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Х. М. Фаталиев. Естественные науки и материально-производственная база общества. Редактор В. Винторова. Соцэргиз. М. 1960. 196 стр.

Мы, современники огромных достижений в различных областях естествознания, подчас не отдаем себе отчета в том все возрастающем влиянии, которое они оказывают на самые различные стороны нашей жизни.

У всех перед глазами нагляднейший пример выдающихся успехов советской науки и техники — полет в космос Юрия Гагарина, которому рукоплескал весь мир. Но далеко не все знают о тех важнейших процессах, которые исподволь, медленно, но всегда неуклонно изменяли и изменяют привычные явления общественной жизни. Эти процессы обеспечили прогресс человечества начиная с его первых робких шагов по овладению грозными силами природы и кончая нашими днями, ознаменовавшимися бурным расцветом естественных наук.

Вот как красочно отобразил этот длинный и трудный путь швейцарский инженер Г. Эйхельсберг в своей книге «Человек и техника». Представив пройденный за шестьсот тысяч лет человечеством путь в виде шестидесятикилометровой дистанции, он пи-

шет: «...Только в самом конце, после 58—59 километров мы находим наряду с первобытным оружием пещерные рисунки, как первые признаки культуры, и только на последнем километре пути появляется все больше признаков земледелия.. За 100 метров до финиша наших бегунов обступают средневековые городские строения... Осталось только 10 метров! Они начинаются при свете факелов и скудном освещении масляных ламп. Но при броске на последних пяти метрах происходит ошеломляющее чудо: свет заливает ночную дорогу, повозки без тяглового скота мчатся мимо, машины шумят в воздухе, и пораженный бегун ослеплен светом прожекторов репортеров, радио и телевидения...»

За последние шестьдесят лет коренным образом изменился удельный вес различных видов труда: непосредственно ручной физический труд теперь составляет всего три процента, труд животных — один процент, а машинный труд — девяносто шесть процентов. Соответственно выросли производи-

тельность труда и объем создаваемой продукции.

Огромные преобразования, постепенно захватывая все новые и новые области, вызывают необходимость глубокого изучения вопросов взаимодействия науки и производства, значения естествознания для технического прогресса.

Осветить эти проблемы попытался талантливый советский физик и философ Х. М. Фаталиев в своей книге «Естественные науки и материально-производственная база общества». Большой научно-исторический материал осмысливается автором с передовых позиций материалистической диалектики.

Правомерным и логически обоснованным представляется метод последовательного, конкретно-исторического анализа роли естественных наук на различных ступенях развития общества. Перед читателем раскрывается закономерность непрерывного повышения роли естествознания в жизни людей в связи с поступательным развитием производительных сил общества. «Производительная деятельность человека, его разнообразные потребности,— говорится в книге,— выдвигают необходимость углубления и расширения знаний о природе... Противоречие между непрерывно растущими потребностями общества и достигнутым уровнем знаний служит постоянно действующим стимулом развития науки, ее движущей силой».

Это положение, вытекающее из основных принципов марксизма-ленинизма и принятое автором как исходное, при критическом сравнении с другими, немарксистскими, взглядами обогащается все более точными и тонкими доказательствами.

Общеизвестно, что современные философские течения по-разному объясняют происхождение науки, ее роль в настоящем и будущем, связь теории и практики. И вот что примечательно. Чем значительнее успехи физики, космогонии, химии и других областей естествознания, тем очевиднее тугодумие примитивного материализма, декларирующего: наука зависит от производства; все, что сверх этого,— идеализм. И тем заметнее фальшь идеалистических концепций, воспевающих главенствующую роль «свободного духа познания» выдающихся творцов науки.

В знакомых советскому читателю научно-популярных книгах американских авторов Р. Юнга «Ярче тысячи солнц», и Р. Лэппа

«Атомы и люди» так же, как и во многих других буржуазных изданиях, фетишизируются научные открытия, а крупные исследователи изображаются настоящими полубогами, во власти которых казнить или миловать человечество, открыть или «закрыть» неизвестное.

Отрывая достижения отдельных исследователей от производства и общественного прогресса, идеалисты ставят под сомнение объективность научных знаний, их достоверность. Более того, вся система законов и принципов науки низводится ими до уровня субъективных оценок, предположений и гипотез. Например, в качестве одного из выводов теории относительности некоторые идеалистически настроенные физики провозгласили принципиальное равноправие гелиоцентрической системы Коперника и геоцентрического учения Птолемея! Американский неопозитивист Ф. Франк в книге «Философия науки» прямо заявляет, что ни одно положение науки не может быть доказано или опровергнуто. «Наука,— пишет он,— похожа на детективный рассказ. Все факты подтверждают определенную гипотезу, но правильной оказывается в конце концов совершенно другая гипотеза».

Этим точкам зрения — примитивно материалистической и идеалистической, с их извращенным и односторонним пониманием сути науки и ее многогранных связей с практикой, философией, обществом,— противостоит диалектико-материалистическое понимание проблемы.

Наука XX века, в особенности физика, является важнейшим источником коренных технических преобразований. Именно вслед за успехами физики атомного ядра разветвляются целые отрасли промышленного производства.

Как замечает президент Академии наук СССР академик М. В. Келдыш, «...научные исследования неоднократно приводили к решающим сдвигам в развитии народного хозяйства, к созданию новых отраслей техники. Такие поворотные моменты обычно связаны с установлением естественными науками новых закономерностей и открытием новых явлений природы». Не случайно ученые говорят: наука сегодняшнего дня — это техника завтрашнего.

Х. М. Фаталиев в своей работе подчеркивает, что диалектический материализм несовместим с мелким практицизмом, с недооценкой теоретического мышления. Только

заведомые недруги творческого марксизма могут абсолютизировать практику, низводить науку до положения ее исполнительской служанки.

Науке присуща внутренняя логика развития, преемственность идей и теорий, взаимное влияние различных ее областей. Она обладает огромными возможностями точного предвидения и по существу становится разведчиком будущего. В своем поступательном движении естественные науки постоянно выходят за пределы непосредственно практических потребностей сегодняшнего дня, устремляясь вперед.

На состоявшемся в июне этого года Всесоюзном совещании научных работников выдвигалось — как важнейшее — положение о том, что техника должна опережать развитие промышленности, а естественные науки — опережать и обгонять развитие техники. В рецензируемой книге эти идеи формулируются так: «Отношения между естественными науками и общественным производством носят характер взаимодействия, в котором производство играет роль материальной основы этих наук, главной движущей силы, а естественные науки обретают силу обратного влияния, освещая пути прогресса

производства, и становятся тем самым необходимым условием этого прогресса».

Естественные науки в силу собственной активности оказывают значительное воздействие на развитие техники, производительных сил и других процессов общественной жизни. Однако, пишет автор, научный прогресс наступил не вместо технического прогресса, а вместе, в непосредственной связи с ним.

Заключительные главы книги посвящены обоснованию важного вывода о том, что неуклонный подъем естественных наук немислим не только без всеохватывающего технического прогресса, но и без постоянного роста культурно-технического уровня трудящихся, без делового сотрудничества работников науки и производства.

К сожалению, безвременная смерть прервала научно-исследовательскую работу Х. М. Фаталиева. Настоящая его книга, как и несколько других, опубликована посмертно. Поэтому не все в ней завершено. Но и то, что сделано, достойно внимания самого взыскательного читателя.

М. СЛУЦКИЙ,

кандидат философских наук.

★

КНИГА О КУРСКОМ ЖЕЛЕЗЕ

Валентин Рич, Михаил Черненко. Третий полюс. Ответственный редактор Н. М. Беркова. Детгиз. М. 1960. 160 стр.

Эта книга представляет собой своеобразный рассказ о путешествии по Магнитной Земле, о том, что уже было или есть на самом деле.

Великий «железный клад» — это Курская магнитная аномалия, или, сокращенно, КМА. Запасы этого крупнейшего железорудного бассейна почти в три раза превышают остальные учтенные запасы железных руд на всем земном шаре. Между тем почти столетие история КМА представляла до последнего времени, по выражению покойного академика И. М. Губкина, «историю борьбы с косностью и консерватизмом».

«Странное» поведение магнитной стрелки в районе Курска впервые обнаружил академик П. Б. Иноходцев еще в 1783 году. Но только в конце прошлого и в начале нынешнего века на Курской магнитной аномалии были проведены первые съемки. Они

показали, что здесь залегают несметные запасы железных руд. Однако выводы эти были встречены в штыки официальной геологической наукой того времени.

Первый образец железной руды на КМА извлекли советские люди в очень трудное для страны время — в 1923 году — по прямому указанию В. И. Ленина. «Дело это надо вести сугубо энергично», — писал Владимир Ильич руководителю Госплана Г. М. Кржижановскому. Рабочим Курска, добывшим первую руду, посвятил поэму Владимир Маяковский. Ввиду ряда обстоятельств потребовалось три с половиной десятилетия, пока первенец промышленного освоения этого богатейшего бассейна — Южно-Коробковский рудник — вступил, в апреле 1959 года, в строй действующих предприятий страны.

На громадной территории в сто двадцать тысяч квадратных километров (здесь уме-

стилось бы четыре таких государства, как Голландия) обнаружены десятки месторождений руды, общие запасы которой, по еще далеко не полным сведениям, выражаются (в тоннах) числом с двенадцатью нулями. В течение сотен лет этот уникальный бассейн может ежегодно снабжать нашу металлургию сырьем в количестве, превышающем сегодняшней объем добычи железной руды в США.

Однако на пути освоения КМА стоят колоссальные трудности технического и экономического характера. Они обусловлены в первую очередь глубиной залегания наиболее богатых и значительных по масштабам месторождений (во многих случаях более полукилометра от поверхности земли) и чрезвычайной сложностью геологической обстановки. Дело в том, что богатства КМА скрыты под толщами водонасыщенных пород и пльвунов, преодоление которых технически очень трудно и сопряжено с затратой огромных средств.

И все же эти трудности успешно преодолеваются. На состоявшемся недавно в Кремле Всесоюзном совещании научных работников президент Академии наук СССР академик М. В. Келдыш и первый заместитель Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгин в ряду выдающихся достижений советской науки назвали создание новой гигантской металлургической базы на КМА.

В книге В. Рича и М. Черненко во многом поучительная история Курской магнитной аномалии находит лишь некоторое отражение. Главную свою задачу авторы видят в том, чтобы интересно рассказать молодому читателю о сегодняшней КМА и о реальной подготовке ее чудесного завтра.

В книге говорится о многих достижениях современной горной техники — о гигантских машинах, о механизированных карьерах под землей, об автоматическом управлении и телевизионном контроле на подземных рудниках. Обнаруживая хорошее знакомство с современным горным делом, авторы сосредоточивают внимание на наиболее важных вопросах, в том числе на таких, по которым среди специалистов ныне идут острые дискуссии. Касаясь спорных проблем, авторы ведут изложение тактично, не допуская скороспелых обобщений и категорических выводов, которыми грешат иные литераторы в подобных случаях.

Просто и занимательно рассказывать ребятам о «сухих материях» — дело очень не легкое. Авторам это удастся. Вот, например, они разъясняют то, что на языке специалистов формулируется как принципиальная целесообразность поточного процесса при экскавации: «Собственно говоря, экскаватор орудует рукоятью с ковшом точно так же, как обыкновенный землекоп обыкновенной лопатой. Большая и сильная машина, «механическая лопата», не столько работает, сколько «раскачивается». В самом деле, чтобы зачерпнуть ковшом землю, нужно всего несколько секунд. Чтобы высыпать ее в кузов — и того меньше. А на повороты, развороты уходит чуть ли не целая минута... Неужели нельзя построить более разумную землеройную машину? Неужели она обязательно должна подражать движениям человека-землекопа? Ведь самолет не машет крыльями, как его пернатые товарищи по воздушному океану!»

Курская магнитная аномалия являет собой поистине удивительную картину овладения человеком богатствами недр земли, успешной борьбы с грозными силами стихии. Достаточно сказать, что при строительстве Лебединского карьера под городом Губкином пришлось откачать из-под земли многие миллионы кубометров воды и — впервые в практике строительства горных предприятий — пустить работать в карьер... плавучие земснаряды.

Недалек день, когда будет вскрыто крупнейшее в мире Яковлевское месторождение под Белгородом. Его масштабы таковы, что один Яковлевский рудник будет давать столько руды, сколько добывают за год в таких крупных железнорудных странах капиталистического мира, как Швеция или Канада.

Несомненно воспитательное значение книги. Запомнятся яркие примеры мужества горняков — при борьбе с прорывом подземных вод, при ликвидации аварии в глубокой скважине и другие.

«Многие из вас, — заключают авторы свой разговор с юными читателями, — будут искать и находить новые клады, запрятанные природой на необъятных просторах нашей Родины. Другие придут на легендарную Курскую землю. Они станут повелевать невиданным машинами в безлюдных подземельях шахт и гигантских кратерах карьеров... И кто-то из нас напишет новые главы

неоконченного нами рассказа о Великом Кладе».

Читая литературное произведение, написанное на материале твоей специальности, невольно особенно придирчиво следишь за правильностью изложения близких тебе вопросов. Должен сказать, что в этом отношении авторы оказались на высоте и упрекнуть их можно разве лишь в отдельных неточностях. Так, не вполне правильно охарактеризовано влияние глубины скважин на скорость бурения; односторонне, хотя и многословно, трактуется выбор между открытым и подземным способами разработки. В последней главе явно переоцениваются некоторые методы разрушения горных пород. Известный изобретатель погружных перфораторов инженер А. Сидоренко переименован в Федоренко.

Скуповатым оказался рассказ о научных поисках новых способов проходки горных

выработок на КМА (замораживание на больших глубинах) и более совершенных систем разработки, а также о научном подвиге профессора Московского университета Эрнеста Егоровича Лейста и трагедии этого ученого-энтузиаста, дерзнувшего пойти наперекор выводам официальной геологической науки своего времени и вложившего громадный труд в разведку КМА.

Книга В. Рича и М. Черненко с интересом и пользой будет прочтена не только школьниками. Освоению того величайшего железорудного сокровища, которое, по выражению Маяковского, «запраталось в сердце России, под Курск», отведено в программе строительства коммунизма в нашей стране большое место. Поэтому широкая популярность КМА сейчас особенно своевременна и важна.

Л. БАРОН,

профессор, доктор технических наук.

★

ЗА КУЛИСАМИ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ

В. А. Матвеев. Империя Флит-стрит (Современная пресса Англии). Редактор Г. Вербицкий. Госполитиздат. М. 1961. 304 стр.

Мирное сосуществование государств с различными социально-экономическими системами — вот основная задача внешней политики миролюбивых народов. Важнейшим путем к этому является взаимопонимание, создающее прочную связь между народами и содействующее их сближению. Одним из самых действенных средств, облегчающих взаимопонимание, служит периодическая печать. Она может играть, однако, и крайне отрицательную роль, если создает атмосферу недоверия и содействует не сближению народов, а их разъединению.

С этой точки зрения миролюбивым народам, сторонникам мирного сосуществования, важно знать, что представляет собой печать той или другой страны, знать структуру прессы, знать, чьим интересам служат разные газеты, кто является их собственником в капиталистическом государстве. Ведь в идеологической борьбе газетам принадлежит большое и ответственное место. И если политика мира наталкивается на препятствия, на сопротивление, то вина в немалой степени лежит на влиятельной в капиталистическом мире прессе. Во многих случаях она не только не хочет понять того, что происходит в подлинно демократических

странах, но и сознательно извращает положение вещей, чтобы помешать народным массам узнать и правильно оценить внутреннее положение в тех или иных странах и внешнюю политику миролюбивых народов, в особенности же народов социалистического лагеря.

Книга В. А. Матвеева «Империя Флит-стрит» интересна и полезна. Она помогает нам понять, почему английская буржуазная печать, имеющая богатую историю, отнюдь не стремится содействовать взаимопониманию народов. Автор хорошо знает английскую печать, собрал богатый материал о ней, дает живое представление не только о характере разных газет, но и о хозяевах печати, которые направляют деятельность газет и газетных агентств. Следуя за автором, мы проникаем за кулисы английской печати. Знакомясь с источниками, их питающими, мы попадаем не только в кабинеты издателей и редакторов, но и в крупнейшие банки Англии. Пред нами открывается теснейшая связь между финансовой олигархией Англии и газетами, которые служат «духовной пищей» для самых широких народных масс.

Флит-стрит — сравнительно небольшая

улица в Сити, деловом центре Лондона. Днем в Сити царит шумное оживление. Здесь сосредоточены биржи, банки, универмаги, конторы, коммерческие агентства. Здесь властвует безгранично и самодержавно финансовый капитал. Вечером Сити как будто вымирает. На улицах пусто, безлюдно. В домах меркнет свет. И только Флит-стрит живет круглые сутки напряженной и хлопотливой жизнью. Тут не прекращается суета. Снуют машины и люди. В ночных кафе много посетителей. В большинстве своем это работники печати; Флит-стрит — это улица печати. В каждом доме — редакция. Отсюда миллионы экземпляров газет расходятся по всему Лондону, по Англии и за ее пределы. С полным основанием автор книги называет английскую печать «Империей Флит-стрит».

У этой империи двойственный характер. С одной стороны, печать стала крупнейшей отраслью британской промышленности. В нее вложены многомиллионные капиталы, и дает она сверхвысокие прибыли. Она подчиняется всем законам капиталистической конкуренции и концентрации. Сильнейшие концерны поглотили более слабых соперников, подчинили себе провинциальную прессу. Индивидуальный издатель перевелся в Англии, а отдельные компании сливаются в более крупные объединения. Концерны еще сохраняют по традиции собственные имена бывших владельцев. Есть газетные концерны Нортклиффа, Бивербрука, Берн, Сесия Кинга, но за этими газетными фирмами стоят владельцы обезличенных контрольных пакетов акций, в некоторых случаях семейства бывших «пресслордов». Борьба между отдельными газетными концернами не прекращается, и число газет непрерывно сокращается, в то время как тиражи растут.

По общему для капитализма правилу газетные объединения не ограничиваются одним лишь выпуском газет и журналов. Капитал проникает и в другие отрасли промышленности, прежде всего в связанные с печатью общим процессом производства. Издательства являются собственниками бумажных фабрик и лесных участков. Лондонским газетным компаниям принадлежат обширные лесные площади в Канаде и в других странах. В поисках наиболее выгодного помещения капитала газетные компании становятся владельцами и таких предприятий, которые к печати никакого

отношения не имеют, — например, алмазные копи, рудники, машиностроительные заводы и так далее. Подчас печать переплетается и с банками, которые играют весьма значительную, а порой и руководящую роль в развитии газетного дела.

Такова одна черта газетной промышленности, общая для всех капиталистических предприятий. Но есть и другая черта. Товар, который изготавливается и выпускается на рынок буржуазной печатью, — это товар особого свойства, идеологический товар. Он служит задачам пропаганды. Буржуазная печать в целом — это огромная пропагандистская машина на службе у господствующего класса. Между собственниками — хозяевами этой машины — идет жестокая конкурентная борьба за прибыли, за рынок. Но в защите интересов буржуазии они преследуют одну общую задачу: охрану существующего капиталистического порядка.

Английские политики и буржуазные публицисты рекламируют «свободу печати», которая якобы существует издавна в их стране и охраняется конституцией. Нам говорят, что в Англии издаются газеты разными партиями, разных направлений, будто бы совершенно свободные в высказывании своих политических и социальных взглядов. Но эта реклама ничего общего не имеет с действительностью и лишь бесстыдно извращает смысл понятия «свобода».

На первый взгляд, действительно может показаться, будто в газетном мире Англии существует разнообразие и почти каждая большая газета имеет свой особый политический опыт. Есть газеты, которые называют себя консервативными и поддерживают правящую партию. Есть газеты либерального направления. Есть большая газета «Дейли геральд», которая именуется газетой лейбористов. И есть самая большая, самая влиятельная газета английской буржуазии — «Таймс», которая официально не принадлежит никакой партии и поддерживает то правительство, которое находится у власти. Автор книги подробно останавливается на каждой из крупных, ведущих газет и дает выразительную характеристику их содержанию, структуре, литературному стилю. Этот анализ приводит к бесспорному заключению, что при разнообразии оттенков у них всех одно и то же политическое лицо. Все они являются органами одной партии — партии

капиталистического порядка. Все они глубоко враждебны социализму и сколько-нибудь крупным социальным реформам.

Некоторые из этих газет обслуживают крупную буржуазию Англии, те круги, которые имеют более или менее близкое отношение к промышленным и финансовым монополиям и к аппарату правительственной власти. Эти круги издавна славятся лицемерием, ханжеством, снобизмом. Внешняя респектабельность является их стилем в политике и в быту. Они «джентльмены», и самые подлые, самые грязные дела совершают не иначе как в белых перчатках. Таковы и их газеты.

Совершенно иной характер носят газеты с самым большим тиражом, обслуживающие многомиллионные массы читателей. Эти газеты шумны, крикливы, непристойны. Они сознательно и рассчитанно порвали со всяким джентльменством, отталкивая вульгарны, играют на самых низменных чувствах своего потребителя.

Но и газетные джентльмены и газетные гангстеры сходятся на одном: на защите капитализма, империализма, колониализма. В общем, это чернильная армия «холодной войны». Они не только не хотят понять новые, социальные процессы, происходящие на земном шаре, но и всеми силами стараются помешать тому, чтобы эти процессы стали понятны народным массам.

Книга «Империя Флит-стрит» — правдиво и со знанием дела нарисованная картина громадной пропагандистской машины, действующей по указаниям и под руководством самых реакционных верхов империалистической буржуазии. Зло, причиняемое этой печатью, очевидно. Но самая опасная сторона заключается даже не в том, что эта печать служит реакции, а в том, что она создала и глубоко вкоренила в навыки и вкусы читательской массы особое представление о газете. Честной, идейной газете, которая выражает интересы рабочих масс, очень трудно пробить для себя путь к рабочему читателю.

Газета «Дейли уоркер», орган Коммунистической партии Англии, ведет героическую борьбу в весьма трудных условиях. Тираж ее крайне незначителен. Редакция не располагает достаточными средствами и в основном существует за счет добровольных пожертвований. Газета, ее сотрудники, ее читатели подвергаются политическим преследованиям, а буржуазные предприятия по

распространению печати отказываются продавать и пересылают коммунистическую прессу.

В то же время буржуазные газеты получают огромные доходы и от больших тиражей и от коммерческих объявлений, занимающих иногда больше половины всего номера. Это дает возможность выпускать номера газет в десять, двенадцать, даже в двадцать страниц и наполнять их обширным «развлекательным» материалом — подробной информацией об убийствах, грабежах, великосветских скандалах, сплетнях об интимной жизни известных артистов. Используя обывательские, мещанские вкусы, капиталистическая газета стремится отвлечь рабочих от политических вопросов и помешать развитию их классового сознания.

Жизнь, однако, не стоит на одном месте. Грандиозные социальные перемены, происходящие в современном мире, отразились и на положении и на роли английской капиталистической прессы. Она тоже захвачена общим политическим кризисом капитализма. Крушение колониализма влечет за собой крупнейшие последствия и для английской печати, поскольку колониальная политика разбоя является одной из основ социально-политического мировоззрения.

Сильнейшим образом сократилась и продолжает сокращаться область распространения и влияния английской буржуазной печати. Еще полвека назад эта печать обладала монополией на всех континентах. Империя Флит-стрит прямо или косвенно владела мировым газетным рынком. Во всех, например, крупных городах Китая издавались английские газеты. Так же было и в Индии. Если в Африке английские газеты имели сравнительно небольшое распространение, то только по той причине, что население этого огромного материка было сплошь неграмотно. Ныне больше нет мировой империи Флит-стрит. В Китайской Народной Республике давно уже ликвидирована вся капиталистическая печать. Африка уже больше не страна рабов. В освободившихся от колониальной зависимости странах растет грамотность населения, в новых республиках возникают газеты, но это больше не газеты колонизаторов. Уже в настоящее время свыше одного миллиарда человек вышло из-под влияния капиталистической лживой информации. Распростране-

ние капиталистической печати запрещено в свободных странах, так же как и международная преступная торговля наркотиками.

Соответственно изменилось и положение капиталистической печати. Она не может уже лгать безнаказанно, пользуясь своей монополией. Выросла и превзошла ее по своему влиянию печать социалистического лагеря и демократических, миролюбивых государств. Всякая бесчестная выдумка буржуазных газет, имеющая своей целью поддержать «холодную войну», тут же разоблачается. Реакционные газеты вынуждены соблюдать некоторую осторожность, изворачиваться, маневрировать. Они это делают в большинстве случаев неуклюже и сами себя выдают.

Классовые противоречия пронизывают всю толщу английского народа. Как ни стараются буржуазные газеты, проповедуя социальный мир и классовую гармонию, скрыть и замазать эти противоречия, они все больше обостряются. Рабочий класс сознает, что «прогнило нечто в британском королевстве». Тревогу и неуверенность ощущает и правящая буржуазия. Усиливающаяся безработица составляет неразрешимую для капитализма проблему. Гонка вооружений подрывает и без того невысокий жизненный уровень трудящихся. Хозяиничанье вооруженных сил США и Западной Германии на территории Англии красноречивее всяких слов говорит о том, что страна с большим трудом сохраняет положение могущественной державы. Эти вопросы беспокоят каждого англичанина, но он тщетно искал бы ответа в тех газетах, которые ежедневно читает. Буржуазная печать всех направлений боится даже ставить эти вопросы.

Уже около пятидесяти лет английские газеты всех буржуазных оттенков внушают читателям, что капиталистический порядок — это единственно возможный и лучший в мире социальный порядок; что социализм практически не осуществим и что он угрожает цивилизации и культуре; что всякое строительство в СССР осуждено на провал. А между тем жизнь наглядно показывает, что первое в мире социалистическое государство стало великой державой и во время второй мировой войны разгромило фашистскую Германию, перед которой склонились наиболее сильные капиталистические правительства. Мало того, после войны возник целый ряд социалистических го-

сударств, которые вместе с Советским Союзом образуют мощный социалистический лагерь. Тщетно стал бы английский рядовой читатель требовать от буржуазных органов печати объяснений, как и почему это вышло.

Распространение буржуазной печати не находится ни в каком соответствии с ее влиянием. Читатель большой английской газеты привык к ней, но он ее не уважает и не доверяет ей. В этом отношении печать старого типа, капиталистическая печать, не имеет ничего общего с печатью нового типа, социалистической. Наша печать объединяет и сплавливает читателей. Она играет активную политическую роль и преследует задачу повышать сознательность народа. А печать, представленная империей Флит-стрит, напротив, хуже всего боится сознательности читателя. Можно сказать с уверенностью, что эта газетная империя так же теряет свою популярность в стране, как потеряла ее за пределами Англии.

В течение ряда лет империя Флит-стрит не признавала успехов социалистического строительства и замалчивала их, полагаясь на свою монополию. Но факты проложили путь истине. Народы узнают правду вопреки всем попыткам буржуазной печати. Пропагандистам «холодной войны» приходится менять свою тактику. Они больше не замалчивают успехов социализма и вынуждены сообщать своим читателям о реальности социалистических народнохозяйственных планов, об успехах семилетнего плана СССР, об экономическом соревновании между СССР и США, о том, что Советский Союз выходит на первое место в мире по объему своего производства.

Враждебная нам печать вынуждена была признать, что в области науки и техники Советский Союз уже опередил самую сильную капиталистическую державу — Соединенные Штаты Америки. Не под силу было империи Флит-стрит замолчать подвиг первого советского космонавта. Правда, всякое такое признание капиталистическая печать сопровождает истерическими криками о «коммунистической угрозе» миру со стороны Советского Союза и стран народной демократии. Эта истерика преследует все ту же цель — продлить возможно дольше «холодную войну».

Во всем мире идет борьба, в том числе и газетная, между поджигателями войны и сторонниками мира и дружбы народов. Кле-

вета воюет против правды. Было бы неосторожно с нашей стороны недооценивать силу клеветы, силу Флит-стрит. Еще действует старое правило: клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется. «Что-нибудь» и остается, но оно сгивается все меньше. Правда бьет клевету. Народы в подавляющем своем большинстве не верят газетным клеветникам. Авторитет Советского Союза как миролюбивой державы непреодолимо крепок. Глава Советского правительства Никита Сергеевич Хрущев всюду на всем земном шаре приобрел славу настоящего, непримиримого борца за мир. В Англии народ встречал Никиту Сергеевича так, как если бы никогда не читал английских буржуазных газет. А газеты вынуждены были, хотя и с оговорками, отражать подлинные чувства простых англичан к советской ми-

ролюбивой державе. Сильна английская пропагандистская машина, но устарел ее механизм, проржавели ее пружины и колеса. Подгнили социальные основы, на которых она еще держится. Выросла в мире новая сила — молодая, полная жизни и энергии, сила честного и правдивого социалистического слова. И как бы ни старались империя Флит-стрит и другие подобные ей империи помешать росту взаимопонимания народов, не в их власти воспрепятствовать этому. Социализм показал свое превосходство над капитализмом, Правда социализма сильнее капиталистической лжи.

Таковы непреложные выводы, которые читатель сделает из хорошо аргументированной и богатой фактами книги В. А. Матвеева.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

★

ВСЕВЛАСТНЫЕ МОНОПОЛИИ США

Вал. Зорин. *Монополии и политика США*. Редактор Н. М. Никольский. Издательство Института международных отношений. М. 1960. 424 стр.

В книге рассматривается период пребывания у власти в Соединенных Штатах республиканской партии — с 1953 по 1960 год. Однако работа В. Зорина может служить ценным пособием для изучения Америки и сейчас, после прихода к власти президента Джона Кеннеди. Большой и оригинальный фактический материал, собранный автором, остается актуальным и раскрывает движущие пружины политического курса нового правительства.

Политическая жизнь США характеризуется наличием «двухпартийной системы». Обе крупнейшие буржуазные партии — республиканская и демократическая — одинаково тесно связаны с монополистическим капиталом, в равной степени выражают его интересы. И та и другая верой и правдой служат Морганам, Рокфеллерам, Кун-Лебам и Дюпонам. «В течение двадцати лет еще ни одно правительство, — писал американский журналист Дрю Пирсон, — будь то демократическое или республиканское, не обходилось без представителей одной из трех главных фирм Уолл-стрита: «Диллон Рид энд К°», «Браун бразерс, Гарриман энд К°» и «Чейз Манхэттен бэнк». Как в прежней администрации, так и в назначенной Кеннеди после вступления на пост президента, руководящие посты занимают вла-

дельцы концернов, ворочающие миллиардами и наживающиеся на гонке вооружений. В этом — объяснение преемственности внутренней и внешней политики, независимо от партийной принадлежности правительства.

Автор дает характеристику монополистических групп и объединений, крупнейших банков и страховых компаний страны. Это в первую очередь уолл-стритовское, или северо-восточное, финансово-промышленное региональное объединение. В него входит всемогущая империя Морганов, контролирующая активы, достигшие огромной суммы — свыше шестидесяти пяти миллиардов долларов, что составляет четверть всех капиталов корпораций США. Центр империи Морганов — финансовая компания «Морган Дж. П. энд компанн». Группа Морганов осуществляет прямой контроль над пятью крупнейшими банками США, тридцатью двумя промышленными корпорациями, среди которых такие мощные, как «Юнайтед Стейтс стил» и «Дженерал электрик». Под контролем моргановской группы находятся тринадцать железных дорог, три гигантские страховые компании, четырнадцать коммунальных предприятий. Компания держит в своих руках важнейшие позиции в области капиталовложений за пределами США. Основные интересы морганов-

ской группы сосредоточены в Европе — в Англии, Франции и Западной Германии. Не удивительно, что американский капитал заинтересован в возрождении западногерманской военной промышленности — он связан тесными узами с пушечными королями ФРГ.

Следующая по влиянию и могуществу империя — Рокфеллеров — контролирует капитал, превышающий шестьдесят один миллиард долларов. Через «семейные» компании — «Рокфеллер фэмбли ассошиешн» и «Рокфеллер бразерс инкорпорейтед» — они контролируют второй по величине банк в США «Чейз Манхэттен бэнк», шесть крупнейших нефтяных компаний во главе со «Стандард ойл оф Нью-Джерси», несколько десятков компаний горнорудной, химической и обрабатывающей промышленности. Основные капиталовложения Рокфеллеров размещены в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Можно дополнить сведения, приведенные автором, фактами, относящимися к нынешним дням. Государственный секретарь в правительстве Кеннеди Дин Раск — председатель Рокфеллеровского фонда, человек Рокфеллеров. Глава нового Управления по разоружению при госдепартаменте Джон Макклой также ставленник этой династии — он председатель правления банка «Чейз Манхэттен». Надо ли пояснять, что Макклой, представляющий интересы банка, который финансирует крупнейшие военные концерны, меньше всего заинтересован в разоружении?

Не уступает Рокфеллерам семейная группа Дюпонов. Ей принадлежат крупнейшие химические предприятия, автомобильные заводы, входящие в концерны «Дюпон де Немур энд компани», «Дженерал моторз аксептанс корпорейшн», «Юнайтед Стейтс раббер компани», «Нэшнл бэнк оф Детройт» и другие. В нынешнем правительстве немало людей, связанных с Дюпонами.

Меллоны — самые видные банкиры-ростовщики. Основа их могущества — ключевые позиции в алюминиевой и немаловажные в нефтяной промышленности. Они обладают значительной долей акций в компании, эксплуатирующей нефтяные запасы Ирана. Меллоны тесно связаны с Рокфеллерами и, таким образом, люди Рокфеллеров — это их люди.

Банковская фирма «Диллон Рид энд компани» имеет в нынешнем правительстве

влиятельнейшего человека. Министр финансов США Дуглас Диллон — глава этой фирмы — один из богатейших людей Америки. Журнал «Форчун» весьма образно назвал нового министра финансов «Диллон-доллар». Финансовая деятельность диллоновских банкиров не ограничивается экономическим проникновением в Азии и на Ближнем Востоке тем, что Диллоны, как сказал американский конгрессмен Бертли К. Крум, «купаются в нефти». Дуглас Диллон «диктует» политику точно так же, как диктовали его предшественники Эйзенхауэру.

В книге «Монополии и политика США» приведены любопытные данные о деятельности, капиталах и влиянии империи Форда. Нынешний министр обороны США Роберт Стрейндж Макнамара, которому Кеннеди доверил военную политику страны, — босс Пентагона, человек Форда. Он долгие годы возглавлял отдел планирования и финансового контроля, а затем стал крупным акционером фирмы Форда, производящей, помимо автомобилей, все виды современного оружия. Недаром его приход к власти был отмечен такими мероприятиями, как расширение программы производства баллистических ракет и строительства подводных лодок с ракетами «Поларис».

Всевластные американские монополии, как и при республиканцах, тесно переплетены с правящими кругами. Морской министр США Джон Б. Коннэли-младший близок к нефтяному королю из Техаса Сиду Ричардсону; Юджин Цуккерт, министр авиации, — друг и компаньон сенатора В. Стюарта, занимающего ведущий пост в министерстве финансов. Известно, что сам президент Кеннеди и его родственники, назначенные на видные посты в правительстве, — крупные миллионеры.

В. Зорин рассказывает о борьбе монополий за овладение важнейшими источниками сырья — урана и плутония, о союзах, заключаемых в этой конкурентной борьбе, о соперничестве в области банковского дела. Ряд страниц посвящен темным махинациям, направленным к получению крупных правительственных заказов на вооружение. «Для монополий, находящихся за кулисами, — пишет автор, — исход этой борьбы имел огромное значение. Правительственный заказ на производство ракет — это многомиллионные ассигнования на научно-исследова-

тельские работы, на строительство специальных предприятий. Но главное — монополиям, получившим этот заказ, обеспечен гарантированный сбыт продукции, причем по максимально выгодным и не зависящим от конъюнктуры ценам».

В книге даны подробные характеристики двух основных партий американского капитала и показано, как попеременное их пребывание у власти позволяет правящим кругам создать видимость «демократии». На самом же деле борьба между республиканцами и демократами — это лишь борьба за власть, за выгодные места в правительственном аппарате, за влияние на внешнюю и внутреннюю политику государства. Обе партии защищают интересы крупного капитала, но в острые периоды предвыборных кампаний они апеллируют к разным группам населения, к различным социальным слоям. Руководство республиканской партии не считает нужным особенно маскировать свои связи с крупным капиталом. Руководство демократической партии тщательно прячет эти связи, прибегает к социальной демагогии, выдает себя за «защитницу интересов маленького человека», но в то же время сотрудничает с реакционным руководством профсоюзов. Все это — не более чем тактика, прикрывающая единую классовую сущность обеих партий.

Пребывание миллиардеров в министерских креслах давно уже стало обычным в политической жизни США. Крупный капитал придает огромное значение непосредственному захвату монополистами государственного аппарата, проникновению во все его звенья, во все ключевые позиции. «Следует отметить, — пишет автор, — что в отношении поста министра обороны в Вашингтоне сложилась своеобразная «традиция». За единственным исключением, назначение на этот пост в предвоенные годы получают лишь видные бизнесмены, представляющие крупные промышленные компании».

Глава «Политика миллиардеров и для миллиардеров» анализирует характер деятельности крупных капиталистов, цепко

удерживающих власть в стране. Бюджеты, налоговая система, косвенные налоги — все это служит интересам небольшой группы богачей. С каждым годом падают реальная заработная плата рабочих и доходы фермеров. Вопреки заверениям буржуазной пропаганды о том, будто занятость в военной промышленности гарантирует от безработицы, непрерывно растет число людей, которые не могут найти работу. Наступление на рабочий класс идет непрестанно, независимо от того, кто находится у власти — республиканцы или демократы.

Правительство республиканской партии пришло к власти в 1952 году, прикрывшись в ходе избирательной кампании лозунгами защиты мира и процветания. Американцы поверили в это потому, что накануне выборов, после серьезных военных неудач и под влиянием бурных протестов общественности, правящие круги США были вынуждены прекратить войну в Корее. Но семь лет пребывания у власти республиканцев убедили народ, что они и не собирались отказываться от политики военных авантюров. Сколачивание военных блоков и непрекращающаяся гонка вооружений, эпизоды с самолетами «У-2» и «РБ-47» привели к падению престижа республиканцев и вызвали глубокое разочарование в Америке.

Реакционная политика внутри страны вызвала бурный рост забастовочного движения в США. В книге приведены данные о крупнейших стачках, которые из борьбы за экономические требования перерастают в борьбу против подготовки войны, против гонки вооружений, против авантюристической политики правительства.

В. Зорин показывает движущие пружины политики республиканцев. По существу то же самое происходит и сейчас, при правительстве демократов.

Книга «Политика и монополии США» поможет читателям понять характер сил, фактически находящихся у власти в Америке.

А. БЕЛЬСКАЯ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. СЕРГЕЕВ. Чукотская весна. Стихи. «Советская Россия». М. 1961. 80 стр. Цена 25 к.

Это небольшая книжка стихов может и затеряться среди множества стихотворных сборников, выпускаемых нашими центральными и местными издательствами. Однако читатель с первых же страниц ее почувствует, что «чукотская тема» для автора не просто дань экзотике Севера, воспринятой издала, по книгам да понаслышке. Автор книжки — сибиряк, учился в Ленинграде, затем несколько лет жил и работал на Чукотке, заведовал красной ярангой, был журналистом. Этот жизненный опыт не мог не сказаться на творчестве молодого поэта.

Стихотворение «Праздник в тундре», полное зорко подсмотренных деталей оленеводческого быта, картин чукотской природы и проникнутое добросердечным юмором, идущим от молодости и здоровья, заставит читателя просмотреть книжку до конца. Впечатление свежести, своеобразности поэтического голоса, может быть еще не совсем окрепшего, но уже отчетливо выделяющегося среди других молодых голосов, не вдруг оставит читателя по прочтении этой книжки, и, встретив имя автора где-нибудь в печати, он уже, пожалуй, не спутает его ни с каким другим Сергеевым.

А. Т.

★

ЛЕОНИД ЖАРИКОВ. Шахтерское сердце. Рассказы, очерки, записные книжки. «Молодая гвардия». М. 1961. 320 стр. Цена 66 к.

Леонид Жариков известен как писатель, чей творческий путь неразрывно связан с Донбассом. Там он родился, вырос, там живут его друзья, там живут литературные герои многих его произведений. «Хорошо у нас, в шахтерской сторонке: и земля там щедрая, и люди чудесные», — пишет автор в одном из своих очерков. Влюбленностью в свой край, в народ, его населяющий, проникнуты книги Л. Жарикова о Донбассе. Он искренне любит своих героями, их щедрой и доброй душой, с чувством гордости пишет он об их нелегком, но почетном труде.

«Шахтерское сердце» — третья книга Л. Жарикова о Донбассе (ранее выходили «Повесть о суровом друге» и сборник очерков «Огни Донбасса»). В ней рассказы,

очерки о людях шахтерской стороны, написанные в разные годы и напечатанные в свое время в газетах и журналах. Есть здесь и новые, еще не опубликованные произведения, с которыми особенно интересно будет ознакомиться читателям.

В книге четыре раздела. В первом из них — «Именем революции» — автор возвращается к героическим дням гражданской войны, пишет о бесстрашии тех, кто с оружием в руках боролся за светлое будущее. Рассказы второго раздела — «На смертный бой» — посвящены украинским партизанам, защищавшим родную землю в годы оккупации ее гитлеровцами. Наиболее интересный раздел сборника — «Гудки труда». Герои его — люди сегодняшнего Донбасса. С большой сердечной теплотой пишет автор об известном забойщике Николае Мамае («Николай Мамай и его товарищи»), вспоминает о поездке в Горловку к своему другу поэту Павлу Беспощалому (очерк «Стихи и уголь»), рассказывает о дружбе и славном трудовом пути молодого шахтера Владимира Носенко и его верной подруге Машеньке («О верности»), о молодых горняках шахтерского города Краснодона, который, казалось, «хранил в себе бессмертие» юных героев.

Заканчивается книга разделом «Записные книжки», в которых писатель делится с читателем своими мыслями о творчестве, о литературных героях, о еще не написанных книгах.

Г. Койрацкая.

★

М. ДАВЫДОВ. Александр Дмитриевич Цюрупа. Госполитиздат. М. 1961. 104 стр. Цена 12 к.

«...Начали разбираться в продовольственных делах. Цюрупа наклонился к Ленину, чтобы показать ему документ. Вдруг он поблел, пошатнулся. Ленин позвонил. Вошли товарищи, помогли Владимиру Ильичу поддержать Цюрупу, довести его до дивана. Ленин нахмурился: нарком продовольствия недоедает».

Эти строки, взятые из недавно вышедшей в свет книги М. Давыдова, говорят и о сердечности отношений между В. И. Лениным и его соратниками, и о той беззаветной преданности делу пролетарской революции, которая характеризовала А. Д. Цюрупу. «На

заре своей жизни,— говорил М. И. Калинин,— Цюрупа начал вместе с немногими нашими товарищами создавать Коммунистическую партию, а в конце своей жизни он уже строил практически социализм. Не много найдется людей, которым удалось пройти в своей жизни такой путь».

Документальный рассказ о славном ленинце — одном из выдающихся деятелей Советского государства, чьи дела живут и в сегодняшних победах нашего народа,— окажет помощь делу воспитания современной молодежи. Жизнь Цюрупы служит примером того, как нужно бороться за дело, порученное партией.

Автор книги сумел показать А. Д. Цюрупу — крупнейшего партийного и государственного работника — в процессе борьбы с трудностями, которые переживала страна, интересно обрисовал окружавший его коллектив товарищей и помощников. Очерк об А. Д. Цюрупе написан на основе архивных материалов и воспоминаний его современников и таким образом дополняет наши знания о той замечательной эпохе, когда закладывался фундамент могучего социалистического государства — Страны Советов.

М. Рутес,

зам. директора Государственного музея революции СССР.

★

М. ВАСИЛЬЕВ, К. СТАНЮКОВИЧ.
В мире семи стихий. «Молодая гвардия». М. 1961. 252 стр. Цена 59 к.

Неисчерпаемы возможности человека в преобразовании природы. Он проводит каналы в пустынях, поворачивает вспять реки, сдвигает горы, задумывает даже повернуть океанские течения в дерзновенном стремлении отеплить Арктику...

Чтобы осуществить все это, необходимо знать законы основных стихий природы, знать их взаимодействие. Еще недавно нашим предкам были известны лишь три состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное. Ныне мы знаем и четвертое состояние: плазму. Кроме того, мы знаем формы существования материи — электромагнитное поле, поле тяготения, ядерное поле.

В увлекательно написанной книге «В мире семи стихий», имеющей широкий диапазон — от элементарных частиц до отдаленнейших районов Вселенной,— рассказывается о важнейших в сегодняшней науке разделах физики. Книга знакомит с гидродинамикой, теорией взрыва, динамикой полей.

Читатель вместе с авторами путешествует по Вселенной на удивительном корабле. «Двигатель этого корабля,— пишут авторы,— мечта. Фундамент — прочное основание, на котором этот двигатель укреплен,— сегодняшние достижения науки и техники. А топливом служат прогнозы, гипотезы ученых о будущем». Мы как бы наблюдаем свечение вещества, трепет плазмы и разлет галактик, рассчитываем силу прирученных

взрывов и уносимся в беспредельные дали мироздания. Наиболее интересны и актуальны главы «Плазма» и «Машинна из лучей и струй».

Книга привлекает своей устремленностью в будущее, она вся проникнута ожиданием этого будущего с его удивительными свершениями.

А. Глухов,

★

ПОПУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Издательство «Советская энциклопедия». М. 1961. 1253 стр. Цена 3 р. 50 к.

Популярная медицинская энциклопедия предназначена для широких кругов читателей, не имеющих медицинского образования. В ней около двух тысяч статей. Они написаны просто и вместе с тем строго научно и энциклопедически кратко. В книге можно найти почти любую справку, относящуюся к практической медицине. Анатомия, физиология и патология человеческого организма; гигиена труда, быта; развитие и физическое воспитание ребенка; физическая культура взрослого; курорты; различные заболевания, меры их предупреждения и способы лечения; первая помощь до прихода врача, уход за больным, различные методы диагностики — таков далеко не полный перечень вопросов, охваченных энциклопедией. В книге не только описаны все болезни человека (кроме особо редких), но и дается представление о богатом арсенале современных лекарственных средств.

Перед медициной стоят сейчас три важнейшие задачи: искоренение инфекционных заболеваний, профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, решение проблемы злокачественных опухолей.

Инфекционные заболевания, даже не встречающиеся в СССР, описаны в книге достаточно подробно. На высоком научном уровне составлены статьи «Опухоль» и «Рак». Раздел же сердечно-сосудистых заболеваний (кроме статьи о сердечно-сосудистых неврозах) изложен сравнительно бледно. Обойдены молчанием нарушения ритма. Пробелом является отсутствие статьи о сердечно-сосудистой хирургии.

Жаль, что отсутствуют в энциклопедии биографии крупнейших деятелей медицины.

Мы не могли не упомянуть о недостатках книги, которые сводятся в основном не к тому, что в ней есть, а к тому, чего в ней не хватает. Достоинств у нее несравненно больше. Можно признать, что цель, обозначенная в предисловии самой редакцией, достигнута: «Это — книга для каждой семьи».

Врач Д. Виленский.

★

СССР — США (Цифры и факты). Госполитиздат. М. 1961. 135 стр. Цена 20 к.

Люди старшего поколения еще помнят, как при словах «американская техника» неизменно напрашивалось сопоставление са-

мых передовых свершений века с отсталой техникой царской России, страны богатой и нищей, страны, где родилось множество великих изобретений, воплощенных в дальнейшем в могучие машины за границей и обогативших ловких предпринимателей не только деньгами, но и ничуть не заслуженной ими славой.

Хватило нескольких десятилетий труда, раскрепощенного от капиталистической эксплуатации, чтобы Советской стране по плечу оказалось вызов на экономическое соревнование, обращенный к главной державе капиталистического мира — Соединенным Штатам Америки.

Этому соревнованию — важнейшей проблеме современности — посвящается книжка «СССР—США». Даже при беглом ознакомлении со справочником каждому непредубежденному человеку становится очевидным, насколько успешно претворяются в жизнь стоявшие в эпитафие ленинские слова: «Я уверен, что Советская власть догонит и обгонит капиталистов...»

Справочник состоит только из цифр и фактов. Их много, и они охватывают все стороны жизни общества — производство, положение трудящихся, науку, культуру. Здесь содержатся и общие сведения о двух странах, рассказывается об основных этапах экономического соревнования.

Листая страницы справочника, читатель воочию видит, как из года в год растут успехи Советской страны. Эти бурные темпы развития производительных сил давно уже стали недоступными для капитализма. «Советский Союз, — сказал Н. С. Хрущев, — за кратчайшие исторические сроки обогнал в своем экономическом развитии самые высокоразвитые капиталистические страны, вышел на второе место в мире и сейчас успешно осуществляет задачу — догнать и превзойти по промышленному производству Соединенные Штаты Америки».

В справочнике много удачно составленных таблиц, диаграмм. Особое значение приобретает эта книжка сейчас, когда наш народ новыми победами встречает XXII съезд партии.

А. И.

★

ХОСЕ СОЛЕР ПУИГ. «Бертильон 166». Перевод с испанского. «Молодая гвардия». М. 1961. 141 стр. Цена 27 к.

Название книги выглядит таинственным и интригующим. Но объясняется оно просто и страшно. В кубинских газетах обычно публикуются списки умерших. Непопулярными словами «Бертильон 166» охранка кубинского диктатора Батисты маскировала в газетной хронике расстрелянных и замученных ею патриотов. «Сначала я решил, что это действительно адрес, — недоумевает торговец Фернандес, — и думал: «Что за люди живут на Бертильон 166! Мрут, словно в тифозную эпидемию...» И долгое время так думали многие жители города Сантьяго, города, где больше всего бесчин-

ствовали батистовцы, где крепче всего было революционное подполье.

В книге рассказано, как отважные юноши и девушки Сантьяго — Карлос, Хоакин, Роландо, Ракель и еще сотни и сотни других, — рискуя жизнью, добывали оружие, гибли в перестрелках или же, добыв его, отправлялись в горы Сьерра-Маэстры сражаться в отрядах Кастро. На смену им приходили другие, они вели тайную войну с батистовцами, гордо сносили жестокие пытки палачей в застенках.

В грохоте автоматных выстрелов, прячась в подвалах, жили кубинцы, и никто из них, кроме приближенных диктатора, не был уверен в том, будет ли он жив завтра. Так жили кубинцы до 2 января 1959 года, и об этой страшной жизни напоминают страницы романа молодого писателя Хосе Солера Пуига: обновленная, свободная, строящаяся Куба не должна забывать об этом! А советским людям роман Пуига объяснит, почему так храбры были сгоронники Фиделя Кастро в борьбе против тираннии.

Л. Лерер.

★

АЙЛИ НУРДГРЕН. Гори, огонь. Перевод со шведского. «Молодая гвардия». М. 1960. 352 стр. Цена 67 к.

Аландский архипелаг — шесть с половиной тысяч островов у входа в Ботнический залив. Сорок километров отделяет их от Швеции, восемьдесят — от Финляндии.

Жители этих островов — а всего-то их там меньше тринадцати тысяч — шведы, а принадлежит архипелаг Финляндии.

Книга Айли Нурдгрэн — точнее, два взаимосвязанных романа, «Указавший путь» и «Гори, огонь», выпущенных в одном томе издательством «Молодая гвардия», — это, собственно, первая изданная у нас книга об Аландах, написанная человеком с Аландов, на языке аландцев (то есть шведском).

Айли Нурдгрэн — страстный, неустанный борец за мир, автор многих публицистических статей и очерков, в том числе и очерков о Советском Союзе. Роман ее, «Указавший путь», — это сильный и правдивый рассказ о судьбе крестьянского юноши с Аландов, который, несмотря на свою одаренность, никак не может выбиться из нищеты. Он ненавидит все косное, несправедливое, борется с ним, но в конце концов оказывается сломленным. Бунт Вильгельма (героя книги) против несправедливого устройства общества был все же бунтом одиночки, находящего отклик своим переживаниям лишь в самой природе. Но зато с каким проникновением писательница рисует эту скромную, суровую и вместе с тем добрую природу, сосны и море Аландских островов!

Героиня второго романа, «Гори, огонь», — младшая сестра Вильгельма, Бетти. Она считает себя лишь хранительницей зажженного братом огня, но на самом деле она продолжает его дело. Она идет вперед и, преодолевая сложнейшие препятствия, про-

дя через унижения, которые чуть ли не приводят ее на грань самоубийства, не чураясь никакого труда, находит свое место в жизни, становится одним из организаторов борьбы бедняков крестьян и батраков.

В небольшой заметке не перескажешь всех деталей этой борьбы, в которой и душевно и политически вырастает героиня, не перескажешь всех сюжетных ходов двух романов, всех страниц, живописующих природу Аландских островов. Да и стоит ли пытаться пересказывать эту своеобразную книгу, отлично переведенную Ниной Крымовой? Советую прочитать ее. Сохраняя лучшие традиции скандинавской литературы, рядом с Дитте — героиней датчанина Андерсена-Нексе, рядом с лакснесовской исландкой Салкой Валкой, встает Бетти — крестьянка с Аландских островов.

Геннадий Фиш.

★

КУРТ ЗАНДНЕР. Ночь без милости. Со-
кращенный перевод с немецкого. Воениздат.
М. 1961. 192 стр. Цена 41 к.

Курт Занднер — западноберлинский писатель, но эту книгу ему пришлось издать в демократическом Берлине. Западногерманские издательства отказались ее печатать. Она звучит как гневный протест против тех, кто отправляет в тренировочные полеты бомбардировщики с атомными бомбами, кто ведет смертельно опасную игру с этим оружием.

Рассказанная Занднером история звучит необычайно достоверно. Американского военного летчика Генри Буджина при весьма таинственных обстоятельствах отправляют с полярной авиабазы в полет на совершенно неизвестном ему самолете. «Машина полетит сама: она управляется автоматически,— пояснил ему один из адъютантов.— Ваше дело — сидеть в ней, и ничего больше. Если от вас что-нибудь потребуется, получите в полете соответствующий приказ».

И вот самолет без малейшего участия Буджина врывается с бешеной скоростью в стратосферу и мчится в полярной ночи на восток, к «великой границе двух миров». Страшная догадка пререзает мозг летчика: война! Его самолет сбросит дьявольскую бомбу. «Я стал смертью,— подумал он с ужасом,— стал разрушителем миров!» Вихрь противоречивых чувств обуревают Буджина. Вся жизнь пронесется перед его глазами. Его раздражают мучительные противоречия. Кто он — человек, уподобившийся богу? Но ведь ему даже не доверили точного маршрута. Нет, он просто «вспомогательный инструмент, дешевый спасательный прибор из мяса и костей, помещенный в самолет на случай если откажет техника,— вот кто он на самом деле! Не бог, не смерть и не судья, а всего лишь навсего жалкий раб!»

С большой впечатляющей силой переданы ощущения Генри, лихорадочный ход его мыслей, крайнее напряжение психики. В его поступках, так же как в его прежних суж-

дениях, видишь честного человека, которому отвратительны грязные дельцы и политики-ханжи, прикрывающие речами о защите свободы собственную корысть. И становится ясно, что судьба Генри Буджина трагична при любом исходе его полета.

Книга читается с волнением и заставляет задумываться о многом, и прежде всего о тех, кто разжигает психоз атомной войны, кто ведет политику балансирования «на грани войны».

Л. Викторова.

★

Л. ЛОТМАН. А. Н. Островский и русская драматургия его времени. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1961. 360 стр. Цена 1 р. 60 к.

В последние годы исследователи русской литературы не так уж часто обращались к творчеству великого драматурга А. Н. Островского. Тем отраднее появление солидного труда о нем, принадлежащего перу Л. Лотмана.

Замысел книги несколько необычен. Это не просто творческая биография драматурга, а попытка представить наследие Островского в многообразных связях с творчеством его предшественников, современников и преемников на русской сцене. «Островский и Гоголь», «Островский и русская драматическая сатира», «Чехов и Островский» — вот лишь некоторые из тем, привлечших внимание автора. Демократическую природу сценического реализма Островского Л. Лотман определяет, сопоставляя его пьесы с эпигонскими драмами «кулической школы», с поверхностной «обличительной» драматургией и т. п. В то же время автор стремится показать кровную связь реалистического искусства Островского со всем тем лучшим, что дала русская драматургия от Гоголя до Чехова,— с творчеством Тургенева, Сухово-Кобылина, А. К. Толстого, А. Потехина, Писемского, Л. Толстого. Книга об Островском, таким образом, приобретает значение исследования целой эпохи в развитии русской сценической литературы, эпохи, которая по праву может быть названа «золотым веком» русской классической драмы.

В. Яковлев.

★

ХУЛИО МАТЕУ. Мечтатели. Стихи. Авторизованный перевод с испанского Павла Грушко. «Советский писатель». М. 1960. 96 стр. Цена 12 к.

Сложная судьба у поэта Хулио Матеу: молодой испанский антифашист вынужден был уехать с родной земли, когда Франко с помощью Гитлера подавил республику Народного фронта. Более двадцати лет Матеу живет в Советском Союзе, ставшем для него второй родиной. Здесь он был рабочим на заводе имени Лихачева, здесь стал и профессиональным поэтом.

Первую книгу стихов, вышедшую в Москве несколько лет назад, поэт так и назвал — «Две родины». Новая книга тоже посвящена двум странам, двум родинам поэта.

Испания — цветы и желчи!
Живу, твоею болью мучась,
Ты сердце мне смогла зажечь —
Трудней и слаще есть ли участь?!

...Мы тянем руки с двух сторон,
мы будем вместе, мглу осилил...
Испания — мой горький сон!
Волнующая явь — Россия!

Мечтатели — это и те, кто здесь, в Стране Советов, сделали явью ленинскую мечту, и те страдающие под фашистским сапогом в Испании, тихонько глотающие слова мечты, «как сгустки крови».

Лучшие стихотворения Матеу посвящены простым людям Испании: крестьянам, рыбакам, инвалидам, безработным, обладающим самым большим богатством — «золотом простого взгляда, золотом рабочих рук!»

Самая высокая мечта этих людей ярче всего выражена в последних строках стихотворения «Точилщик».

Зато в тревожный час могу
дать безоружным силы:
я лучший камень берегу,
чтоб наточить на страх врагу
серпы,

навахи,
вилы!
Точу ножи!
Точу ножи!

За полцены — лишь прикажи!

Р. Борисов.

★

СОФЬЯ НЕЛЬС. Шекспир на советской сцене. «Искусство». М. 1960. 508 стр. Цена 1 р. 60 к.

По популярности Шекспира, по количеству изданий его пьес и по количеству их постановок на сцене Советский Союз не уступает родине великого английского драматурга. Некоторые пьесы Шекспира переведены более чем на двадцать языков народов СССР. Они идут во всех театрах нашей страны — и в тех, которые, как русский и армянский, имеют давние театральные традиции, и в тех театрах, которые возникли после революции.

Книга С. Нельс посвящена исследованию постановок Шекспира в театрах нашей страны и принципиальным вопросам совет-

ского шекспироведения. Анализируя многие шекспировские спектакли, рассказывая о постановках «Ромео и Джульетты», «Отелло», «Гамлета», «Короля Лира», «Макбета», шекспировских комедий, автор приходит к выводу, что достижения советского шекспировского театра выходят далеко за пределы театральных успехов нашей страны.

«Мы возвращаем миру Шекспира, ибо наш театр стремится показать подлинного Шекспира, писателя своей эпохи, эпохи позднего Возрождения, сумевшего так высоко поднять проблемы, волнующие человечество. Мы стремимся осовременить Шекспира для того, чтобы он говорил за нас, как это делал на разных этапах буржуазный театр».

Современность советского шекспировского театра, говорит С. Нельс, в исторической объективности, конкретности, широте мысли, смелости обобщения, народности и гуманизме.

Л. Л.

★

А. БЕЙЛИН. Аркадий Райкин. «Искусство». Л.— М. 1960. 184 стр. Цена 45 к.

Аркадий Райкин... И на лице читателя (он ведь и зритель «театра Райкина»!) сразу же появляется улыбка.

Мало кто задумывается над тем, что в основе популярности этого артиста-сатирика лежат не только труд и талант, но и своеобразные творческие принципы.

Об этом и рассказывает интересная книжка А. Бейлина, проследившего творческий путь актера: театр — эстрада — опять театр. Райкин в свое время ушел из театра, чтобы через эстраду снова прийти к театру — новому, своему, «театру Райкина».

Автор подробно и живо пишет об этом «театре Райкина» — о его характерных особенностях: жанровом разнообразии, яркой эстрадности, умение видеть эстраду не такой, какая она еще зачастую есть, а какой может и должна стать.

Интересны мысли автора о двойной драматургии «театра Райкина»: о собственно пьесе, сценарии, либретто, создаваемых литератором, и своеобразной «драматургии смеха» — совершенно самостоятельной паритуре, которую к каждому спектаклю разрабатывает талантливый актер.

Художник Б. Крейцер хорошо и остроумно оформил книжку.

Это издание найдет своего читателя, потому что многим людям дорог яркий, жизнерадостный талант Аркадия Райкина.

Б. Я.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Н. С. Хрущев. О внешней политике Советского Союза. 1960 год. Сборник. Том I. 656 стр. Цена 1 р. Том II. 632 стр. Цена 1 р.

Н. С. Хрущев. Выступление по радио и телевидению 15 июня 1961 года. 32 стр. Цена 3 к.

Л. Володин, О. Орестов. Трудные дни Конго. Политический репортаж. 192 стр. Цена 17 к.

Поль Гольбах. Карманное богословие. 208 стр. Цена 25 к.

А. Дорохов. Это не мелочи! 104 стр. Цена 11 к.

Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны (июнь 1941—1945 гг.). Документы и материалы. Сборник. 704 стр. Цена 1 р. 28 к.

М. Кунина, В. Маркова. Коммунисты Франции в борьбе за Народный фронт. (1934—1936 гг.). 208 стр. Цена 25 к.

Основы марксистско-ленинской эстетики. 640 стр. Цена 1 р.

Партийная пропаганда и современность. 88 стр. Цена 10 к.

Своим оружием. Сборник воспоминаний. 408 стр. Цена 70 к.

С. Г. Струмилин. Бог и свобода. О вере и неверии. 96 стр. Цена 11 к.

С. И. Татищев. За кулисами ракетно-ядерного бизнеса США. 72 стр. Цена 9 к.

Вальтер Ульбрихт. Избранные статьи и речи. Перевод с немецкого. 748 стр. Цена 1 р. 5 к.

СОЦЭГНИЗ

Г. Андреев. Экспансия доллара. 480 стр. Цена 1 р. 23 к.

А. М. Белявский. Американский империализм на Пиренейском полуострове. 404 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. А. Воронович. Ленинская аграрная программа и ее осуществление в СССР. 555 стр. Цена 78 к.

В. И. Золотарев. Мировой социалистический рынок. 207 стр. Цена 26 к.

Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак. Мистер Кон исследует «русский дух». 183 стр. Цена 22 к.

Р. Г. Ланда. Алжир сбрасывает оковы. 155 стр. Цена 18 к.

П. П. Литвяков, Н. К. Тяпкин. Общественный труд и его производительность. 151 стр. Цена 18 к.

С. Е. Можнягун. Абстракционизм — разрушение эстетики. 223 стр. Цена 56 к.

Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса. 552 стр. Цена 1 р. 33 к.

С. И. Сдобнов. Две формы социалистической собственности и пути их сближения. 276 стр. Цена 68 к.

Г. М. Сорочкин. Планирование народного хозяйства СССР (Вопросы теории и организации). 460 стр. Цена 1 р. 22 к.

Философские вопросы кибернетики. 392 стр. Цена 93 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Апухтин. Стихотворения. 400 стр. Цена 79 к.

Н. Бейлина. Четыре четверти года. Повесть. 216 стр. Цена 27 к.

А. Бен. Несколько дней. Повести и рассказы. 496 стр. Цена 77 к.

П. Бровна. А дни идут... Стихи и поэмы. Перевод с белорусского. 180 стр. Цена 22 к.

А. Грибоедов. Избранные произведения. 428 стр. Цена 52 к.

Г. Гулиа. Наштановый дом. Повесть. Рассказы. 204 стр. Цена 39 к.

Х. Гулям. Континенты не спят. Баллады. Перевод с узбекского. 120 стр. Цена 16 к.

А. Досталь. Сосны шумят. Книга лирики. 92 стр. Цена 13 к.

В. Дубовка. Золотая ранница. Стихи. Поэма. Сказки. Перевод с белорусского. 200 стр. Цена 35 к.

Н. Зелеранский Б. Ларин. Мишка. Серега и я. Повесть. 288 стр. Цена 52 к.

А. Каган. Шолом-Алейхем. Роман. Перевод с еврейского. 396 стр. Цена 66 к.

С. Калев. Под необъятным небом. Поэмы. Перевод с каимыцкого. 48 стр. Цена 7 к.

А. Карпюк Данута. Повесть. Перевод с белорусского. 328 стр. Цена 62 к.

Ю. Корольков. Так было... Роман-хроника. 800 стр. Цена 1 р. 53 к.

Г. Леберехт Дворцы Вассаров. Роман. 768 стр. Цена 1 р. 27 к.

А. Овчаренко. Публицистика М. Горького. 656 стр. Цена 1 р. 47 к.

А. Платнер. Соль жизни. Стихи. Перевод с еврейского. 104 стр. Цена 13 к.

Проблемы социалистического реализма. Сборник. 556 стр. Цена 1 р. 20 к.

О. Савич. Два года в Испании. 1937—1939. Очерки и рассказы. 284 стр. Цена 42 к.

Б. Сейтанов. Поэт. Роман. Перевод с туркменского. 200 стр. Цена 40 к.

А. Секоян. Среди золотых лоз. Роман. Перевод с армянского. 540 стр. Цена 92 к.

Ю. Слепухин. У черты заката. Роман. 588 стр. Цена 97 к.

В. Соколов. На солнечной стороне. Стихи. 120 стр. Цена 14 к.

В. Тельпугов. Николай Ушаков. Критико-биографический очерк. 132 стр. Цена 17 к.

Чувашские рассказы. Сборник. Перевод с чувашского. 308 стр. Цена 53 к.

П. Ширвис. Шумят родные березы. Стихи. Перевод с литовского. 76 стр. Цена 9 к.

ГОСЛИТЗДАТ

Павел Антокольский. Избранные произведения. В двух томах. Том I. 479 стр. Цена 95 к. Том II. 343 стр. Цена 96 к.

Ольга Берггольц. Стихи. Проза. 550 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. Гимар. Гаврская улица. Роман. Перевод с французского. 120 стр. Цена 31 к.

Гог-Каульбах, Анна ван. Страна солнца. Роман. Перевод с голландского. 352 стр. Цена 56 к.

А. Гудайтис-Гузьявичюс. Темная ночь. Новеллы. Перевод с литовского. 192 стр. Цена 28 к.

В. И. Даль. Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. 463 стр. Цена 84 к.

Миха Квливидзе. Надпись на камне. Стихи. Перевод с грузинского. 240 стр. Цена 29 к.

Генри Лоусон. Рассказы. Перевод с английского. 464 стр. Цена 1 р. 2 к.

Михась Чарот. Стихотворения. Поэмы. Перевод с белорусского. 199 стр. Цена 41 к.

Александр Яшин. Годы жизни. Избранные стихотворения. 432 стр. Цена 66 к.

ДЕТГИЗ

Е. В. Андреева. Разоблаченные чудеса. 128 стр. Цена 34 к.

Е. З. Воробьев. На седьмом небе. Рассказ о верхолазах. 256 стр. Цена 69 к.

И. Дубровицкий, В. Орлов. 33 ответа на 33 вопроса. 224 стр. Цена 40 к.

М. Ефетов. Валдайские колокольцы. Повесть. 96 стр. Цена 25 к.

Ф. Г. Каманин. Двое знаменитых. Повесть. 144 стр. Цена 35 к.

Л. А. Кассиль. Чаша глadiatorа (Человек-Гора и мушкетер с ногой). Роман. 320 стр. Цена 58 к.

В. В. Конечный. Если позовет товарищ. Рассказы. 168 стр. Цена 37 к.

В. Н. Орджоникидзе. Домик у края пустыни. Рассказы. 96 стр. Цена 22 к.

Р. Т. Пересветов. Тайны выцветших строк. 288 стр. Цена 57 к.

О. К. Селяннин. Есть так держать! Повесть. 176 стр. Цена 34 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Б. Г. Кузнецов. Творческий путь Ломоносова. 376 стр. Цена 1 р. 28 к.

В. Л. Мальков. Рабочее движение в США в период мирового экономического кризиса. 316 стр. Цена 1 р. 25 к.

Русские ученые в борьбе против идеалистических и метафизических воззрений в естествознании. 248 стр. Цена 80 к.

М. А. Рыбникова. Русские пословицы и поговорки. 231 стр. Цена 70 к.

ГЕОГРАФИЗ

Г. Л. Гальперин. Республика Того. 48 стр. Цена 7 к.

Артур Лундквист. Вулканический континент. Путешествие по Южной Америке. 368 стр. Цена 81 к.

В. Л. Муравьев. Вехи забытых путей. 62 стр. Цена 10 к.

О. Б. Осолкова. Центральная Индия. 280 стр. Цена 95 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бруно Апиц. В волчьей пасти. Роман. Перевод с немецкого. 392 стр. Цена 1 р. 21 к.

Генрих Бёлль. Бильярд в половине десятого. Роман. Перевод с немецкого. 301 стр. Цена 81 к.

М. Бех-Азин. Узоры на шелку. Перевод с персидского. 327 стр. Цена 1 р. 1 к.

Владислав Броневский. Избранное. Перевод с польского. 303 стр. Цена 74 к.

Воспринят род людской. Краткие биографии и последние письма борцов антифашистского сопротивления. Перевод с немецкого. 705 стр. Цена 1 р. 64 к.

Ивар Лу-Юханссон. Мадонна скотного двора. Рассказы. Перевод с шведского. 187 стр. Цена 47 к.

Стратис Миривилис. Жизнь в могиле. Роман. Перевод с новогреческого. 271 стр. Цена 88 к.

Кваме Нкрума. Автобиография. Перевод с английского. 287 стр. Цена 1 р. 25 к.

Разоружение и экономика США. Перевод с английского. 92 стр. Цена 18 к.

Вальтер Ульбрихт. Развитие германского народно-демократического государства. 1945—1958. Перевод с немецкого. 735 стр. Цена 2 р. 21 к.

Х. Чойбалсан. Избранные статьи и речи. Перевод с монгольского. 359 стр. Цена 87 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

А. А. Высоцкий и др. Улучшение и использование природных кормовых угодий. 143 стр. Цена 21 к.

П. Змиенко, И. Спасибин. Сельское хозяйство Германской Демократической Республики. 165 стр. Цена 23 к.

Ю. А. Конкин. Амортизация техники в сельском хозяйстве. 174 стр. Цена 23 к.

Опыт кукурузоводов в Ленинградской области. 214 стр. Цена 52 к.

Н. П. Соколов. Хозрасчет в колхозах. 223 стр. Цена 29 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Андрей Дугинец. Тень Кантипа. Повесть. 200 стр. Цена 33 к.

Г. Игнатьев. За народную власть. Из истории борьбы за власть Советов в Москве и Московской губернии. 160 стр. Цена 34 к.

ЮРИЗДАТ

А. Г. Власова, В. И. Замятин, В. Р. Скрипко. Жилищное законодательство в вопросах и ответах. 216 стр. Цена 26 к.

И. Н. Гавриленков. О развитии социалистической государственности в коммунистическое общественное самоуправление. 128 стр. Цена 42 к.

В. В. Кузнецов, Ю. Г. Жаринов. Справочник по законодательству для колхозников. 416 стр. Цена 81 к.

Справочник дружинника. 120 стр. Цена 14 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова. 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 24/VI-1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 24/VII 1961 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 87500.
А 07431 Зак. 1092.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.